Цена 90 коп — 14 — Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 7 1988

Анатолий ЖИГУЛИН. Черные камни. Повесть

Алексей АДЖУБЕЙ. Те десять лет. Воспоминания

Б. ПАСТЕРНАК — А. ЭФРОН. Переписка

Стихи
Александра ГРИБАНОВА,
Павла АНТОКОЛЬСКОГО

«Афганцы». Говорят солдаты

Статьи
Василия СЕЛЮНИНА, Отто ЛАЦИСА,
Гавриила ПОПОВА, Николая ШМЕЛЕВА

С. ЧУПРИНИН. Вакансия поэта

Знамя. 1988. № 6. 1—240

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Июнь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга шестая
ИЮНЬ
1988

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Константин Ваншенкин

ИЗ ЛИРИКИ

Слово

В те и в эти года,
В стуже, в тумане,
Не держал никогда
Фиги в кармане.

Про любовь, про войну
В трудные сроки
Я писал как одну
Разные строки.

А таких, что в печать,
Посмотрев строго,
Не хотели пускать, —
Их не так много.

Это о писарях
И о салюте,
И что боль, да и страх,
Превзошли люди.

И о тридцать седьмом,
О Борисе и Павле.
Но в стихе-то самом
Крамолы ни капли.

Нынче можно писать,
Раз пошли сдвиги.
Но в кармане опять
Никакой фиги.

О любви, о себе,
О войне снова
И о вашей судьбе
У меня слово.



С неба осыпался звук самолета, —
За горизонтом стихающий зов.
Так осыпается вниз позолота
Старых церквей и осенних лесов.

Две-три чешуйки осталось, не боле,
Воспоминаньем о прежней поре.

Видно сквозь ветви пустынное поле,
Капли дождя на холодной коре.

Это случается даже с богами,
Что временами приходят сюда.
Всех их вперед выносили ногами,
А ведь считалось: они навсегда.

Читатель

— Пускай я не эрудит, —
Заметил читатель хмуро, —
Мне нравится, как гудит
Сегодня литература.

Пожалуй, не для утех
Она существует ныне.
От этих устал и тех —
Порадовали иные.

Внезапные имена,
Которые многим внове.
Сочувствие и вина
И что-то еще в их слове.



Не раз уже за этот год
Звучит в два такта
Словцо привычное: у х о д,
И грустно как-то.

Скупых пробившихся лучей
Сквозные пятна.
Уход за кем? А может, чей?..
Куда — понятно.

Стихи

Чтоб стихи писать не хуже,
Чем писал ты их, поэт,
Подтяни ремень потуже
На седьмом десятке лет.

Груза нового громада
Пусть не горбит старика...
Иногда бывает надо
Отпустить ремень слегка.

Народная игрушка

Здесь, на полочке, в зальце музея
Разномастных изделий семья.
И у каждой игрушки идея
И особенность только своя.

Чтобы четко для всех означала,
С чем она отправляется в путь:
Ваньки-встаньки мужское начало
И матрешки столь женская суть.

Танцы

Немало до сих пор потанцевала,
Не зная своего потенциала.

Не ведала душевного разлада,
Но вздрогнула от пристального взгляда.

И, отпустив нагретые перила,
Непроизвольно губы приоткрыла.

На юное беспечное сердечко
Накинута любовная уздечка.

И скачет эта бодрая лошадка,
И катится под ноги танцплощадка.

Подобием раскрученного диска
На грани предвкушаемого риска.

Отсутствуют рассудочность и опыт.
Лишь каблучков рассыпавшийся топот...

Высокий штиль

Отчетливое совпаденье —
В который раз
Не просто сон, а сновиденье
В рассветный час.

Не просто дом у поворота —
Скорей, очаг.
И не в глазах стоит забота —
Скорей, в очах.

Не говорим высоким штилем,
Который чужд.
Но коль случится, то осилим
Средь прочих нужд.

Баллада об эвакуации

В растерянности у окна
Стояла женщина с ребенком.
— Как быть? Ведь я же не одна
И не привычна к этим гонкам.

— Досюда немец не дойдет! —
Сказал сосед.— Не думай даже.
Ведь каждый дом, и каждый дот,
И каждый куст уже на страже...

Второй внезапно заорал:
— Не слушай этого кретина!
Уматывайте за Урал.
Худая видится картина...

Всего лишь день на сборы дан.
В случайных туфлях, в платье тонком
Бросала вещи в чемодан,
Уже не разбирая толком.

С младенцем села в эшелон,
Замаскированный листвою.
И только зной со всех сторон...
А провожали эти двое.

...Палило солнцем с высоты
Начало первого этапа...
Им предстояло рвать мосты
И умереть потом в гестапо.

Штрафник

«Под конвоем,
Без погон, без ремня.
Бабы воем
Провожали меня,
Аж по коже
Этим криком скребя...»

А за что же
Повели-то тебя?..

«А за то, что
Рваться в бой не пылал.
Того кошта
Для себя не желал.

Вдаль взгляну я —
Стану белый как мел.
И в штрафную
Потому загремел.

После, помню,
У леска залегли.
Встал—и комья
Вверх летящей земли.

Вдруг — в санбате.
— Друг, ботинок стяни.—
Голос бати:
— Да ты, брат, без ступни!..—

Снится сито
Тех особых атак.
Кровью смыто,
Все законно, все так.

В общем, тоже
Там война как война.
Вот... И все же
Не избыта вина».



Выстиранное белье,
Шаровары, гимнастерка...

Одевались без восторга:
Мокрое, хоть и свое.

Отжимали, а потом
На себе же высыхало,
За пределами привала,
На пути привычном том.

При ускоренной ходьбе,
В ту страду нечеловечью,
Как над вытопленной печью
Сохло старое х/б.

Нутряной какой-то жар,
Откликающийся живо,
Чем свой уровень держал?
До сих пор непостижимо!

Кончай ночевать!

— Кончай ночевать! —
В пестроте привала
Нам ротный опять
Гаркнул, как бывало.

Средь дня дальше в путь
Поднимая роту,—
Не числя ничуть
Это за остроту.

С чего начинать
Новую дорогу?
«Кончай ночевать!» —
Помню, слава богу.

Так бьет на ветру
Песня, залетая.
Так мчит поутру
Тучка золотая.



Не имея бумаги,
Вряд ли ищут чернила.
А лишившись отваги,
Взглядом рыщут уныло.

За оградой — дорога,
Да закрыта калитка...
Потерявшему Бога
Не нужна и молитва.

Учитель

Безусловно, это был учитель,
А вокруг — его ученики.
Он вставал, войны привычный житель,
Смахивал травинку со щеки.

Ясным днем и на рассвете сером
До конца запомнившийся мне,
Он других учил своим примером,
Как всегда бывало на войне.

Он учил отчаянных, отпетых
Смертным ветром,
Стреляных юнцов.
Никому не ставящий отметок,
Тоже молодой в конце концов.

Александр Великин

САНИТАР

ПОВЕСТЬ

1

С утра небо развесилось низко, лохмато-серое, накрыло Москву грязным одеялом. Гнал белых мух, сек острый ветер.

Доктор Серый Антон Сергеевич, непроспавшийся и оттого неуклюжий, топтался посреди врачебной комнаты, напяливая халат. Свитер был толст, халат тесен, рвались на плечах и спине жесткие крахмальные складки. Серый сопел, ловя бесчувственной рукой слипшийся узкий рукав, сердился. Спятила природа, кряхтел Серый, пошла в марте зима по второму кругу. Э-хе-хе! Быть нашей московской зиме весной! Собственная голова казалась Серому раздувшейся, одутловатой, и туманное сознание того, что смена лишь начинается и впереди сутки работы, приводило его в отчаяние. Боже мой, какие сутки? Когда весны в природе не существует вообще! И сквозь голые стены врачебной мерещились Серому теплые сумраки покинутого дома, горячо пахнущие чугунные батареи и сонное шевеление сдвинутых штор в шоколадную мелкую клеточку. И явилось видение постели, какой он ее оставил, с призывно отогнутым одеялом, в чудесном голубом полосатеньком пододеяльнике. Крепко, крепко спится на вялом мартовском рассвете! А суточному работнику, давно перепутавшему день с ночью, еще крепче. Сутки, сутки! Проклятие и спасение! Эх, жизнь наша!

Лохмато-серое утро, таким образом, к оживлению и общительности не располагало. Было желание одно — убраться поскорее с подстанции, где, напряженный, слепил свет гудящих люминесцентных ламп, бестолково толокся в фиолетовом дыму гомонящий народ двух смен, отработавшей и вновь заступившей, грохотала внутренняя трансляция, орали из двух репродукторов, в курилке и диспетчерской, последние известия, и страшно вопил заведующий Матюхин, бегавший по комнатам отдыха, сгоняя дорогих сотрудников на утреннюю конференцию.

Поэтому, получив вызов без трех минут восемь, нагло всученный диспетчером за старую смену, Серый не стал доискиваться истины и молча потащил вниз по лестнице медицинский ящик, брякающий шприцами, ампулами и другими внутренностями. Не вызвало у него неудовольствия и то, что будет он работать один, без фельдшера, а дало это известие даже некоторое облегчение. Кто бы еще попался, станется с него и шофера, рыжего Виталия Гусева. С ним бы сладить. Будет Серому полна коробочка гусевских страстей. И крики по части лысой резины и сволочей-частников, что путаются под колесами, и начальника гаража, который ворует и поэтому нет запчастей, и очередей в магазинах, где ни черта не купишь. Будет ропот, если случится брать носилочного, зачем они, носилки, может, клиент ножками дойдет. Будут мучения, если провалится неизвестно куда нужный подъезд. Осадит тогда Гусев машину посередь двора, закурит сигаретку, обопрется на руль и станет безучастно наблюдать, как рыскает Серый по подворотням. А сам нипочем из машины не выйдет. Не сделает лишнего рыжий Виталий Гусев, и будут весь день увертки всякие-разные и, разумеется, снисходительные усмешки по поводу действий доктора. Не любил, не любил доктор Серый работать с Гусевым! И никто с тобой работать не любит, уже забравшись в кабину, сумрачно думал доктор, выдергивая из-под себя твердые шинельные складки и озирая двор подстанции сквозь заляпанное лобовое стекло. Не торопится, сучья пасть, мало, что за ним в шоферскую ходишь! Будто матюгальника не слышит! Еще жди его! Серый утробно шмыгнул насморочным носом, поперхнулся, закашлял. Ну, да ладно. Пусть тешит себя. Пусть скрипит, пусть ругается, пусть он будет главный! Пусть дымит своими вонючими цигарками, пусть прогорел глушитель, и ядовитая сладость выхлопов ползет в кабину. Лишь бы топил, мерзавец, печку! Не положено, видите ли, топить, когда доктор на вызове. Бензина, понимаете ли, уходит много, и получается пережог. А то, что машина остывает, стоит только движок заглушить? Это как понимать? А то, что потом она, дырявая, никак согреться не хочет? И как ему, Гусеву, самому не холодно? Ругаться с ним не станешь, он глоткой все равно возьмет. Глотник, честное слово, глотник! И как ругаться, не может Серый ругаться, мирно должно быть в бригаде, иначе нельзя. Всегда *на бригаде* должен быть мир, без мира невозможно работать. Сутки, они большие! Огромные эти сутки. И Серый вздохнул. Получить бы сейчас дальнюю перевозку, скажем, в Тишково или Михайловское, потуже затянуть шинель, вжаться в угол. И спать, и спать. Ах, послал бы такую перевозочку бог, то есть, диспетчер, сидела бы сегодня на Центре диспетчером Юлька! Она бы для Серого что-нибудь раздобыла. Пусть это будет одна-единственная на всю Москву перевозка.

Но, к сожалению, в месяце марте на «скорой» не разомлеешь. Вызовы прут косяком. Измучены москвичи нескончаемой зимой, побиты. Задыхаются москвичи, жмет сердце у москвичей. Тощ мартовский московский воздушок, беден. И не работала в этот день Юлечка-диспетчер, и не заметил Серый, как стал белый влажный полдень и задышал западный ветер сырым молоком. И обнаружил окончательно отрезвевший Серый, что распускаются вовсю, текут грязные сугробы, что машина стоит в Филях, и сделали они с Гусевым шесть вызовов.

— Ну и ну, — удивился Серый. — Так работать — к вечеру ноги протянешь.

Гусев белесой бровью не повел, сидел букой, навалясь на баранку, кулаки под щеки.

— Тебя не заставляют, — сказал он, уперев взгляд вдаль, к Серому не поворачиваясь. — Сиди на вызовах подольше, как другие. Чай пей. Кто понял жизнь, тот не торопится.

Серый промолчал. Чаю он хотел, и очень хотел, и это было причиной, почему он сегодня так торопился. Чай был ему просто необходим. Ну вот, думал он, навертывая после каждого вызова номер диспетчерской, это последний, сколько можно без заезда, сейчас отпустят. На подстанции наверняка давно выкипают чайники, и нужно-то всего пятнадцать минут, не больше, чтобы заварить в граненом стакане чай, две ложки на стакан, бухнуть туда четыре куска сахару и смочить, обжигая, простуженную глотку, охрипшую от недосыпа, выкуренных с утра папирос и тех советов, что он успел надавать. Но Гусеву он объяснять этого не станет. Потому что гордец Гусев еще пылил в своем самосвале и слыхом не слыхивал, что существует такая «Скорая помощь», когда Серый уже знал все секреты надувательств на линии и свои изобретал. Пусть считает доктора дурачком, рвущимся сделать побольше вызовов. Если ему нигрол ума не прибавил, капая на темечко двадцать лет!

На вызовах сегодня чаю не предлагали, негостеприимные были сегодня вызовы. И, по правде сказать, пустячные, как большинство вызовов вообще на «скорой». Рутинные, как любит выражаться Матюхин. Попросту ни уму, ни сердцу. Вначале на Кутузовском, в голубой шелковой спаленке, щурясь на блики хрустальных кенкетов, Серый терпеливо выслушал прекрасную блондинку сорока лет и уяснил, как она собиралась потерять сознание, но так и не потеряла. Блондинка жаловалась на частые головокружения, а Серый, увязнув в низком плюшевом кресле, покачивал тяжелой головой и пытался сообразить, кому может принадлежать эта квартирка, набитая изящными заграничными штучками, где сияют японские стереоаппараты, и розовые изразцы в ванной оказались такой слепящей красоты, что даже Серый, всякое видавший, пораженно ахнул. Блондинка, с ее кружениями, была кристально ясна, но не желая давать повода для

упреков в невнимании — не дай-то бог! — под настойчивым взглядом мужа Серый тыкал стетоскопом в кружевной вырез и мерял давление. По этой же причине вылез на полированный столик профессор Ящиков, железный, обтерханный медицинский ящик одиннадцатой линейной бригады, с ручкой, замотанной грязненьким бинтом, и был сделан укол, совершенно ненужный. Укол подействовал немедленно, Серый шприца убрать не успел. Блондинке следовало бы сказать, что здоровье она ищет не там, искать его следует в вольных упражнениях и игре в теннис и вообще надо учиться у природы. Но поломанное и залитое йодом нутро Ящикова было так убого, а рукава халата, хоть и свежего, были так безобразно продраны, что Серый от пространных советов воздержался. И все-таки, защелкивая погнутые замки Ящикова, он не утерпел и сказал, что «скорую» можно было не вызывать. Сказал, что говорится, себе дороже. Муж прекрасной блондинки будто этого ждал, взвился. Пришлось гасить и умиротворять. После чего Серый ушел, так и не решив, чья же это квартирка, жулика или честного выездного специалиста, и оставив два обширных отпечатка мокрых ребристых подошв на светлом пушистом китайском ковре. Конечно, в такой квелый час Серый не был готов для подобного расследования, а грубые башмаки, с высокой шнуровкой, выручили на следующем вызове, когда помчались на бывшую Метростроевскую по поводу «человек на улице без сознания», где Серый десантировался из машины аккурат в лужу, подмерзшую, но глубокую. Из этой же лужи вынули раннюю пташку, пьяную головушку. Пса, по скоропомощной терминологии. Пока Серый ощупывал пьяному затылок, пробираясь в сально-мокрых зарослях, тот проснулся и, бурно радуясь, полоснул Серого ногтем по скуле. И снова уснул. Подвели под пьяного запаску, два брючных ремня, застегнули, поднатужились, всунули в карету, под боковые стульчики. Не класть же, в самом деле, такого расписного на носилки! Везли бедолагу в ближайший вытрезвитель, в районе Плющихи. Было еще два мгновенных вызова. Не споря, не возражая, вколол то, что просили. Заработал во втором случае четыре рубля. За то, что не спорил и не возражал. А в Серебряном переулке на Серого обиделась женщина, накануне покушавшая деревенского сала с черным хлебушком, когда он посоветовал ей поставить очистительную клизму, и желательно с ромашкой. Или с тысячелистником, подумав, сказал Серый. Тысячелистник и вызвал обиду. Кишки у женщины, точно, были раздуты, и она орала так, что поначалу Серый заподозрил у нее непроходимость. Однако все кончилось благополучно. Женщина, вдруг охнув, перевернулась на живот, и в комнате раздались такой мощи и такого простора стыдные звуки, что сомнений не стало. Серый, успокоенный, схватился за ящик и сиганул в коридор. Потом все-таки вернулся. Не дыша, открыл фрамугу и дождался, пока женщина, хватаясь за стенку и охая, приплелась из уборной. Тогда Серый помял слегка спавший живот и дал совет. Знаете, береженого кто-то там бережет! Но обиделась.

В Филях, в блочной пятиэтажке, в квартире размером с пятачок на первом этаже, где на кухне жарилась рыба, а в коридорчике сушились пеленки и были сложены дворницкие лопаты, Серый не менее получаса отбивался от соседей древней старухи, желавших, чтобы ее сразу, сию минуту, везли в больницу. Соседи, похоже, муж и жена, оба низкорослые, со странно одинаковым цветом лица, вызывавшим представление о ливерном фарше, бормотали жарко, косноязычно. Перебивая друг дружку, уверяли, что старуха одинока, единственный племянник живет где-то в Текстильщиках, приезжал однажды, полгода назад, и старуха давно бы померла, если бы не они. Не встает уже как дня три. Серый прошел в душную комнатку, с тошным запахом стоялой мочи и никогда не мытым окном, будто в присохших корках. Увидел голую серую лампочку, квадратный стол под блеклой клеенкой, дырявой на углах, стопку грязных тарелок на столе, накрытых смятой газетой, мутный стакан, уснувших мух в стакане. Приподнял хрустнувшую, в сизых пятнах, газету. Шарахнулись в стороны тараканы. В углу, в скомканных серых тряпках, на железной кровати лежала старуха. В головах висели пустые полки киота и была приколота к потекшим обоям бумажная иконка. Возле кровати на крашенном в охру табурете стояла нераспечатанная бутылка кефира. Число было позавчерашнее. Соседи в комнату не вошли, топтались, шептались на пороге. Тело старухи еще жило, но просило одного — чтобы дали ему спокойно помереть. И по-

этому Серый, прикрыв голые ступни простыней, больше в комнатке не задержался, а выйдя в коридорчик и глядя в желтые глаза беспокойной соседки, сказал, что против старости еще лекарств нет, «скорая» с таким диагнозом в больницу не кладет и придется потерпеть пару дней. Успеете комнату занять, ляпнул в заключение Серый и пожалел, что ляпнул, такой поднялся визг. По-видимому, от него ждали другого. Выразить свое возмущение речью низкорослым соседям было трудно, поэтому соседка выкрикивала только два слова — «равнодушие» и «бюрократизм», а сосед открыл себя сразу самым площадным образом, облегчившись фразой: «Чего стоишь важный, как главный хирург!» И еще кое-что сказал. На том расстались.

И теперь машина стояла в Филях, среди тающих снегов, мотор молчал, Серый зяб и мечтал о стакане чаю. Он представил этот стакан, наполненный доверху, с тонкой завитушкой пара над блестящим черным оконцем, в золотых брызгах отраженной электрической лампочки. Скоропомощнику без хорошего чая нельзя, никак нельзя, не вынесешь суток. Если бы люди не научились выращивать чай раньше, его бы придумала «Скорая помощь». «Вообще-то поесть надо, — напомнил о себе Гусев. — В магазинчик заехать». «А что ты покупать собрался?» — спросил Серый, отрываясь от грез. «Как что? — удивился Гусев. — Молочка и колбасы». «Зачем тебе колбаса?» «Как зачем? А что же тогда есть?»

Заехать можно было бы и домой выпить чаю, по пути на подстанцию, но это значило зависеть от Гусева. Напридумывает потом таких своих дел! Сперва в магазин, потом ему понадобится на базу за антифризом, в гомеопатическую аптеку, теще лекарство купить, это черт знает где, в Перове, или сам захочет домой, а живет он в Крылатском. Не понимает человек, что левачить — это доктору дергаться! Кроить время вызова, помнить о линейном контроле. Отвечать в случае чего. И вообще, чтобы иметь такие аппетиты, как у Гусева, надо прежде головой уметь соображать, не только кушать! Летать, как ветер, чтобы домчаться куда угодно за семь минут. И не больше, сурово повторил про себя Серый, и окольными путями, от греха подальше, и чтоб глаза вращались, как радары. Все надо видеть, предусмотреть, упредить. Короче, надо быть асом.

Саднило скулу. Серый отогнул козырек, что от солнца, на обратной стороне было зеркальце. Испачкал руку. Отер ее об шинель. Навел зеркальце на себя. Вспухшая розовая царапина тянулась к носу. Обработать бы перекисью, подумал Серый. «Пойду звонить», — сказал он и, запахнув шинель, пошлепал по снежной каше к автомату. «Ты скажи, что машину надо мыть после пьяни!» — закричал в окно Гусев. Диспетчеру Центра Серый сказал, что кончились шприцы, просил отпустить на подстанцию. Диспетчер, голос незнакомый, запальчивый, ответила, что вызов все равно даст, вызовов полная кошелка, кипятите шприцы сами. Это был запрещенный прием, рассчитанный на зеленого идиота, никаких шприцов никто и никогда на вызовах не кипятил. Диспетчерша свою промашку, видимо, поняла, спеси убавила и попросила в результате, чтобы он поехал на Малую Бронную, хоть посмотрел, что там с мужиком семидесяти лет, у которого заплохело сердце, уже второй раз звонят. «Если что, вызывайте на себя, а потом — без отзвона на подстанцию!» «Ладно», — сказал Серый, заранее испытывая жжение в животе оттого, что придется объясняться с Гусевым. Тот рассвирепел однозначно: «В сортир сходить некогда! — И грубо дернул рычаг скоростей. — При такой работе все шофера скоро разбегутся! Пашешь, пашешь и все плохой! Что я — казенный?» «Все мы — казенные», — резонно отвечал Серый отвернувшись. Мотор взревел, рявкнул и осекся. Рафик, скакнув с места, замер. Серого бросило вперед. «Потому и вызывают без конца, что бесплатно! — Гусев снова включил зажигание, загремев ключами. — Распустился народ, разбаловался! Все хотят ни хрена не делать, а побольше хапнуть! Точно — Сталина на них нужно!» «Это на тебя Сталина нужно, — с неприязнью к обоим думал Серый. — Потому что ты печку не топишь и бензин воруешь!» «Рубль бы стоило, не вызывали почем зря!» «Ладно, Виталий, поехали!»

По дороге на Бронную, под вопли Гусева, сочувственно подхмыкивая и глотая кислую слюну, Серый думал о том, что вызовов действительно становится с каждым годом все больше, но процесс этот неумолим. Днем оно не страшно. Что день на «скорой»? Взмах ресниц. А ночами теперь

невозможно. На последних сутках он сделал двадцать пять вызовов, совсем не ложился. И нет сил работать на полторы ставки, на износ работа. Ломовая работа, что говорить. И легче не будет, как ни увещевай, как ни советуй. Почему — пусть решают социологи. Ясно одно — сама жизнь хоть и стала лучше, но стала тяжелее. Днем рвут душу людям, ночью люди рвут душу «скорой». И не от зла рвут. А от страха умереть. Цапнет ли боль за сердце, ухнет ли колокол в голове, перекосятся ли в глазах стены, или зажмет живот кто-то в крепкий кулак, мечется несчастный обезумевший человек, и кудахчут бестолково вспуганные родственники. И в неодолимом единственном стремлении этот страшный страх на кого-нибудь сбросить хватаются за телефон. Разные были люди за его скоропомощный век, долгие девять лет на «скорой». Но всем было страшно.

В большинстве это все-таки были женщины. Одинокие, мучаемые бессонницей, сердцебиением, головной болью и тоской. Для них живой голос ночью, пусть хриплый, пусть грубый, — облегчение. Капризных жен разного начальства лечил он, и юных истеричек, и настороженных пожилых матрон. И старушек в неописуемом количестве, старушек, с окаменевшими от магнезии ягодицами, но мечтающих еще об одном уколе, потому что другой помощи они не знают. Эх, старики, старики! И они хотят жить, пусть уверяют сколько угодно, что отжили свое и пора на тот свет. Нет. Никому на тот свет не хочется. И этой сирой бабке, что умирает в филевской клоповной каморке, тоже не хотелось, пока она могла видеть свет в немытом окошке. Вспомнилась разоренная божница, дырки в стене, черные полоски на обоях, там, где были края икон, ржавый гвоздь с клочком бечевки. Представились золотушные соседи, как они перетаскивали иконы к себе и прятали. Или племянничек из Текстилей руку приложил? И вынес вместе с обручальным кольцом и старыми настенными часами?

Снова накрыло Москву грязным одеялом. Посыпался дождь, забил костяшками по жестяной крыше. Запруженный Кутузовский проспект свистяще шипел, будто сжатый пар вырывался из мокрого асфальта. «Ну и мразь!» — сказал Гусев. Заскрипели по стеклу черные резинки очистителей, стирая быстрые светлые ручейки.

К кому он только не приезжал! К старым и малым, худым и толстым, горбатым и красоткам, ипохондрикам и неудачливым самоубийцам, и к алкоголикам в похмелье, раковым больным, диабетикам, температурящим, кашляющим, задыхающимся, наркоманам, большим начальникам и маленьким чиновникам, заслуженным артистам, торгашам, обожравшимся иностранным туристам, милиционерам, скромникам, бузотерам, наглецам, сутягам... Да что там перечислять! Всем им было страшно! Разные они были. Но честные, добрые, те реже вызывали. Таким стыдно лишний раз потревожить. В страхе за свою жизнь только и открывает человек свое нутро. Гол человек, если он в страхе! Мысль, конечно, не новая. Но встречаться с этим, мягко говоря, не всегда приятно. Даже, казалось бы, когда можно торжествовать. Как было с тем атлетом, автомобилистом, что корчился на широкой арабской тахте и шептал: «Помогите, доктор, помогите!» Серый сразу его узнал, красивого, белокурого, мощного. И, методично выслушивая, а потом аккуратно ощупывая, не пропуская ни одного квадратного сантиметра этого удивительно развитого тела, говорил себе так: «Вспомни! Ну, вспомни, того человечка, то ничтожество, которое пыталось перейти однажды теплым августовским утром Садовое у Калининского проспекта. Там светофора нет, и поток машин непрерывно накатывается на переход. Вы катите и катите, но редко кому из вас взбредет в голову остановиться, чтобы пропустить пеших людей, что тесно скопились на островке и жмутся, и не решаются ступить на мостовую. Нет, тебе не вспомнить, как стал перед тобой автобус, уступая великодушно дорогу пешим, и они заторопились, суетливые, как ты выскочил из-за автобуса и снарядом понесся в этих пигмеев. Ты торопился, супермен! Тебе надо было срочно по каким-то делам! Сколько же вас, деловых, с неотягощенной душой, развелось в нашей многострадальной Москве! Может быть, ты помнишь только, как один из пигмеев, отпрянув, хлопнул по блестящей крыше твоей новенькой «лады» и закричал: «Что ж ты творишь, гад!» Это был я. Ты оглянулся, запоминая, свернул за угол, затормозил и первым долгом, выскочив из машины, ощупал кузов. Теперь я тебя ощупываю

и, клянусь «Скорой помощью», делаю это не менее заботливо, потому что какой ты ни есть паршивец, но потроха у тебя могут быть с гнильцой. Белый халат удивительным образом меняет внешность человека, впрочем, если бы ты не бросался от ужаса по тахте и не закатывал глаз, может ты бы меня и узнал... А тогда, братец, ты бы мог меня убить, если бы тебе сказали, что наказания не последует. Ты и тогда испугался. Свидетелей испугался. Старика, что стучал на тебя клюшкой. И других, которые были вокруг, грозили и охали. Было бы это ночью, в темном месте... Как ты тогда тряс кулаками! Помнишь, что ты кричал? «Тварь! Тварь!» Сейчас ты кричишь: «Доктор! Доктор! Делайте же что-нибудь!»

Серый помнит, как, уносясь тогда в троллейбусе от злополучного перекрестка, повторял в ярости одно: «Ну, попадешься мне! Вызовешь «скорую»! Вызовешь! Рано или поздно!» И вот, вызвал. И ничего. Он был здоров, атлет тридцати пяти лет, Серому ровесник, а шарахался, как вспугнутый таракан, из-за своей распущенности, не умея совладать с собой, и, не умея совладать с собой, задыхался от страха. И не было у Серого ни омерзения, ни сладчайшего чувства собственного превосходства. Слабенькое злорадство он испытал, конечно, увезя красивого в больницу, на другой конец Москвы. Попросил, чтобы дали больничку подальше. Надо полагать, из приемного его выгнали после осмотра. Следовало бы всадить ему кубиков двадцать магнезии послойно, по методике фельдшера Алика Жибоедова, оставить память на всю жизнь. Когда-то, по неразумной молодости, так бы и сделал. Затих бы сразу, будьте уверены! Да что-то мешало наказать наглеца. Потому что сказано было: «Не вреди!» Эх! Эх!

Мокрая Москва уползала назад. Места, где он знает все дома по номерам, все дворы, изученные до последнего мусорного контейнера, все подъезды, этажи, лифты. Стал считать, сколько вызовов он сделал в своей жизни, если исходить в среднем, ну, скажем, из семнадцати-восемнадцати за сутки. Семнадцать помножить на одиннадцать, это в месяц, потом снова на одиннадцать. Это в год. Но тут же сбился и решил, что когда-нибудь этот подсчет обязательно осуществит. Надо было ехать через Калининский, на Смоленке сейчас затор. Но Гусев направил рафик по Дорогомиловке, к Бородинскому мосту. Пусть. Как знает. Дождь иссяк, и будто похолодало. Славное времечко для «скорой»! Серый попытался увидеть, охватить Москву как бы сверху, космический овальный пирог, с живой шевелящейся начинкой, от Медведкова до Теплого Стана, от Борисовских прудов до Рублева. И везде «скорые», «скорые», барахтается скоропомощное племя. По мокрому и скользкому, по снежной мешанине, через хляби переулков пробираются замызганные, в коросте кареты. Во лбу выросты. Фара-крест справа и фара-крест слева. Рога. Снуют рогатые, рыскают с вызова на вызов, с вызова на вызов. В рогатых — разные-всякие. Совсем юные или заматерелые, как он сам. Пылкие романтики, и алкаши, и честняги трудолюбивые и терпеливые. И попросту талантливые врачи. И глубоко запрятанные человеконенавистники. И вороватые. И такие, и сякие. Масса. Частенько не шибко грамотные, частенько грубые, хамоватые. И сами больные. У кого язва желудка, у другого радикулит, гипертония, геморрой. Простуженные, дохающие, в прокуренных кабинах. Как хотел Серый раньше, давным-давно, рассказать людям, что такое скоропомощные сутки! Чтобы почувствовали люди двадцать четыре часа вызовов, почти не слезая с колес, давай, давай, тащи, вези! О десятых этажах без лифта в четвертом часу утра, о налитых ногах-колодах, когда свалился на кресло, а тебя снова трясут, давай, давай! О жестяном холоде ночной зимней машины, когда зубам не остановиться от дикой ознобной пляски. Как звереешь сам, потому что сколько раз на день ты был облаян, обматерен! Как об этом рассказать? Как рассказать о пьяни с разбитыми харями, о крови, вони, о руках по локоть в дерьме, о всей драной человеческой изнанке, которую никто не подумает скрыть от скоропомощного врача, а, наоборот, постарается запихнуть ему в глотку? Как об этом рассказать тем, кто завидует его работе? Скажите, пожалуйста, сутки отработал и двое дома! Двое суток дома! И почти триста рублей! Вишь как! Деньги получаете большие, так не жалуйтесь! То обстоятельство, что зарабатываем мы, так сказать, себе на похороны, можно не учитывать. Не всякий выдержит, кто за денежками к нам бежит. Пока выслугу наездишь,

кровью захаркаешь. Людям рубль в чужом кармане червонцем кажется. Соответственно, в своем они червонец видят рублем. И поместить себя на место другого люди обожают. Им, людям, это ничего не стоит. Они это делают запросто, с большой охотой. Языком. «Я бы на вашем месте...» Не думая, не понимая, не подозревая, что быть на месте другого — самое трудное в мире умение. Недостижимое!

Даже, если бы он мог рассказать обо всем этом и всему миру, изменить ничего нельзя. Но рассказывать никому и ни о чем не придется. Это бессмысленно. Вопи сколько угодно, что ты тоже живой человек и невозможно так больше работать, — вызовов меньше не станет, человеческую натуру не переделаешь. Тебе посочувствуют, люди жалеть умеют. Но не больше. Потому что самое главное — это страх за свою жизнь. И когда они тебя вызывают ночью, чтобы посоветоваться насчет слабительного, и ты трясешься, негодуя, и в ответ на свое негодование слышишь рассудительно-обиженное: «Такая у вас работа», — конечно, это издевательство. Но сама по себе фраза совершенно справедлива. Такая у нас работа. И в конечном итоге людям есть до тебя дело только как до врача. Поэтому нечего пузыриться по поводу напрасных вызовов, нечего бушевать. Люди всегда себя любили. Бушевать — это разрывает, разоряет и лишает разума. Смирись и прими. Потому что человек имеет право на страх. Человек право на страх имеет.

Вы-то, может, и разбежитесь, думал Серый, поглядывая на гусевский длинный профиль. А мне деться некуда. Я ездил и буду ездить, пока инфаркт сердце не надорвет или инсульт не перекосит. Но ничего! Москва прекрасна в любую погоду, и сутки эти когда-нибудь кончатся. И тогда он приплетется домой, в теплый и тихий полумрак утренней квартиры.

Этого не видит никто. Он закрывает за собой щелкнувшую дверь, опускается в прихожей на стул, ставит рядом сумку. Добрался. Движения его медленны, заморожены. В голове еще вспыхивают протуберанцы, ухают взрывы — канонада отработанных суток. Распускает с натугой шнурки на одном башмаке, затем — на другом. Ставит башмаки под вешалку и сидит, раскорячившись, как беременная на девятом месяце, шевеля сросшимися пальцами ног. Теперь спешить незачем. Стаскивает куртку. Сдирает носки, приклеенные к ступням, свитер, воняющий потом, бензином, табаком и дезинфекцией, и затвердевшую под мышками рубашку. Сбрасывает брюки, снова открывает входную дверь и вытряхивает свитер, куртку и брюки: мало ли каких насекомых можно было набраться. И клопов привозили на подстанцию, и вшей. Развешивает одежду в прихожей, пусть проветрится. Линолеум студит воспаленные подошвы. Нагишом, покрываясь гусиными пупырышками, идет в сортир. Мерзнет последний раз за сутки. Предвкушая, зная, что сейчас он ошпарится под душем. Долго трется грубым мочалом, снимая с себя невидимую коросту, вопит от восторга. А впереди — еще горячий, сладкий, самый сладкий в мире чай... И наконец, постель, открытая, зовущая, какой оставил ее давным-давно. Вчера. И он не уснет. Нет. Он упадет в сон, как в море.

А когда проснется, то два белых денька будут принадлежать только ему.

До Бронной они не доехали. На Смоленке, в автомобильной пробке урчащей и хрюкающей, перекрывая скрежет тормозов и лязг трайлеров, заверещал мультитон, на его табло выскочила огненная семерка, и означало это, что вызов надо немедленно прекращать и срочно звонить на Центр. «Ага! Что-то случилось! — ликуя, воскликнул Серый. — Давай, Виталий, быстро к гастроному, звонить!» Семизначный номер Центра был долго занят, и Серый набрал ноль три. Действительно, какое здоровье надо иметь, чтобы «скорую» вызвать, думал он, слушая нетерпеливо длинные гудки. «Чаем не поможете «скорой»? — спросил он, пленительно улыбаясь женщине-администратору. «Утром торговали, — ответила она, — сейчас узнаю в столе заказов. Вам какой — индийский?» «Индийский, цейлонский, какой будет!» Женщина-администратор по селектору звонила в стол заказов. Чай был. «Сколько вам?» «Сколько дадите», — радуясь нечаянной удаче, отвечал Серый. «Маша, — закричала администраторша. — Маша!» Вошла в комнатку пожилая техничка, в синем, обтянувшем

вислый живот халате. «Маша, возьми доктору в заказах чаю. Пять пачек хватит?» «Больших?» «Больших, по девяносто пять». «Конечно! Спасибо большое!» «Давление померяете?» — спросила техничка. «Обязательно, только быстро. Ждите меня у машины. Вот деньги». Ответил, наконец, Центр, и старший врач велел гнать во Внуково, вернее, на Киевское шоссе, где свалился самолет. «Аварийная посадка, Виталий!» — закричал Серый, открывая кабину. Ах ты, господи! Бинты надо проверить! Бинтов было три — один большой и два маленьких. Серый вздохнул, оглядывая карету. Грязное одеяло, то, что мерещилось ему с утра, на самом деле горбилось на носилках, располосованных по всей длине и зашитых дратвой; опрокинутый на затоптанный пол, отдыхал распахнутый наркозный аппарат, с одним баллоном вместо положенных двух. Второй баллон, предназначенный для закиси азота, торчал из серванта. Баллон оказался пуст. Опять, скотина, высосал! Закись азота потихоньку употреблял для веселия Адольф Сабашников, работавший на одиннадцатой в очереди с Серым. Дососется когда-нибудь, корсар! Как дрова, были свалены под носилками шины, зашитые в оранжевые клеенки. Стояла большая плоская банка из-под селедки, куда Гусев и его сменщик собирали всякие нужные железки. Серый покопался, нашел стерильную простыню. Ладно, на месте разберемся! Не привыкать! Врубай, Виталий, маяк! По Киевскому шоссе неслись рогатые, жались к обочинам частники и прочие грузовики, отогнанные мерседесом автоинспекции. Вспыхивали синими огнями проблесковые маячки. Рогатые рвались вперед. В восторге от гонки не выдержал кто-то из молодых, взрыд сирены раздался на шоссе. Гусев шел на восьмидесяти. Давай, Виталик, свои же обгоняют, поторопись! Гусев хмыкнул: «Куда торопиться? Трупы возить?» Из своей машины, светло-серой волжанки, махал всесильный главный врач «скорой» Сутулов. Быстрее, быстрее! Уже виден был черный дым за тучами. Горело высоко, густо. И, наконец, наткнулись на длинную очередь рогатых по обочинам шоссе. И только встали, только Серый выскочил из машины, чтобы все разузнать, смотрит, ведут под руку парня в летной расстегнутой куртке, голову парень держит, но как-то набок, а ноги не идут, ноги волочатся. Подтащили. Одну ногу парень занес на подножку и как бы задумался. Нехотя поддался Серому, позволил поднять себя в карету, посадить в кресло. И задумчиво смотрел на переборку перед собой, не двигаясь, ничего не говоря. «Как его спросить?» — думал Серый. Но не спросил. «Виталий! — сказал решительно. — Топи карету!» Гусев молча включил движок. Серый придвинулся к парню, привычно поддергивая рукава, начал осматривать. Когда положил ему руки на плечи, тот дернулся, простонал, даже не простонал, а пискнул. Серый закатал ему на спине рубашку и куртку. Кожа была содрана широко, наискосок, от плеча до поясницы, но крови почти не было. Серый взял пузырек с перекисью, соорудил томпон, обильно смочил рану. Перекись текла, шипела, пенилась розовым. Парень не двигался, будто и нет его здесь. Закаменел. Белели редкие волосики, на виске склеенные мазутом. Дверь открывалась, всовывались скоропомощные, любопытствовали. Эх, бедняга, чем бы тебя оживить? И тут Серый понял, что нужно сделать. Сунулся в сервант, в заветный гусевский ящичек. Нашел стакан. Вынул пузырек со спиртом, оказалось граммов двадцать, не больше. Открыл карету. Скоропомощные стояли тесно, талдычили, курили, ждали своей очереди. Все сразу посмотрели на Серого, а он молча влез в соседнюю карету, распахнул ящик, вылил в стакан весь спирт. Подбежал хозяин, все понял, стал Серому помогать. Набрали в четырех каретах около ста граммов. Серый подумал, плеснул в стакан еще валерьянки, отбил носики у трех ампул с глюкозой, вылил содержимое в стакан, разболтал. Протянул стакан парню. Тот принял стакан согнутой рукой и задержал, не пил. «Пей, пей!» — ласково сказал Серый. Парень выпил, как пьют воду. Серый сунул ему в рот сигарету, зажег спичку, парень не мог поймать пламя. Рука крупно дрожала, размахивалась кисть. Потом все-таки прикурил, лицо зарумянилось. Ну вот, загудел Серый, теперь все будет хорошо. Парень затряс головой. В дороге он начал рассказывать. Назвал себя и сказал, что он бортмеханик. Рассказал, как шли на Антее из Афганистана, восемь человек. Заходили на посадку, на первый дальний круг. И Серый не понял, во что врезались, в горку или в линию электропередачи. Очнулся в какой-то темной яме, выполз из самолета, увидел, что коман-

дир лежит рядом, мертвый. Побрел наугад людей искать. Кто-то ехал мимо по полю на грузовике, подобрали его. В больнице, указанной диспетчером, бригаду ждали. Сестра побежала за врачом. Пришел седоватый, с мягкой улыбкой, лет пятидесяти. Спросил: «Что делали?» — когда сестра повела бортмеханика в туалет. Серый, очень довольный своей врачебной тактикой, возьми и расскажи. Седоватый сразу засушился. «В таком случае, — сказал он, — я обязан взять кровь на алкоголь». У Серого вспотели ноги. А седоватый уже кричал в глубь приемного: «Таня, Таня!» «Кранты! — ужаснулся Серый. — И бортмеханику, и мне! Сколько нужно времени, чтобы спирт всосался?» И не мог вспомнить. Может, еще ничего и не покажет? Пытался уговорить седоватого. «Поймите! Это единственное, что могло помочь!» Седоватый, вежливый, обаятельный, не соглашался ни в какую. «Таня! Таня! — голосил он. — Кровь на алкоголь!» Спасение пришло неожиданно, в виде запевшего мультитона. Серый рванулся к телефону и чудесным образом тут же дозвонился до Центра. «Пострадавшего перевезти в Склифосовского», — сказал старший врач. «Не надо! — самым издевательским образом рявкнул Серый сонной Тане, тянувшей бортмеханика за рукав. — В другой раз возьмете!» Он схватил бортмеханика в охапку и потащил из приемного. То, что седоватый в Склиф звонить не будет, Серый знал наверняка. Такие осторожничают до конца, дальше двери своей не тявкают. И даже вслед не грозят. Не будет он звона поднимать. И вредным испугается быть, на всякий случай. В Склифе про алкоголь никто не заикался. Серый на всякий случай дождался, пока бортмеханика поднимут в палату. «Телефон я тебе оставлю, мало ли, — сказал он бортмеханику на прощанье. — Если что, я тебя валерьянкой отпаивал, она на спирту, а это уж мое дело, сколько в тебя влить. По крайней мере мне навешают, не тебе».

2

Накануне дежурства Серый запоздно сидел у Васька Стрижака, неразливного скоропомощного друга. Жарили картошку с луком традиционно и судили-рядили, как всегда, о служебных делах. Говорили между прочим, что Матюхин, выбивая подстанцию в передовые, безусловно и прежде всего преследует шкурные цели. «Естественное для человеческой натуры движение, — рассуждал Серый, жуя жгучий картошечный комок и гася его пивом, — заботиться о своей карьере, и было бы оно похвально, если бы не страдал народ». «Естественное, — усмехался Стрижак, — но только не для нас с тобой, потому что мы ленивы. А без дисциплины с этой оравой не справиться. Плохо, что Матюхин различий не делает, всех под ноготь!» Серый, давясь картошкой от смеха, сказал, что Матюхин отныне требует встречать его стоя, когда он входит на утреннюю конференцию. «Иди ты! — удивился Стрижак, три дня не бывший на подстанции, у него выдался большой перерыв. — Хотя все правильно. Восточный царек. Маленький Сталин. И методы соответствующие. Такому только дай власть!» «Жибоедов рассказывал, — продолжал Серый, — Матюхин хвастал у себя в кабинете, что подстанция у него в кулаке. Что хочу, то и сделаю!» «Еще сделает! — воскликнул Стрижак. — И покажет вам такое!..» «Почему только нам?» — удивился Серый. И сказал, что у Матюхина есть все основания ненавидеть Стрижака, поскольку тот со своей бригадой кардиореанимации, вносит в коллектив заразу неповиновения. Это было узкое место на подстанции. Бригада кардиореанимации, старшим врачом которой был Стрижак, гордость «скорой», номинально Матюхину не подчинялась, только имела на подстанции стоянку. Матюхину это давно не нравилось, и который год он старался от реаниматоров с их спесью избавиться. «А мы снимемся, в случае чего, и уйдем на другую подстанцию!» — сказал Стрижак. Сползли на тему усталости. Серый посетовал на нехватку фельдшеров, на то, что нет времени, сил и желания самому приводить машину каждый раз в пристойный вид, бегать за всеми этими наволочками, тряпками, прикручивать баллоны, выпрашивать, убирать. Кой черт! Надоело! «Если бы ты меня слушался, — сказал Стрижак, — давно бы работал нормально, в чистой теплой машине и фельдшера бы у тебя были и слушались с полужеста». Это тоже была старая тема. Стрижак ругал Серого за нежелание работать привилегированно, **на спецах**. Стрижак видел за этим лень. То, что Серый не может ничего путного сказать в свое оправдание, Стрижака раздражало в крик. «Неужели ты настолько ленив! — орал он каждую встречу за картошкой с луком. — Что не можешь пройти эти дурацкие курсы! Перестань, наконец, жевать тряпку! Напиши только заявление!» «Заскучаю я у вас», — отвечал всякий раз Серый. «Тогда не плачь!» Помолчали, глядя на остатки картошки в сковороде, затянувшиеся пленкой сала. «Сейчас комиссии замордуют», — вздохнул Серый. «У Матюхина, между прочим, самое меньшее по Москве среднее время вызова. Ты это знаешь?» — спросил Стрижак. «Знаю, — ответил Серый, — пятьдесят восемь минут. Но полковник теперь хочет пятьдесят пять!» «И выбьет! — сказал Стрижак. — Загонит вас в вечный страх и выбьет!» «Ладно, хватит об этом, тошнит!» — поморщился Серый. «К отличнику здравоохранения представили, — засмеялся Стрижак. — Сокол! А какой ханыга был!» «Какой был, такой остался, — ответил Серый. — Только перестроенный. Взяток, говорят, теперь не берет и ханку на подстанции не жрет... Не понимаю, как это — перестроенный? Против натуры не попрешь». «А так, — кривясь уголком рта, сказал Васек. — Подонок был, подонком и остался!» «А мы с тобой кто?» — машинально спросил Серый, вытягивая из стакана остатки пива, и потянулся за ветчиной. «Мы?.. Мы, Антоша, затравленные и грубые звери! А ты к тому же и глупый зверь, коли на спецах работать не хочешь!» «Ты в следующий раз лук прожаривай получше, — ответил Серый, — а то какая-то каша у тебя получилась!» «Лук пожарен прекрасно, — фыркнул Васек, — но ты в этом ничего не понимаешь!» «Ну, конечно, ты же всегда прав!» «Да! Я всегда прав!»

За чаем повздыхали, вспомнив выставку в Сокольниках, где была сказочная американская аппаратура. Ругали врачебные журналы, потому что совсем нет статей, нужных практикам. Стрижак сказал, что его статья об аритмиях в редакции лежит полгода, и никакого движения. Серый рассказал, что в приемнике Первой градской видел потрясающее — инфаркт миокарда у женщины двадцати двух лет. Стрижак оживился и, в свою очередь, рассказал о японском дипломате с картиной заворота кишок, у которого тоже оказался острый инфаркт. Потом с работы вернулась Галка, жена Стрижака, ругала их, хотя на столе стояли всего четыре пустых бутылки, три из-под пива и одна чекушка. Выпив чаю, Галка немного успокоилась и сказала, что сделала сегодня два кесаревых, что никто родильным заведовать не хочет, все умные, она, идиотка, согласилась временно, и четвертый месяц с нее сдирают живьем кожу, сестер нет, санитарок нет, в отделении снова стафилококк, хотя на мойку закрывались всего месяц назад. За такую сумасшедшую работу надо валютой платить, подытожила Галка. Снова заговорили о бешеных нагрузках, скотских условиях, и тут Стрижак высказал мысль настолько простую, что Серый удивился, как он сам раньше ее не сформулировал. Васек сказал, что общество должно на себя накладывать известные обязательства по отношению к людям, давшим клятву Гиппократа, то есть присягнувшим всегда, в любое время, днем и ночью, приходить к другим людям на помощь. Если человек добровольно принял этот крест, сказал Васек, то он и требует особого к себе отношения. «Как это верно!» — думал Серый, возвращаясь домой в пустом последнем трамвае. Щадить надо врача, хотя бы помнить о том, что ты не один и после тебя врача ждет еще десяток-другой напуганных. Мы хнычем: «Будьте людьми! Помните, что мы тоже люди!» А дело, оказывается, в общественном обязательстве. Но какую же культуру надо тогда людям иметь! Неужели Васек до этого сам дошел? Или вычитал где-нибудь у старых врачей?..

Когда время переваливает на восьмой час дневных полусуток, голова у ночного человека уже просветлена и начинает соображать и усталости пока нет. В машине думается хорошо, был бы путь подлиннее. Жуешь всякое. Себя, других, жизнь. Ездишь и жуешь. А встречи на вызовах подбрасывают подкормку. На то они и встречи.

Формула Стрижака потеряла блеск простоты, когда Серый по пути на подстанцию вспомнил прекрасную утреннюю блондинку с Кутузовского.

К ней сразу же прицепился таксист с Шелепихи, вызывал на прошлых сутках в два часа ночи, потому что сильно потел и никак не мог заснуть. С общественным обязательством, вздохнул Серый, придется, по-видимому, повременить. Впрочем, рассудил он, общественное обязательство было бы применимо исключительно к настоящим, крепким профессионалам, к таким, положим, как Васек или Галка. Что делать с другими? Что делать, например, с доктором Облызиным, роддомовским официальным дураком? Двадцать лет врачебного стажа, не угодно ли! На этот раз, рассказала Галка, он принял физиологическую восьминедельную беременность за миому матки, довел беременную до обморока. Стрижак с Серым даже не улыбнулись. С Облызиным случалось и почище! Трудно себе вообразить, как далеко простирается человеческая глупость. Представьте, еще рвется оперировать! И режет. Лихо. Это он любит. Кошмар! Ну, ладно. Официальный дурак есть, конечно, в каждой медицинской конторе. Его нелепые диагнозы передаются из поколения в поколение, его беспощадно высмеивают, его презирают скопом. Он необходим врачебному сословию для самоутверждения. Но самое интересное, что с большей страстью и злее других смеются над официальным дураком его ближайшие родственники по интеллекту — недоумки. С ними как быть? Какое там общественное обязательство! «Не приведи господи у нас заболеть! — ужасался вчера Стрижак. — Когда на сто недоумков — один толковый врач!» «Может, сбавишь?» — спросил невинно Серый. Раньше Стрижак называл другую пропорцию — десять на одного. «Да ладно тебе! — рассердился Васек. — Каких-то кочерыжек готовим, а не врачей!» «Зато нас в стране миллион!» — сказала Галка. «Малограмотных, заносчивых», — продолжал Васек. «Малограмотных, оттого и заносчивых, — поправил Серый. — Кому же тогда валютой платить?» «То-то и оно», — грустно ответил Васек.

Гусев бубнил что-то про колбасу, в которую для веса суют туалетную бумагу. Может быть, все дело в том, что люди имеют таких врачей, каких заслужили?

В четыре часа неожиданно обломилась подмога. В этом факте не было теперь ничего досадного. Разогретый Серый не возражал против общения. Наоборот, поговорить тянуло. Если бы еще удалось выпить чаю, залить изжогу, мучившую после обеда. А обедали отвратительно, щи были такие, что в тарелку плюнуть хотелось. Вываренное мясо, очевидно, из этих же щей, что Серый жевал на второе, выплюнуть все-таки пришлось. На третье пили компот из сухофруктов и дышали запахом столовским. Утерлись бумажными салфеточками, выданными в знак особого расположения к «скорой» уборщицей, собиравшей на тележку грязную посуду. Уборщица, багряная сеточка на щечках и голубые мешочки под глазами, пошутила насчет спиртика, но была не понята. Обедали, не объявляясь, то есть не брали у диспетчера положенные на обед двадцать минут. За это время путем пообедать все равно невозможно. Приходится с извинениями, но упрямо втираться в очередь, объясняя по ходу недовольным, что другого выхода нет. Белый халат, некоторым образом, служит подтверждением твоих слов. Иногда в очереди находится борец за гигиену, протестующий против обслуживания в спецодежде. Но как без халата докажешь голодным и оттого не особенно приветливым людям, что ты врач «скорой» и со временем у тебя зарез? На слово могут не поверить. Или директора вызовут в зал. Чтобы убрали прытких, нахальных, которые считают себя умнее других. А то в оперативный отдел позвонят, что само по себе неприятно. Будешь потом отписываться. На «скорой» всякая вина виновата. И на часы все поглядываешь, глотаешь, не глядя, не чувствуя, хватаешь, как хищник. Потом, разумеется, тяжелый ком в брюхе. Нудит. Одним словом, нервы. Поэтому проще пообедать спокойно под какой-нибудь большой вызов с госпитализацией. Может же врач в приемном задержаться? Впрочем, иногда в приемное звонят те, кому нужно, проверяют. Но сказано: «Не рискнешь — не добудешь!» Головой работай, рассчитывай! А пообедав, попроси положенные двадцать минут и вернись на подстанцию, и выпей чаю, и расслабься в кресле.

Серый так и сделал. «Обедать будете, конечно, на подстанции? — куражась, спросила диспетчер, когда из столовки он позвонил на Центр и доложил, что сдал пострадавшего и находится в приемном Склифа. «Непременно!» — ответил Серый. И получил десять минут на дорогу и двадцать минут на обед. Единственное, чего он не учел, — остывших чайников. А электроплиты, к сожалению, греются долго. Серый выругался, включил конфорки и пошел расслабляться в кресло, поклявшись, что со следующего вызова, как угодно, вернется и чаю выпьет.

На подстанции он застал три бригады, обедающие, похоже, таким же образом, что и он. В диспетчерской, на связи с Центром, нежданно, не в свою смену, водрузилась гренадерша Зинаида Бережная. «На гвардейца деланная!» — завистливо утверждал Жибоедов. Серый, который вообще к толстым людям относился осторожно, при виде Зинаиды каждый раз как-то поджимался, ожидая от нее пакости. Зинаида перебывала чуть ли не на всех подстанциях Москвы. Было известно, что ее отличительная черта — хамство, а также, что она бывает удовлетворена полностью лишь в случае, когда последняя бригада изгоняется ею на вызов. Зинаида управлялась с сотрудниками круто. Единственная из диспетчеров она ночью объявляла вызовы через микрофон, по инструкции. По скоропомощным понятиям это была редкая бестактность. Другие девочки подойдут, в полутемной комнате отдыха разыщут нужного, подергают его, тряхнут в конце концов, если крепко заснул, но тихо, чтобы не разбудить остальных. От прекрасного контральто Зинаиды просыпаются ночью жильцы соседнего кооперативного дома работников искусств. Зато в Зинаидины сутки Матюхин может спать дома спокойно, бригады на вызов вылетают, как стрелы. Все заметит Зинаида. О выпитой на линии бутылке пива и говорить не приходится, тотчас унюхает, а унюхав, или сама заклюет до полусмерти, или донесет наутро Матюхину, если сотрудник ей не по зубам.

Зинаида на этот раз резвилась в диспетчерской, увеселяемая кем-то из молодых докторов, и смех ее был отрывист и гулок, как собачий лай из бочки. В том, что Зинаиду тешат, не было ничего удивительного, с диспетчером положено заигрывать, от него многое зависит, и с кем работать будешь, и теплая ли попадется машина, и хороший вызов, например, дежурство на хоккее. Насторожило Серого другое. Зинаида будто бы не замечала фланирующих по коридору бездельников, а была ненатурально оживлена и готовно дружелюбна, как в те дни, когда она пришла на подстанцию и завоевывала расположение. И Серого встретила такой бурной радостью, что он понял — здесь дело нечисто. А после того, как Зинаида закричала: «Антон Сергеич, у меня для вас сюрприз! Только вам даю, хорошенькую девочку и симпатичного мальчика!» — Серый понял, что на Зинаиду снова жаловались за хамство и, похоже, будет разбирательство. По-видимому, и Матюхину она становится в тягость. «В шесть примете ночную бригадку, Антон Сергеич, — говорила Зинаида интимно. — С кем работать хотите?» Серый ответил, что ему безразлично. Он-то помнил все. «Не дай бог! — подумал. — С тобой лучше не связываться!» «И на Староконюшенный позвоните!» — вдогонку Серому крикнула Зинаида. Хорошенькая девочка оказалась Таней Семочкиной, недавно пришедшей после училища, а симпатичный мальчик — субординатором на практике, Мишей, его Серый видел впервые. В Староконюшенном, в родительской квартире, жила с дочкой Катей жена Серого, Лида. Она звонила на подстанцию редко и никогда женой не представлялась, не желая, как догадывался Серый, попасть в глупое положение. Этого Зинаида не знала, иначе бы не сказала: «Ох, доктор, доктор, не доведут вас поклонницы до добра!»

Серый пошел во врачебную, размышляя, что же могло случиться в Староконюшенном. Лег в кресло, сполз пониже, вытянул, раскинул ноги. Глаза прикрылись сами, как у куклы. Зинаида ворковала по трансляции, одну за другой выкликала бригады. Серый остался во врачебной один. «Пора заканчивать эту бодягу с Лидой, — думал он, — и ее отпустить, чтобы не было на мой счет никаких надежд, и самому освободиться». В последнюю их встречу, на масленицу, когда в Староконюшенном жарили блины, она, подвыпив, сказала Серому: «Хватит дурью маяться! Не дети уже, дочка растет!» Короче, или он возвращается, и они живут, как люди. Или пусть катится! «Нам приходящие отцы не нужны!» Так и сказала: «Нам». Серый топтался, что-то канючил. У Лиды в голосе появилось просящее. «Мы хорошо заживем, Антоша! — заговорила она торопли-

во.— И Катьке будет хорошо!» И ему тоже. Хватит чужие углы снимать. В Староконюшенном места всем хватит. И кабинет ему будет, если он надумает наконец диссертацию писать. Серый знал, почему Лида решилась на этот разговор. В последний год стали чаще видеться, и все праздники вместе, и с Катькой гуляли вместе, истаяла та закованность, в какой приезжал раньше к Катьке, когда грозные отзвуки прошлых ссор бродили в каждом уголке старой бельэтажной квартиры. И была Лидина неприязнь, и ее родных. Потом заболел Лидин дедушка, за ним как-то сразу ее отец, и Серый лечил обоих, делал уколы, заскакивал обязательно на дежурствах, если не мог сам, гонял Стрижака, других ребят. Тогда и потеплело в Староконюшенном. И Катька потянулась к нему, видя отношение матери, даже стала им гордиться. Серый радовался, что Катька не чувствует себя обделенной. Пуще всего боялся Серый комплекса неполноценности у дочки. Но была все-таки неуверенность, что это благолепие надолго. И вот, Лида потребовала немедленного ответа. Он мычал, на что-то ссылался, пока она не рассердилась: «Пошел к черту!». Серому было страшно лишь одно. Что он не сможет видеться с Катькой. Дома он самым серьезным образом думал. Может, правда, надо возвращаться? Может, Лида права? Катьке восемь лет, и разве важно, из-за чего они с Лидой расстались? Кого это теперь волнует? Но в то же время все так далеко зашло, что страшно потянуть хотя бы за одну из веревочек этого заросшего паутиной клубка. В репродукторе зашуршало и щелкнуло. Серый обреченно, с закрытыми глазами поднялся, зная, что это Его шуршание и Его щелчок, и уже в коридоре услышал вкрадчивый голос Зинаиды: «Антон Сергеи-и-ч, у вас вы-ы-з-а-а-в!»

Навстречу в накинутой шинели, размахивая карточкой вызова, спешила Таня. «Карету я вымыла,— говорила она на ходу,— наволочку поменяла, только газы не заменила, там гайки не откручиваются, но баллоны новые взяла». И она сунула Серому под нос скоропомощный дефицит, гаечный ключ, и прошептала, как о тайном: «Бережная дала под честное слово!» «Семочка,— сказал Серый, называя Таню так, как ей особенно нравилось,— ты умница». Он потрогал все еще саднившую скулу. «Промоешь на вызове?» «Кто же это вас?— вскричала Семочка.— Кошка или жена?» «Пес,— смеясь, ответил Серый и пошел к выходу.— Зови, Семочка, этого субординатора».

Мальчик Миша, вытребованный Семочкой из конференц-зала, где он наблюдал рыбок в аквариуме, предмет забот и наслаждений Матюхина, предстал неторопливый, с русыми усиками и улыбкой, принятой Серым поначалу за проявление стеснительности. Но последующий разговор показал, что мальчик Миша не так прост. Прежде всего он занял в карете кресло, оттеснив Семочку на боковой стульчик, что само по себе Серому не понравилось. Потом, опять же улыбаясь, он сказал, что у него «цикл «скорой», прислали его на неделю, и осталось, слава богу, два дня. «Неинтересно?» — спросил Серый, обернувшись. «Почему же, любопытно,— отвечал Миша.— Но уровень, простите, фельдшерский». «Верно,— согласился Серый,— уровень примитивный». «Зачем вы на себя клевещете, Антон Сергеич?— воскликнула Семочка.— Я же знаю, как вы работаете! Всякие будут здесь!..» «Работа, конечно, нужная,— сказал Миша, игнорируя Семочку,— но меня в принципе это не интересует. Хотя, ежели работать на «скорой», то на спецах. Там хоть что-то делается!» Миша говорил взвешенно, закругляя слова, видно было, что он хочет говорить значительно. «Полон сил,— подумал Серый, с любопытством разглядывая, как двигаются Мишины усики,— полон сил, ни капли сомнения на лице, и полон достоинства, о котором не забывает ни на минуту. Ах ты, мальчик, мальчик!» «Может, я вас обидел?— вдруг спросил Миша.— Я просто хочу понять, кто работает на «скорой!» «Неудачники!— буйно расхохотался Гусев.— Кто же еще!» «Что ты сказал?— закричала Семочка.— Повтори! Я не слышу!» «Ты, Семочка, помолчи»,— попросил Серый. «Простите,— снова подал голос Миша.— Вы давно на «скорой»?» «Давно»,— ответил Серый. «И вам не надоело?» «Надоело». «Почему же не уходите?»

Что ответить Мише, Серый не знал, смешался. Превосходство, с каким юнец задавал вопросы, и собственная растерянность взбурлили его. Он бы с удовольствием впечатал эту улыбочку в переборку. Стоило протянуть руку! Вопрос: «Почему он на «скорой»?» — задавали Серому миллион, миллион и еще один раз, и смысл вопроса всегда следовало понимать так: «Почему вы не идете дальше? Выше?» Отделывался он обычно шутейным образом, вроде того, что отравлен «скорой», или еще как-нибудь. Он-то знал, почему он на «скорой».

В данном случае шуточка не выходила. Не получилось пошутить. Потому что снова вылезло поганое нутро «скорой». Рваные носилки, гусевская ветошь, торчащая из серванта, нелепая жестянка с гвоздями... Прижучил его слюнявчик. Язвило. И то, что сказал наглец Гусев. И то, что все видит Семочка, для которой он пока недосягаемый кумир.

Поэтому Серый заставил себя рассмеяться. Рассмеялся и раздавил душевное копошенье. Как окурок. Сел вполоборота к Мише и спросил его, куда он распределился. «Я наукой буду заниматься»,— ответил Миша. «Наукой — это хорошо»,— одобрил Серый. «Да,— сказал Миша,— у нас в семье врач — специальность наследственная». «Но, знаешь,— сказал он развязно-доверительно,— лечить — это меня никогда не интересовало. Больные, честно говоря, давно надоели, особенно бабок выслушивать по два часа». «Что ж ты в медицинский поступал?» — спросила враждебно Семочка, которая мечтала стать врачом. «Тебе же Миша сказал — науку делать!» — возразил Серый. «По блату!» — сказала Семочка. «Я с третьего курса на кафедру психиатрии хожу! — сказал Миша.— Так что не совсем по блату. У меня кандидатская практически готова». «И чем же ты занимаешься?» — спросил Серый. «Кровью. Исследую кровь при шизофрении. Антитела, другие иммунные факторы, биохимию. Много всего». «Это хорошо,— повторил Серый.— Пробирки, они не ноют». «И не лают»,— сказал Гусев.

На вызов поднимались пешком, дом был трехэтажный, без лифта. Впереди Семочка, за ней Серый, а последним, с ящиком, Миша. «Слушай,— сказал он по-свойски Серому, придержав его. Серый остановился.— Ты же интеллигентный человек, это сразу видно! Почему ты не хочешь уйти со «скорой»? Некуда? Хочешь к нам, в лабораторию? Я могу помочь!»

— Я, Миша, в прошлом интеллигентный человек,— сказал Серый, улыбаясь резиновой улыбкой.— Ты вот что... Миша. Мы с Таней на службе, деньги зарабатываем. А тебе чего с ящиком таскаться? Сейчас вернемся, ты и топай домой. С диспетчером я договорюсь.

— Да вы что, доктор! — вскрикнула Семочка.— Я же одна останусь с шести! Вас же отсадят! Пусть ящик носит, нечего! Когда он профессором станет, будет мне чем перед внуками похвастать! — Она засмеялась и пошла вверх, и в подъезде гулко отозвались ее слова: «В телевизоре показывать на него буду, глядите, этот профессор у меня, простой санитарки, ящик таскал!..»

— Когда я стану профессором, Танечка,— закинув голову, сказал Миша громким, красивым голосом,— у тебя еще внуков не будет.

— Станешь, старик, станешь,— сказал Серый, продолжая путь по лестнице.— Все у тебя будет. И диссертация, и кафедра.

— Я без вас знаю, что будет! — в спину Серому сказал Миша. И больше разговор не возобновлялся.

Осталась досада, кислая и пекучая, как изжога, что сжирала глотку. На вызове попросил воды из-под крана, глотнул, немного отлегло. Прима-чивая ваткой с перекисью скулу, Серый сидел в кресле, смотрел, как Семочка чистенько делает внутривенное. Взглянул на Мишу, тоже сидевшего в кресле, по другую сторону комнаты. Слюнявчик листал журнал, поглаживая кончики усиков двумя пальцами, большим и указательным. Происходившее в комнате его явно не касалось. Происходило не бог весть что, обыкновенный приступ бронхиальной астмы. Виден и слышен он от двери, содержимое профессора Ящикова известно давно, поэтому с таким приступом справится любой скоропомощный фельдшер. «В сущности,— думал Серый,— слюнявчик мне показал, что я быдло. И я съел. Но досада не оттого, что съел. Не гордыня запоздало взыграла. Ни обиды нет, ни зависти. Бить нечем, вот в чем штука, козырей нет! Чем гордиться? Рваной шинелью? Или тем, что я псов из луж вытаскиваю? Так нас и называют Моспогрузом! Впрочем, мы и не возражаем. Моспогруз, так Моспо-

груз! А мы — его санитары, грязненькие халаты. И мы свое дело туго знаем. Плохо одно, что мы копошимся в грязи в силу или необходимости, или своих принципов, или обреченности, или лени, а они, пружинистые, гребущие под себя, напором лезут на самые верха врачебной иерархии. С тем чтобы потом никогда оттуда не слезать, раз зацепившись. Обеспечить себе блеск, славу, деньги. Умствовать, декларировать, печатать разный бред, участвовать, указывать, поучать нас, командовать нами, санитарами. Бросать нас в пекло, затыкать нами дыры, заставляя работать на дрянных, вонючих машинах, без нужных препаратов, с ржавым железным ломом. А они тем временем с олимпийских высот, как кинозвезды, раскланиваются перед телекамерами, сладко обещая самое новейшее, надежнейшее, наиэффективнейшее. За что потом расплачиваемся мы и те несчастные, что этого сладкообещанного ждут, а получают по-прежнему магнезию в задницу. Потому что медицина на самом деле не там, где уникальный и недоступный Олимп, она — в рогатом, с прогоревшим глушителем, и в этой комнате, где свистит легкими старый астматик.

А нам остается уничижение паче гордости. Мы свое познанное умение втайне сознаем и свою исключительность — тоже, оттого себя санитарами и называем. Никуда не лезем. Конкуренции пружинистым Мишам не составим. И это плохо.

Но как лезть? Это же стена! Чтобы наверх подняться, многое надо отдать и многим поступиться. Сколько раз хвост поджать! А сколько глоток перегрызть! Нет. Лучше пьянь грузить.

Работать почище, конечно, хочется. Но почему я не могу подойти к Матюхину и сказать: «Довольно, дорогой заведующий, мне мотаться на б ы д л е, возраст не тот, пусть мотаются молодые, с меня довольно. Пора переводить меня на спецы. На неврологии есть вакансия, я хочу ее занять, хочу, как скоропомощной аристократ, спать ночью свои четыре часа!» Что мешает мне сделать хотя бы это? Нежелание впасть в зависимость? Всегда существует зависимость, когда есть что терять. С санитара много не возьмешь, когда он б ы д л о в ы й. Можно лишить совместительства. А я сам собрался перейти на ставку. Нет, и на спецах его зависимость была бы кажущейся. Не лень же в самом деле, как утверждает Васек? Смешно! Что же? А ничего! Помоги этому астматику и — баста!»

Одышка у старика затихала, он благодарно качал головой. Пошла мокрота полным ртом.

— Теперь теплого молочка, — сказал Серый, считая пульс. — Теплого молочка и желательно не студиться. «Чертов слюнявчик! Почему он так мне мешает? Неужто я боюсь его насмешки?»

Старик, наконец, отплевался и сказал сиплым голосом:

— Только на вас и держимся, родные! Если бы не вы, не знаю, что делали! Каждый день вызывать приходится.

«А чаще мы слышим другое, — подумал Серый. — Пока вас дождешься, умереть можно!»

— Весна, — сказала Семочка, звеня шприцами. — Время такое.

— Двадцать лет мучаюсь, — горько пожаловался старик.

— До утра, думаю, хватит, — сказал Серый, слушая угасающие в легких хрипы. — Если что, вызывайте.

— Господи! Да разве я лишний раз побеспокою? Знаю ваш хлеб! У меня самого племянница на «скорой».

Семочка оживилась, выспрашивала про племянницу, а Серый пошел звонить Лиде, страшась предстоящего разговора привычным страхом. Знакомо замирая в ожидании Лидиного раздражения, набрал номер. Лида была суха, колка. Естественно, он не прав, потому что не появляется и не знает, что Катя больна. У Кати высокая температура, страшное горло, и участковый педиатр ни черта не смыслит. Естественно, Лида разрывается. Мать в Кисловодске, отец в командировке, у нее самой на работе конь не валялся. Он должен немедленно приехать, а завтра сидеть с Катей. Серый ответил, что приедет обязательно, как только вырвется. Он повесил трубку и подумал, что Лида долго не простит себе масленицы. Диспетчеру звонить не стал, хотя до пересменки оставался час с хвостиком, и можно было сделать еще вызовочек. Но решительно хотелось избавиться от Миши. Поэтому он сказал Семочке: «Все! На подстанцию!»

— Еще один! — взмолилась Семочка. — Есть же время!

— Нет! — сказал грубо Серый. — На подстанцию! Чай пить.

Ехали молча. Снег горизонтальными нитями летел вдоль машины. Проспект стал свеже-белый. Выскочили на Дорогомиловку, повернули под зеленый свет налево. Сделали еще поворот, и серая двухэтажная коробка подстанции высунулась из-за угла.

— Ни одной бригады, — сказал Гусев.

Но ошибся Гусев. На выбеленной снегом площадке дворика одна машина стояла с распахнутой боковой дверью, и в ней что-то делали. Когда разворачивались, Серый заметил торчащие из кареты ноги, согнутые в коленях, поддернутые брюки и черные модные сапоги на пряжках. Когда подошли поближе, то увидели подозрительную возню. Крохотная фельдшерица с акушерской бригады боролась с мужским непослушным телом, затягивая его внутрь кареты. Тело было явно живое и тяжелое, оно издавало стоны и даже пыталось помочь, подбирая под себя ноги, желая оттолкнуться от земли, но оскальзывались ноги, взрыхляя свежий снег.

— Значит, грузим? — осведомился Серый, заглядывая в карету. И с ужасом понял, что другого выхода, чем гнать в ближайшую больницу, нет, и чай снова сорвался. «Клиент дуплится!» Крохотуля, увидев Серого, счастливо ахнула. Пожилой мужчина, грузно кренясь, оседал к ее ногам, сползал на спину. Мимолетом мелькнула на заднем стульчике женщина в каракулевом черном манто, с сумочкой на сдвинутых коленях.

Серый заорал вслед уходящему Гусеву:

— Виталий! Давай носилки!

— Чего? — издали прокричал Гусев. — Без нас, что ли, не справятся?

Серый замахал руками, что-то изобразил на своем лице, это был и призыв к Гусеву поторопиться, и знак, что не может он громко сказать, в чем дело, и страстное желание, чтобы Гусев замолчал и не услышала его женщина в каракулевом манто, выбиравшаяся в это время из кареты.

— Одну минуту, доктор, — сказала она. — Муж — заслуженный человек. И депутат. Надо позвонить в четвертое управление, и вам скажут, куда ехать.

Серый яростно на нее взглянул и, не дожидаясь, пока Гусев разберет, что к чему, побежал к своему рогатому за носилками.

Заслуженный человек был действительно тяжел. Носилки под ним выгнулись, раздался предупредительный их треск, и Серый успел представить, как человек вываливается на снег. Несли втроем. Две ручки — Серый, и по ручке досталось Гусеву и Мише.

— Таня! — крикнул Серый, закатив носилки в карету и отряхиваясь. — Готовь капельник! — И наткнулся на каракулевую женщину.

— Я его жена, вы поняли? — сказала она. — Он очень заслуженный человек! Вот телефон четвертого управления.

— Какое управление! — рявкнул Серый. — Вы что! Ничего не понимаете? — И ринулся в карету, командуя: «Насос, Сема, давай насос!»

Он наложил манжетку на ратиновый рукав, закачал резиновую грушу. Давление было по нулям. Не было давления. Тужась, стали стягивать пальто. «Заслуженный» синел лицом, дышал мелко и сбивчиво, глаз не открывал. Серый поднял веко, зрачок поплыл вверх. Высвободили, наконец, руку. Вену Семочка нашла сразу. Наладили капельницу, напрыскав полиглюкину на пол. Руки от полиглюкина слипались.

— Давай в резинку мезатону кубик, — сказал Серый, щупая пульс. — Виталий, поехали! Поехали, тебе говорят! Врубай гудок!

— Какой гудок! — отозвался Гусев. — На ремонте сирена. Чинят.

В карету скреблись. Серый толкнул дверь ногой. Это была забытая каракулевая женщина. Рядом стоял Миша, дергая усик. «Мне с вами?» — спросил он и усик отпустил.

— К шоферу! Быстро! — прокричал Серый каракулевой. А от Миши отмахнулся: не до тебя!

В таких случаях не знаешь, появится пульс или нет. И если он появляется, то всегда неожиданно. Тонкая нить запрыгала под пальцами минуты через три. Подвесили банку с полиглюкином к штативу, пытались стянуть второй рукав, чтобы ввести еще одну капельницу, но безуспешно.

— Рукав бы разрезать, — сказал Серый, обращаясь к каракулевой.
— Как разрезать?
— Не снимается рукав!
— Нет, уж вы, пожалуйста, снимите!
Снимали следующим образом. Семочка держала руку с введенной в локтевую вену иглой, поворачивая неподъемное тело к себе изо всех сил, а Серый, согнувшись, чтобы не пробить головой крышу, стаскивал пальто и пиджак. Посопели и стащили. Ввели вторую иглу. Дружно закапал полиглюкин из двух банок. Нитка под пальцами Серого прыгала отчетливей. Он накачал грушу, открыл вентиль, осторожно спустил ртуть. Нитка задергалась на шестидесяти.
— Недурственно, — сказал Серый.
Семочка восхищенно ему улыбалась. И в это время мужчина шевельнулся, и его рука поползла вверх, перебирая пальцами, как бы что-то нащупывая.
— Осторожно! — взвизгнула Семочка и ухватилась за его запястье. — Вену пропорете!
Открыв глаза, мужчина пытался что-то сказать. Получилось бульканье.
— Что? — наклонился к нему Серый, и услышал отчетливое: «Бумажник...» И еще раз, громче: «Бумажник!»
Каракулевая, сбив шапочку, просунула голову в карету.
— Что? — спросила она, выгнув брови. — Что?
— Бумажник ваш муж ищет, — ответил Серый.
— Константин, не волнуйся! — раздельно-громко сказала каракулевая. — Деньги у меня!
— У жены ваш бумажник, — пояснил Серый.
— А шапка? — спросил мужчина шепотом, и Серый обнаружил, что голова у него облысевшая и не прикрыта.
Полезли искать под носилки, где и нашли, к задней двери закатившуюся нежного пыжика шапку, и отдали ее жене.
— Шапки нынче в цене, — сказал Серый и одернул Семочку, которая давно шипела: «Господи! Господи!» — и выразительно смотрела.
— За капельниками смотри, — сказал он строго. — И преднизолону еще дай сорок.
— Я ввела уже!
— Еще введи! — взревел Серый.
Подъехали к приемному, взвились на эстакаду. Серый выскочил за каталкой, оставив Семочку присматривать за капельниками. Вывез тяжелую, гремящую каталку, толкая ее впереди себя, с налета каталкой открывая двери, одни, вторые, третьи. Переложили старика на каталку. С введенными иглами это была морока. Покатили, минуя приемник, держа высоко поднятые на гибких трубках банки. Опустились на грузовом лифте в подвал. И поехали по тусклому бесконечному подвальному переходу в терапевтический корпус, оглушающе громыхая железным ходом и подпрыгивая на выбитых плитках. В терапевтическом корпусе долго трезвонили, пока пришел лифт со знакомым инвалидом-лифтером. Приседая на хромую ногу, лифтер ретиво помогал, говорил беззлобно: «Все возите, возите!..»
Когда вкатились в интенсивный блок, мужчина стал икать. Давление снова падало. Прибежал кардиолог, послали за реаниматором. Мужчину увезли в палату. А Серый, записав, как положено, фамилию дежурного врача, подтолкнул Семочку к выходу.
— Шапка, по-видимому, заслуженному человеку больше не понадобится, — сказала Семочка неиавистно.
— Похоже, что так, — ответил Серый и полез за папиросами. — А, впрочем, как бог распорядится, так и будет.
В холле все так же, в шубе и шапочке, сидела каракулевая дама, воспитанно-прямо, на краю кресла. Увидев Серого, она поднялась.
— Вы уверены, что сделали все, что нужио? — спросила она.
— Мы уверены, — отвечал Серый, — что сделали все, что могли. — И хотел уйти.

— Постойте! — сказала каракулевая. — Это очень плохая больница?
— Это обыкновенная больница.
— Вы сказали, что он лечится в четвертом управлении?
— Нет, — ответил Серый. — Можете сказать об этом сами. Только придется подождать. Дежурный врач сейчас занят с вашим мужем.
— Вы произвели на меня хорошее впечатление. Как ваша фамилия?
— Санитар — моя фамилия, — помедлив, сказал Серый и ушел, не слушая, что ему вслед говорит каракулевая.
Семочка догнала Серого на боковой лестнице и, втиснувшись между ним и стеной, старалась идти рядом, ступенька в ступеньку. «Ну и люди! — говорила она. — Знаете, Антон Сергеич, почему я люблю с вами работать? — спросила она, беря Серого под руку и заглядывая ему в лицо. — Потому что вы со всеми одинаковый!»
Серый хмыкнул.
— А все-таки мы молодцы! Довезли живого! Но какие люди! Противно! Лечи таких! Я не знаю, что бы таким сделала!

Следовало бы сказать Семочке, что делать таким ничего не нужно. Привыкать надо, Семочка, молчаливо соглашаться с тем, что человек может быть и спесив, и нагл, и жаден, и коварен, и подл, и стараться этого не видеть. Девственное твое возмущение понятно, но нельзя ему поддаваться, заведет далеко. И может стать со временем стойким презрением к людям. Как ты их тогда лечить будешь? По качествам души? Я пытался это делать когда-то, Семочка, и поплатился так, что вспомнить тошно. Но до всего надо дойти самому. Чужой опыт не поможет. И учителей в наше время нет. Помни одно: мы не судьи другим, потому что сами люди. Душа противится? Терпи. Другого выхода все равно нет. Знаешь, был такой в древности врач, звали его Маймонид. Он сказал, что самое трудное — видеть в обратившемся за помощью только больного, невзирая на то, каков он. И просил бога лишь об этом. Эх ты, Семочка, добрая душа! Я помню, как ты плакала, когда на Кропоткинской раздавило ногу старушке. Вышла из дома старушка за хлебом, закружилась склеротическая головка, и сшиб старушку грузовик. Жалко? Конечно, жалко. Я видел, как ты маялась животом, оттого только, что у больной был острый аппендицит. И у меня такое случалось, и я маялся, поверь. Но эта жалость, как бы точнее сказать, первого порядка, что ли, обыкновенная человеческая жалость, свойственная многим людям. Она недолга. Пожалел, пожалел, и пошел дальше, к своим заботам, своим делам. Говорят, профессионализм убивает во враче жалость. Такую жалость — да. К боли, крови и страданиям привыкнуть можно. И я привык. Если бы я умирал с каждым больным, меня бы уже давно похоронили. И ты, если не сбежишь, привыкнешь, потому что в нашей работе ты будешь видеть только боль, кровь и страдания. И эта привычка даже помогает смотреть ясно, оценивать трезво, соображать быстро. Дается она почти всем врачам. Труднее другое. Как несравненно труднее! Прощать и жалеть. Прощать, чтобы жалеть. Годами наблюдая человеческие пороки и первобытные инстинкты и страдая от них. Всех жалеть подряд, не делая различий, жалеть от своего опыта, зная о них все. Ты представляешь? Например, проникнуться жалостью к человеку, который в своей жизни сам не только никого не жалел, но ненавидел, завидовал, за что-то мстил, с наслаждением карал, истязал. Проникнуться жалостью к его физическим страданиям, к тому, что он человек. И так, чтобы он в это поверил. Что он для тебя сейчас единственный и неповторимый, и ты жалеешь его, возлюбя. Это, Семочка, жалость высшего порядка, настоящая врачебная жалость. Но достигают ее ох как немногие! Я, например, к ней лишь стремлюсь и прошу об этой высшей милости, как Маймонид. Трудно, Семочка! Себя трудно не жалеть! Да при нашей собачьей работе, когда никто не щадит. И когда у самого нутро клокочет ответить ударом на удар. Что я тебе говорю? Сама уже понюхала наши скоропомощные ночи! Это верно, что врач должен уставать. И он всегда уставал, во все времена. Но уставать он должен от работы, а устает прежде от свинских условий, в какие загнан.

А если еще из тебя подавили ливер в метро, по пути иа работу, в автобусе пытались оторвать голову от тулова, и ты же притом оказался виноват? Если накануне обложили в прачечной, чтоб не важничал, ты не особенный, всем белье так стирают, в гастрономе продали скисший творог, в столовой накормили отравой? Что делать, если сосед внизу бузотерит и не дает выспаться перед сутками, и милиция не желает с ним связываться, и в исполкоме тебя отщелкнули, не дали комнату, и не жди, и ошельмовали, так как ты, по их мнению, шибко права качаешь, если ты считаешь копейки, чтобы купить чаю, потому что отдал алименты, отвалил стольник за квартиру, что снимаешь? И везде приходится просить, просить, просить, возможно, своих же завтрашних пациентов...

И озирая родную Москву, и сторонясь тяжело бегущей по московским улицам, с вытаращенными на витрины белыми глазами, задыхающейся толпы, вынюхивающей финские сапоги, голландские пальто, костюмы из Парижа и сырокопченую колбасу за одиннадцать пятьдесят, ты понимаешь: надо переступить через тебя, чтобы заполучить новую паршивую тряпку, — будьте уверены, растопчут. А назавтра ты надеваешь белый халат, и кто-то из этой толпы шпыняет тебя клятвой Гиппократа.

Тяжелы, Семочка, ризы высшей нравственности!

Снег перестал. Смягчился воздух, подобрел. Смерклось. Усталость нашла на Серого. Это была пока черновая усталость, когда затяжелела шинель, и набрякшие ноги слегка подрагивают. Настоящая усталость будет позже, сутки лишь начинаются. Ничего такого он Семочке не скажет. При всей своей трепетности Семочка еще не поймет. И не принято о таком говорить. Думать можно. Но думать вредно, как справедливо утверждает Васек Стрижак. Мы что? Мы — служба быта. Мы кто? Мы — санитары. Нам о морали некогда думать. Мораль для нас — роскошь.

3

В далекую пору, в лупоглазой юности, когда много говорили о золотом памятнике, что поставят избавителю человечества от рака, Серый мечтал стать академиком. Разумеется, после того, как он сотворит пресловутую вакцину. В своих нетерпеливых устремлениях парень на меньшее согласен не был. И отводил на сотворение десять лет, то есть до тех пор, пока ему стукнет тридцать. Казалось, что, если не успеет до тридцати, жизнь потеряет всякий смысл. Но почему-то казалось, что успеет. Ах, какая все-таки сильная штука — юная гордыня! Бешеная, на разрыв! Сейчас, когда он мерзнет в своем бело-красном и рогатом, трудно вспомнить себя тогдашнего, глупо-гениального, без тени юмора отстаивавшего право медицины называться наукой. «Какая же это наука — хихикал маленький физик Боря Зельцер, школьный друг-приятель, которому Серый отводил теоретическую роль в своих исканиях. — Какая же медицина наука, если в ней нет и на грош математики! Вы, медики, ставите множество опытов, старательно описываете, подводите итоговую черту и делаете туманный вывод. И называете это наукой! А не можете даже на шаг, на малую толику времени, прогнозировать! Медицина, Антоша, самая что ни на есть эмпирическая дисциплина!» Серый обижался, пылко говорил о синтезе клиники и эксперимента и разную голубую и розовую чушь. И представлял шеренги больных, излеченных его вакциной. Строго говоря, мечты тогдашнего времени были аморфны. Но мечты на то и мечты, чтобы быть неконкретными. Не давала покоя лучевая болезнь. Примешивалась какая-то сельская больничка, несомненно, вычитанная, в коей он будет поначалу работать, лечить, все подряд оперировать. Сейчас трудно вспомнить, но потрясающее открытие как будто должно было совершиться именно в ней. С тем чтобы потом в Москве доложить о потрясающем. Может быть, со скромной целью — защитить кандидатскую диссертацию. Виделись трибуна, с которой он докладывает, растянутые в изумлении рты ученых. То, что следовало потом, вызывало у Серого сильное головокружение, и он яростно впивался в необъятные медицинские учебники. Но как было однажды справедливо сказано: «Не смейтесь над юностью!» Тем более что потом пришлось страдать.

Под давлением ли многих томов, изученных за годы учебы, от огромного ли количества программ и экзаменов или само время пришло, но к курсу четвертому мечты Серого не были такими размашистыми, сузились, оконкретились. Оказалось, что всю медицину не охватишь. В смятении Серый начал понимать, что для одной головы ее слишком много, тщательно можно отрабатывать лишь какой-то ее узел, надо выбирать. Расползалось представление о себе, как о потенциальном спасителе человечества. Но самым ужасным открытием было то, что катастрофически испарялась непогрешимость медицины, ее божественность. Восторга от белого халата не было, он стал привычен. Так же, как блеск хрома и никеля, жесты и пассы, латинские твердые слова и возможность заглянуть человеку в открытое брюхо. Все то, что казалось тайным, доступным избранным, вызывавшим зависть, священным. По коридорам клиник семенили хроники, которых почему-то никак не могли вылечить. Здоровенным мужикам, с непонятными болезнями почек, скармливали килограммы гормонов, и от этого они лишь жирели, лысели, покрывались гнойными пузырями. А истории болезни бесстрастно констатировали улучшение состояния, улучшение состояния, улучшение состояния... На кафедрах шла борьба имен. Каждое имя, влезая на кафедру, поднимало свое знамя — кто не с нами, тот против нас! Каждое имя утверждало свою классификацию той или иной болезни, соответственно, и лечение, и профилактику, отторгая, отвергая и ниспровергая предшественников, или соседей с других кафедр других институтов, или разные прочие иногородние имена. На них нельзя было ссылаться, их монографии находились под запретом, их учебники были недействительны. Здоровье человечества, оказывается, зависело от того, чьи распорядки, ранжиры или таблицы чьего имени будут утверждены на земле. С кафедр в студенческую аудиторию падали весомые рассуждения, звякала мельхиоровая ложечка в стакане сакраментального профессорского чая, а в отделении травматологии было, как в подвале инквизиции, — сверлили в костях дыры, вставляли на много месяцев железные гвозди и спицы, спускали гири, колеса, стучали молотки. В общежитии дзенькала гитара, и забубенные второгодники пели медицинский «гоп со смыком»: «Стар и мал идет лечиться, переполнена больница, и откуда черти их несут!» И еще: «Если врач неверно скажет, сразу секция покажет, патанатом — лучший диагност!» Серый хватался за воздух, все больше сомневаясь в том, с чего начал когда-то, — со всемогущества. Пусть не сегодняшнего, но завтрашнего — обязательно. Мастэктомия, которую профессор Кабанов произвел тридцатилетней красавице по поводу опухоли молочной железы, Серому душу вытрясла на всю жизнь. Он и сейчас помнит и никогда не забудет, как шлепнулось в белый эмалированный таз то, что было красой женской, как мощно выдирал профессор волосатыми лапами гроздья лимфатических узлов из нежной подмышки, а ее еще и кастрировали, эту женщину, муж которой рыдал на парадной лестнице, когда шла операция. Она бы не жила без операции, это Серый понимал. Но как же можно кричать о всесилии, важничать, выгибать грудь, умничать, если мы делаем такие операции и ничего толком не в состоянии вылечить? Серого будто разрубили мясницким топором сверху вниз, от макушки до самого паха. Не первая любовь стала причиной первой бессонницы, а ужасная по своей крамоле мысль: кому нужна такая медицина? Но позволь, в то же время говорил в нем добросовестный студент, задавленный весомыми рассуждениями авторитетов и ученым многотомием, какое право имеешь ты, недоучка, так думать? Поражался и стыдился. Но все, что сделано? А высоты? Антибиотики? Туберкулез победили? Победили. Где чума? Где холера? Ну, допустим, холера дала вскоре прикурить, и туберкулеза потом хватало. Но искусственные сердечные клапаны, спасенные дети! Слепые, увидевшие свет! Пожалуй, на этом игры в стетоскопчики-фонендоскопчики кончились. Появилась, росла тревога.

Сомнение, как известно, эмбрион мысли, что-то должно было родиться. Что-то начало нарывать. Во всяком случае, больше он не доказывал, что медицина может ответить на все вопросы, и, когда в очередной раз, на дежурной вечеринке с девочками, его стал доставать Зеля, он не бросился в спор, а уныло ответил: «Мало мы что можем. Разве затянуть пару дыр. И то пластырь отсохнет». Было пораженное молчание. Лида

тогда уже существовала. Она и воскликнула: «Батюшки! Что делается! У Антошеньки юмор прорезался!» Не со зла, конечно, воскликнула, от природной веселости. В их компании было принято постулатом, что Серый хоть и будущая звезда хирургии, но чувства юмора лишен напрочь. Лида была смешливей и остросповней других, но податлива, когда они оставались вдвоем, послушна. Поэтому Серый прощал ей язычок. И главное, она была красива. И свежа, не то, что сейчас. Она была узколицая, с высокими скулами, делавшими ее похожей на Вивьен Ли, узкокостная, но статная, с рыжей густой гривой ниже плеч, Серый бурно любовался ею. А позже, когда он поделится с Лидой своими невеселыми раздумьями, она очень за него будет переживать. Близкий человечек, родной, с нежностью думал тогда Серый. И меньше, чем через год, они поженились.

От операционной тем временем его как отшибло, хотя раньше лез ассистировать при первой же возможности, руку набивал. Ближайшее последствие того случая с мастэктомией вылезло как протест против проникновения в человека ножом, даже необходимого, даже спасающего жизнь. Протест, которого Серый не понимал до конца. Смутно чувствуя теперь в резании человека что-то трагическое, он боялся сделать кожный разрез, не говоря о чем-то более серьезном. Нет, не стать ему хирургом. Не стать.

В палатах он тогда не засиживался. Выслушивать жалобы больных не умел, нетерпеливый. Отвечать на жалобы было нечем, опыта не накопил. Изощряться в диагностике, что казалось раньше высшим полетом врачебной мысли, было нелепо. Зачем? Все равно лечение одно и то же. И лечить в будущем не очень-то хотелось. Какой смысл? Выписывать патентованные таблетки могут другие.

До выпуска оставалось два года, но о грядущем распределении на курсе талдычили вовсю. Лида говорила: «Делай, что хочешь, но мне кажется, что устраиваться надо. И на всю жизнь». О сельской больничке Серый уже не мечтал. Летняя практика на сельской ниве показала, что лучше все-таки после института остаться в Москве. Поэтому надо было дело делать. Наследственность у Серого была небогатая. Какие могли быть связи у сына демобилизованного майора из Малоярославца! Активы надо было добывать самому. К тому времени он уже как год ездил в одну лабораторию. И это была не просто лаборатория, а замечательная лаборатория. Начинал Серый в ней, верный принципу синтеза клиники и эксперимента, а с некоторых пор решил, что хорошо бы туда и распределиться. К чести Серого надо сказать, что был он в замечательной лаборатории не мальчиком на побегушках, а делал, как говорится, часть общей темы, по какой причине его освободили от обязательного посещения лекций. Было еще научное студенческое общество, на которое Серый ходил со второго курса. Само по себе оно немного стоило, но могло стать вспоможением на распределении. Выбирать не приходилось. В-третьих, была факультативная группа экспериментальной медицины, скороспелая выдумка профессора Шидловского, решившего обучать будущих врачей высшей математике с биофизикой и прочим «кибернетикам», чтоб двигали медицинскую науку. И конкурс был, чтобы попасть на этот факультатив. И какой! Ну, хоть не пугался потом Серый при виде знака интеграла, и на том спасибо. Но все-таки это был еще один актив. Других не было. Ничего ровным счетом не следовало из того, что сдал досрочно и, действительно, здорово экзамен по терапии и удостоился рукопожатия профессора Тарновского. После летней сессии улучил удобную минуту и доверительно говорил в лаборатории с шефом. Выложил наконец свои идеи по части вакцинации против рака, что еще тлели в нем. Последнее, что осталось от голубых и розовых мечтаний. Но оконфузился, как первачок. Ничего такого гениального он, оказывается, не придумал, все было известно, опробовано, представьте себе, давно опробовано, и ни шиша из этого не получилось. Шеф смотрел на Серого взглядом заинтересованным. Но что значит заинтересованный взгляд, если от темы аспирантуры шеф уклонился? Ни восторга, ни обещаний, так — ерунда какая-то. Равнодушно благословил на раздумья. И все. Позже Серый узнает, что на единственное аспирантское местечко метили ребята, у которых активы были посильнее. Там все решало, кому больше в колыбель положили.

Отпраздновали конец учебного года в кружке при кафедре. В складчину купили сухого вина, бутербродов и пирожных, и профессора Тарновского пригласили. Плешивенького профессора облизывали со всех сторон, перебивая друг друга, не подступиться. Шестикурсник с известной всем хорошим хозяйкам фамилией Молоховец пел для профессорского удовольствия цыганщину. Как оказалось — не напрасно. Сейчас тенор с кулинарной фамилией сам в доцентах. Пожалуй, тогда Серому впервые стало не по себе в крахмальном белом воротничке и галстуке, этой клинической униформе, без которой не обойтись, если желаешь себе блестящего будущего. «И я такой же, — тоскливо думал он, возвращаясь в общежитие под цветущими липами Девичьего поля. — Хоть и не лезу целоваться с Тарновским. И я, оказывается, хочу тепленького местечка».

Нарыв зрел, дергал по ночам, как и положено нарыву, но неизвестно, что было бы дальше, если бы не смерть Зели.

Прорвалось осенью, когда надо было возвращаться в институт, чего очень не хотелось, но признаться себе в этом было совестно. Тогда и пришел к нему Зеля и принес свою выписку. В выписке было написано — лимфогранулематоз. Слово-то какое! Как будто паровоз протащили по ржавым рельсам! Зеля, словно ничего не знал, шутил, скакал. А у Серого дрожали коленки и дрожали руки, державшие выписку. Но он был всего лишь пятикурсником и, видимо, не до конца разуверившимся, несмотря ни на что. В нем догорал вчерашний Серый, который бросился искать спасения. И спасать надо было не кого-нибудь, Зелю! Может, испытывают что-нибудь, жалко подумал Серый и зацепился за эту мыслишку, может, не в Москве, в Париже или в Америке. Из-под земли достанем! И Серый понесся к невестке академика Кассирского. Она когда-то, на втором курсе, вела у Серого микробиологию. Она не откажет передать выписку академику. Если академик не знает, тогда никто не знает. Не верилось, что нет средства остановить Зелину болезнь. Через неделю невестка академика вернула сложенные вчетверо, потертые на сгибах бумаги, и покачала головой. Рукой Кассирского были вписаны названия двух препаратов, но Зеле их давно достали. Но еще до этого было страшно. Когда поехали на футбол, в Лужники. Матч был — глаз не отвести, играло киевское «Динамо». Посмотрел тогда Серый на азартного, орущего Зелю. И увидел смерть. Зеля-то сам ни капельки не изменился, разве похудел чуть-чуть. А Серый понял, что очень скоро Зеля умрет. Летальную маску увидел Серый, фациес леталис, серое, мокрое, костистое Зелино личико, плывущие зрачки, слипшиеся рыжие волосы, потом увиделся Зеля в гробу, лицо опухшее, но успокоенное, глаза закрыты. Как гипсовый слепок. Это было страшное открытие. Но с тех пор Серый знает за собой эту способность — на самом цветущем лице он увидит близкий конец, если тому суждено быть. За месяц, за два, за полгода увидит этот конец Серый, и не нужно ему никаких обследований. Он знает точно, не поможет никто, умрет человек.

У Зели была генерализованная форма, он сгорел быстро, и в гробу был точно такой, каким представил его Серый тогда, в Лужниках. Стылый был ноябрь, бесснежный, замороженный асфальт каленым холодом вползал в душу. На поминках Серый напился. Кто-то задел стопку покойного, она опрокинулась, вино пролилось на белую скатерть, и расползлось большое вишневое пятно. Это расстроило Серого совсем. Помнит он еще, что на лестнице, когда курили, держал он кого-то за лацканы пиджака, тряс и, сбиваясь на свистящий шепот, кричал: «Мы ж ничего не знаем! Мы ничего не умеем!»

Прорвался нарыв. Тогда он и возненавидел, раз и навсегда, — все и разом, — клиники, их размеренную академическую тягомотину, белые крахмальные воротнички и, туда же, белые крахмальные халаты, сюсюканье с кафедр, прихлебывание чая и рассуждения о патогенезе болезней, про которые, теперь Серый знал это твердо, и понятия никто не имеет, возненавидел весь этот наукообразный орнамент. И в нем шиш с маслом, называемый врачебной наукой. Прорвалось — профессорские свиты, ритуальное подавание полотенца, жреческое закатывание глаз, набитый терминами язык, которым он и сам еще вчера щеголял, как последний фанфарон, все — обман. Обман.

В лабораторию он больше не пошел. Идей не прибавилось, институт свое сделал. А выуживать из пробирок какие-то там показатели при каких-то болезнях было совестно.

Надо было немедленно что-то начинать. Ощутимое. Руками. Головой. И, когда на распределении ему предложили «скорую», он подписал, не задумываясь. «Скорая» дала движение, возможность изводить себя трудом пахаря. Она дала усталость поработавшего всласть трудяги. Она давала пусть какой-нибудь, но немедленный результат.

Вернулись, когда совсем смеркло. Был пересменок, и подстанция в этот ударный час гремела. Далеко разносился окрепший за день голос Зинаиды. Вылезали с заднего двора ночные машины, шастали по размякшему снегу черно-белые, черные шинели и белые халаты, все окна сияли в ночи — окна диспетчерской, и врачебной, и конференц-зала. И распирало оттого, что за сияющими окнами прыгают и стонут на плитах выкипающие чайники.

4

Пересменок — это промежуток времени, когда нужно принять бригаду, на которой будешь работать до самого утра, и занять кресло во врачебной, чтобы было где прикорнуть ночью на кулаке. И сделать все это желательно быстро, если хочешь еще и немного отдохнуть. Поэтому Серый, сунув кассету с наркотиками, мультитон и тонометр Семочке, сразу влез в очередь, что стояла в диспетчерскую, где и получил другую кассету, другой мультитон и другой тонометр. Семочка оставалась до двадцати двух с Гусевым на дневной машине, после чего подсаживалась к Серому. Предпочтителен был бы старый, опытный фельдшер, это надежнее. Все-таки двое мужиков, ночью всякое бывает. И ящик было бы кому носить. Но Зинаида оказалась на этот счет другого мнения. И напрашивался, между прочим, вопрос: «С кем тогда работать Семочке?» Мужчины, они в дефиците. А женщинам, даже когда оии вдвоем, ночью не позавидуешь.

Во врачебной, с краю у дверей, Серый забил последнее свободное местечко и скатился по лестиице вниз, ликуя оттого, что шофер у него теперь замечательный, Лебедкин Витя, с которым можно куда угодно, и в машине всю ночь будет тепло, никакого тебе пережога. Серый уважал Витю еще и за то, что он всегда объезжал голубей, кошек и бродячих собак, был смышлен и вообще обладал всеми теми достоинствами, каких не было у Гусева.

Серый застал Лебедкиna мирно сидящим у телевизора, в шоферской.

— Грузить? — спросил Лебедкин, приподнимаясь.

— Грузить! — ответил Серый, радуясь рассудительному Витькиному лицу. И они пошли в подвал, хранилище скоропомощиой амуниции.

Выбрали из того, что оставалось, одеяло поприличнее и не очень грязную подушку. Нашелся и ящик, где лежало все необходимое, чтобы принять роды, промыть при случае отравившегося, и вполне приличный кислородный ингалятор.

— Ты иди, доктор, — сказал Лебедкин, навьючиваясь. — Я погружусь. Попей чайку.

— А сам? — спросил Серый, всовывая под мышку Витьке пару шин.

— Я же из дома, — ответил благожелательный Витька. — Поел.

В буфетной дух стоял парной, тяжелый. На жарких плитах обливались кипятком и пускали горячие клубы в потолок полуведерные чайники. Исходило слезами приоткрытое окно. Потели сотруднички, в великом миожестве попивая чаек. Было тесно и громогласно. Над столиками царил лысый тумбоногий Жибоедов. Он ораторствовал стоя, со стакаиом чая в руке. Увидев Серого, Жибоедов прервал речь.

— И ты сегодня работаешь? — изумился он. «Вот так и встречаемся, — отвечал Серый, пожимая протянутые руки. — А сутки вроде бы вместе».

В сложный запах буфетной настойчиво вмешивалась яичница, подгоравшая на чугунной, с хорошее колесо, сковороде.

— Я говорю, Антоша, что ее давно надо съесть! — сказал, принюхиваясь, Жибоедов. — Все равно сгорит!

Отозвался Толя Макаревич, грустно сидевший в углу, один у трещавшего телевизора. Антенну телевизору заменяла магазинная стойка, в какие вставляют конусы с соком, и показывал он, как всегда, что-то невнятное.

— В твоем возрасте, Жиба, — сказал Макаревич, — вредно есть яичницу вечером. Пора о вечности подумать, а ты все жрешь!

— Санитар на холяву корову сожрет! — назидательно сказал Жибоедов, садясь. — Все, что на холяву, вреда не принесет. А яичница пропадает!

Но оказался не прав. Подскочили хозяева яичницы, невропатологи второй бригады, с вызовом в зубах, и прикончили яичницу, не снимая с плиты. И убежали.

— Что же это получается? — вздохнул Жибоедов. — Одним все, а другим ничего!

— Как это ничего? — удивился Серый, дожидаясь, пока завареный в стакане чай немного остынет, и любуясь его цветом. — Кто банку клубничного варенья на вызове съел?

— Не надо! Не надо своим ребятам! — Жибоедов сделал мягкий отражающий жест пухлой рукой. — Вместе ели.

— Ну, конечно! — усмехнулся Серый, утапливая алюминиевой ложечкой чаинки. — Бабушка думала, приличные люди... Врачи! Возьмут по ложечке к чаю. С температурой встала!..

— И Жиба, конечно, взял половник? — невинно спросила пенсионерка Людмила Санна, не отрываясь от вязания. Вязала она всегда — в машине, на подстанции, для мужа, детей и внуков.

— Какой половник! — возмутился Серый. — Из банки пил! Только бабушка улеглась, схватил банку...

— И до дна! — засмеялся кто-то из студентов-совместителей, за соседним столиком.

— Жидкое, что ли, варенье было? — спросил усатенький фельдшер Ершов, оскалившись и показывая съеденные гнильцой зубы.

— Как сироп, — хихикнул польщенный вниманием Жибоедов. — Я расскажу вам другой случай. Господам студентам будет полезно!.. — Он сделал смачный глоток, взял с тарелки кусок колбасы. — Чья колбаса? — спросил он, водя куском по кругу. И, не узнав чья, отправил кусок в рот. — Поговорим о пользе вещей, — продолжал Жибоедов, жуя и глотая колбасу. — Подарили мне на вызове синенькие очки для слепых... Работали мы с Ершиком... Ершик, человек бесхитростный, меня спрашивает: «Зачем тебе эта дрянь?» А я отвечаю: «Не дрянь, к ним палочка нужна».

— Паниковский! — сказал грустный Макаревич, подходя к столику, чтобы поставить пустой стакан.

— Я эту палочку весь день искал, — торжественно сказал Жибоедов, удостоив Макаревича презрительного взгляда. — Нашел наконец! Где бы, вы думали?

— В околотке, конечно! — вскричал радостно другой студент-совместитель.

— Правильно! В милицейском нашем родном отделении!.. Слушайте дальше. Ужина не дают, вызовов выше крыши. Я говорю: «Ершик, больше не могу!» Нацепил я ему очечки, дал в руки палочку. Только, прошу, молчи. Веду его под ручку, ящик взял себе. Входим мы на вызов. Ершик, как будто всю жизнь слепым работал. Голову задрал, палочкой постукивает. А я его за локоток. Бережно! Меня родственники тихо спрашивают: «Доктор, что, слепой?» А я громко на всю квартиру отвечаю, знаете, так обиженно: «Если был слепой музыкант, почему не может быть слепой доктор!» У него, добавляю, еще диабет! — кричал Жибоедов сквозь смех буфетной. — Ему инсулин сейчас колоть надо, а он голодный!

— И стол вам, конечно, тут же накрыли? — спросил Серый.

— И какой стол!

Зинаида выкрикнула сразу пять бригад. Загромыхали стулья, застучали по столам стаканы, зашуршала сворачиваемая бумага. Буфетная пустела. Уехала Людмила Санна со своим вязаньем, студенты-совместители, грустный Макаревич. Остались Серый с Жибоедовым, и в углу, у окна, обстоятельные, грузные тетки с перевозки, со второго филиала. Жибоедов налил еще по стакану себе и Серому.

— Надоело все, — вздохнул он. — Хочу ночью спать в своей постели и ходить на свой горшок.

Серый молчал. Печали и вздохи Жибоедова были привычны, в зубах завязли. Он всегда жаловался на жизнь.

— Надо что-то делать. — Жибоедов низко опустил отечное лицо. — Сердце снова давит. Вчера мерцал после суток.

— Уходи со «скорой», — сказал равнодушно Серый.

— Куда?

— Откуда я знаю.

— Есть, ведь есть хорошие места! Находят же люди! Искать надо!

— В мясники иди, — сказал Серый, чтобы отвязаться.

— В мясники! Там тоже здоровье надо иметь. И посадят меня там в два счета! Нет, — вздохнул Жибоедов, — в мясники нельзя.

— Почему Толя кислый? — спросил Серый.

И Жибоедов рассказал, что на Макаревича пришла телега. Отказался Толя носилки нести, сказал, что потом руки будут дрожать, в вену не попадет или что-то в этом роде. Короче, Матюхин перевел его на полусутки и полставки срезал. Жибоедов шепотом добавил, что Толя, видимо, четвертачок вымогал, хоть и клянется, что не вымогал. Ты ж понимаешь! Серый спорить не стал. Ему стало жаль Толю, у которого двое детей, старший мальчик глухой, и Толя возит его через всю Москву в специальный садик. Теперь Толе придется туго, на ставку семью не прокормишь, жена сидит дома с маленьким, а на полусутках выходить надо практически через день. Кто теперь будет Гришку возить в садик? Что до телеги, то в том смысле, какой вкладывает Жибоедов, Толя, конечно, не вымогал. Понятно, устало подумал Серый, все мы приходим на сутки, желая заработать, и Толя такой же. Мы заряжены на заработок. Все мы заряжены на заработок, и Жибоедов это прекрасно понимает, потому и ухмыляется. Но зарабатывать можно по-разному. Можно добросовестно потеть, а можно стараться урвать в каждом удобном случае. Как делает Жиба, потому что урвать — это его страсть. Украсть, как он говорит. А если что плохо лежит, он и сопрет.

Чай свое дело сделал. Не царапала, не свербила залитая горячим глотка. Прояснилось в глазах, ноги шагали без дрожи. Другое дело, что потеешь старательнее, если знаешь, что тебе заплатят, размышлял Серый, спускаясь с вызовом в шоферскую. Но это общечеловеческая черта. И Толя как все люди. Ему заплатят, он, конечно, возьмет. И порадуется. И мне дадут, я возьму и порадуюсь. Если бы Толе, предположим, сказали: вот деньги, неси носилки, нам все равно, кому платить, — он бы, конечно, взял. И понес. И я бы понес! Хоть я как врач и не обязан этого делать, и руки себе изуродую. Но прозрачно намекать, подсказывать в надежде на гонорарий?.. Да никогда этого Толя делать не будет! Даже из озорства. И озоровать-то он никогда не умел. Не тот он человек! Прямолинеен он для таких кунштюков! Толя просто не законтачил. Устал ли, нервы сдали, или красноречия не хватило, не знаю. Не законтачил. Потому что помощники, чтобы нести носилки, всегда находились и при всех обстоятельствах. Так называемые негры по-скоропомощному. Мужики есть в доме почти всегда. Нет — зовут соседей, с улицы приглашают. Есть шоферы, которых мы почему-то жалеем, хотя они за носилки свое получают. Это очень редкий случай, когда некому нести. Или когда нельзя ждать. Тогда хватаем и несем. И не рассуждаем. Не убедил Толя, схлестнулся. Типичная, показательная ситуация. Поскандалить с родственниками больного — это ого-го-го! Самая зловредная публика в своем стремлении доказать кровную преданность страждущему. Вот жалобу накатали. Матюхин разбираться не станет. Не сумел носилки организовать, не сумел избежать конфликта — получай по мозгам. А Жибоедов в каждом видит жулика. Потому что он сам жулик. Он как говорит? «Я в человечество верил, пока первый раз не украл!»

Серый знал, что Жибоедов и его считает самым хитрым и удачливым жуликом. Который только не рассказывает ничего. А коль молчит, стало быть, есть что скрывать. Пытает, пытает, все время пытает, по праву старого приятеля, какую рыбку словил, в каком количестве. И завидует. И обижается, почему Серый с ним не хочет работать. «Знаю, знаю! — и пальцем грозит, когда Серый ссылается на то, что диспетчера не сажают их на одну бригаду. — Ты делиться не хочешь!» В смысле, добычей делиться.

Серый действительно избегал работать с Жибоедовым. И давно, очень давно. Старая история, которая началась, когда он еще был лопушком. Когда открылся неведомый, загадочный мир бывалых, крепких парней с загорелыми шеями и засученными рукавами. Шальной мир, где время мерялось на сутки, где хорошо знали свое дело, крепко ругались и насмешничали надо всем на свете, а главным достоинством была находчивость — после обрыдшей институтской кислятины этот мир пьянил. Врачебный диплом здесь не имел ровно никакого значения, важен был опыт. Ночами, когда в курилке осторожно позванивала гитара, и старослужащие распускали пояса, и начинались вечные санитарские сказы, горькая зависть охватывала Серого. Столько лет отдать химерическим исканиям и ничего не знать! Не знать, что есть, оказывается, жизнь, полная скорости, и приключений, и простора, и жути неизвестного. Хотелось всегда мчаться по Москве летней жарой в прилипшем на голое тело халате. Хотелось чувствовать себя настоящим мужиком, сильным, все могущим. Бешеная скорость, забивает рот рвущийся в машину упругий горячий воздух, расправлены плечи, прет скоропомощное зубоскальство, чего там. И готово сорваться из глотки: «Сарынь на кичку! Ядреный лапоть!» Хотелось выкинуть какую-нибудь необыкновенную штуку, чтобы все удивились.

Тогда казалось замечательным, получив вызов на Бадаевский завод, собрать в буфетной все чайники и привезти их, полные пива. Или притащить с хладокомбината ящик мороженого и одарить им подстанцию. И млеть, слушая похвалы санитаров. Радость от причастности к скоропомощному племени требовала от Серого стать как можно скорее полноправной его частицей. И он старался. Соображал, постигал, придумывал, хватал. Где они теперь, старые санитары, которым он так мучительно завидовал, с кем мечтал быть ровней? Вечные фельдшера, долгие студенты, перебывавшие во всех трех московских мединститутах? Разбрелись кто куда, в поисках лучшей доли одни, вышли в люди другие, выучившись на докторов, и исчезли, круто пошли в гору третьи, мало их осталось на «скорой». И «скорая» теперь не та. Остались легенды, не дающие покоя следующему поколению искателей приключений. Тем, кто жадно слушает вранье Жибоедова, кто посчитал удачной выдумкой спереть в магазине стойку для соков и пристроить ее вместо телевизионной антенны. «Ребята, взрослейте скорее!» — хочет сказать им Серый. Но почему-то не говорит.

Может быть, потому, что тогда он сам был молод и весел. И свои рацеи по поводу спасения человечества и бессилия медицины воспринимал как что-то инфантильное, недостойное. Он вообще об том забыл. Был реальный мир, на который он жадно набросился. Сил было невпроворот, дежурил сутками через сутки и радовался жизни, вольготно открывшей все шлюзы. И Лида радовалась приобщению Серого. Он теперь не изводил ее, работал как все и деньги приносил для врача немалые.

Жибоедов в ту пору еще имел косой пробор, но комплекс фельдшера, так и не ставшего врачом, в нем уже созрел. Поэтому ему нравилось наставничать. Он многому научил Серого. Тянуть время вызова и ускорять его, браться за носилки так, чтобы не тратить сил. Это называлось вломить креста. «Что уши развесил? — спросил Жибоедов, когда они работали вместе в первый раз. — Придушат где-нибудь». «Как?» — спросил Серый. «А вот так! — и Жибоедов проворно захлестнул петлей трубки стетоскопа, висевшего у Серого на плечах. — Понял? На «скорой» работаешь! Не на балу! У нас разные клиенты бывают. Опомниться не успеешь! Спрячь уши в ящик! А ящик держи, как ружье! Это твое оружие.

В дверь позвонил и будь наготове!» Спеши медленно, говорил Жибоедов, и Серый понимал, что не надо нестись с лестницы, рискуя свернуть шею, на каждый вызов. Другое дело, если это авто, то есть автокатастрофа, или поездная травма. На вызовах надо быть солидным, это хорошо действует иа окружающих. С жибоедовской помощью Серый усвоил скоропомощной сленг, поначалу вызывавший недоумение. Иногда Жибоедов обижался, если фельдшерский комплекс взыгрывал в нем. Тогда он совал ящик Серому: «Неси! Я устал!» Или влезал без слов на переднее сиденье, рядом с водителем, пусть врач в карете покатается. Серый не возражал. Его смешили выдумки Жибоедова, прибаутки, нравилась его удаль, льстило с ним работать. Дружба с Жибоедовым сближала с другими санитарами.

Выдумки Жибоедова были такие. Например, посоветует кому-нибудь Серый поставить круговые горчичники. Его спрашивают: «А что такое круговые горчичники?» И только Серый соберется объяснить, как надо облеплять себя горчичниками кругом, Жибоедов уже требует ножницы и, хитря карим глазом, вырезает из горчичника кружочек: «Вот так будете делать!» Потом курилка смеется, представляя, как кто-то где-то старательно вырезывает из горчичников кружочки, прежде чем их поставить. Или вдруг Жибоедов становился на вызове подчеркнуто к Серому уважительным, подставлял ему стул, выкладывал тонометр, требовал чистое полотенце. Потом объявлял: «Вас сейчас будет лечить кандидат наук и ученый секретарь совместной советско-американской научной программы!» Все это было рассчитано на маломозглых, на темень. Но тогда почему-то смешило. Впрочем, Жибоедов не всегда понимал, кто перед ним, где можно и чего нельзя. Он и шаманил, заводя глаза под потолок и вздыхая огорчительно, и заливался красноречием, и такого чаще сомнительного содержания, что Серому приходилось вмешиваться. Жибоедов обижался, надувался, замолкал. Серый просил: «Старик, ты пойми, нельзя всех людей считать дураками!» «Брось! — отвечал Жибоедов. — Все они одинаковы!» «Не любишь ты людей!» — вырвалось однажды у Серого. «А за что мне их любить? Что они мне хорошего сделали? Запомни, все люди сволочи!» Но это было уже потом, когда Серый стал понимать, что к чему. Когда он сообразил, что веселье весельем, и пусть говорит Жибоедов, что на сутках в него вселяется бес, все-таки главное для него — унести с вызова несколько рублей, и неважно, каким способом. Пожалуй, если бы ему сказали: «Жиба! Если ты будешь молчать, то получишь с каждого вызова!» — Жибоедов стал бы каменным.

К тому времени Серый не считал, что брать деньги на вызовах — это кощунство. Но по первому году на «скорой» он не догадывался, что такие вещественные отношения существуют. Люди тогда удивляли Серого не радостным удивлением. Это были не те безликие фантомы, на которых в институтских клиниках ои рисовал границы сердца, легких и печени. Они были другие, они были у себя дома. Их было так много, что после дежурства он никого отдельно не мог вспомнить. Они оказались равнодушны ко всему на свете, кроме себя. Они были поглощены собой и требовали. Они обо всем знали, и судили, и были подозрительны. Они не верили и капризничали. Они были непонятливы, а порой тупы. Серый горячился, доказывал свое право знать об их болезнях больше, чем они сами. Это не нравилось. Он срывался на крик, особенно ночами. «Себе дороже, — говорил Жибоедов. — Что ты с ними тратишься? Делай, что просят!» И тянулись к нему, не к Серому, спрашивали у него, у Жибоедова, который хоть и мог все делать руками, но не умел отличить шум на аорте от шума на верхушке сердца.

Но самым поразительным открытием было то, что эти же самые люди суют деньги в кармашек халата, в шинель, в ящик, или просто норовят вложить в руку. И благодарят, горячо, искренне, и, как оказалось потом, чаще тогда, когда не за что благодарить. Поначалу Серый стыдился, возмущался, отмахивался. Но именно это раззадоривало. Люди настаивали, всовывали насильно. Сложную задачу решал Серый — морально брать деньги или нет. Стрижак, с которым тогда налаживалась дружба, высказывался так: «Людям всегда было свойственно благодарить врача, и благодарность эта во все века выражалась в материальной форме». Легенда о бессребрениках, говорил он, родилась только из того факта, что врачи могли не брать денег с бедняков. Но с богатых-то они брали, заметь! Кто такой Захарьин, ты, надеюсь, помнишь? Так вот, великий Захарьин брал с купцов по пятьсот рублей за визит! После этого можно прокатиться на собственном рысаке в трущобы и полечить бесплатно. Можно и пешком пройтись по морозцу, это полезно для здоровья. Почему ты должен отказываться, когда тебе дает наш советский вор? Впрочем, почему только вор? Человек так устроен, что, заплатив врачу, он чувствует себя застрахованным. Ему спокойнее. Люди поняли, что лечиться даром — это даром лечиться. Пойми и ты — тебя благодарят! Знаешь, сколько берет за визит наш дорогой Тарновский? Я желаю, чтобы тебе платили десятую часть его гонорара! «С каждого вызова!» — захохотал Васек. Жибоедов выразился коротко: «Лучше маленький трюльник, чем большое спасибо!» Это было после того случая, когда Серый приклеил трешку к дверям некоего творческого дома, где ему, чтобы удобно было писать, под карточку подложили партитуру шестой симфонии Чайковского. Трешку, тряпичную и побелевшую, вынесла жена больного в прихожую, когда надевали шинели. Серый принял ее двумя пальцами, сказал «Мерси!», испытывая одно желание — плюнуть на эту трешку и приклеить ее ко лбу хозяйки. Но не плюнул и не приклеил, а, юродствуя, пошел к дверям, так и держа трешку двумя пальцами, указательным и средним. Чего он добивался, почему сразу не отвернулся? Выпендриться хотел перед Жибоедовым, наверное. А на лестнице заметался в унижении, волчком крутануло. Не знал, что сделать. Трудно сказать, как бы он вышел из положения, если бы по лестнице не поднимался маляр с ведром клейстера. Конечно, не только трюльник приклеил, но и дверь густо вымазал клейстером. Была, естественно, жалоба, Серому объявили выговор. Но не в этом суть. Матюхин, который тогда был фельдшером, после собрания спросил Серого: «Четвертак бы не приклеил, небось?» И попал в десятку. Потому что Серый сам себя об этом спрашивал. И ответ, как ни крутите, выходил утвердительный. Не приклеил бы. Четвертак бы не оскорбил. Жибоедов был обижен в очередной раз, сказал Серому, что тот не прав, и про маленький трюльник тогда сказал, и про большое спасибо. Но бог с ней, с обидой жибоедовской! Серый увяз в другом. Получалось, что дело в количестве денег все-таки, а не в том, что безнравственно деньги брать. Признаться себе было болезненно, но пришлось. Если вид денег стал притягивать. Если оказалось, что себя пересиливаешь, потому что деньги взять хочется, они всегда нужны. Смятенный, он спросил Лиду, как ему быть. Лида непривычно смутилась: не знаю, Антоша, но, по-моему, страшного в этом ничего нет. Потом сказала решительно, уже смеясь: «И чем больше, тем лучше! Бери, Антошенька, нам с Катькой деньги очень пригодятся!»

Сейчас-то он возьмет, сколько дадут, а тогда был сбит с высокого. Но высокое оказалось всего-навсего пороком воспитания. Как он в конце концов решил, во-первых. Деньги принимать нужно, во-вторых. Но если принимать, то достойно, как законную благодарность, в-третьих. Не гримасничать, как Жибоедов, потому что его отнекивания — тоже ханжество. И люди к этому ханжескому приему приучены. Может быть, они все таковы, иначе почему они столь яростно настаивают на гонораре, когда ты отказываешься?

О деньги, деньги! Тонкая материя. Почему мы стыдливо смолкаем, прежде чем произнесем это слово? Деньги. Которых всегда не хватает. Чтобы купить обновку вместо сносившейся куртки. Катьку обрадовать велосипедом, помочь старикам, живущим на маленькую отцовскую пенсию! Если у тебя есть деньги, ты покупаешь овощи с рынка и превосходное мясо, а не всякую гниль, можешь пообедать в ресторане и не портить себе желудок и настроение в столовке. Оставим в покое Гавайские острова и накат океанической волны! Но раз в год на Южный берег Крыма? В свой законный профсоюзный отпуск! А ялтинские цены? А мечта о своем жилье? О махонькой такой кооперативной квартирке в две комнатки! Но своей! Увы, увы! О ней лишь мечтается! Никогда еще Серый не думал так много о деньгах. Почему мы должны скрывать наши гонорары? Почему он не встретил на «Скорой помощи» ни одного человека, отказавшегося бы от денег, если ему давали? Даже хиленькая Ленка Мазур, поначалу чуть ли не в обморок падавшая, когда совали, сейчас не

отказывается ни от денег, ни от подарочков? Почему Жибоедов завистливо посматривает на полированные витриины с хрусталем в квартире директора пищеторга, а потом старательно его р а с к р у ч и в а е т, заговорщицки суля немедленный эффект от укола французского препарата, случайно оказавшегося у него в кармане, а Серый не препятствует этому, наоборот, жаждет расколоть торгаша? Почему в курилке слышатся вздохи, когда в который раз рассказывается легенда о помершем бродяге с зашитыми в лохмотья бриллиантами, случайно найденными в морге, но проворонеными бригадой «скорой»? Почему мечта санитаров — «грузинское авто»? Представляешь, получаю вызов. Приезжаю первый, до милиции. Машина вдребезги. В обломках — два мертвых грузина, и у каждого пояс по животу, а в каждом поясе — по сто тысяч!

Из-за того, что Жибоедов мечтает о «грузинском авто», Серый и не хочет с ним работать. Одно дело — торгаша раскручивать, но совсем другое — шмонать по карманам.

Чаще это была пьянь, псы, те, кого они подбирали. Их положено было обыскивать и все найденное сдавать по акту. В вытрезвителе или милицейском околотке. Или спецтравме, куда везли даже с крохотной царапиной, на всякий случай. В спецтравме, где спать уложат, под микитки пощекочут, будешь брыкаться, по головке не погладят. И Кулиш, тогдашний заведующий, кулаком стучал каждое утро на нерадивых сотрудников, что забывают требовать акт о сдаче ценностей: «Допрыгаетесь до встречи с прокурором!» И глазами блестел, играл глазами. Серый слышал, догадывался — оседает, застревает между пальцами. Но чего не знал, того не знал. Однажды только, когда брали пса, еще по первому году на «скорой», и нашли у него пачку купюр, шофер, уж и не упомнишь кто, сказал Серому: «Хоть на бутылку пятишницу надо взять! Мы же возимся с ним!» «Нет! — заорал Серый тогда. — Я тебе дам возможность по-другому заработать!» А тут эти мечты о «грузинском авто». Серого уже не стеснялись в курилке. Нормальный парень! И нормальный парень понимал, о чем речь. И понимающе поддакивал. И со страхом ждал: что если доведется с кем-нибудь из «стариков»? Как тогда? Его же остракизму подвергнут! И однажды, выйдя из вытрезвителя, Жибоедов дал Серому рубль. «Это твоя доля, — усмехнулся. — С паршивой овцы...» Серый вспотел, как кипятком облился. Сказал небрежно: «Чего ты! Оставь себе!» «Как это — оставь? — удивился Жибоедов. — По-честному делюсь. Я не какой-нибудь Минский, который никогда ни копейки не отдаст!» Минский был врач, из фельдшеров, он носил пенсне, холил русую эспаньолку и недавно вступил в партию, нацеливаясь ехать в загранку, за денежками. «Я санитарский закон знаю!» — обиделся Жибоедов. Тот рубль Серый взял. Когда на следующий день проснулся, отоспавшись после суток, и вскочил, встрепанный, голодный, сквозь отупение нож пронзил: «Сделал что-то запретное!» «Что? Что? Что? Что?» — проскакало в мозгу, простучало копытами. Вспомнив, затрепетал. Он ограбил человека! Боясь, что Жибоедов его будет презирать! Что он сделал! Тут же врезался страх, что все раскроется, отрезвевший пес напишет заявление, потащат к следователю. Немало наслышался в курилке, как потрошат на Петровке, тридцать восемь, от тех, кто уже успел там побывать. Н а П е т р а х допрашивает следователь, сам из санитаров, он все о Мосгорузе знает. У него раскалываются сразу. И не сможешь ты соврать. Как соврешь, если ограбил! Да, да! Ты ограбил человека, своего брата-человека! Серый вспомнил помидорную налитую ряху, раскрытый, храпящий, зловонно дышащий рот, засохшую блевотину на губах, мокрые, расстегнутые, в полоску, штаны, свои изгаженные руки, когда грузил. И это мурло — мой брат? Тревога вытащила его на улицу, погнала по Садовому. На Таганке, в Успенской церкви, разменял червонец, половину того, что у него было, и роздал нищим. Немного полегчало. «Чудак! — рассмеялся Васек, когда Серый осторожно спросил его. — Это обязательно надо делать! Только я сам не шмонаю. Зачем? На это есть мои фельдшера. А я делю». Васек все понял без пояснений. «Хреновые рыдания! — сказал он. — Ты рассуждаешь, беря в принцип следствие. А соображать надо по принципу причины. Ты врач! Почему ты должен возиться с пьянью? Пусть это делают другие — милиция, вытрезвитель. В этой ситуации ты не выполняешь врачебного долга. Ты исправляешь несправедливость — берешь то, что тебе положено. За то, что грузишь, тащишь, пачкаешься, страдаешь морально. Ты выслушиваешь эту мерзость, тебе еще и грозят, на тебя лезут с кулаками. Разве на тебя не лезли псы с кулаками?» «Лезли, — отвечал смуро Серый. — Но все равно это мародерство!» «Нет! — твердо сказал Стрижак. — Это то, что тебе причитается! Оставь ему на опохмелку, а остальное подели с бригадой». «А если тебя, пьяного, так же?» «И поделом! — сказал Стрижак. — Не попадайся! Не доходи до свинского состояния! Человек за это должен расплачиваться! Больных жалеть — твой врачебный долг. Но псы — статья особая. Не путай». И видя, что не убедил, закричал: «Да посмотри, что делается кругом!»

Вокруг было всякое. Глухие слухи о том, что где-то крадут тыщи, лизали воспаленный ночной мозг, кусали. На подстанции шептались о каких-то счетах в швейцарских банках, о собственных яхтах, подмосковных виллах и дачах на кавказском побережье, перламутровых мерседесах, об оргиях в откупленных на всю ночь ресторанах, о тайных убийствах, о бесчинствах высоких сил. Становилось страшно, и мутилась, роптала душа, жесточала. То, что поближе, было проще. Вздыхал Жибоедов и завидовал Ершику: «Вот везун! Король одиноких инсультов! А у меня трое иждивенцев, и хоть бы что-нибудь! Опять я своим спиногрызам ничего не принесу!» И Серый согласно причмокивал: «Плацебо!» Голяк, значит. Пусто-пусто. И работы с Жибоедовым старательно избегал. Приятельствовать с Жибой — пожалуйста! Пивка попить, в «Узбечке» пообедать. Это было весело. Тогда круто гуляли. Закатывались после суток на весь день, откуда силы брались. Но никто не знал о другом. Как расставив ноги по бокам распластанного в карете псового тела, сидел над ним доктор Серый и сжимал в обеих руках два полноценных денежных комка, извлеченных только что из мокрых псовых брюк, сжимал и просил себя, и уговаривал: «Ну! Возьми же! Слабак! Чистоплюй! Возьми то, что тебе причитается!» Ах, как нужны были эти деньги! Хотелось, еще как хотелось их взять! Ну да, тогда соперировали отца и неудачно, покалечили. Сделали вторую операцию, после которой — три недели на спине, потом будет ясно, останется отец инвалидом или сможет хотя бы без посторонней помощи одеваться. Мать Серого была этой помощью, она выхаживала, нянчила, из палаты не вылезала. Дали сотню заведующему, чтоб не орал на мать и не гнал из палаты, чтобы унялся. Полтораста — профессору, из суеверия и чтоб посматривал хоть иногда. Сестре-хозяйке, чтоб было всегда чистое белье, буфетчице, чтобы можно было разогреть домашнее на кухне, не больничным же кормить. Постовым, анестезиологу, санитаркам. О! Санитаркам — много! Когда привезли отца домой, желтенького, тощенького, но счастливого, посчитали. Всего — больше пяти сотен. Мать-перемать! Ах, как нужны были эти деньги! Ну! Возьми же! Страшно? Боишься? Нет, клянусь! И застонал, люто глядел на пса, зажимая крепко комки. Не могу. Будь ты проклят! Сдал все в спецтравме. Верткий принимающий в милицейской рубашечке под серым халатом, тот, у которого глаза всегда смотрят в разные стороны, свел их в изумленный, на Серого, взгляд, свел, но тут же разъехался глазами, спохватился.

Была еще красная сафьяновая сумочка в комнате с вышивками крестом и шелковыми павлинами, где уснула вечным сном седая женщина с голубыми глазами. Задумчиво рассматривал Серый эту сумочку, широко раскрывшую створки на круглом ночном столике, покачивался на шатком венском стуле, прикидывая, что можно сделать на содержимое красного сафьяна, плотную аппетитную пачечку. Потом пошел к соседке, такой же старой и седой, как умершая. Он ей поверил сразу, еще потому, что не подсматривала в щелочку, как одни, и не делала вида, что ее не касается, как другие. Ушла к себе и дождалась, пока Серый постучит к ней. Он спросил: «Одинокая?» «Совершенно», — ответила старая. «Хоронить, стало быть, некому?» «Мы бы с дочкой похоронили. Не разрешат, наверное. Увезут, мы не родственники». «Там деньги, — кивнул Серый в сторону двери. — Заберите. Памятник поставите». И в подробности не вдавался, ушел грустный, уважая себя.

Об этом не знал никто. Даже Лиде он ничего не рассказывал. Жибоедов вскоре исчез, уехал куда-то на заработки. И вернулся лишь через два года. Но Серый его уже не боялся.

5

В Староконюшенный Серый решил съездить после вызова. Брать наряд к дочке с подстанции он не хотел. Зинаида заподозрит «ложняк». Не нужны лишние разговоры. В любом случае Катьку он посмотреть должен. Воспаление легких один раз прозевали.

Он выехал в половине седьмого. В дороге рассказал Лебедкину, как заслуженный старик искал кошелек. Лебедкин ответил, что все они такие. Серый усомнился. Лебедкин рассказал про генерала, у которого в армии был шофером. Как генерал заставлял его у себя на даче картошку сажать. «Я всю картошку в одну яму ссыпал и разровнял, вроде грядки сделал. Генерал еще хвалил, когда приехал,— какие грядки получились замечательные!» «А дальше?» — спросил Серый. «А дальше я демобилизовался. Без меня урожай снимали!»

Лебедкин напомнил, что сегодня по телевизору показывают последнюю серию. Серый слышал, что всю неделю идет какой-то фильм, и вчера краем глаза, когда был у Стрижака, видел кусок. Как будто главный герой решал, сознаваться ему в том, что по его вине не выполнен план, или не сознаваться. По всему было видно, что в последней серии он сознается. Подтверждала это и героиня, уж очень она была хорошенькая. Лебедкин сказал, что развели туфту на четыре серии, чтобы побольше отхватить денег. «А ты не смотри! — ответил Серый.— И чужие деньги не считай. Всем надо заработать». «Это верно! — одобрил Лебедкин.— Но вечером все равно делать нечего! Водку теперь не очень попьешь. Остается телик смотреть. Но фильм, доктор, в самом деле хреновый! Разве начальник сам должность бросит? Никогда я в это не поверю! Если уволят его, положим, не справился или за взятки, дело другое! Все это на дураков! Ну, ты с высшим образованием, ты, может, больше понимаешь!» «Ладно придуриваться,— ответил Серый.— Я такой же пролетарий, как и ты!»

Лебедкин всегда был склонен к анализу. Это он когда-то, после шуточки с трюльником, по пути с того вызова, слушая, как Жибоедов выговаривает Серому за то, что тот пыжится, сказал: «Ты, доктор, не обижайся! Ты мелкий служащий. Цена твоя такая — трюльник! Это в больнице врача еще как-то уважают. А тебя всякий может послать к матерям. Потому что ты Моспогруз, грузи быстрее и вези дальше!»

— Одна радость,— сказал Витька,— что вызовов не будет до девяти!

Это была истинная правда. Самодеятельная скоропомощная статистика доказала, что в час, когда идет по телевизору очередной сериал, поток вызовов сразу смолкает. Поэтому скоропомощники любили, когда серий побольше.

В Скатертном, в сером шестиэтажном доме, куда был вызов, какой-то небрежный не закрыл наверху лифт. Серый закинул голову, безнадежно посмотрел на черную кишку, свисавшую в шахту, потыкал в рубиновую кнопку и поплелся, громогласно задевая неповинным Ящиковым о железные гнутые балясины, отмеряя полновесные старорежимные этажи, ругаясь не то чтобы вслух, но вполголоса. Дверь с поклоном и приглашающим жестом открыл карликовый старик в белой сорочке и черном галстуке. Серый прошел мимо его предупредительности, слушая ухающие удары сердца от десяти пролетов, и продолжал негодовать по поводу лифта и себя, до сих пор не бросившего курить, что выразилось в том, что он брякнул ящик об пол и буркал. Старик протянул руки, чтобы принять шинель, но Серый ворчнул: «Я сам!» Шинель повесил на крючок и, волоча ящик, пошел за стариком в глубь сумрачной, пещеристой коммунальной квартиры.

В высокой пятиугольной комнате с лепным потолком и дубовым, крупными шашками, паркетом было тепло и пахло пыльным старым жильем. Стоял посередке под белой скатертью круглый стол на слоновьей ноге, над ним опустилась на длинных цепях бронзовая люстра, затканная полупрозрачным газом, чтобы лампочки не резали глаз, буфет дремал высокий, не мрачный готический, а мещанский, домашний, из которого, открыв стеклянные дверцы, вынимают графинчик водочки к обеду, в простенке между итальянскими прекрасными окнами шли важные башенные часы, у каких бывает басовый бой, и в углу столик поместился с красивой лампой под абажуром, и рядом шведские книжные шкафы, с пуговками, за которые нужно браться, если хочешь поднять стекло и вытянуть с полки какую-нибудь из книг, волнующе вспыхивающих позолотой. За шкафами из белых подушечек старушка подняла виноватое лицо. Она будто винилась, что побеспокоила, что будет жаловаться, что она такая квашня. Что в конце концов не может встать и налить Серому кофе и нарезать бутерброды. Серый обернулся и увидел старика. Тот топтался рядом с вафельным сложенным полотенчиком. Серый увидел его просящую улыбку и понял, что не решается он предложить руки вымыть грозному Моспогрузу. Угадал Серый и другое, по суетливости и страху стариков, что крепко им, видать, доставалось от Моспогруза, угадал частые и ночные вызовы, ночной желтый свет, помятые ночные лица скоропомощников, не очень радушные, досадливые, грязные шинели, скинутые на стулья, громкие голоса, упреки, гром железного Ящикова в ночной тишине, узнал и себя среди шинелей. И Серый осторожно поставил ящик на газетку, вдвое подстеленную на обеденном столе, и бережно принял из рук старика полотенце. Печально улыбнулся старику и повертел руками, где, значит, вымыть. И, сдерживая тяжелую поступь башмаков, пошел мягко за стариком в ванную. Вызывали «скорую» сегодня, рассказывал старик, пока Серый мыл руки, заслоняясь, чтобы не было видно, какая серая вода стекает в раковину. Приехал молодой человек, симпатичный, расторопный. И немного шумный, сказал Серый. Да, ответил старик растерянно, немного шумный. Сказал, что поднялось давление, ну что ж, это частенько случается, сделал укол, стало получше, а потом Анна Львовна попыталась встать, но очень закружилась голова, и очень побледнела. И сейчас очень голова кружится, не может подняться, боится. Ничего, ничего, сказал Серый, вытирая руки и испытывая желание красной своей помороженной пятерней погладить несчастного старика, не волнуйтесь.

То, что случилось, Серый понял, как только вернулись в комнату и старик показал ему блюдечко с пустыми ампулами. На блюдечке ампулок было две, а носиков отбитых — три. Сунул, прохвост, в карман одну ампулку, заметая следы, а про носик забыл! Серый быстро замерил давление. Точно, упало. Аминазин сделал, зверь! И судя по величине носика и по тому, как Анна Львовна ворочает языком, словно ее парализовало, два кубика. Зверь, зверь! Было бы кому!

— Часто «скорую» вызываете? — спросил Серый.

— Приходится,— развел руками старик.

Приходится, тяжко вздохнул Серый. И приезжает такой симпатичный молодой человек, наслушавшийся жибоедовского хвастовства, и лихо втыкает аминазин. Чтоб, значит, и давление снизить, и чтоб ночью спала бабуся, не дергала «скорую». Не думая о последствиях, не соображая и толком ничего не умея. А сейчас, возможно, сидит в курилке и рассказывает как о достижении каком!

— Кого вызывать, как не вас,— сказал старик.— Конечно, участковый врач у нас милейшая женщина, но как-то не действуют ее лекарства.

Анна Львовна, проталкивая с трудом слова и стесняясь, сказала: «Нык-клай Ваныч, пыкажи!.. Коля!»

Николай Ваныч просеменил к буфету, открыл нижние дверцы, вынул картонную коробку и понес ее Серому. «Здесь наша аптека,— сказал он, снимая с коробки крышку, на которой была выдавлена розочка и надпись «С юбилеем!» — Анна Львовна принимает все очень аккуратно. Как доктор прописал». Серый машинально перебирал лекарства. Сколько таких коробок, коробочек, коробушек повидал он! С годами их содержимое менялось, исчезали невзрачные облатки, появлялись глянцевые импортные упаковки, доставаемые с невероятным трудом и переплатой, одни звучные названия менялись на другие, участковые врачи и консультанты из платных поликлиник выписывали все более новые средства, забывая про старые, еще вчера принимаемые благоговейно, как панацея, потому что человеку свойственно в лекарстве видеть панацею, на которую он никогда не теряет надежды. Но лекарством человека, оказывается, вылечить нельзя. Его можно вылечить только человеком.

Перебирая шуршащие конвалюты, Серый представил участкового терапевта, получившего очередной вызов к Анне Львовне и недовольного,

что она опять вызывает. Мало разве ей выписано? Что еще нужно? Представил, как прибегает участковый доктор, нетерпеливая женщина, со стертой от постоянной спешки физиономией. А как не спешить, как не стереться внешности, если она только что приняла тридцать человек, вызовов полню, и еще семья, и надо по пути в магазины заскочить? Прикрикнет привычно, чтоб по пустякам не беспокоили, ткнет, замерит, черкнет и поскачет по своему участку дальше, как борзая собака. Только отлетают от нее рецепты да больничные листки. И получается, по сути, снова обман.

То, что старушке Анне Львовне было понавыписано, годилось разве что в помойку. В хорошие руки бы тебя, думал Серый, ласково держась за мягкий старушкин пульс, поглаживая ее ладошку, в хорошие, грамотные руки. Чтобы приходил, посмеиваясь, раз в неделю, чаще не надо, настоящий врач, вносил бы успокоение в душу, говорил бы о чем угодно, но дружелюбно, терпеливо бы выслушивал и так же терпеливо отвечал. И Серый, не отпуская ладошки, стараясь вложить в эту ладошку свою уверенность, заговорил. Он сказал, что страшного ничего нет, и сердца Анны Львовны хватит еще лет на десять, что бывает реакция на лекарство, и до утра надо обязательно лежать, чтобы успокоилась кровь. А чтобы ее прилило побольше к голове, чтобы она распределилась получше, пояснил он, надо немного повыше поднять ноги. Вместе с Николаем Ванычем они подложили под ноги Анне Львовне две пуховые подушки, и Серый, самолично устроив поуютнее постель, еще раз сказал, чтобы до утра, пока Анна Львовна не выспится, лежать, лежать, лежать. Потом он сделал маленький, в плечо, укол камфары, без которого, конечно, можно было и обойтись, это все равно, что дистиллированную воду впрыскивать, но сделал, понимая, что с уколом Анна Львовна заснет быстрее и крепче, приучена она к уколам. Серый попросил Николая Ваныча погасить люстру, и при тихом свете стоячей лампы Анна Львовна задремала, под ровный голос Серого, настроенный на самые низкие регистры.

«Какой вы!» — восхищенно, шепотом сказал Николай Ваныч. «Какой?» — спросил Серый. «Необыкновенный, — сказал Николай Ваныч, помогая рукой своему восхищению. — Вы из тех врачей... Из земских!» «Земские врачи тоже разные были, — сказал Серый, бесшумно закрывая ящик. — Были Антоны Палычи, были Ионычи!» «Вы — из Антон Палычей!»

Похвальное слово приятно, но с некоторых пор, и очень давно это случилось, Серый тушуется, когда его хвалят, откровенно в ответ грубит, не желая, чтобы видели, как он тушуется. Собственно, заработать слова *хороший врач* или *замечательный врач* очень просто. Выхоли бородку, как Минский, заучи два вида улыбок, жизнеутверждающую и всепонимающую, поддакивай и кивай, но храни несокрушимую важность — и ты чудесен. Будут тебе, как Минскому, приходить задушевные благодарности, и будут их зачитывать на утренних конференциях. Что там у него за душой, это известно лишь нам, профессионалам. Ничего. Кроме алчности, надерганных там и сям дежурных сведений и уверенности в том, что он интеллектуал. А Стрижак, умница и безотказный, с эластичными и убедительными пальцами, лучше которого во всей Москве никто не заведет внутрисердечно электростимулятора, никогда и никаких благодарностей не получал и не получит, потому что говорит всегда то, что думает.

Покори и подчини больного, это старые врачи придумали. И они были тысячу раз правы. Шарлатанство в нашем деле неизбежно, это Серый для себя давно вывел, оно нужно людям. Они его хотят и, следовательно, должны получить. Когда-то Серый честно отвечал: «Не знаю!» Ничего хорошего не вышло. В лучшем случае на него обижались, а то смотрели, как на ненормального, подозрительно. Или с откровенной ненавистью. Минский не дурак, эту слабину людскую угадал. И ласкает чувствительные людские клавиши, а в частности, извечное нежелание слышать о себе плохое, и покоряет, и подчиняет глупых клиентов, старается для собственного кармана и упоения собой. Низкой пробы шарлатан, ума немного, но людям, похоже, хватает.

Что до упоения собой, это штука вредная. Серому это чувство хорошо знакомо. Проходили, как же, проходили! Оно в момент вырастает, аж вспыхивает. Только, простите, на упоении далеко не уедешь, враз сорвешься где-нибудь. Да и совестно.

Потому и грубит, потому и тушуется. Еще и потому. А в целом потому, что тем, кто его хвалит, известен лишь миг его жизни, а ему самому — вся его жизнь, и в ней есть такое стыдное, о чем он забыть не может. Когда его хвалят — особенно. Нет человека без стыдных поступков. Это Серый понимает хорошо. И он такой же. Но только не хвалите! Поэтому он поспешил уйти.

— Постойте, Антон Сергеевич! — горячо шепнул Николай Ваныч. — Одну минуту! — Серый безошибочно понял, что сейчас ему будут предлагать деньги. Он придержал старика, схватив его запястье. — Не надо! — сказал он.

— Как не надо? — воскликнул Николай Ваныч. — Я хочу, чтобы вы и дальше нас лечили! Мы воспитаны так, мы старые люди! Труд врача должен быть оплачен!

— Ничего, расплатитесь со мной дружбой, — сказал спокойно Серый, не отпуская старика. — А лечить я вас буду. И завтра обязательно приеду, и телефон свой оставлю. Я вас не брошу! — вырвалось у него.

— Спасибо, дорогой мой, — растерянно сказал Николай Ваныч. — Но как же так?

— А так, — засмеялся Серый. — Пусть вас это не тревожит.

— Но от чая вы, надеюсь, не откажетесь?

— Сегодня откажусь. Спасибо. Тороплюсь очень.

И неожиданно для себя Серый сказал, что у него заболела дочь. И затосковал по Катьке.

Когда прощались в прихожей, задрожал пол, такие сильные стереоколонки включились за одной из дверей, и взорвал тишину рев синтезатора. «Что это?» — спросил Серый. Николай Ваныч сказал: «Людям свойственно веселиться». Серый, накинувший шинель, поставил ящик, рванулся. «Что вы? — испугался Николай Ваныч. — Не надо! Не надо, голубчик! Я сам ему скажу!» Но Серый направился к музыкальной двери, стукнул и, не дожидаясь разрешения, открыл ее. В комнате был полумрак, и Серый плохо рассмотрел парня, сидящего на тахте, вытянув ноги. «Звук убавь! — сказал Серый, стараясь перекрыть тявканье гитар. — Там женщина больная, за стеной!» Парень, не вставая с тахты, закричал: «Не слышу!» «Звук убери! — гаркнул Серый, входя в комнату. — У тебя больная за стеной!» «Бабуся, что ли?» — Парень слез с тахты и убрал громкость нехотя. «Ты бы потише врубал», — попросил Серый. «Мне после работы тоже отдохнуть хочется», — сказал парень. Николай Ваныч, тревожно ждавший у дверей, сокрушался: «Не надо, не надо было, Антон Сергеевич!»

Не надо!.. Бабуся!.. Кто защитит этих беспомощных стариков? От Жибоедовых и Минских, от бессовестности, хамства, наглости? — печально сложилось в голове у Серого, когда Николай Ваныч прикрыл за ним входную дверь, и она срезала смятенное лицо коротенького старика. «Кто он — этот робкий и деликатный старик? — думал Серый, когда медленно-грузно спускался по мраморным стертым ступеням, когда машина уносила его в Староконюшенный. В своей жизни, наверное, голоса не повысил?» Просидел ли он тихим отшельником до самой пенсии, изучая древние рукописи, был ли скромным инженером-конструктором? Или учителем старших классов? На таких во все времена воду возили. На них доносы писали. Такие уходили добровольцами в ополчение и погибали раньше всех. Такие не полезут первыми за своей пайкой, они очередь всякому уступят и единственное свободное место в трамвае тоже. Их не точит зависть. Они не сумеют сделать зла, даже случайно, невзначай. Когда виноваты обстоятельства, как принято говорить. Им просто-напросто в голову не придет, потому что они знают точно, где черта, за которой начинается пакость. И черты этой они не переступят, потому что совестливы. Это их суть. И называется сия суть, сия беспомощная мораль — интеллигентность. А мы шпана!

Неужели можно прожить жизнь праведником и ни разу не оступиться, не перешагнуть черту, за которой твоя взыгравшая гордыня во вред

другим? Не озлобиться ни разу, ни на людей, ни на саму жизнь? — вот о чем давно думал Серый. И сейчас он спросил себя: «Может, праведность — это от незнания жизни и от незнания людей?» Эта шпана наверняка повидала мерзостей побольше, чем Николай Ваныч! Может, он бы ужаснулся, если бы Серый рассказал ему о людях, какие они. Например, взять бы и сказать: «Николай Ваныч, этот симпатичный, несколько шумный фельдшер вам пакость сделал. Это от его укола Анне Львовне стало плохо. Вовсе это не реакция на новое лекарство!» Не поверит. Или устрашится? Несомненно, он считает профессию врача недосягаемой. Спросить его: «Почему вы не стали врачом, Николай Ваныч?» Он ответит: «Потому что не располагаю душевными качествами, какие нужны врачу!» Это он-то! Или вы знаете о жизни куда больше, чем шпана, и я в том числе, и хлебнули ее досыта, и все понимаете, и всех прощаете, и жалеете? Как не получается у меня. Но чего бы я хотел. И для вас прощать и жалеть — естественное состояние души, потому что души хватает? Впрочем, можно ли делать такие пространные выводы из получасовой встречи? Может, вы обыкновенный старикашка, однажды насмерть перепуганный так, что испуга хватило на все последующие годы? И вам желательно спрятаться в старости хотя бы в своей коммунальной комнате, где басовые часы и старые позолоченные книги в шведских шкафах с пуговками? И вы не интеллигент, я все про вас придумал, потому что мучаюсь тоской по несбыточному человеку, по праведнику, каким сам никогда не был? И черты которого, мне показалось, я увидел в вас? Как упрек и напоминание себе?

И что бы вы ответили, милейший Николай Ваныч, если бы вам сказали, что тот самый необыкновенный Антон Сергеевич, на которого вы с обожанием только что смотрели, мог когда-то, пусть по молодости, но по эгоизму и фанфаронству тож, вколотить такой же точно аминазин, с такой же точно целью, что и сегодняшний шумный медик? Представьте себе, это была не ошибка молодого врача, а сволочизм!

Как гардеробный жестяной номерок висит на крючке памяти то, давнее.

Он стал слабеть по третьему году на «скорой». Принято считать, что именно к этому времени уже искажается от ночной работы психика. Может быть, может быть. Во всяком случае, сутки теперь тащил натужно, как тяжеленные мешки. Каждые сутки вливали в него яду. Мир тогда раскололся. Половина его была против Серого. По ту сторону были вызывающие. Они без конца наворачивали телефонный диск, чтобы его немедленно потребовать, беспощадные, ненасытные враги. Они выдергивали в любое время ночи из зыбкого тепла подстанции, швыряли в промерзшую машину, терзали, они желали, чтобы он никогда не спал и думал лишь об их здоровье. По другую сторону был он, Серый, загнанный, замученный, и еще пятьсот загнанных и замученных ночных бригад, которые мечтали только об одном — чтобы их оставили наконец в покое, дали передышку, тепло и сон. Тогда уже Серый хорошо понима., что из десятка ночных вызовов есть два, от силы три, когда нужна его помощь. Остальное — гиль, бессмыслица, можно обойтись дежурной таблеткой, глотком воды, горчичником, обождать до утра, до открытия поликлиники, чтобы сбегать за тем советом, который позарез понадобился почему-то глухой ночью. Без сна ночи, без дела вызовы. Серый роптал, бессильно и немо, копил ночами злобу. И, сидя у очередной постели какого-нибудь не могущего справиться с чутошной болью, сам в поту и кашляющий, он не вылезал тогда из бронхитов, наливался звериным буйством. Почему они так дрожат за свою шкуру? Жалкие, презренные себялюбцы!

В трескучий ночной мороз, вытаскивая несчастного рогатого из сугробов, силясь, надрываясь, кряхтя, облепленный и ослепленный снежными зарядами, бьющими из-под буксующих колес, однажды решил: «Да! Люди — сволочи!»

Просыпаясь после суток, он ненавидел весь мир, и больше всех Лиду, потому что она была под рукой. Его ярили плачи крохотной Катьки. Оказалось, что и Лида вспыльчива и может быть несправедлива. Серый спал теперь подолгу. Мог проспать после суток до вечера, до черноты в окнах, встать, чтобы навалиться на еду, и снова уснуть до позднего по-

лудня. Потом он возвращался к жизни, тупо бродил по квартире, натыкаясь на стулья и ругаясь, наливался чаем, безуспешно пытался сображать, снова ложился и вставал; насупясь, смотрел телевизор, раскладывал, сопя и сбиваясь, бесконечный пасьянс «версальский двор». И снова смеркалось в Староконюшенном. Загоралась в столовой люстра. Еще один день был незаметно прожит и уходил, добавив досады. В это время возвращалась со службы Лида, тоже не в лучшем настроении, и могла раскричаться, если Серый не купил картошку, или ей было достаточно увидеть мужа на диване, чтобы грохотать посудой и сотрясать двери. Серый вскакивал с дивана, шел на кухню немедленно выяснять отношения. Ссора начиналась именно с готовности у обоих выяснять отношения. С намерений вроде бы прекрасных, а получалась грызня. Порохом тогда пахло в Староконюшенном. И порохом были начинены их намерения, очень молодых, поэтому не умевших прощать. И уже уставших, задерганных. Тягались — кто кого. «А я? Я не устаю?» — гневливо вопрошала Лида, и красивое ее лицо вмиг злобилось. Это добавляло, подхлестывало. Иногда Серому казалось, что они — это два бегуна на длинной дистанции, они бегут рядом, и финиш скоро, дыхание сбилось, нет сил, но они зло тянут дистанцию, сталкиваясь плечами, отпихиваясь, чтобы занять малую дорожку, в исступленном намерении прийти первым. Ругались страстно, беспощадно, не боясь добраться до вспоминания друг другу старых грехов. В этом язвительно усердствовала Лида. Выпустив пар, Серый обмирал от стыда, от того, что они, муж и жена, по уши влезли в низкое, обывательское, срамное положение. Боже мой, фельетонное! И сами себя затащили в эту яму. Но остановиться было трудно. Уже истаивала злость, но, чавкая, сосала обида. Хотя было жалко Лиду, которая в это время начинала стремительно что-нибудь творить по хозяйству или, схватив авоську, убегала в овощную лавку на улицу Щукина. Вырвать авоську, самому бежать было невозможно, Лида бы этого не стерпела. Был бы новый крик. Серый закрывался в комнате, в их комнате, пялил глаза в сумрачное окно, пыхтел. Вспоминал, раскаиваясь, как вчера, когда он приполз после суток, Лида стягивала с него пальто, приседала возле, готовая расшнуровывать его грязные башмаки, наливала ванну, накрывала завтрак, рискуя опоздать на службу, и тогда на красивом ее лице было сострадание. Куда оно ушло сегодня? Почему она не хочет знать, что не дали ему отдыха эти два дня? Почему она не чувствует, к а к он устает? Или она понимает лишь до какого-то предела, ей доступного? И впервые в жизни он горько печалился о том, что влезть в чужую кожу невозможно. Увы, печаль в ту пору касалась исключительно его кожи. Снова сосала обида, если он вспоминал, как Лида бросила, что с радостью бы согласилась работать на «скорой» сутками, нежели ходить каждый день на службу и отсиживать там восемь часов. То, что в их ссорах сшибались две гордыни, — это Серый сообразит гораздо позже. Но тогда он был растерян, ужален, он ужаснулся: Лида — и не понимает! Лида-златовласка, которой он всегда и все о себе рассказывал, поверенная его души! Эхо язвительных упреков жены металось по комнате. Чужая женщина. Серый затаивался, ругал себя за то, что Лида многое о нем знает, и о слабостях его, и о девочках его, которые были до Лиды, и сейчас он получает по голове своей же откровенностью. Хотелось быть сильным и независимым. Подходило время спать. Он мрачно доставал из кладовки раскладушку, стараясь не задеть ею за что-нибудь, чтобы не рассыпались по уснувшей квартире легко узнаваемые дребезжащие звуки, и не услышали их Лидины родители. Прекрасные, достойные люди, они никогда не вмешивались. Катька была на их попечении, вот и все вмешательство. Тогда это не ценилось. Лида делала вид, что манипуляции с раскладушкой ее не касаются. Однажды ветхое раскладушечье полотно не выдержало, и Серый оказался на полу, запутавшись в одеялах и простынях. Проснулась от шума Лида, включила свет. Хитрый Катькин взгляд тут же показался над кроваткой, она уже вставала тогда на ножки. Лида хохотала, визжала довольная суматохой Катька. И Серый не был настолько самолюбив, чтобы не засмеяться, представив себя, нелепого, под кучей тряпок. Помирились в ту же ночь, ничего не выясняя. Ночи их всегда мирили. Когда все по-другому. Когда губы сладки и шелковистая кожа светится лунным светом в лунном Староконюшенном переулке.

Потом они долго не спали и говорили, и Серый горячо шептал свои обиды на людей и на Матюхина, пьянствующего у себя в кабинете и таскающего туда баб, когда бригады в мыле носятся по Москве. Шептал, забыв данное решительно слово — ничего Лиде о себе не рассказывать. Шептал, а Лида успокаивала и говорила, что надо переходить на ставку.

И все-таки «один в уме» оставался. Глубоко засевший осколок обиды, который впивался зазубренными краями, когда ссорились в следующий раз. Впивался от раза к разу все сильнее. Все острее и острее. Потому что никогда не выясняли до конца. Нельзя затаиваться. Выдирайте осколок обиды сразу! Выяснять нужно до чистой воды, пока дно не показалось, светлое, песчаное.

Мир «скорой» терял привлекательность. Он был изучен до косточки, и то, что вчера умиляло, казалось уделом избранных, обернулось теперь храпом и козлиной вонью ночной врачебной, и вечной нечистотой, и враньем, пересказываемым в курилке, из года в год одним и тем же, и малограмотностью, выдаваемой за доблесть. Раздражало все — пошляческое шутовство, победные вопли и хохот, восторженный энтузиазм зеленых удальцов, «молодого помета». Он брезгливо вспоминал свое санитарское гусарство. «Куда ты уйдешь? — говорил Васек, когда Серый жаловался ему, что больше не может, отрабатывает положенные три года и уходит. — Гадюшник наш не хуже всякого другого. С тем преимуществом, что ты бываешь в нем всего десять суток в месяц! Попробуй найти другое такое место! Не обращай внимания! Сел в машину, напрягся, скинул сутки — и забуды!» Многое тогда бесило. Сменилось начальство, канул неизвестно куда смещенный Кулиш, в кабинете заведующего воссел Матюхин, только-только получивший врачебный диплом. Сменилось начальство, поменялись фавориты. Вчерашние фавориты стали опальными. Сместили помощников, старшего фельдшера. И бывший старшой, к которому раньше ходили на поклон, чтобы поменять дни дежурств (что делать? врач всегда ходит на поклон к старшому), теперь работал, как простой санитар быдловый, и заигрывал с народом, набирая сочувствующих. Подстанция бродила, но не винным брожением. Вонь чувствовалась в воздухе. Бывшие шептались, составлялось какое-то письмо с жалобой на притеснения Матюхина, новые фавориты подслушивали, выуживали. Прежде чем что-то в толпе сказать, надо было хорошо подумать. В кабинете Матюхина все сразу становилось известно. Интриги раздирали диспетчерскую. Отыгрывались на бригадах. Пошли первые заявления об уходе. Матюхин не задерживал никого. Страдали от этого, естественно, те, кто остался. Работали поодиночке даже ночью и не удивлялись, если не хватало народу в смене и простаивали пустые машины. Серого никто не трогал, Матюхин пока относился к нему прекрасно. Но дерьмовая вонь становилась все сильнее. «Уйду к черту совсем!» — решил Серый.

Среди этого дыма коромыслом случались нормальные дни, а то и недели. Невозможно было работать постоянно в таком напряге. Лида, тогда увлекшаяся оккультизмом, уверяла Серого, что он подвластен действию Луны, поэтому еще у него меняется настроение. И даже заказала для него гороскоп. В гороскопе были указаны не только дни, но циклы, когда Серого ждут неудачи и ему следует придержать активность. Это разозлило, потому что Лида копала не там. И вышла из гороскопа еще одна ссора.

«Уйду к черту!» — прекрасная философия, обычно не приводящая ни к каким последствиям. Серый подспудно догадывался, что уйти со «скорой» для него будет нелегко. Мы уже отравлены «скорой», говорил он Ваську, мы не сможем войти в обычную жизнь. Васек соглашался. В самом деле, думал Серый, уйти со «скорой» — это все равно что моряку списаться с корабля на вечный берег. Как так — сойти на твердую землю, не знать суток, каждый день по будильнику бежать в поликлинику или маяться в больничном застенке? И что там делать? Снова кормить бабок таблетками? Другие уходили, списывались по болезни, Мише Крылову, из одного выпуска с Серым, удалось уйти, получив справку, что у него аллергия на бензин. «Уйду к черту!» — это оставалось на бешеные ночи, на пробуждение после ночей. Но проходили два дня, и Серый снова тащился на сутки. Иногда безразличный или, досадуя и морщась, обреченный, но чаще всего ненавидяще-злобный. «Скорая» еще и кормила, об этом не следовало забывать. Не напрасно Матюхин, подписывая заявления об уходе, усмехался: «Что? Надоело мясо? Захотелось манной каши?»

Так было до того случая на Смоленском бульваре, куда в паре с Милой Спасибиной его погнали однажды, под февральское метельное утро. За двадцать пять минут до этого он вернулся, на подстанции отдыхало шесть бригад. Седьмая очередь — такое не часто выпадает зимой, и он, не сняв сапог, рухнул на раскладное кресло, уверенный, что часа полтора его не тронут. Но поехали сразу, все семь бригад. Хуже, чем работать в паре с Милой Спасибиной, трудно было что-нибудь представить. Она была хабалка. Наглая, если можно, кликуша, когда надо, первая блюдолизка при всех заведующих, тупая, ленивая, бесстыжая. Тогда на подстанции стали исчезать вещи, украли кожаное пальто из женской фельдшерской, нельзя было оставить, уезжая на вызов, ничего мало-мальски ценного, тем более деньги. Догадывались, что это руки Спасибиной, а доказать не могли, ловка была. Итак, поехали по поводу «плохо с сердцем женщине». Серый трясся в мерзлой карете, скукожившись, проклиная тот час, когда он согласился идти на «Скорую», потом задремал. Он дремал и на вызове, слушая сердце и меряя давление, и Спасибина дремала, сидя рядом в кресле. Когда уезжаешь глубокой ночью на вызов, то всегда надеешься, что это ненадолго, чего-нибудь уколешь и вернешься и доспишь, урвешь еще несколько минут. И думаешь ночью спинным мозгом, не головой. Ничего явного, страшного не было, но какая-то малость его останавливала, мешала сделать традиционный обезболивающий коктейльчик и добавить снотворное. Эта малость в нем расти не стала, уснула. Давление, правда, было высоковато. Но что из того? Спасибина шипела, чтобы он не тянул, и разорялась пожилая клиентка, долго, видите ли, их ждала. И Серый своими руками сделал коктейльчик и ввел внутривенно, с кубиком аминазина. Давление быстренько снизилось, они собрались и уехали.

Утром оказалось, что вызывали повторно, ездила Лена Мазур и увезла эту старушку с инфарктом, и давление было на нулях. Когда Ленка подошла к нему, было часов шесть, он пил чай в буфетной, больше не ложились все равно. Она сказала, что о нем думает. «Несчастное насекомое! — возмутился Серый. — Бледная немочь! Ленка, которая ненавидела «скорую» и считала дни до своего освобождения! Всего боявшаяся, затыкавшая уши и глаза, невзрачное полуобморочное создание! «Ты — не врач!» — сказала она. Серый взметнулся, наорал. И стих. Побежал к Матюхину, который в ту ночь дежурил. Матюхин спал в своем кабинете. «Чего волнуешься? — взбрыкнул недовольно, когда Серый разбудил его и рассказал, что случилось. — Кому она нужна — эта старуха?» Потом, прокачивая случившееся в который раз, Серый спрашивал себя: «Почему тогда его так потрясло?» Мало ли он делал старикам на ночь бай-бай? Кстати, по их просьбе — тоже. Не зная их дальнейшей судьбы. «Мы бригады разового пользования!» — как учил Жибоедов. И чему смеялся Серый. Понял потом — было предчувствие. Старуха не так дышала. Скрыл, скрыл от себя. И знал, что скажет Ленка, когда увидел ее на пороге буфетной. Ленка не шла из головы. Омерзение на ее прыщавом личике. И, лютуя по ее поводу, рассказывая Ваську, Лиде, уговаривая себя тем, что всякое бывает, успокаиваясь этим ненадолго, он снова возвращался к Ленкиным прыщам. И силился вспомнить лицо той старухи — и не мог. Остался в памяти халат, мятый, розово-вишневый, в каких-то потеках. И тощего желудка, муторный, запах изо рта. Потом Серый поймет, что, пересказывая ту историю другим, он искал оправдания и не находил. Перед Васьком оправдываться было нечего. «В следующий раз будешь внимательнее», — сказал он. И напомнил слова Боткина о том, что каждый врач должен пройти целый ряд мучительных сомнений и ошибок, чтобы потом применять свои врачебные сведения без последующих нравственных пыток. Нет, эти слова скользили, не проникая, их было явно недостаточно, они не освобождали затяжелевшую душу. Лида на этот раз сама заговорила о том, что он устал, оправдывала его.

И когда Серый, гримасничая и жестикулируя, пытался словами обозначить вызревающее в нем, убеждала: «Ты, Антошенька, не черствый, не равнодушный, коли так мучаешься. Потерпи до осени, всего-то осталось доработать, и ступай, куда пожелаешь. Хочешь — в ординатуру, попросим папу, он поможет, будешь спать ночью дома, будешь есть как человек. А на деньги наплюй, сколько будет, столько и будет». Все это было не то. Не то, что нужно было Серому. Он получит еще один хорошенький удар, когда расскажет о старухе в пивбаре на Киевской, просто расскажет случайному соседу за столиком, в подпитии, расскажет, разумеется, как будто речь не о нем, а о ком-то другом. И сосед, наливший глаз, поикивая от пива, ответит: «Твой друг — подонок!» Этого принять он не мог, хотя и не дал в морду ханыге. Но ушел из бара раздавленный. Свалить на то, что другие не лучше его, как пыталась сделать Лида, было невозможно. В двадцать шесть лет от представления о себе суть моральном совершенстве отказываешься с трудом. Поэтому ищешь всякий раз оправдание. Цепко ищешь, изощренно — и чаще находишь. Заключаешь тогда с собой перемирие и, успокоенный и гордый, живешь дальше. Но как было поступить в те дни? С любезной памятью, которая потащила к его услугам мешок доказательств? Того, что он нетерпим, несправедлив, что он обижал, злобствовал, вредил. Он вспомнил, как прохлопал однажды внематочную только потому, что был небрежен, а был небрежен оттого, что был заносчив и посчитал, будто все истины держит в своих санитарских горстях. Определил, не сомневаясь, банальную дистонию. А женщина в это время, как потом выяснилось, кровила. Он вспомнил молодого истерика с Комсомольского проспекта, у которого оказался флегмонозный аппендицит. Ну да, он был истерик и очень неприятен, когда хватал Серого за руки, и мать его была чрезвычайно спесива, исполкомовская дама районного пошиба, грозившая, что разнесет всю «скорую» вместе с Серым. Но это же ничего не означало! Смотреть надо было! И многое другое вспомнил Серый. И чем больше вспоминал, тем сильнее удивлялся, что все это в нем, оказывается, хранилось. И все то, что он делал, чтобы не попасть впросак перед Жибоедовым, другими «стариками», показать свою удаль, доблесть, опытность. Мимолетности его скоропомощной карьеры хлестали, они накатывались, как приступы. Он изводил себя этими воспоминаниями, понимая, что перебирает, сгущает, но остановиться не мог. Не было истины. Кто же он такой? Истина явилась, и вскоре. Что уж там приключилось на вызове, вспомнить трудно. Кажется, его не поняли или исказили смысл им сказанного, тех советов, что он добросовестно вколачивал в чьи-то непонятливые головы, там было несколько человек, и мужчины, и женщины. Или усомнились в его советах. И он закричал на них. Тогда ему, распятому, немного было нужно. И услышал: «Господи! Да какой же вы врач!»

— Да! — взвопил Серый в упоительном исступлении. — Да! Я — не врач!

Ему никто не возразил, его вопль напугал, от него отпрянули, но он вскричал с наслаждением еще: «Да! Да! Вы совершенно правы! Я не врач! Не врач! Не врач».

Омерзительная вышла картинка. Истерика, да и только.

Но как бы то ни было, ответ он нашел, и ответ возник в нем самом, не упал с неба, родился в корчах. И ответ окончательный. Он не звучал обречением, приговором. Это было важнейшее открытие. Ты не подонок, ты просто не врач. Врач — это праведник. Это образ жизни. Монолит! Ты, может быть, очень хороший человек, хотя пусть об этом судят другие. А другие и считают тебя очень хорошим человеком. Но ты занимаешься не своим делом, и в этом причина всех бедствий. И если ты честен, то должен немедленно бросить медицину. Довольно! Серый был вдохновенно счастлив.

«Ты не врач? — изумился Васек. — Кто же тогда врач? А твое умение заговаривать зубы больным, после чего у них все болячки проходят! У тебя еще поучиться нужно! В тебе сидит великий психотерапевт! Забыл, как ты за сутки не сделал ни одного укола?»

Такой случай был однажды, на спор. Опечатали утром ящик, Серый не имел права его открывать, лечить только словом. Оговорили возможность инфаркта миокарда, приступа бронхиальной астмы, авто и еще двух-трех случаев, требующих вмешательства. В любом из них Серый обязан был вызывать на себя другую бригаду, которая бы и подтвердила, что ящик он вскрывал по делу. Предупредили диспетчера. Подгадали, чтобы на Центре сидел кто-то из своих. Но, во-первых, Васек ошибся, это продолжалось не сутки, а дневные полусутки, с восьми до двадцати двух. Во-вторых, это была случайность. «Ты — неврастеник!» — рассердился Васек, поскольку Серый продолжал твердить, что не имеет права дальше оставаться врачом. «Это же так просто, — уговаривал его Серый, испытывая небывалое в своей жизни высвобождение. — Человек понял, что стал врачом случайно. Что же теперь — всю жизнь быть прикованным? Исходя из того, что медицину не бросают, это не принято? Подло так зарабатывать!» То, что стало теперь для Серого очевидным, распалило Стрижака окончательно. Он сказал: «Значит, ты не можешь, а мы можем? Конечно! Легче один раз бросить, чем всю жизнь терпеть! Святоша!» И трахнул дверью.

Это было неприятно, но не могло вывести из нового состояния, за него Серый держался цепко, с ним вставал, с ним и ложился. Ты совсем еще молод, так говорил он себе, у тебя есть голова, наконец научившаяся думать, сильные руки, ты здоров, и все, что было, не напрасно. Это опыт. Будем искать другое дело. Если Васек не хочет знать, что я поступаю честно, по совести, тем хуже для него, наверное, он не дотягивает, ничего, когда-нибудь его тоже прижмет. Тогда дотянет.

С Лидой выходило сложнее, намного сложнее, Серый всякий раз отчаивался ей что-либо доказать. Но доказать было необходимо, потому что любить женщину и спать с ней годами можно только тогда, когда она тебя понимает. Лида упорно не желала понять. То, что он открыл. Столько ему стоившее, то, что перевернуло все представления о себе, о жизни, о будущем. Он кипел кровью, еще и еще выворачиваясь перед Лидой, а она круглила большие серые глаза. Видимо, она думала поначалу, что это очередной Антошенькин загиб. Пройдет, надо выждать. Но не проходило. Теперь уже Серому было неважно, что Лида не поняла сразу, как должна была понять, по его разумению, любящая женщина. Он теперь не доказывал, а навязывал, ненавидя себя, потому что прекрасные слова теряли цену, теряли смысл. Из ночи в ночь, Лиду доводя до слез, а себя до изнеможения. «Ну, кто тебе сказал, что ты не врач?» «Разве кто-нибудь должен это сказать! Я это знаю!» «Ты очень хороший врач, это все говорят!» «Я никто, я невежда, я ничего не знаю и не умею!» «Ну, хорошо, хорошо, ну, уходи в клинику». «Да как ты не поймешь, что я не имею права лечить людей! Таких, как я, надо гнать из медицины поганой метлой!» «Где ты встречал праведных врачей?» «Ты опять за свое! Это их трудности! Мне нет никакого дела до других!» «Куда ты пойдешь? В сторожа?» «А хоть бы и в сторожа!» «Ты загубил в себе прекрасного врача!» «Ага! И ты считаешь, что я кончился как врач!» «Да нет же! Нет! — уже со всхлипами, закрывая лицо. — Ты не создаешь! Ты все, все разрушаешь!»

Если бы она все знала, думал Серый, мучаясь слезами жены, если бы она знала, что я мог украсть, и как это было близко. Что бы она говорила тогда? Снова тяжелела душа невысказанною виной. Хотелось отряхнуться, очиститься. Лида рыдала. Он мягчал к ней и терпеливо, самым нежным голосом, ее успокаивал и просил понять. И однажды, в такую просительную минуту, Лида резко села в постели и закричала: «Да катись ты на все четыре стороны! Самовлюбленный эгоист! Самомнение для тебя дороже всего! Глаза б мои тебя не видели!»

Это было так неожиданно, что лицо Серого оставалось сведенным в умильную гримасу, и он, разинутый, убрал ее не сразу, а когда только лопнул в комнате последний выкрик. Когда до него дошло, что он жестоко, как никогда в жизни, оскорблен. Разумеется, он не ответил ничего, и уснули по краям постели, отвернувшись, вытянувшись напряженно, чтобы не задеть чужого тела.

Накалено теперь было в Староконюшенном, к стенам не притронешься. Раскладушка зашитая вылезала из кладовки всякий вечер, что Серый не работал. Лида придиралась к каждому шагу. Серый отмалчивался, как затравленный. Он в самом деле ощущал себя затравленным,

в чужой семье, в чужой квартире. Он понимал, конечно, краешком, что жестокие Лидины слова, ее насмешки, ее придирки — не то, чем они ему кажутся, но знать этого он не желал. Одно желание овладело им — бежать. Рвать — так сразу и со всем!

Ни в какие сторожа он не пошел и порвать сразу не порвал. Столкнулся с удивительным фактом: жизнь по-своему распоряжается с самыми благими намерениями. Казалось бы, коль дал зарок никогда не лечить, чего ждать? Уволься, диплом больше не нужен. Расстаться с дипломом оказалось страшно. Отец с матерью бы этого не вынесли. Рано или поздно рассказать бы пришлось. А Лидины родители? Пока он в Староконюшенном? Но было понятно самому, что диплом, как третья рука. Пригодится в будущем устройстве. Он набрал воздуху и решил пока смириться. Дотянуть до августа, когда истекали три года на «скорой», что он должен был отдать как любой молодой специалист. Он перешел на ставку, просился работать только днями, взял однажды больничный, неделю гостил в Малоярославце, у стариков. Ушел в апреле в отпуск. Катал по Гоголевскому бульвару Катьку и думал, что скажет ей, когда она вырастет. Летом работы было меньше, Серый приходил на подстанцию тихий, не ввязывался ни во что, ездил, молча делал уколы. Иногда на вызовах забывался, давал советы, и даже увлеченно, иногда слышал благодарные слова, бывало, что звучало восхищение его словами и действиями. В то время и появилась привычка — когда его хвалят, бочком, бочком исчезать. «Шарлатан! — говорил он себе, удирая с таких вызовов, и видел себя уродом горбатым. — Не верьте мне, люди!»

Но случалось и так, что он всем нутром изведывал удовольствие. Так было однажды, когда он купировал труднейший отек легких. Больная была в кардиогенном шоке, потом наступила клиническая смерть. Тогда он с благодарностью вспомнил Васька, который научил его пунктировать подключичную вену, чтобы капать препараты кратчайшим путем, и вводить в трахею дыхательную трубку, интубировать, чтобы поставить на искусственное дыхание. Хорошо, что он возил с собой разные реанимационные штучки, подаренные Стрижаком, не положенные на линейной машине, возил из пижонства, но вот пригодилось. Тогда пришлось потрудиться. Но гордился собой недолго. В развитой стране такие фокусы проделывать обязан даже не врач, а его технический помощник. Но еще потому, что представился Серому старик, в белом плаще, с круглой седой бородой, в окружении преданных учеников, под кипарисом. Старик грустно смотрел на Серого чистыми голубыми глазами, высоко подняв указательный палец, и говорил два слова: «Нон ноцере!» Не вреди. А он навредил, нарушил главную гиппократову заповедь. И поздно что-нибудь менять. Путь назад заказан, и это справедливо.

В то время он много думал о том, почему так случилось, что вчера он был вроде бы одним, а назавтра стал другим. Нет, возражал Серый, это неверно, я не стал другим, я всегда был таким. Человек не меняется. Он развивается, это верно. Человек выныривает на свет не чистой доской, но с полным набором всех мыслимых человеческих качеств и свойств, плохих и хороших. Вопрос в том, что завянет, а что расцветет пышной пальмой. И зерно совести рано или поздно даст побег, если это суждено. Поэтому дело не в старухе на Смоленском бульваре. То есть дело, конечно, в ней, но, не будь ее, случилось бы непременно что-нибудь другое, может, пострашнее, но случилось бы, коль суждено, чтобы совесть дала побег. Она была и раньше, совесть. Разве он не жалел тех, кого обижал вольно или невольно, разве не сокрушался по поводу своих ошибок? Но, видать, время не приходило, забивали тщедушный росток разные другие розы — себялюбие прежде всего. Колючая дама!

Летом он жил в Староконюшенном один, все были на даче. Тогда и нашлась утешительница, сестричка из Первой Градской. Она была сложена, как мальчишка, и в синих джинсиках. Такая кроха. Она и разыскала ему комнату на Юго-Западе. Его первую комнату. Потом были другие. Кроху Серый не любит вспоминать, как и ту комнату, куда Кроха потащила всякий домашний хлам с явным намерением там обосноваться с обожаемым любовником. А может, выйти за него замуж. Ее амбиции он разгадал поздновато. Нравилась она поначалу, и очень. Малым ростом, хрупкостью, некрасивостью, короткой челкой. Тем, что смотрела на него снизу вверх. И самоотверженна для него. Чушь! Впрочем, она ушла довольно легко. И Серый смог наконец остаться один, как и хотел, к чему рвался. С Лидой разговор вышел короткий. Когда объявилась комната на Юго-Западе и ее надо было срочно занять, иначе бы ее заняли другие, желающих было много, Серый набрался духу и сказал Лиде, что хочет пожить пока один, ему это необходимо. Лида даже не спросила, в чем необходимость, пожала плечами и вышла из комнаты.

В половине августа Серый ушел со «скорой» и устроился в районной поликлинике статистиком, и решил начать новую жизнь. Но как это сделать, он не знал. И нельзя, очевидно, начать новую жизнь, можно лишь продолжить старую, коль человек не меняется. Новая жизнь пока выражалась в том, что все свободное время он валялся на диване. И с восьми часов утра сидел в кабинете статистики, ворошил статистические талоны и прочие бумажки и давал с отвращением липовую отчетность, потому что, если не давать липовую отчетность, деятельность медицины сочтут неэффективной.

Давно это было. Два кошмарных года в поликлинике прошло с тех пор, и шестую зиму после того отмахал на «скорой». Помнится отвращение вначале и протяжная тоска потом, если встречал на улице рогатых. Помнится, как долго не мог себя научить спать ночью и не спать днем, как мучился, вставая в поликлинику каждый день в шесть часов. Как просыпался от голода на раннем рассвете и, крадучись, чтобы не разбудить хозяина, шел на кухню, жадно хватал из холодильника что-нибудь, пил холодный чай. Помнит еще, как в первый поликлинический отпуск уехал в Севастополь и снял на Карантине душную комнатушку в мансарде, где проснулся ночью от настойчивого зова: «Одиннадцатая бригада, возьмите вызов! Одиннадцатая, возьмите наконец вызов!» Как стал натягивать штаны, не понимая, почему уснул на сутках голый, пока не вспомнил, где он находится. По дикой иронии он поселился рядом с подстанцией «скорой». Но самое памятное, пожалуй, то, что он постоянно ощущал свою несчастность. Поначалу он травил себя, уверял, что заслужил такую участь, но по мере того как рос протест против нелепой жизни, лишенной всякого смысла и будущего, стал себя жалеть.

Он по-прежнему встречался с Васьком, но редко. Васек, как и раньше, ругал его неврастеником и, похоже, ждал, пока друг перестанет чудить. Насмехался. Сердился. Предлагал прекратить хреновые рыдания. Соблазнял своей бригадой. Смаковал интересные случаи. Взывал к самолюбию. «Сгрызешь себя окончательно, — говорил он. — Что останется? Пережеванные кости?» Васек попадал в самое сердце. Но, в общем, говорили мало. Больше пили.

Что-то тронулось в нем, когда он пошел однажды залечить зуб, и стоматолог, пожилая женщина, узнала его. Оказалось, как она уверяла, он спас ее родную сестру. Слово спас ничего не означало для Серого. Обыватель, пусть он будет стоматолог, склонен видеть чудо в тривиальной инъекции новокаинамида только потому, что пульс со ста восьмидесяти падает на восемьдесят, и возвращается способность нормально дышать. Дело было в другом. Носилки в узком коридоре не проходили, и на лестнице их тоже невозможно было развернуть, и Серый нес сестру стоматолога на руках до машины, с пятого этажа. Оказалось, было и такое.

А к стоматологу тогда прошел без очереди, заявив, что он врач и пользуется единственной врачебной привилегией. Спохватился позже.

Как-то он постарел за эти два года. Обмяк, стал позволять являться в поликлинику небритым. Протекали ботинки, рвалось пальто, руки болтались в бездействии, будто студенистые, немощные. Жесточили сто десять рублей оклада. Как он тогда крутился, непонятно. Полста отдавал хозяину, квартиры подешевле были, тридцать — Катьке. Как жил? Плохо жил.

Жалость к себе вытянула и другое. Недовольство собой. В конце концов он решил, что живет жизнью подлой, хоронит силы, способности. Может быть, талант. Стало казаться, что его упорство — это не та убежденность, которая была, когда он решил никогда не лезть в лечебное дело. Лишь упрямство. Упрямое нежелание посчитать себя неправым. Прав Васек, который сказал, что один раз, конечно, легче бросить. Терпеть всю жизнь действительно труднее.

Он терял ощущение своей правоты, чем больше протекали башмаки, тем крепче становился голос недовольства собой и своей тухлой жизнью. Тем чаще Серый переставал верить себе и тому, что с ним произошло и происходит, и тогда казалось, что все это ненастоящее, им придумано; он сбивался с толку, но упрямо повторял: «Я дал зарок!»

Однажды вернулась упругость. Он услышал из кабинета крики, чье-то падение. Вышел узнать, в чем дело. Грохнулся без сознания мужик, ждавший своей очереди к участковому. Сбежались врачи, кто-то склонился над упавшим, заглядывая ему в глаза, заведующая отделением требовала, чтобы немедленно вызывали «скорую», испуг, суета, гам. Массировали сердце, старательно, слабо, неумело. Откуда что берется? Как пойнтер над дичью, Серый сделал стойку. Оценил. Рявкнул властно — кому и зачем бежать. Впрыснул. Качал и вдувал. Сорок минут, до приезда бригады, качал, д е р ж а л зрачки, не давая им расшириться, что означало бы конец. Надо было такому случиться, что приехал Васек со своими отчаянными ребятами. «Дай мне! — вырвал у него ларингоскоп Серый. — Сам заинтубирую!» Ввел трубку, подсоединил дыхательный мешок. Васек сунул ему электроды дефибриллятора: «Давай, Серый!» Если бы мужика тогда не откачали, наверное, он бы снова сник. Но случилось так, что откачали. И, наверное, после того случая он решил вернуться. Если бы его спросили прямо: «Решил?» — конечно, ответил бы: «Ни в коем случае!» Вернуться вообще намного труднее, чем уйти. Потому что нужно ответить — как быть с тем, ушедшим? Который не считал себя врачом. Не считал, не считал. И вдруг — стал? Его надо было куда-то деть, а то получалась недостойная, постыдная несусветица. Ответ надо было еще вырастить. Он лежал рядом, ответ, но пришлось попотеть. Не стал, но стану. Для чего и вернусь. И никому диплома бы не давал до тридцати лет, потому что врач — это удел зрелости. До тридцати, когда станет ясно, ч т о взошло. Жестоко мыть и катать, прежде чем выдать право лечить. Мыть, как золото моют. «А кто мыть будет? — спросил его Васек. — Ты уверен, что такие люди есть?» А судьи кто? Этого Серый не знает и сейчас. Он судил себя сам и приговор себе вынес сам. Оттого с быдла никуда и не лезет.

Он многого не знает до сих пор. Чего было больше в его уходе со «скорой» — самомнения или чести? И в кого бы он вырос, если бы не уходил? И был бы ему известен и ясен тот предел, какого никогда он не сможет переступить теперь?

Но сейчас он мог бы ответить Зеле, что такое медицина. Конечно, никакая не наука, Зеля был прав. Медицина — искусство, и это немало. И в ней, как в любом искусстве, есть художники, коих единицы. Остальные — ремесленники. Крепкие, добросовестные. И дрянные, которых больше. Это печально, потому что, как было однажды сказано, посредственный врач более вреден, чем полезен. Что до него, то он, пожалуй, добротный, надежный ремесленник, не больше. Он в медицине — Сальери, до многого, и до доброты, умом дошедший и страданием. Художником рождаются, тут уж ничего не поделаешь. Этим он не уязвлен. Жаль одного — что долго пришлось добираться.

А доброта? Предел ее каждый сам для себя определяет — разбрасывать пригоршнями или отмерять порционно, в зависимости от благодарности. Медицину творят грешные люди, из мяса и костей, с совестью или с отсутствием оной. Где напасешься совестливых? И он грешный человек. Он не театральничал, когда сказал Николаю Ванычу, что не очень добр. Он в самом деле так думает. Хорошо понимая это. Коль до сих пор приходится делать усилие, чтобы себя любить меньше, чем больных. От ума сия доброта.

А у того старика в белопенном одеянии, что мерещился с поднятым перстом, что взывал: «Не вреди!» — она, доброта, от духа его. И у Николай Ваныча — от духа, потому что взгляд у него такой же чистый.

6

Серый прекрасно знал, что Лида откроет дверь, лучась, пусть она по телефону была трижды раздражена. Причина ее взбрыков только та, что она очень добра и любит его. Привычный страх, который он и сейчас переживает, входя в подъезд, где слепо улыбаются побитые лепные маскароны и всегдашний сквозняк из заколоченного черного хода, он, этот страх, потому, что столько лет несешь вину перед Лидой и Катькой и ничего не можешь сделать, чтобы эту вину исправить. Какая, в сущности, дикость, что я не с ними, с двумя любящими меня существами! Почему я до сих пор не с ними? Он снова вспомнил, услышал признание Лиды, он часто его вспоминает: «Я тогда делала все, чтобы ты ушел!» Как это похоже на Лиду, противиться себе, пусть будет для нее хуже. И сейчас оно вызвало тепло к Лиде, оттого, что он знает все ее тайные и нехитрые пружины. И она знает о нем все. И теперь можно было бы посмеяться вместе, натолкнувшись на читаемые наизусть трудности характеров обоих. Господи, как давно мы знаем друг друга! Как это было бы важно сейчас, когда дороже всего плечо, к которому можно прислонить усталую голову! Когда юность была вместе, та самая юность, что становится с каждым годом драгоценнее. Как и маленькое существо, которое вместе произвели. Когда причина, почему они живут врозь, оказалась надуманной. Им же самим. И никому уже не нужны те девчушки, что посещают его, пусть у них ноги растут из шеи, и резиновые груди, и гладкие нерожавшие животы. Что, кроме этого, они могут ему дать? Запуталось все страшно. Как снова все составить, и жизнь втроем прежде всего? Как, скажем, снова лечь в постель с Лидой, после стольких лет? Даже представить это трудно. И после ее мужиков? Были же они! Конечно, были. Живой же она человек. Живая женщина. Как впервые заговорить о том, о давнем? А вдруг он опять захочет попробовать дерьмеца и спутается с какой-нибудь новой Крохой? А сколько еще всякого другого! Нет. Ни черта не получится. Конечно, можно оставаться женатым только для того, чтобы твои несчастья имели глаза, уши и нос. Но он так не умеет. И Лида этого не заслужила. Но что ответить Катьке, которая сказала ему однажды: «Папа, женись скорее на маме!» И убежала, испугалась.

В Староконюшенный Серый добрался к девяти. Катька резвилась в постели. Увидев отца, она вскочила и запрыгала на кровати, в задранной пижамке, сминая одеяло и радуясь упругости матраца и звону пружин. Но Серого поцеловала осторожно, косясь на мать. Катька сказала, что совсем здорова, но лучше лежать, чем ходить в школу. Серый смотрел Катьку без ложечки, однажды он научил ее показывать горло, пряча язык. Вглядываясь в родное это горлышко, знаемое им наизусть, в рыхлые Катькины миндалины, Серый искал налеты. Но миндалины были чистые, только отекшие, красные. Обычное Катькино горло, если она простудилась. Катька тем временем вытаскивала из отцовского халата стетоскоп с явным намерением переслушать все подряд — кукол, себя, отца и книжку сказок братьев Гримм, что валялась на ковре. Пришлось быть в роли пациента. Глядя на Катькины матовые щечки, серый в зеленых крапинках, от напряжения косящий Катькин глаз, он вспомнил, как Катька спросила его однажды: «Что такое добрый? Это не злой или не жадный?» — и подумал, что ждет его, и очень скоро, самый трудный разговор в жизни — с человечком, от которого скрыть ничего нельзя и которого надо будет многому научить. Какие карты он выложит перед ней на стол?

В столовой звенели тарелки. Лида кричала, чтобы шли мыть руки и ужинать.

Через полчаса на Фрунзенском валу, горбом согнувшись, потея в жарком свитере, Серый тоненькой иголочкой искал вену на узкой, с желтоватыми дрожащими пальчиками, кисти, боясь поднять глаза на молодую женщину, а она шептала: «Не бойтесь, доктор, я потерплю... Только найдите вену... Дышать, дышать нечем!» Она сидела на твердом, каком-то церковном стуле, с узкой спинкой черной кожи, высоко возвышавшейся над ней, совсем девочка, в коротком ситцевом халатике, не достававшем смуглых коленок. Она была коротко острижена, но темные, колечками, волосы уже отросли на шее, и от этого шея казалась еще тоньше и слабее. Страшный живот, с вывороченным пупком, вываливался из незастегнутого на средние пуговки халата, голубые змеи-вены ползали в просвете по животу. Она была красива, эта девочка-женщина, но будто над ней зло по-

шутили, покрасив волшебного рисунка рот, которым она часто втягивала воздух, сине-коричневой помадой. В тесной квадратной комнатке была еще пожилая, ее мать, и девочка лет десяти, ее дочь. Они молча сидели за дощатым скобленым столом без скатерти, уставленным до краев пузырьками, чашками, коробочками. Здесь же и чайник примостился на алюминиевой подставке, и открытая хлебница, и блестела лужица пролитого чая. Над столом, отбрасывая тень, раскрыл крышки Ящиков. «Это все, доктор? — спросила молодая, и Серый услышал ее взгляд, жгущий ему темя. — Я умру?.. Мне не страшно. Жизнь такая ужасная! Только Кристиночка остается...» «Вы бы увели ребенка», — не разгибаясь, сказал Серый, цепляя венку на кончик иголки и теряя ее. «Кристина все понимает», — тускло сказала пожилая. «К сожалению, она все понимает, — прошептала молодая. — Ах, как все нелепо!» Серый поймал упрямую жилочку с четвертого раза и осторожно нажал поршень. «Слава богу!» — всхрипнул он, легчая оттого, что кожа не вздувается, значит, в вене, и насквозь не проколол. «Неужели?» — шепнула молодая. «Сегодня две бригады были, не могли попасть», — сказала пожилая. Серый поджимал поршень, страшась, жиденькая была венка, как бы не лопнула. «Сейчас, сейчас будет легче! — молилась молодая. — Уже легче...» Шприц пустел, немножко мутной красной жидкости оставалось в нем, когда Серый отсоединил его, оставив иголку в вене. Из канюли выдавилась густая черная капля. Серый бережно, чтоб не шевелить иглу, подложил под канюлю клочок ваты. «Сейчас еще наберу», — сказал он. И, не найдя алмазика, стал отламывать носы ампул пальцами. Когда ампулы большие, стекло у них толстое. Хорошие импортные ампулы пальцами не осилишь. Серый рубанул ампулы тяжелым шпателем, забрызгав стол битым и мокрым. «Ничего, — сказала пожилая, не двигаясь. — Я уберу». И лицо ее не меняло выражения обреченного ожидания. Так ждут поезда в вокзальных залах опытные транзитные пассажиры, зная, что ничего не изменишь, на время повлиять нельзя.

Серый набрал шприц, насадил его на канюлю. Шлепнулся на пол, напитавшись кровью, ватный квач. И сразу, только нажал поршень, вздулась голубым бугорком кожа. «Проклятье!» — сказал Серый. «Нет?» — спросила молодая. Серый вышел из вены. «Может, хватит, может, раздышусь?» «Я еще попробую, — ответил Серый. — Потерпите». Удалось ввести полшприца, прежде чем лопнула другая вена. Серый ввел еще внутримышечно, в смуглое плечо.

— На ночь мне хватит, как вы думаете? — спросила молодая. — Только не уходите сразу, — попросила она. И когда Серый считал пульс, она взяла его за руку, повыше запястья, и не отпускала, поглаживала рукав халата, пальцы подрагивали. Так Серый и сидел, не решаясь отнять руку, со шприцем в другой, боясь пошевелиться.

— Мне уже легче, — сказала она и очень тихо спросила: — Я не умру сегодня?

— Вас надо в больницу везти, — сказал Серый, отворачиваясь, озабоченно перекладывая грязные шприцы.

— Нет, нет! — вскричала она. — Только не в больницу!

— Жидкость надо из живота выпустить, — глухо проговорил Серый, стыдясь и ненавидя себя.

— Ах, доктор! Неужели вы думаете, что я ничего не понимаю!

Она открыла глаза.

— Мне легче. Мне действительно легче.

Пожилая повела Серого в ванную, и, размывая шприцы, Серый узнал, что зовут пожилую Раисой Герасимовной, а молодую зовут Джульеттой, что они из Кисловодска, где у пожилой свой дом и куда она увезет Кристину, когда все кончится. Ревматизм у Джульетты с детства, с пяти лет, а комната — это все, что осталось от кооператива, который Раиса Герасимовна купила дочке, когда Джульетта в восемнадцать лет вышла замуж по безумной любви, приехав в Москву учиться в консерватории.

— Он был балованное дитё, ее Ромео, — сказала Раиса Герасимовна голосом, в котором была одна усталость. — Московское балованное дитё, из профессорской семьи. Они были против Джульетты, чего только не делали!

— Муж ее и сгубил. — Она подала Серому махровое розовое пахнущее дешевым мылом полотенце. — Пьянствовал, бил ее из зависти, что у нее такой талант, платья резал перед концертами. А она? Плакала и играла по двенадцать часов в день! Господи! А теперь все, — протяжно сказала Раиса Герасимовна, не замечая, что Серый собрал шприцы. — И жизнь ее была несладка, и умирает в муках. И никому не нужны ни консерватория, ни дом в Кисловодске.

Когда вернулись в комнату, Джульетта дремала, свесив голову набок. «Может, все-таки в больницу?» — спросил Серый, чтобы что-нибудь сказать. Джульетта встрепенулась: «Нет, доктор, ради бога, нет!» И впервые Серый осмелился встретить ее взгляд, потому что умирающему, который все понимает, смотреть в глаза невозможно. Он нахмурился и засобирался. «Может, вы есть хотите?» — спросила Раиса Герасимовна.

Джульетта смотрела на него, молчала, дыша быстрыми рывками. «Как вас еще вызвать?» — наконец спросила она. «Я позвоню утром», — ответил Серый. «Когда? — спросила Джульетта. — Не забудьте!»

7

Одиннадцать прозвенело на башне Киевского вокзала. Потом, както сразу, стало двенадцать. Дремала в карете Семочка. Затих Лебедкин. В час съездили на ужин в Филевский троллейбусный парк. И крутились в Тишинских переулках, помогая соседям. Гоняли до четырех. Двадцать минут пятого в темной врачебной Серый на ощупь разложил свое кресло, улегся, укрыл ноги шинелью. Лежать было насладительно, но уснуть было нельзя, всего одна бригада стояла перед ним. Лучше перетерпеть. Он выехал через сорок пять минут, успев все-таки заснуть. Но проснулся в отличном настроении. Проясненно понял — капель и талый запах. Ах, талый запах, талый запах, что ты делаешь с человеком! А возвращаясь на подстанцию из Кунцева, миновав Триумфальную арку, скатываясь с Поклонки, увидел рассвет. Сзади, на западе, за аркой, оставалась чернильная мрачность, мерцали редкие звезды и, серо-синие, брюхатились низко ночные облака. Можно было оглянуться, вывернув шею, и увидеть их. Но там внизу, по курсу, всплывало свечение. Расширяясь, заполняя щели между темными молчащими каменными домами, изливался яркό-лимонный свет такой слепящей силы, что разрезавший его и растущий вверх стержень высотной «Украины» казался угольно-черным. Выше было голубой чистоты прозрачное небо. Голубая вода заливала стекла машины. Рогатый плыл в голубом аквариуме. «Что, доктор? Жить можно?» — спросил Лебедкин, хищно оскалившись. Мотор взвыл, и рогатый наддал прыти. «Еще поживем!» — потянулся, распрямляясь, Серый. Пожалуй, ради такого рассвета можно работать на «скорой». Летом превосходно будет ночами, замечательно приятно летом работать, ночами. Лида собирается с Катькой в Крым. Подгадать бы. И — что будет, то будет!

До конца смены они выезжали еще раз. Без пятнадцати восемь вернулись. Лебедкин аккуратно поставил рогатого на заднем дворе, в последний раз выключил движок, вынул ключ из замка зажигания. «Все! — сказал Серый торжественно. — Отработавшей смене — спасибо!» Он оставил Витьку с Семочкой разгружаться, а сам, подхватив Ящикова, пошел звонить на Фрунзенский вал. Он позвонил из телефонной будки, у ворот подстанции. Будка была стара, сыра, крепко пропахла мочой, но автомат работал. Раиса Герасимовна ответила с первого гудка. «Все, — сказала она. — Нету больше Джульетты. В пять часов я снова вызывала. Уговорили ее в больницу. В приемном и умерла... Алло! Вы меня слышите? Она все вас вспоминала, все звала, горевала, что не вы приехали. — Раиса Герасимовна замолчала. — Хотя, что можно было сделать! — с усилием проговорила она. — Плохая она — ваша медицина!..» Перегородив улицу, разворачивался рефрижератор, рычал. В приоткрытую дверь будки острой мордочкой лезла черная дворняжка, вертела хвостом. Это была Тяпка, собака дворника. Ночью отсыпаясь, она выходила в это время охранять подстанцию от окрестных пьянчуг, которых ненавидела всей своей собачьей душой.

Александр Галич

КОГДА Я ВЕРНУСЬ

Песня исхода

«...но Идущий за мною сильнее меня...»
Евангелие от Матфея

Уезжаете? Уезжайте —
За таможни и облака!
От прощальных рукопожатий
Похудела моя рука.

Я не плакальщик и не стража,
И в литавры не стану бить.
Уезжаете? Воля ваша!
Значит, так по сему и быть!

И плевать, что на сердце кисло,
Что прощанье, как в горле ком...
Больше нету ни сил, ни смысла
Ставить ставку на этот кон.

Разыграешься только-только,
А уже из колоды прыг —
Не семерка, не туз, не тройка,
Окаянная дама пик.

И от этих усатых шатий,
От анкет и ночных тревог,
Уезжаете? Уезжайте,
Улетайте, и дай вам Бог!

Улетайте к неверной правде
От взаправдашних мерзлых зон...
Только мертвых своих оставьте,
Не тревожьте их мертвый сон.

Там, в Понарах и в Бабьем Яре,
Где поныне и следа нет,
Лишь пронзительный запах гари
Будет жить еще сотни лет!

В Казахстане и в Магадане,
Среди снега и ковыля,
Разве есть земля богоданней,
Чем безбожная та земля?..

И под мраморным обелиском
На распутице площадей,
Где, крещенных единым списком,
Превратила их смерть в людей.

А над ними шумят березы —
(У деревьев свое родство!)

А над ними звенят морозы
На Крещенье и Рождество.

...Я стою на пороге года,
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода...
Но за мною придет Другой.

На глаза нахлобучив шляпу,
Дерзкой рыбой, пробившей лед,
Он пройдет, не спеша, по трапу
В отлетающий самолет.

Я стою... Велика ли странность?!
Я привычно машу рукой!
Уезжайте!
А я останусь.
Я на этой земле останусь.
Кто-то ж должен, презрев усталость,
Наших мертвых стеречь покой.

17 декабря 1971

Песня про велосипед

О, как мне хотелось, мальчишке,
Проехать на велосипеде —
Не детском, не трехколесном —
На взрослом велосипеде!
И мчаться навстречу солнцу,
Туда, где сосны и ели,
И чтоб из окна глядели,
Завидуя мне, соседи:
— Смотрите, смотрите, смотрите!
Смотрите, мальчишка едет
На взрослом велосипеде!..

...Ехал мальчишка по улице
На взрослом велосипеде.
— Наркомовский Петька, умница, —
Шептались в окне соседи.
Я крикнул: Дай прокатиться! —
А он ничего не ответил.
Он ехал по улице медленно,
А я бы летел, как ветер!
А я бы звоночком цокал,
А я бы крутил педали!
Промчался бы мимо окон —
И только б меня видали!..

...Теперь у меня в передней
Пылится велосипед,
Пылится уже, наверно,
С добрый десяток лет.
Но только того мальчишки
Больше на свете нет,
А взрослому мне не нужен
Взрослый велосипед...

Ох, как мне хочется, взрослому,
Потрогать пальцами книжку
И прочесть на обложке фамилию
Не чью-нибудь, а мою!..

Нельзя воскресить мальчишку,
Считайте, погиб в бою.
Но если нельзя мальчишку
И в прошлое ни на шаг,
То книжку-то можно?! Книжку?
Ее почему — никак?!

Величественный, как росчерк,
Он книжки держал под мышкой...
— Привет тебе, друг-доносчик!
Привет тебе, с новой книжкой!..
Колхозная Илиада!
Подарочный холуяж!
Не надо мне так, не надо,
Пусть — тысяча — весь тираж!
Дорого с суперобложкой —
К черту суперобложку!
Но нету суперобложки,
И переплета нет...

...Немножко пройдет, немножко —
Каких-нибудь тридцать лет —
И вот она, эта книжка —
Не в будущем, в этом веке!
Снимает ее мальчишка
С полки в библиотеке!
А вы говорили — бредни!
А вот — через тридцать лет...

Пылится в моей передней
Взрослый велосипед.

Петербургский романс

ПОСВЯЩАЕТСЯ Н. РЯЗАНЦЕВОЙ

«Жалеть о нем не должно,
...он сам виновник всех своих злосчастных бед,
Терпя, чего терпеть без подлости — не можно...»

Н. Карамзин.

...Быть бы мне поспокойней,
Не казаться, а быть!
...Здесь мосты, словно кони, —
По ночам на дыбы!

Здесь сегда по квадрату
На рассвете полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки!

Здесь, над винною стойкой,
Над пожаром зари
Наколдовано столько,

Набормотано столько,
Наколдовано столько,
Набормотано столько,
Что пойди — повтори!

Все земные печали
Были в этом краю...
Вот и платим молчаньем
За причастность свою!

Мальчишки были безусы,
Прапоры и корнеты,
Мальчишки были безумны,
К чему им мои советы?!

Лечиться бы им, лечиться,
На кислые ездить воды —
Они ж по ночам:
«Отчизна!
Тираны! Заря свободы!»

Полковник я, а не прапор,
Я в битвах сражался стойко,
И весь их щенячий табор
Мне мнился игрой, и только.

И я восклицал: «Тираны!»
И я прославлял свободу,
Под пламенные тирады
Мы пили вино, как воду...

И в то роковое утро,
Отнюдь не угрозой чести
Казалось, куда как мудро
Себя объявить в отъезде.

Зачем же потом случилось,
Что меркнет копейкою ржавой
Всей славы моей лучинность
Пред солнечной ихней славой?!

...Болят к непогоде раны,
Уныло проходят годы...
Но я же кричал: «Тираны!»
И славил зарю свободы!

Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!

О, доколе, доколе
И не здесь, а везде
Будут клодтовы кони
Покоряться узде?

И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь
Смеешь выйти на площадь,
В тот назначенный час?!

Где всегда по квадрату
В ожиданье полки —
От Синода к Сенату
Как четыре строки?!

Гусарская песня

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева,
В черной бурке на коне!
Тезка мой и зависть тайная,
Сердце горем горячи!
Зависть тайная, «летальная»,
Как сказали бы врачи!

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы егеря!
Славно, братцы егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Ах, соколы-орлы!
Кому вы в сердце метили
Лепажевы стволы!
...Не мне ль вы в сердце метили
Лепажевы стволы?!

А беда явилась за полночь,
Но не пулею в висок,
Просто — в путь, в ночную заволочь
Важно тронулся возок.
И не спеть, не выпить водочки,
Не держать в руке бокал.
Едут трое — сам в середочке,
Два жандарма по бокам!

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы егеря!
Славно, братцы егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Пора бы выйти в знать!
Но этой арифметики
Поэтам не узнать!
...Ни прошлым и ни будущим
Поэтам не узнать!

Где ж друзья твои, ровесники?
Некому тебя спасать!
Началось все дело с песенки,
А потом — пошла писать!
И по мукам, как по лезвию...
Размышляй теперь о том —
То ли броситься в поэзию,
То ли сразу в желтый дом?!

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы егеря!
Славно, братцы егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Возвышенная речь!

А все-таки наветики
Страшнее, чем картечь!
...Доносы и наветики
Страшнее, чем картечь!..

По рисунку палешанина
Кто-то выткал на ковре
Александра Полежаева
В черной бурке на коне!
Но оставь, художник, вымысел,
Нас — в герои — не крои!
Нам не знамя жребий вывесил —
Носовой платок в крови!

Славно, братцы,
Славно, братцы,
Славно, братцы егеря!
Славно, братцы егеря,
Рать любимая царя!
Ах, кивера да ментики,
Нерукотворный стяг!
И дело тут не в метрике,
Столетие — пустяк!
...Столетие, столетие,
Столетие — пустяк!..



Прилетает по ночам ворон,
Он бессонницы моей кормчий.
Если даже я ору ором,
Не становится мой ор громче.

Он едва на пять шагов слышен,
Но и это, говорят, слишком.
Но и это, словно дар свыше,—
Быть на целых пять шагов слышным!



Моей матери.

От беды моей пустяковой
(Хоть не прошен и не в чести),
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Сатанея от мелких каверз,
Пересудов и глупых ссор,
О тебе я не помнил, каюсь,
И не звал тебя до сих пор.

И, как все горожане, грешен,
Не искал я твой детский след,
Не умел замечать скворешен
И не помнил, как пахнет свет.

...Свет ложился на подоконник,
Затевал на полу возню,
Он — охальник и беззаконник —
Забирался под простыню.

Разливался, пропахший светом,
Голос дудочки в тишине...
Только я позабыл об этом
Навсегда, как казалось мне.

В жизни глупой и бестолковой,
Постоянно сбиваясь с ног,
Пенье дудочки тростниковой
Я сквозь шум различить не смог.

Но однажды в дубовой ложе
Был поставлен я на правеж
И увидел такие рожи —
Пострашней балаганьих рож!

Не медведи, не львы, не лисы,
Не кикимора и сова, —
Были лица — почти как лица,
И почти как слова — слова.

За квадратным столом, по кругу,
В ореоле моей вины,
Все твердили они друг другу,
Что друг другу они верны!

И тогда, как свеча в потемки,
Вдруг из давних приплыл годов
Звук пленительный и негромкий
Тростниковых твоих ладов.

И, отвесив, я думал — дерзкий,
А на деле смешной поклон,
Я под наигрыш этот детский
Улыбнулся и вышел вон.

В жизни прежней и в жизни новой
Навсегда, до конца пути,
Мальчик с дудочкой тростниковой,
Постарайся меня спасти!

Январь 1972

Последняя песня

За чужую печаль
и за чье-то незваное детство
нам воздастся огнем и мечом
и позором вранья,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер
на круги своя.

Мы со сцены ушли,
но еще продолжается детство,
наши роли суфлер дочитает,
ухмылку тая,
возвращается вечером ветер
на круги своя,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться.

Мы проспали беду,
промотали чужое наследство,
жизнь подходит к концу,
и опять начинается детство,
пахнет мокрой травой
и махорочным дымом жилья,
продолжается детство без нас,
продолжается детство,
продолжается боль,
потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер
на круги своя.

Публикация Валерия Гинзбурга и Нины Крейтнер.

Об Александре Галиче

Когда-то, в стародавние времена, поэты не писали, а пели свои произведения. Название «певец» в применении к поэту сохранялось по традиции еще очень долго. Вспомним Пушкина:

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.

Глагол «петь» в применении к поэту долгое время применялся лишь в фигуральном смысле. Но вот на наших глазах, в середине нашего века, он приобрел опять буквальный характер. На рубеже 50-х—60-х годов в России появился и заявил о себе новый жанр литературы — «авторская песня». Среди поэтов, исполняющих песни своего сочинения — Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Юлий Ким, Владимир Высоцкий, — не должен быть забыт и Александр Галич — человек яркого дарования и трагической судьбы.

Его поэзия отличалась такой остротой содержания, таким напряженным гражданским пафосом, что действовала поистине ошеломляюще. Необыкновенной популярностью пользовались песни Галича в 60-х—70-х годах: их можно было услышать и в пригородной электричке, и на речном пароходе, и на студенческой вечеринке. И в наши дни, как показывает опыт, эти песни ничуть не устарели. Они отвечают духу и требованиям сегодняшнего дня, времени гласности, когда впервые после десятилетий казенных славословий, полуправды, а то и прямой лжи говорится народу вся правда без утайки; говорится не только о достижениях и победах, но и о язвах общества, об ошибках, просчетах, преступлениях. А в песнях Галича уже тогда звучала чистая, неприкрашенная правда.

В то время, когда началась его деятельность «поющего поэта», Александр Галич был преуспевающим драматургом и киносценаристом. Его пьесы с успехом шли во многих театрах страны, по его сценариям ставились фильмы. «Ну, чего еще ему не хватало? — недоумевали обывате-

ли. — Хорошо зарабатывал, ездил за границу, получал поощрительные премии... К чему были ему еще эти песни? Вот и допелся...»

А нужны ему были именно они, эти песни, в которых он высказывал самое свое, самое сокровенное...

Я познакомилась с Галичем летом 1962 года, когда в «Новом мире» был опубликован мой рассказ «За проходной», посвященный создателям наших первых космических ракет, их «будням и праздникам». Александр Аркадьевич увлекся этим рассказом, загорелся мыслью написать по нему сценарий, поставить фильм. Он лежал тогда больной (очередной сердечный приступ), но не хотел откладывать это дело и попросил одного из близких ему кинорежиссеров привезти меня для встречи с ним и переговоров о сценарии. Так и было сделано; впервые я увидела Галича в постели, больного и слабого, но оживленного, остроумного и красноречивого. Меня поразило тогда его горячее отношение к космическим полетам, его гордость нашими завоеваниями в этой, казалось бы, далекой от него области. Мы тут же договорились о сценарии. Он даже был нами вчерне написан, этот сценарий, но по неизвестным мне причинам фильм по нему включен в план не был. Впрочем, это неважно: главное, состоялось знакомство, перешедшее потом в настоящую дружбу — одну из тех, которые оставляют след на всю жизнь.

Работа над сценарием сблизила нас, можно сказать — породнила. На основе этого сценария мы с Галичем впоследствии написали пьесу «Будни и праздники». Работая с ним, я поняла, каким талантом драматурга обладал Александр Аркадьевич, каким чутьем сцены и театра. Пьеса у нас получилась удачная (не боюсь это сказать потому, что главная заслуга здесь не моя, а Галича). Она была поставлена во МХАТе, с прекрасным составом артистов, и шла там в течение одного сезона 1967—1968 года, но вскоре была снята с репертуара. Это случилось после того, как состоялось выступление Галича в концерте «бардов» в Новосибирске, имевшее огромный успех, однако вызвавшее негодование облеченных властью местных бюрократов-перестраховщиков. Как раз тогда короткий период «оттепели» сменился «похолоданием», и к тем, кто отваживался говорить правду, приклеивался ярлык «антисоветчика». Я-то, близкий друг Александра Аркадьевича, хорошо знаю, что никаким «антисоветчиком» он не был, напротив, был горячим патриотом, болел за судьбы своей Родины, восхищался ее достижениями, страдал от ее бед... В одной из сибирских газет появилась грозная статья, где Галича обвиняли во всех смертных грехах. Тогда критическая статья в газете была равносильна гражданской смерти критикуемого. На Галича посыпались сперва угрозы, запрещение петь свои песни, потом репрессии. Он был исключен из Союза писателей и из Союза кинематографистов; более того — из числа членов Литфонда (напомним, что Б. Пастернак оставался его членом до самой смерти); Галича выгнали и оттуда, лишив возможности лечиться у хорошо знавших его врачей. Немедленно были расторгнуты все его договоры на киносценарии, пьесы и другие литературные произведения (в том числе договор на сборник песен). А он продолжал сочинять — и петь. И хорошо, если в дружеской компании понимающих людей; а ведь, бывало, и в обществе праздно любопытствующих, падких на сенсацию современных «буржуа» (именно того «хладного и надменного» народа из пушкинского стихотворения!). И все-таки, несмотря ни на что, он оставался преданным своей стране, своему народу, его искусству. Многие из самых сильных его произведений были написаны именно в ту пору.

Никуда и никогда он не хотел уезжать! Уж я-то знаю силу и меру его отчаяния. Его исключили отовсюду в 1971 году; а уехал он — под суровым нажимом — только в середине 1974-го. Одна из его лучших песен, написанных незадолго до отъезда, называется «Когда я вернусь...».

> Когда я вернусь...
> Ты не смейся, когда я вернусь.

Вернуться ему не пришлось: в 1977 году он погиб в Париже в результате несчастного случая.

И. ГРЕКОВА

Борис Екимов

РАССКАЗЫ

ОЧЕРЕДЬ НА ТОТ СВЕТ

В июньский погожий день на Прощальном кургане провожали на армейскую службу Николая Клейменова. Так велось от веку, всегда: уходили казаки служить и последнюю «закурганную» чарку поднимали за хуторским выгоном, на Прощальном кургане. Расстилали полсть, ставили нехитрую выпивку да снедь, садились. Курганик был невысокий, но с него хорошо виделись родной хутор и дорога к станице, что светлой нитью тянулась по лугам, петляя и обходя ерики, старицы да заводи невеликой речки Ворчунки. Здесь прощались и долго махали платками служивым, которые прежде уходили верхом, потом — на телегах, а сейчас — на машинах. А прощались всегда одинаково, что раньше, что теперь.

Николай Клейменов учился в райцентровском техникуме, но провожали его из дома. День отгуляли на родительском подворье, к отъезду расположились на кургане. Подходили родные, свои, соседи, словом, кто мог. День был будничный, рабочий.

Главное хуторское начальство — управляющий отделением Чапурин, — рослый, рукастый дядя, тоже пришел попрощаться, а потом отцу с матерью служивого сказал:

— Вы помене скотников привечайте. А то они сбегутся со всего луга. Потом гурты посмешают. Наделаем делов...

От Прощального кургана начинался просторный хуторской луг, где паслась вся скотина: совхозная, свойская, молодняк и молочные гурты. Весь луг отсюда было видать с пестрой рябью там и здесь пасущихся стад. А уж гульбу на кургане тем более все скотники видели. Кое-кто подбегал на лошади, выпивал и к стаду спешил.

Юрка Сапов свой гурт подогнал чуть не под самый курган и, пока шло прощание, не раз наведывался к застолью. Он подскакивал, прыгал с коня на землю, подходил. Конечно, ему наливали. Он лихо выпивал с пожеланием служивому:

— Не подкачай там! Мы свое оттянули, теперь ты — давай...

Армейские Юркины годы скрылись уже за туманами лет-годов. Шел ему четвертый десяток. Но, как говорят, маленькая собачка — до старости щеня. Юрка был невысок, щупловат и потому казался молодым, хотя лицо морщинилось, седели волосы, и он их красил в модный рыжий цвет.

Подскакивал Юрка, спешивался, лихо выпивал, желая новобранцу:

— Давай там... Чтоб с лычками пришел!

Опрокидывал стакан, лез на коня и летел к стаду. Снова подбегал с пожеланием:

— Пиши. Не забывай. Родители, они, сам знаешь... — и опрокидывал стакан.

Потом, через время, пытались считать, сколько выпил он. Но как сочтешь...

Служивого проводили, бабы поплакали. На том все и кончилось.

На другой день управляющий отделением Чапурин, окончив утренний наряд и разослав людей по работам, вышел на конторское крыльцо, поглядел в сторону коровников да базов и недовольно хмыкнул. Старинный соратник, учетчица и кладовщица Шура Самохина, поняла управляющего, спросила:

— Либо кто не выгнал гурт?

— Юрка Сапов, — ответил Чапурин. — Дело понятное. Служивого провожали на курганике. Он туда, видать, не раз надбегал. Вот и напровожался. А будить некому. Придется управляющему будить. Ему за это деньги платят.

Чапурин вздохнул и пошел от конторы через пустошь в ту сторону, где жил Юрка Сапов. Высокий, длинноногий, он шагал скоро, но чуть гнулся, горбатился. Учетчица Шура, головой покачав, сказала задумчиво:

— Тоже... не позавидуешь...

Юрка Сапов жил во втором ряду от речки, и хата его заметна была издали. Нынче на хуторе дома стояли шелёваные да крашеные, обложенные кирпичом, под шифером и жестью. Лишь Юркина халупа напоминала о годах давних и горьких. Слепила эту хатку Юркина покойная мать, прожила в ней век. А умерла мать, хата и мазаться, и белиться перестала. Переменные Юркины жены — им хутор счет потерял — были нравом в хозяина дома. Последнюю жену с ребенком весною увезли родители, поглядев на ее горевское житье. Теперь Юрка жил бобылем. Черная хата стояла посреди бурьянистого пустого двора, на котором там и здесь из густой лебеды выглядывали ржавые железяки. Юрка при случае задешево покупал старые мотоциклы. На новые денег не хватало, он покупал старые и тут же гробил их за неделю.

Так что хата Юркина издали была видна, и Чапурин прямой дорогой направился к ней.

Он шел и тяжко вздыхал. Ни ругань, ни слова укоризны не шли на ум. Чапурин знал, что это — лишнее, пустое. Сколько их слышал Юрка, боже мой... А проку?.. Совестить было без толку, стращать нечем: не то что премий, надбавок, Юрка и зарплаты, считай, не видал. Все утекало за алименты да старые грехи: разбитый трактор, погубленную лошадь.

Не было у Чапурина слов. Одна лишь забота: в хату зайти, поднять Юрку да отправить к скотине.

А в словах уже и не было нужды. Юрка Сапов лежал в коридоре с раскинутыми руками, голова неловко подвернута.

— И до кровати не добрался... — начал привычно Чапурин. — Глядите, люди добрые... — И вдруг холодом обдала его страшная догадка. Не веря ей, Чапурин проговорил тихо: — Юрка, Юрий... Ты чего? — и наклонился к нему.

Тело было холодным.

Видно, ночью еще шагнул Юрка через родной порог, рухнул и уже не поднялся.

Хоть и не было у Саповых никакой родни, но схоронили Юрку полюдски. В гробу он лежал приглядный, виноватая улыбка застыла на лице. Бабы обмывали Юрку, одевали, укладывали в гроб.

— Дитем был... — вспоминала бабка Топилиха, — вот так вот всегда выглядает из-под мамкиной юбки. Одно слово — сирота...

Схоронили Юрку, справили нешумные поминки и разошлись.

Чапурин уехал до ночи. Работы было взахлеб: сухие валы да копны зеленого сена еще лежали в полях. Нынче бог теплом и дождями не обидел, все росло, лишь успевай сбирать. Поскирдовали люцерну, убирали на сено овсы с ячменем, закладывали сенажи, а уже подходила озимая пшеница, засеребрились под солнцем ячмени — рукой подать до уборки, и кукурузные поля темно и пышно зеленели, в пояс уже поднялись. И радость была, а больше забота: как все это одолеть. Не хватало ни людей, ни техники. Механик отделения Петро Амочаев за неделю почернел и высох от злости и ругни.

Чапурин допоздна мотался по полям, на центральную усадьбу ездил, к машинному двору. К ночи прибился на гумно. Там еще шла работа: грудились кучи свезенного сена, и долгошеистый стогомет, подхватывая раз за разом огромные охапки, легко подавал их наверх, скирдоправам. Чапурин оставил машину и пошел к Фомичу, сивая лошадка которого стояла у груды сена. Фомич много лет уже командовал на гумне, ездил на лошади, в тележке. Завидев управляющего, он вынул из кармана блокнот, приготовился докладывать. Но Чапурину цифры были не нужны. Он видел, что гумно становится, словно город. Прежде сложенные люцерновые скирды уже потемнели, нынешние, из овса с ячменем, светло зеленели. И уже

можно было блукать среди высоких длинных скирдов и скирдов. Радовалась душа, отдыхала...

И потому, подойдя со смущенной улыбкой, Чапурин сказал Фомичу:

— Потом... Бухгалтерию эту... — и глядел на скирды, на пушистые груды сена, на лошадку, которая уткнула морду в сухие зеленые метелки овса и жевала.

Поняв его взгляд, старый Фомич улыбнулся:

— Анализ берет... Проверяет на классность. Лаборатория.

— Да его и видать... — ответил Чапурин. — Едовое... — и бросил взгляд на людей, что, утопая в сене, работали на скирде. — Раньше, бывало, и топчут, и углы выводят, — вспомнил он.

— Где народ брать... — покачал головою Фомич. — Этих еле допросишься.

Негромко рокотал стогомет, подавая все новые и новые охапки сена. Шумно хрумтела лошадь, фыркала. Старый Фомич, сгорбившись, сидел в тележке с блокнотом на коленях. Вечерний покой опускался на землю.

На скирде работали с вилами двое: баба и паренек-школьник.

— Я у тебя парня заберу, — сказал Чапурин.

— Господь с тобой... Хороший парнишечка...

— Хорошие везде нужны, — ответил Чапурин. — Пойдет на гурт, заместо Юрки. Некому пасть. А тут какую-нибудь бабенку уговорим.

И вдруг иное пришло на ум Чапурину. Поглядел он на Фомича, спросил его:

— Тебе нынче восемьдесят будет?

— Восемьдесят, — ответил Фомич. — Текут годы, текут...

Он будто никогда особым здоровьем не отличался, на войне был ранен, гнулся в пояснице, но тянул. Еще и гумном заведовал.

— А Юрка, считай, в тридцать убрался, — вспомнил покойного Чапурин. — И ни войны не видал, ни голода.

— Один ли Юрка... — огорченно вздохнул Фомич. — А зятек мой? А Тимофей Иваныч? А Сисек? Какие их годы... Торопятся, спешат. Вроде в клубе лавки занимать, не успеют. Аж страшно... — сгорбился он на скамеечке. Старая лошадь, такая же сивая, как и хозяин, вздохнула ему вослед.

Чапурин вернулся домой, ужинал, готовился ко сну, а разговор с Фомичем из головы не шел. «Аж страшно...» — про себя повторял он стариковы слова.

И в самом деле: Фомичу — восемьдесят, старому Курсану — восемьдесят пять, Сытилиха, бабка Настюрка, Василий Иванович Чурьков — старики — живут, а смерть словно путает и косит не тех. Юрка Сапов, Фомичев зять, Тимофей Иванович, Кулюкин Федор, Топилин Илья... Жить бы да жить... Он считал, загибая пальцы. Одной руки не хватило. И в самом деле, стало страшно.

— Ты гляди, сколь у нас от водки перемерло... — сказал он жене и снова начал считать.

Жена удивленно поглядела на него:

— Ты чего? Либо им памятник вздумал поставить? Посеред хутора?

— Да уж пора... Ты, правду, гляди...

Он уселся на крылечке, жена встала рядом.

— Юрка напровожался и, господи, упокой. Фомичев зять дурнины какой-то наглотался. Ей стекла, что ль, в городе моют?

— Моют... — подтвердила жена. — Для блеску.

— Ну вот, стекла блестят, а он — за ночь сгорел, в головешку. Это второй, — загнул палец Чапурин. — Тимофей Иванович — третий.

Тимофей Иванович с получки закупил пять бутылок вина, залег в недостроенный дом и пировал там. Искать его кинулись на третий день. Обшарили всю округу. А он лежал в недостроенном дому возле пустых бутылок. Неделю там пробыл, целехонький, словно мощи нетленные.

— Топилин в лужине замерз, — подсказала жена. — И другой в лужине, Юданов зять.

Прошлой осенью, в зиму, шел из Поповки ли, из Ястребовки — везде успел побывать — пьяный Илья Топилин и, как рухнул, так и вмерз в лужу: лицом вниз, руки раскрылатились, а Юданов зять, тоже пьяный, ночью

летел на мотоцикле сломя голову. Крутнулась под ним машина, он вылетел из нее, бухнулся в огромную лужу у фермы и захлебнулся.

— Пять...— насчитал Чапурин и вспомнил Нюры Коршуновой племянника, еще один палец загнул.— Шесть...

— Делать тебе нечего...— в сердцах сплюнула жена.— На ночь глядя пьянчуг этих считаешь. Еще привидятся, не дай бог...— Она пошла по двору, проверяя, заперта ли кухня, сараи, базы, и ругалась:— День-деньской его нет, а прибьется к ночи, так доброго не услышишь... О пьяницах... Нашел об ком...

Она ушла в дом, а Чапурин остался сидеть. С высокого крыльца хорошо было видно все подворье, сад с левадою, которые спускались к речке, соседние сады и левады, цветущие белым картофельники. Закатная сторона отгорела и гасла. В садах, меж деревьев, густел сумрак, а на просторе все виделось ясно: помидорные гряды, огуречная гущина, петуньи и красные маки на тонких ножках. В малиннике завели свои дремотные песни садовые сверчки. Подумалось о малине. Она уже спела, и кисточки ягод прятались в листве. Чапурин вспомнил о внуке, любителе малины. Маленький, светлоголовый, как смешно он ступал нетвердо. Как уморительно ахал, хлопая ручонками по коленям, когда Чапурин, поднимая ветку, показывал ему спелые ягоды. Скоро должны приехать внуки.

Светлая ночь, сверчков тягучие трели, земля зеленая, добрые думы о детях и внуках — так бы сидел и сидел. Окликнула жена:

— Ты чего там?.. Все о пьяницах горишься?

— О наших ребятах думаю...— отозвался Чапурин.— Скоро приедут. Шурик малину любит, она уже пошла.

О детях поговорить не прочь была и жена. Она вышла из дома, села рядом, сказала:

— Шурику оставим. Но помаленьку надо сбирать. Варенье да сахаром засыпать. Заболеет кто. Это первое дело от простуды.

— А вот им ничего не дорого...— вздохнул Чапурин.— Ни семьи, ни дети. Вот наших и рядом нет, а вспомянешь, и враз на сердце потеплеет,— признался он.— А им как-то не дорого...

— Кому им? Сватам, что ль? — не поняла жена.

— Каким сватам... Я про пьяниц.

Жена не сразу нашлась, что сказать. В негодовании она лишь руками взмахнула. Поднялась и ушла. И уже из дома принялась ругать Чапурина:

— Люди добрые об делах, об детях... А от него на базу проку нет, так еще голову разобьет со своими алкашами...

Женину трескотню не слушая, Чапурин повторил:

— Ничего не дорого: ни дети, ни жизнь...

Сумерки, зелень, запах цветов — петуний, пенье сверчков, прохлада,— тихая ночная земля была так хороша. Глядел бы и глядел. А прикроешь глаза — день прошедший: сено зеленое, в копнах, валках, пахучие груды, скирды; старая лошадь перебирает губами светлые метелки овса. О внуках, о детях память... И завтрашний день впереди, и долгие-долгие дни. Такие вот вечера... Господи, чего еще надо?!

— Чего еще надо?! — невольно сказал он вслух.

Жена, сочувствуя и сожалея, снова присела рядом, кутаясь в халат.

— Ничего им не надо,— ответила она.— Ничего не дорого, не мило. Напился, расслюнявился, глаза вылупил — дурак дураком, и все. Аж страшно...

В другой уже раз нынче повторенное слово, сначала Фомичем, теперь женою, было точным. Подумаешь: страшно, а понять нельзя. Как это можно: пить и бросить дела, валяться свинья-свиньей посреди хутора, а потом в глаза людям гл..деть...

— Вспомянешь...— вздыхала жена.— Как жили... Душа вянет, век бы не оглядался. А ныне лишь руки прикладай и цвети белым цветом. Умом ворохнулись. Бегут и бегут в магазин. Скорей бы продавщица ушла.

В хуторском магазине молоденькие продавщицы держались недолго. Когда они увольнялись, магазин закрывали, и мужики трезвели.

— Маруся ныне была, на Василия жалится — невперенос. Ты бы его пощунял, може...

Мария, молодая соседка, бедовала с мужем. Выходила вроде за доброго: он техникум кончил, работал заведующим фермой. Потом начал

пить, и все прахом пошло: отовсюду гнали, и теперь держал его Чапурин в водовозах, лишь семью жалея.

— Пощуняй...— повторила жена.— Все же тебя он боится...

— Боится...— усмехнулся Чапурин.— Ни бога, ни черта они не боятся...

И вдруг ему вспомнились глаза Василия. Конюшня стояла рядом с конторой, и за день — в дело и не в дело — не раз виделись. Василий и раньше был молчуном, а теперь и вовсе говорить разучился, лишь мычал что-то, согласное ли, поперечное. Вот и весь разговор. Мычал, хмыкал, рукой махал, голову опустив. И редко ловил Чапурин взгляд его покорный и словно ожидающий, молящий. Чего он ждал, что просил... Как понять? А вот сейчас Чапурин понял. Смерти он ждал и просил. И больше ничего...

— А он скоро помрет...— сказал Чапурин.

— Кто?

— Да Василий...

— Господь с тобой! Какой ни отец, а дети...

Чапурин перемолчал, но понял отчетливо: помрет, не жилец на белом свете.

И тут ему пришла в голову мысль несколько странная. Сначала он отбросил ее, а потом стал думать. Думал и думал. Жене ничего не сказал. А утром, чуть свет, отправился к Шуре Самохиной. Дочка ее хорошо рисовала и для конторы и клуба писала объявления.

И в положенный час, к утреннему наряду, появился Чапурин в конторе с белым листом под мышкой. Народ уже собирался. В сенокосную пору работников прибавлялось: старики шли и зеленая молодежь — всем хотелось сенца да соломки подзаработать.

В общей просторной комнате, где по стенам висели плакаты да обязательства, Чапурин выбрал самое видное и светлое место, меж двух окон, и, раскатав рулончиком свернутый белый лист, прилепил его кнопками.

Дело было привычное: в сенокос да уборку в конторе всегда вешали листки да «молнии». Кто сколько скосил, скопнил да намолотил. Их читали. Потянулись поглядеть и теперь.

А через минуту шелестом пробежала весть и опустели крыльцо, лавочка у конторы, коридор. Весь народ в комнате сбился и глядел на просторный бумажный лист, читая и перечитывая, и передавая шепотом.

Написано было четко, красиво, от дверей видать:

За три года на хуторе погибли от водки:

1. *Калмычков Г. И.*
2. *Кулюкин Ф. Т.*
3. *Топилин И. А.*
4. *Донецков К. Ф.*
5. *Коршунов Н. И.*
6. *Калиманов П. Д.*
7. *Сапов Ю. М.*

Следующие в очереди на тот свет:

1. *Троилин В. Я.*
2. *Цыганков Т. Е.*
3. *Курунин М. М.*

Чапурин сидел невозмутимо в углу. Переждав недолго, он сказал:

— Время ждать не приказывает. На гумно ныне пойдут...

Договорить он не успел. В голос заплакала мать Василия, припадая к плечу снохи.

— Сыми, Христа ради... Сыми... А то и впрямь наречешь. Осиротишь детей...

Рядом с ней очутился сам Василий, сроду не приходивший к наряду. Видно, успели передать. Он протиснулся к листу, поглядел и шагнул в

сторону, на Чапурина. Из груди его, из глотки, прокуренной и пропитой, донесся сначала клекот, потом сиплое:

— Не имеешь права... Сыми...

— Тетка Матвевна... Маруся...— поднялся Чапурин.— Тут моей вины на понюх нет. Тут голимая правда,— указал он на лист.— Время не дозволяет много гутарить, но я вам враз докажу.— Он поднял руку и на виду у всех стал загибать большие толстые пальцы.— Вспомянем за год. На тракторе он пьяный под яр свалился. Кто его спас? Лишь бог...

— Бог, бог...— согласно закивала Матвеевна.

— Дальше... Зимой из саней пьяный выпал, чуток не замерз. Спасибо, лошадь непьющая, на баз пришла. Уж тогда кинулись, поехали да быстро нашли. Опять бог сберег?

— Сберег...— шепотом подтвердила мать.

— С Шаляпиным загорелись. Не смерть ли пришла?

Было такое. Напился Василий с бобылем Шаляпиным у того в кухнешке. Напились, повалились и цигаркой матрац подожгли. Спасибо, соседские ребятишки увидели дым. Еле вытянули, водой отливали.

Вспомнив страшное, Мария с Матвеевной заплакали.

— Нет, вы слухайте,— строго приказал Чапурин,— вы слезьми не заслоняйтесь. В кормоцехе куда его черт занес? Как голову не оторвало! Еще и я бы в тюрьму сел, как за доброго. А на станции его как убивали...

Пальцы на руке кончились. Они сжались в большой, с ребячью голову, кулак.

— Тама — бог спас, и тама — бог. Он чего, у бога один? У бога других делов нет, лишь алкоголиков пасть? Нет. Все! — припечатал он кулаком в подоконник.— Ныне ему конец. Года не доживет. Это я вам от себя и от господа заявляю. И вы не зажмуряйтесь, слезы не точите, а поглядите на него. Либо он белого света жилец? На нем уже крест стоит.

Мать с женой разом повернулись и стали глядеть, словно и впрямь не видели каждый день этого испитого, усохшего ликом и телом мужика. Он старее матери своей казался. Матвеевна еще крепкой была, на работу бегала, и зубы все целые. Старее матери, а про жену что и говорить.

— Так что готовьтесь. И дюже не горьтесь. Чуток покричите, а там полегчает. Ты, Маруся, еще приглядная,— спокойно убеждал Чапурин.— Оклемаешься от него, а там, глядишь, и человека найдешь. Фаина Топилина не нахвалится. Свет, говорит, увидала. Детишкам тоже полегчает. По ночам не будут полохаться да по соседям бегать, хорониться от такого папанюшки. Мать она, конечно...— вздохнул Чапурин.— Но потом, может, и ей полегчает. На карточку будет глядеть, он там приглядный... А Марии и гориться нечего. Какой из него мужик. Лишь колода на шее. А без колоды, моя хорошая, легче жить. Вон у Фаины уж папкой дети зовут, он с ними рыбалить ходит...

В комнате стало удивительно тихо. Слезы у Матвеевны и Марии высохли. Словно и впрямь соглашаясь с Чапуриным, Мария головой покивала. И другие люди слушали, даже сам Василий. Но он первым опомнился, просипел:

— Ты чего... Вроде, я правда...— На большее сил и слов у него не хватило, забил кашель.

И глядя на него, худого, в удушающем кашле, беззубого, это в сорок-то лет... Глядя на него, многие с печалью подумали, что он и впрямь не жилец. Подумали многие, а сказал лишь Чапурин, жестко, как отрезал:

— Не вроде, а конец!!

Словно не Чапурин это произнес, а грянуло свыше.

Василий смешался, махнул рукой и пошел из комнаты. Мать с женою вновь заревели. А Чапурин, оглядывая народ, произнес:

— Могу и про других, какие записаны. Цыганок, ты чего хоронишься. Ныне некогда, а завтра об тебе скажу, нехай твои приходят. И глядите,— погрозил он.— Чтоб эту бумагу у меня никто пальцем не тронул! — сверкнул он глазами.— Кто тронет, все одно узнаю и с хутора враз сживу!

И все поняли. Чапурин не шутит. Точно — узнает, и точно — сживет. До властей далеко, здесь он хозяин.

«В ТОЙ СТРАНЕ...»

Летней порою, обычно в конце июля, к соседке моей приезжают гости из Москвы: родной брат с женою, взрослыми сыновьями, невестками да внуками — ребятней.

Сначала прибывают посылки. Соседка ходит за ними на почту. Посылают кое-чего из харчей. Все же — москвичи, привыкли питаться хорошо, к тому же братова жена всю жизнь — при столовой и в магазины не любит ходить.

Сначала прибывают посылки, потом — сами гости, на двух машинах: у каждого сына — своя. Тихий двор соседки моей превращается в цыганский табор: два ярких автомобиля, возле них — оранжевая палатка, там ночуют по очереди, сторожуя на всякий случай. Галдят взрослые и дети, магнитофон да приемник стараются вперебой: кто громче. Ездят купаться, рыбачить, ордой садятся за стол, вечерами допоздна не спят — всей округе слыхать, что московская родня гостюет.

Но продолжается это недолго. Через неделю табор снимается и катит дальше на юг, оставив на соседском дворе пустые банки да склянки с яркими наклейками, машинные следы и главу семейства. Он весь отпуск проводит здесь, у сестры. А молодежь и жена к морю стремятся, южный загар их манит и прочее.

Так было и нынешний год. Приехали всем табуном, неделю покуролесили и укатили.

Наши дворы разделяет дощатый заборишко. Возле него — подсолнухи. Я люблю их в цвету: яркие, под солнцем горят, в корзинке день-деньской возится тварь летучая. Теперь июлю конец, шляпки тяжелеют, клонятся, за солнцем уже не следят. Но есть еще подсолнушки поздние, в цвету. В одном из них копошится тяжелый черный шмель в золотой опояске. Голова его в желтой пыльце. Он возится и гудит.

Этот шмель и соседкин брат, гость московский, они чем-то похожи. Теперь, когда семейство уехало, он день-деньской будет пропадать в огороде, в саду. Как ни поглядишь, он что-то делает. Приземистый, из себя чернявый, голова — в седине. Как ни взглянешь, он у зеленого куста, у дерева. Не спеша работает и гудит, словно шмель:

Над озером чаечка вьется,
Ей негде да бедняжечке присесть.

Или другое:

Не плачь, моя дева,
Не плачь, моя дева,
Не плачь, моя дева,
Не верь никому.

Чернявый, короткие кучерявые волосы припорошены белью, гудит и гудит:

Полети-ка, конь, да к нам на славный Дон...

Говорим о юге. Сосед мой серьезен.

— Привычку надо иметь,— рассуждает он.— А без привычки не улежишь день-деньской, бока заболят. В воду — из воды, в воду — из воды, с утра до ночи одна песня, как лягушка.

По утрам он просыпается рано. Возится в огороде, негромко поет:

Конь узды его не чует,
Помаленечку бредет...

Потом смолкнет. Огород и сад у соседки немалые. Много всякого. Теперь пора благодатная: еще растут огурцы, хоть лист уже огрубел, стал жестким, словно наждак, скоро жухнуть ему, но есть еще огурчики-зеленцы, можно и похрустеть в охотку. Первые помидоры пошли. В гороховой путани, среди белого да сиреневого цвета, поспели сладкие стручки. Алеют и багровеют ягоды малины, смородина почернела, стала приманчивой. Морковку можно выдернуть, похрумтеть сочным болгарским пер-

цем. У зеленых початков кукурузы сохнут коричневые султаны цвета, вчера еще шелковистые, и белые зерна полны сладким молоком.

Много теперь всего: в нежном пуху абрикосы, яблюки, вишня... Пасись да пасись. Сосед мой целый день в огороде. Слышно, как он гудит потихоньку:

Конь боевой с походным вьюком...
Конь боевой... Ой ды с похо...
Ды с походы-ным ды...

Он поет негромко, для себя, раздумчиво. Звук вплетается в шелест листвы. Он любит петь. А я слушать люблю.

Раньше у нас певали чаще. Теперь услышишь редко. А он любитель. Приедет — часто поют. Правда, не вдруг. Когда семейство здесь, песни редко слыхать, лишь музыка. А если и заведут, радости мало. Пугачеву ли, Зыкину, Анну Герман — их ведь не переплюнешь.

Но вот уезжают... И в первый же день...

Раньше соседкин муж был живой. Мастер песняка сыграть. Заводил он, а ему вослед подгалашивали, дишканили. Каждый вечер подолгу сидели, дотемна, а то и в ночи допевали остатнее. Если гости, то их провожали и возвращались с песней:

Ты подуй, ветер, ветер низовый,
Ты надуй, надуй тучу синюю,
Тучу синюю, дождя сильного,
А ты, царь-громок, во мой сад заглянь...

Соседкин муж помер. Теперь приходят другие: дед Семен, тоже любитель, но силы не те. Какая-то родня бывает. Но это в субботу да в выходной, по будням не соберешь.

Вот сосед и гудит потихонечку сам для себя. Утром поднимается, что-то делает, возится, и слышно:

Пускай на кургане посадят калину.
Растет она, красуется да в розовых цветах.
На этой калине залетные пташки
Пускай прощебечут про жизнь казака.

Сестра его работает уборщицей, по утрам рано уходит, потом возвращается, зовет:

— Братушка! Иде ты?! Братушка, завтракать пора...

Он выбирается на белый свет из малиновой, из смородиновой гущины, посмеивается:

— Да я уж, сестра, назавтракался. Того да сего поклевал...

— А кому я пышки завела? И каймачок есть...

— Ну, тогда бог велел.

У летней кухни, под легким навесом, шкворчат на сковороде, а потом стопкою ложатся на стол белые пухлые пышки, мазанные каймаком, топлеными сливками. Каймак и в чай кладут по обычаю.

Завтракают не спеша. Ломают пахучие ноздреватые пышки с коричневым пригаром, макают в белую каймачную жижу, пьют забеленный чай, разговаривают. А кончается завтрак всегда одинаково.

В Дону тихом вода льется
За бурливою волной.
В казаках сердечко бьется,
Кровь горячая бурлит...

Они поют, брат и сестра, немолодые уже. В тихий утренний час хорошо слышно:

У прудика, у пруженова,
Ой да у колодезя, у студенова, —

заводит голос мужской, а ему помогает высокий, бабий «дишкан»:

Ой да у лужочка, у зеленова,
Стоял да казачий полк...

Утром поют недолго. Другой мой сосед, Фомич, человек в наших краях приезжий, похохатывает:

— Вот так... Выпили — и пошло... Самогоночка, она придает...

Я молчу. Хоть и знаю, что самогоночки там нет.

Потом, вечером, если соберутся, или в день воскресный, будет на столе вино. Так уж, вроде, положено. Но одно дело — пить, а другое — петь, песняка играть, как у нас говорят. Прежде не раз слыхал я укоры казачьему застолью: «Поставят на стол чекушку и весь день голосят...»

Это правда. Поставят «маленькую», разольют по рюмкам и порою забудут. Поют и поют. Кому что...

Теперь поют реже. И потому люблю я тот месяц на исходе лета, когда приезжает к соседке брат. Приходит родня. Тут уж всё перепоют, и свое, и чужое, к себе прислоненное:

Зародился да я на свет...
Ой да мальчишечка да горький...

Или вовсе знакомое:

Черный ворон, друг залетный,
Где летаешь далеко?

Есть одна песня, которую я очень люблю. Не слыхал я ее нигде, кроме этого двора. Когда поют, я бросаю дела и подхожу ближе.

Быть да быть мне в той стране-е-е...—

начинает соседкин брат. Он встает и поманывает рукой, и седою головой качает. Нравится ему этот запев, и он начинает его снова, ногой притопнув:

Бы-ы-ыть да быть! —

обрывает он звук, слушает и повторяет вновь, громче:

Бы-ы-ыть да быть!!

И уже обе руки воздев, зовет за собой:

Бы-ы-ыть да в той стране...

Бабьи голоса ему помогают.

В той стране, да в ко-то-рой...

Руки воздеты, прикрыты глаза.

В той стране, в которой я рожден!

Полдень ли, вечер, но тишина. Покоен старый тополь-раина, лишь далекую маковку его шевелит ветер, перебирая тусклое серебро листвы.

В той стране, в которой я рожден,
В которой я рожден был да рожден!

Он поет, выговаривает самые сладкие для души слова:

В которой да...
Да рожден был...

Эту страну я знаю. Она в лицо нам дышит, глядит. Старый тополь-раина, старые груши подворья, зелень, близкое речное тепло, небо, степной вей. Дышит в лицо и поет бабьими голосами, шелестом ветра, птичьим негромким посвистом, щебетом, ребячьим смехом на воле, на улице.

Да в которой был я зарожден.

С соседом мы порой разговариваем, живем-то рядом. У забора встретимся, слово-другое скажем. Постоим, о погоде толкуя, об огородных делах, о житье-бытье...

— На Дон купаться не ходите? — спрашиваю. — Загар...

— У меня от печи загар, — смеется он. — Горячий цех... Сколько лет-

годов. Как в ремеслуху забрали,— вспоминает он,— так и жарюсь, вот уж на пенсию скоро.

Наверно, и впрямь, он цыганист не от породы: сестра — рыжевата, он — темен лицом. Видно, засмуглил его жар печи и металла горячего за долгие годы.

Теперь лето. Июль, считай, позади. Жара утишилась, в садовой тени, в огородной долго дремлет ночная прохлада.

Соседкин брат целый день на воле. Он стучит молотком, что-то пилит. Все же двор без мужской руки, бабий, вдовий — много забот.

По выходным он одевается нарядно. При костюме, галстуке и шляпе — все хорошее, новое, сразу видно, городской человек. Весь поселок собирается. Купить ли, продать, а то и просто поглядеть да показать себя, новости узнать, погутарить. А соседкин брат, он все же здешний рожак, хоть и давно уехал.

«Помнят еще меня, помнят,— как-то обмолвился он.— Перевстрену, угадывают». По голосу, по виду понимаю, как ему дорого это, чтобы помнили, не забывали.

И я его весь год помню. Как он возится в огороде, в саду. В белой рубашечке встанет — застолье на него глядит, руку подымет, заведет:

Быть да быть мне в той стране...

Всегда я хочу эту песню получше разобрать, запомнить. Но лишь слушаю. Как запоет, все забываю и слушаю. И вот теперь пытаюсь вспомнить, но нет... Одно лишь в душе: «Быть да быть мне в той стране, в которой зарожден...»

ПЕРЕПРАВА

Первые дни апреля. На Дону — ледоход. С высокого прибрежного холма хорошо видать, как тянется ледяное крошево по речному стрежню. У берегов лед стоит: у низкого, лугового — просторные ледяные поля, у горного — полоса поуже. Меж льдов неподвижных, по стрежню тянется ледоходная живая река с шуршанием, хрустом. Ледяное крошево, шуга и просторные льдины со следами зимней жизни: соломой, хворостом да корягами,— все плывет и плывет, потрескивая, хрустя и шурша. Ледовая река в ледяных берегах. Ледоход.

Ветер весенний доносит слитный шорох ли, рокот пробужденной к жизни реки. Ровный гул, словно лес шумит в непогоду.

А здесь, на холмах, на высоте, земля словно обтаяла и прогрелась. Здесь в разгаре весна: желтые цветы калужницы, звездочки гусиного лука, бабочки разноцветные, и жаворонки поют взахлеб. Их будто не видно, а звенят и звенят. Одного поймаешь взглядом, он уходит ввысь, трепещет, поет. И со всех сторон неустанное звонкое эхо повторяет песню его, заглушая порой слитный гул ледохода.

Поодаль с низкой луговины на высокую кручу правобережья перекинулся бетонный мост. По нему машины бегут: грузовики, легковые, реже автобусы. Вот красный «Икарус» взбежал на мост и убавил ход, медленнее пошел. Пассажиры теперь прилипли к стеклам, любопытствуют. Все же Дон, не какая речушка. Тихий Дон да еще ледоход. Спасибо, шофер притормозил, поглядели. Но вот уже кончается мост. «Икарус» прибавил ход и помчался. Переправились.

Мне вспомнились годы иные.

Мост через Дон построили недавно, лет восемь назад. Как и все грешные, ходил я глядеть на стройку, дивился. А потом, перед самым пуском моста, неожиданно понял: паромной переправе теперь конец, кончился паром. Стало жалко. И в последнее лето, порой без особой нужды, ходил я на переправу, плавал через Дон на пароме, от берега к берегу. Последний наш паром был уже современный: большой, самоходный, на два десятка машин. Теперь его нет. К мосту привыкли, об иной переправе не вспоминают. А может, и вспоминают, как я теперь.

К нашей переправе от поселка вела булыжная мостовая. Она утыкалась у воды в бревенчатый причальный въезд. По нему повозки да машины и люди на паром поднимались. На берегу стояла дощатая будка с надписью: «Касса». Деньги заплати, получи билет и ступай себе на паром, если здесь он, конечно, а не у того, далекого берега.

Касса, деньги, билет... Для нашего бедного послевоенного детства все это было мечтой несбыточной. Мечтою был и паром — дощатый плашкоут. Его таскал на длинном тросе маленький буксирный катерок. От нашего берега на тот, на ту сторону.

Правый берег, высокий, холмистый, в курчавой зелени, был далеко. Просторное лоно воды с могучим течением разделяло нас.

Летней порою ребятишками у донской воды проводили мы дни напролет. Рыбачили, ловили раков, играли в «нырки» да догонялки. И лучшим местом был, конечно, паромный причал. Отсюда и удочку закинешь поглубже, не то что с берега, и самые крупные раки водятся у обомшелых причальных свай. Да и просто нырнуть с причала, с высоты «ласточкой» ли, «солдатиком», оглушительной «бомбочкой» с брызгами до небес. Или погреться на горячих бревнах, когда накупаешься до синевы и дрожи.

В те времена паром ходил редко. Перевезет две-три пары быков с арбами да конную повозку — и все. Машин почти не было. Одна-две полуторки, громыхая, мотались в округе.

Когда паром стоял на этой стороне, нас гнали с причала. Уходил он, и мы оставались хозяевами, провожая взглядом пыхтящий катерок — буксир, а за ним, на тросу, деревянный плашкоут с конными повозками, быками и счастливыми людьми, которые плывут на ту сторону.

Та сторона, Задонье, с высокими холмами, глубокими лесистыми балками, казалась страной далекой и сказочной. Там ловилась крупная рыба, росли земляника, череда, дикие, но едовые яблоки, груши, вишня, а где-то возле дома отдыха, бывшего мужского монастыря, по слухам, доживали век монастырские сады и виноградники — совсем уж сказка. Там же находились таинственные пещеры, в которых монахи-отшельники когда-то проводили свои дни. Монахов теперь не было, пещеры остались. Поговаривали о сокровищах, кладах когда-то богатого монастыря. Поля недавних боев тоже были на той стороне. Подбитые танки, оружие, доты, землянки — все было там, на правом берегу. По слухам, там водились разбойники, укрываясь в глухой и глубокой Грушевой балке.

На ту сторону попадали мы очень редко. В задонский хутор к родне тебя возьмут или по осени собирать дикие яблоки, желуди, словом, в дело.

На паром поднимаешься, замирает душа. Плашкоут, вроде, просторный, а чуешь под ногами зыбкость. Пахнет прогретым деревом, шпаклевкой-каболкой, дегтем. Ждешь... И вот, наконец, запыхтел буксир и пошел от берега. Отдали чалки. Паром оттирает течением от причала. Ждешь рывка и затаиваешь дух: не лопнет ли трос. Однажды такое было: стрельнуло и грохнуло по парому, пара полохливых коней, сломав огорожу, кинулась в воду. Потом их вытягивали.

Вот и рывок. Трос натянулся, прослаб, касаясь воды, и снова натянулся. Поплыли. Катер далеко впереди. На плашкоуте тишина. Журчит вода возле носовых скул, у кормы, завихряясь и образуя глубокие воронки. Видно, как тянет вглубь желтую пену и мусор мощное вращение воды. Говорят, что на середине и под тем берегом даже людей утягивали эти водяные смерчи. Спастись, конечно, можно, если не растеряешься. Надо нырнуть глубоко и уйти в сторону. Главное — не растеряться... Воронки за кормой крутятся вроде лениво, но мощно, жадно засасывая пену ли, щепку, солому. Крутнет и словно проглотит. И удалится, обходя длинное рулевое перо в обомшелой зелени.

Бродишь по парому. Быки неторопливо жвачку жуют, лошади подрагивают кожей, отгоняя мух. Неторопливый говор.

Наш берег все дальше и дальше. Мальчишки с причала кричат вслед. Берег уходит, вокруг — просторная вода и глубь, которую не измерить. Туда и глядеть жутковато. Смотришь и думаешь: какие огромные рыбы тут водятся, на середине. В мальчишечьи годы мы боялись сомов. Много страшного рассказывали о них. Уток, гусей живьем глотают. Теленок забрел напиться, его сом утянул. И про детей рассказывали, какие пропада-

ли в соминой бучиле. То там, то здесь. Мы верили и боялись. И вот когда на пароме плывешь через Дон, глядишь в бегучую воду, кажется, что сейчас вынырнет огромное усатое страшило, лобастое, со злыми бусинками глаз. Левый берег уходит дальше и дальше. Уплываем, расстаемся.

Издали, с той стороны, холмы казались приземистыми. Теперь они поднимаются к небу, заслоняя полмира. Крутые, гибельные обрывы, меловые осыпи, вершины, с которых ветер смел лишнее. Берег все ближе, он высится, растет, и наш просторный паром кажется уже малой букашкою, а сам ты тем более. Уж лучше на берег не глядеть, а в светлую бегучую воду. И в небо. Над водой оно глубже, синей, и белые облака, ладьи неспешные, плывут и плывут к тому берегу, к нашему. И уже както жалко его, свой берег, что-то посасывает в груди — все же дом, родина. И думаешь, как вечером плыть назад, как с парома сойдешь, — будет радость.

Кроме парома, на ту сторону перебраться можно было на лодке. Паром ходил редко, ожидая, пока соберутся подводы. Людей переправлял на просторной весельной лодке Федя-Босява, безногий инвалид.

В те времена еще живы были задонские хутора. Стояли друг подле друга Березов, Рубежный, Липо-Лебедевский, Каменнобродский, Мостовский, Терентьев — словом, нужен был перевоз.

Позднее, когда появились моторные лодки, перевозчики хорошо зарабатывали. Техника: дернул шнур стартера, взревел мотор, крутая волна под скулою лодки — помчался. По рублю с носа в один конец. Это уж деньгами новыми. Сколько платили Феде-Босяве, я теперь не помню. Наверно, копеек двадцать старыми деньгами, а может, пятьдесят. Но уж, конечно, не больше полтинника.

Платили, выдавался билет — все чин-чином, предприятие государственное.

«Перево-о-щик!! Перево-о-щик!!» — кричали с той стороны днем и ночью.

Федя-Босява жил все долгое лето тут же, на берегу, в землянке. Землянка — для непогоды, обычно же спал он в лодке, на просторной корме, или на берегу, возле огня. У входа в землянку тлел костерок ночью и днем.

Федя-Босява в поселке известен был каждому: для взрослых — не больно путевый калека, перевозчик, для детворы — царь и бог речной, в руках которого лодка. Федя-Босява восседал на корме, у руля, предоставляя весла пассажирам или ребятам постарше, из тех, что крутились возле него. Для них — удовольствие сплавать на ту сторону да обратно. Тяжелые весла, большая лодка для подростков были трудны, и потому гребли по двое. Новичкам Федя подавал с кормы команду:

— Р-разом... Р-разом... Не спеши!.. Р-разом! Р-разом! — И хвалил: — Молодцы... Моряки Черноморского флота...

Это была высшая похвала. Сам Федя воевал на Черном море, и ноги там потерял, и во хмелю певал нередко песни морские:

Последний моряк Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря...

Были у Феди верные друзья, ребята постарше, почти парни. Они и гребли в одиночку, и лодку он им доверял перевозить ли, рыбачить ночами.

Федина лодка, землянка, костер возле нее были для них вторым домом. Ребята вырастали, уходили, появлялись новые. Но порою ночь напролет сидел у Фединого костра молодой краснофлотец или курсант в бескозырке, а то и морской офицер при кортике.

А мы, ребятня зеленая, крутились у переправы, у лодки Фединой, у костра и мечтали скорее вырасти, чтобы сесть за весла.

Не всем мечтам дано сбыться.

Потом мы стали взрослыми, а Федя-Босява остался все тем же перевозчиком, несчастным человеком, калекой, да еще не больно путевым. Он так и помер потом на берегу у костра. «Не мог и помереть по-людски...» — говорили о нем.

Теперь все прошло, все забыто, и переправы нет. А вот костер на берегу — это хорошо. Особенно когда свечереет. Осенью темнеет быстро. И вот уже во тьме дальний берег и твой; вода мягко поплескивает.

Подбросишь сухого плавнику, огонь живеет, шире светлый огненный круг. Потом пламя стихает, припадает к земле. Дыма нет. Костер меркнет, и тьма обступает. А над головой открывается звездное небо. Бродишь по нему глазами. Потом остановится взгляд на малом клочке его. Вначале видятся две или три звезды, яркие лампады во тьме. Потом проступают рядом светила иные, огонь их кроток, но ясен. Глядишь и глядишь... Взор внимательный, изумленный открывает все новые и новые огни, идущие из глуби вселенной. Как далеки они, как малы — маковое зерно, светлый дым, но живы и светят, и глядят тебе в очи. Костер твой потух, а в небесах нет тьмы. Там все пылает и плывет к тебе. И нет одиночества, нет печали. Хочется жить. А если умереть, то здесь, у ночного костра, под звездами, а не в душных стенах. Но это уже другой разговор.

А сейчас просто вспомнилось: паромный причал, лодка Феди-Босявы и счастливый день, когда ступишь на деревянную палубу парома и поплывешь к далекому тому берегу. Переправа...

Теперь ничего этого нет. Просто — мост через Дон, бетонная высокая дуга. Вот и кати по ней. Две минуты на третьей скорости.

Владимир Шуваев

ОДИННАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Война

Зачем упрямо, со слезами,
Глядим сквозь мир и тишину
Послевоенными глазами
На отгремевшую войну?
Ведь нам за все,
Что в нас не сбылось,
Она простила, как смогла,
Хотя б за то, что мы родились —
После девятого числа.

Слепой

Где это всё? На каком перегоне?

Лица. Корзины. Мешки.
Голос дрожит в полутемном вагоне.
Поезд летит вдоль реки.

Памятью дальней и бóльно согретой,
Медленно, будто во сне,
Вот ты идешь в редком звоне монетном,
Песню поешь о войне.

Пой, инвалид! Трогай русскую душу!
Пой о нелегкой судьбе.
Пой про бои, про друзей, про Катюшу,
Что изменила тебе.

В тяжком разрыве гранаты у бровки
Смолкли салюты твои...
Ты не проедешь свою остановку —
Все остановки твои.

В самой глубинке родного народа,
В цвете победной весны,
Пой, инвалид сорок пятого года,
Не возвращенный с войны.

Это не слезы раздавленной жизни.
Это — среди тишины —
Сдавленный голос военной Отчизны,
Трудная нота страны!

Станция Графская

Вдали от критики серьезной
С водой рифмуется звезда.
И первый знак поры морозной
Везут на крышах поезда.

И от взыскательного взора
В глуши лесов сохранена,
Мерцает образно в озерах
Традиционная луна.

Раздвинув полночь голубую,
К далеким дымкам городов
Летят сквозь непогодь любую
Огни курьерских поездов.

От шума девочка проснется...
Замрет у гулкого окна,
Пока в глазах не пронесется
Вся эта светлая страна.

Лодка

Памяти Б. Батуева

Там, где уже хороводы не водят
И красотой не богата вода, —
Лодка без весел уйдет в половодье
И за собой не оставит следа...
Там, где вдоль бедной и скромной природы
Наискосок проплывают года,
В путь этот лодку никто не проводит —
Значит, уходит она навсегда!
За горизонт, за холодную просинь
Точкою тая, где в дымке звезда —
Лодка уходит, уходит без весел...

Тихо за нею светлеет вода.

Случайная встреча

Толпа торопилась, гудела!
А в паре шагов от угла
Стояли они онемело,
Забыв про мирские дела.

В поре перезрелого лета,
Где выцвело время дотла,
Коснулась их краешком света
Любовь, что когда-то была.

Любовь, что согреть не успела...
И вряд ли смогла бы согреть:

Как птица, что на воду села
И снова готова лететь.

Стояли, прощая несмело
Все то, чем судьба обошла.
— А жизнь, что смеялась и пела?!
— А жизнь... я тебе отдала.

Оборванная связь

Что ж это в мире
Случилось со слухом?!
Ведь «со звездой говорила звезда»!
Слышим, как в Африке плачет старуха —
Друг же ко другу глухи навсегда!

— Что ты кричишь?
— Я не слышу! Не слышу!
Ты разрываешься криком немым.
Сколько уж лет мы друг друга не слышим...
Словно в наушниках рядом стоим.

Словно в ночи телефонного зала
Мир разрывается словом немым:
— Что ты сказала мне?
— Что ты сказала?
Поздно мы эти слова говорим.

Поздно приедешь
К родному порогу,
Пыльную кепку свою теребя —
За серебрянкой и господом богом
Мать никогда не услышит тебя...

Поздно кричу я
Тропинкам и рекам,
Этим зверятам и этой звезде —
Всю свою позднюю боль человека,
Словно последнюю речь на суде!

Дождь идет

Ю. Казакову

Дождь идет...
И сжимается сердце!
Мокнет детство в дождях и слезах.
Горек запах осеннего леса
В привезенных хозяйкой дровах.
Дождь идет...
И, как светлые годы,
Капли капают в бабушкин таз.
И холодная жизнь непогоды,
Словно поезд, идет мимо глаз.

Пора перелета

О чем он шумит, листопад,
Что косо плывет над природой,
Над вязью могильных оград,
Над связью времен и народов?

И вдруг, умолкая, спешит,
Какому-то таинству внемля,
Сквозь быстро мелькающий вид,
На грешную, грязную землю.

На мрачную водную гладь,
Где лодки бормочут устало,
Что сладко им в холоде спать
У этих родимых причалов,

Где зябнет собака до слез
И в будке скулит то и дело,
Где низкое небо всерьез
Тревогою птиц заболело.

И шум водокачки в бору
Заметнее к вечеру слышен.
Там сторож стоит на ветру,
В ладони замерзшие дышит.

Какая большая пора!
Как трепетна жизнь и сурова!
Мерцает под скрипом пера
Судьбой озаренное слово.

И светят в порывах ветров,
В просторах ночного покрова
Далекие вспышки костров,
Как души, лишенные крова.

Командировка

Шесть суток грязь. Дожди. Конец сезона.
Шофер-попутчик злится на простой.
В осеннем мире — грустном и огромном —
Мы ждем паром у пристани пустой.

Придет паром из дымчатого утра,
Холодным телом дрогнет у межи.
И по тросам, заезженным и бурым,
Улыбка капель в сумрак побежит.

Придет паром, как будто бы приснится,
Едва качнув тяжелый сон воды,
И лошадей внимательные лица
Навстречу взглянут нам из-под узды.

Паромщик спросит, — нет ли папироски?
Согнувшись, спичку бережно зажжет.
И заспешит. Паром качнется косо
И к середине медленно пойдет.

А там, вдали, ненастное Заречье.
Дела простые, срочные мои.
И долгий путь, который сердце лечит
Бегущим блеском грязной колеи.

Встречный

Снова с душой нерастраченной,
Как по заветной тропе,
С детским лицом неудачника
Путь выбираешь в толпе.

Мимо кружащейся родины,
Мимо ларька «Спортлото»,
Парой своих бутербродиков
Чуть оттопырив пальто.

В улицу выйдешь фабричную
И растворишься навек...
Эту судьбу нестоличную
Сам выбирал человек.

Дни ледостава

О холодные дни ледостава!
Снег идет на пустом берегу.
У заснеженной кромки устало
Замирает вода на бегу.

Как в бору этом тихо и пусто!
Над протокою — скрипы сосны.
И внезапно становится грустно,
Что не все доживут до весны.

Всё прочней, всё надежней разлуки.
Всё вольней и просторней уму.
Верю в снег, опустившийся в руки,
Хоть и знаю, что таять ему.

И следа не осталось от лета...
Но туманной поре вопреки
Верю в грустные залежи света
Подо льды уходящей реки.

И на самой окраине века
(Как тревожны его огоньки!)
Верю в завтрашний день человека,
Хоть прогнозы его нелегки.

Хоть ушла, как тропа в непогоду,
Эта жизнь, что уже не прожить...

Мокнут рощи, как серые годы,
Что учили терпеть и любить.

г. Воронеж.

Алексей Аджубей

ТЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Новый 1966 год мы с женой встречали у своих близких друзей. Окна их квартиры выходят на Фрунзенскую набережную, и перед нами открывалась панорама заснеженной реки, ледяных аллей Парка культуры имени Горького, по которым скользили фигурки конькобежцев. Гирлянды разноцветных лампочек, светящийся круг «чертова колеса»... Все это буйство красок и света обрамлял не по-городскому темный Нескучный сад. И то, и другое — свет и чернота, — как сказка о добре и зле, вполне соответствовало нашим настроениям в ожидании двенадцатого удара курантов.

По стальным пролетам Окружного моста тяжело ухали темные эшелоны. Я всегда испытываю сочувствие к работающим в праздник людям. У газетчиков тоже часты такие дежурства. В тот вечер мои коллеги в «Известиях» несли на подпись полосы другому редактору. Праздничные вечера и ночи были у меня теперь свободны.

Почти под утро появились опоздавшие гости — знаменитый актер с женой и военный в высоком чине. Женщины пересчитали звезды на его погонах и с помощью мужчин определили: генерал-полковник.

«Мы познакомились с генералом только что, но в прошлом году — на новогоднем приеме в Кремле. Прошу любить и жаловать». — Актер назвал имя и отчество военного и тем исчерпал, по всей вероятности, свои сведения о нем.

Надо отдать должное генералу, поддавшемуся на уговоры «гулять всю ночь напролет». Его, по-видимому, не очень стесняло, что он оказался в незнакомом доме. В Новый год все люди кажутся добрыми, умными и как бы приятелями. Гостю сразу понравился хозяин дома — его гренадерский рост, нутряной бас, добродушное умение вести стол, поддерживая дух и азарт притомившейся компании, подобно опытному костровому, следящему, чтобы угли не потеряли жара...

Сколько промелькнуло в жизни таких вечеров, сколько слов истрачено в многозначительных разговорах, за которыми часто не было ничего, кроме малореальных желаний, пошедших ко дну под бременем житейских обстоятельств! А мы все говорим и говорим, как те чеховские герои, и не можем остановиться, хотя понимаем, что водопад слов и Ниагара — разные вещи.

Вот и та новогодняя «ночь слов» ушла бы, наверное, из памяти, если бы не генерал. Я не уловил, в какой момент беседа его с хозяином взлетела на верхние ноты. По обрывкам фраз можно было понять, что речь идет о смещении Хрущева, о том, что и как за этим последует.

— А я говорю тебе, что это было потерянное, проклятое десятилетие нашей истории, — почти кричал генерал, — и ты забудь его поскорее, а то станешь просить прощения, а тебе не поверят!

Хозяин возражал гостю, тот сердился, начал застегивать китель, тормошил за плечо актера: «Поехали! Тоже мне веселая компания...»

Казалось, актер дремлет. Ладонями тонких рук он прикрыл глаза, но я видел, как у него напряглись и заходили скулы. Я знал его, взрывчатого и резкого, мы учились вместе в школе-студии Художественного театра, знал, что сейчас он вспыхнет и тогда может случиться всякое.

К моему удивлению, он, поднявшись, очень спокойно, вежливо, «по системе» проговорил: «А я, генерал, считаю это десятилетие великим. Мы с вами расходимся в оценках. Каждый человек имеет право на собст-

венную точку зрения, а вы почему-то не разрешаете иметь ее даже нашему хозяину...»

Каким же оно было, это почти неупоминаемое десятилетие нашей жизни — от года 1954 до 1964-го? Десять лет труда и жизни громадного государства, миллионы человеческих судеб в миллиардах различных столкновений и обстоятельств? Отчего и зачем кто-то с удивительной настойчивостью изымал его из нашей памяти, будто за этими годами стояла какая-то вина? Ведь не просто же так, не по воле одного или двух, пусть самых всемогущих, людей вырезали из книг и фильмов имена и факты, цифры и сопоставления?

Молчание вокруг имени Никиты Сергеевича Хрущева было не только полным, но, я бы сказал, злым. Наивные люди полагали, что в его основе — негативная оценка партийной и государственной деятельности Хрущева. Главное, однако, в ином. Ему «ничего не простила» та административная бюрократическая система, которую он посмел потревожить. Это она проводила своеобразную «демонстрацию силы» да и предупреждала на будущее: «Не трогайте нас!»

Никакой самый совершенный компьютер не выведет бесспорной оценки тех не очень спокойных и не очень простых лет. Нелепо и само желание окунать кисть либо в черную, либо в розовую краску, воссоздавая не только те самые десять, но и все семьдесят лет нашей истории.

Разумный час разумных размышлений приблизился настолько, что грех не ответить на естественное желание всех без исключения здравомыслящих людей вернуть народу его историю. Так и случится. Стараниями многих — историков, экономистов, статистиков, обществоведов, очевидцев и участников событий. В этом процессе самоосознания, будем надеяться, найдется место для объективного анализа «десятилетия Хрущева».

Минувшее опасно предавать забвению. Мы поняли, что «забвение» и «застой» — слова одного порядка и сломать то, что стоит за ними, можно и нужно непременно. Не обойтись здесь без кипения страстей, без потерь и боли, но и обретения тоже будут. Радость и тревога соседствуют в наших днях так же, как соседствовали они в давние уже годы после XX съезда партии. С решениями этого съезда связано многое в жизни моего поколения, и большинство друзей не изменило взглядов. Среди них Нателла Георгиевна Лордкипанидзе и Виктор Васильевич Сажин. Знаю, что верен дням молодости Олег Николаевич Ефремов, тот самый актер, который «прихватил» с собой к Нателле и Виктору «свадебного» генерала с кремлевского приема.

Друзья наши по-прежнему живут на Фрунзенской набережной. Выросла их дочь Наташа, вышла замуж, стали взрослыми и три наших сына. В тот новогодний вечер они мирно спали, не ведая о споре, который вели старшие. Они часто спрашивают, как и что происходило в стране давным-давно и недавно. И нам надо рассказать им об этом.

Возвращаясь памятью к пережитому, я не корю себя за то, что не вел подробных записей и дневников. Перед читателем не мемуары с пикантными закулисными подробностями. Это записки журналиста, чья работа сначала в «Комсомольской правде», а затем в «Известиях» пришлась на годы, о которых долго не было принято писать.

Мои «дневники» — память и подшивки газет и журналов. В них круг моих взглядов и интересов. Наивно было бы утверждать, что мне удастся избежать субъективных оценок, во всяком случае, буду стараться исходить из фактов.

«Факт должен въедаться в плоть газетчика, подобно шахтерской пыли, — учил молодых журналистов «Комсомолки» Борис Николаевич Полевой. — Во время первых выборов в Верховный Совет СССР, — рассказывал он, — мне дали задание написать о ленинградском рабочем, кандидате в депутаты. Поехал в Питер, долго и обстоятельно говорил с человеком. Гонял чаи в его доме, познакомился с семьей, а когда очерк напечатала «Комсомольская правда», отправил экземпляр с дарственной надписью. И получил такой ответ: «Вы все верно описали, товарищ журналист, но только зачем же поставили меня перед зеркалом причесываться. Разве вы не заметили, что я лысый?» Братцы мои, — патетически восклицал Борис Николаевич, — не превращайте расческу в шанцевый инструмент нашей профессии!»

Я считаю важным соблюсти еще одно правило. Нельзя судить прошлое мерками наших нынешних представлений, забывая, что события происходили там и тогда, а не здесь и теперь, и что нет ничего бесплоднее мечтательных вздыханий: «Ах, если бы...» Когда многие из нас почувствовали, что взрывная сила XX съезда идет на убыль и что топтание на месте вот-вот приведет к шагам назад, можно было догадаться о причинах. Просматривалась целая цепь зависимостей. Винить ли нам себя, то есть тех, кто горой стоял за дело XX съезда, или сказать честно, что не хватило сил отстоять свои взгляды? Отнести ли кое-что за счет проклятой привычки к конформизму, жизненным удобствам? А может быть, списать все на «волюнтаризм и субъективизм» Первого секретаря ЦК Н. С. Хрущева? Это самый простой вариант, удобный в том смысле, что каждый волен многозначительно пожимать плечами.

Убережемся от этих приемов. Теперь, когда гласность резко увеличила не только значимость, ответственность, но и поток слов, увы, легки и скоры на провозглашение истин чаще всего те, кому ни в какие времена не пришлось нести существенных потерь.

Моим сыновьям я говорю: да, мы виноваты. Мы виноваты, ибо были разобщены и в силу интеллигентских самоограничений не действовали так, как иезуитски сколоченная прослойка бюрократии. Я часто напоминаю им изречение: «Не кори тех, кто не успел или не смог сделать чего-то, не мешай тому, кто заканчивает работу, а, главное, успей сделать то, что надлежит сделать тебе самому».

Весной 1987 года, в день, когда отмечалось семидесятилетие «Известий», я был приглашен на торжественное заседание, да еще в президиум. Перерыв в двадцать лет сделал для меня это событие праздником. В тот вечер я вновь увидел своих товарищей по работе. В многотиражной газете «Известинец» были помещены короткие заметки бывших сотрудников газеты, в том числе и моя. Вот что я писал:

«То, с чем читатели газеты познакомятся завтра, газетчики знают уже сегодня. Их жизнь состоит из постоянных упреждений, и поэтому тратится куда быстрее, чем хотелось бы. В этот праздничный для «Известий» срок я думаю о тех, кого нет с нами и кто вполне заслуживает того, чтобы оставаться в нашей памяти по совести и по делу. Я взялся было перечислять имена, но осекся: список был бы тяжел и длинен.

Я не работал в газете вместе с Александром Бовиным, но вполне разделяю его мысли: либо ОНИ, либо МЫ, и третьего не дано, а тем, кто думает отсидеться в запасном батальоне, не испытать счастья профессионального журналиста. Говорю об этом потому, что та «первая попытка», на которую почти тридцать лет назад вышли «известинцы», не была вовсе бесплодной. Быть может, что-то и отодвинуло нас с занятых позиций, но мы поняли, что может газета и какова сила нашей профессии, если стоять на позициях партийной принципиальности, демократизма, гласности и если мы не путаем такие понятия, как служба и служение.

Как не позавидовать тем, кто делает «Известия» сегодня! Есть опыт атак, и есть время, которое не простит вялости и промедления!»

В политике, общественной жизни движение вспять начинается иногда с малого, незаметного. Позже, когда ничего нельзя изменить, понимаешь, что это долгий отлив, и по срокам, отпущенным богами, на него может не хватить и целой человеческой жизни. Примеры — в нашей собственной истории. Двадцатый съезд вернул честь и достоинство тысячам невинных жертв сталинского произвола, но им, павшим, было уже все равно. Как все равно, поставим ли мы обещанный памятник. Он ведь тоже нужен нам, во исполнение нашей воли, утверждения идеалов. Памятники опасно ставить «вопреки», они легко слетают с пьедесталов.

В тот юбилейный известинский вечер один знакомый литератор сказал: «Нам еще повезло. Мы начали после Двадцатого и, надеюсь, успеем что-то сделать после Двадцать седьмого».

Мы оба знали, что все будет непросто. Есть ведь и такие, кто досадует: жаль, не успело уйти «хрущевское поколение». Они всё мечтают о «сильной руке», о «сильной власти», в ней видят панацею от всех бед. Ну что ж, и это не ново. Троцкисты тоже утверждали, что нет ничего ре-

акционнее демократии. И «свадебный» генерал, быть может, по недомыслию, говорил нечто подобное.

Выступил в юбилейной известинской многотиражке и Мэлор Стуруа. В 1959 году он был среди активных, как говорят, фонтанирующих идеями журналистов. Мы вместе, главный редактор и литературный сотрудник, не чинясь, бегали в типографию к талеру менять опостылевшие штампованные заголовки. Ловили любую возможность вырваться из плена серости, скуки, однообразия, разбудить интерес читателей.

Однажды Мэлор по срочному поручению редакции купил в Елисеевском магазине четыре килограмма черной икры, ночью отвез в Шереметьево, уговорил английских летчиков компании «Бритиш Эрвейс» доставить посылку в Лондон. Именно такой гонорар назначил Чарли Чаплин, когда я по телефону попросил его отдать нам для первой публикации главы из его «Автобиографии». Книга вот-вот должна была появиться в продаже, через неделю отрывки собиралась печатать «Санди таймс».

Он пояснил, что дает большой прием в связи с выходом книги, икра будет очень кстати.

«С ума сойти,— сказал Чаплин нашему собственному корреспонденту в Англии Владимиру Осипову, когда тот привез в отель огромный сверток — кастрюлю из известинской столовой, набитую льдом, который выпросили у мороженщиц, с четырьмя килограммами икры.— Эти парни поставили меня в тупик»,— и отдал рукопись.

Чарли Чаплин умел держать слово.

Наш корреспондент, получив рукопись, сел за телефон и с ходу перевел, продиктовал стенографистке отличный отрывок из книги на целую газетную полосу. В тот же день мы опубликовали его. Радовались читатели необычному материалу, во врезке было рассказано и о том, как он получен, радовались и мы. «Воткнули перо» западным газетам и в особенности «Санди таймс». Дело в том, что в «Известиях» незадолго до этого побывал главный редактор этой газеты и не без апломба пытался учить нас оперативности и находчивости.

У сановитого редактора, когда он увидел «Известия» с отрывком из книги Чаплина, хватило характера позвонить нам в редакцию и попросить разрешения прислать своего сотрудника на стажировку в Москву.

Кстати, радовался и наш бухгалтер. Эта публикация не стоила ни одной валютной копейки. Икра тогда, в 1960 году, шла по 22 рубля за килограмм. У нас. Мы не уточняли, сколько она стоила в Англии. Наверное, дороже.

Это небольшое отступление понадобилось для того, чтобы стало понятнее, отчего я позволю себе процитировать то, что писал Мэлор Георгиевич в «Известинце».

«Вспоминается одно редакционное бдение. Было это в начале шестидесятых годов. Главный редактор на планерке поделился своим беспокойством.

— После XX съезда газета сделала шаг вперед,— сказал он.— Но вот идет время, и мы все чаще пробуксовываем, топчемся на месте. Давайте соберемся завтра после выхода номера и обсудим этот второй шаг. Приглашаются все. Время ограничивать не будем. Если понадобится, прозаседаем до утра. Соня будет поддерживать нас бутербродами и чаем.

Мы начали судить и рядить о том, как сделать второй шаг. Стенографистки не поспевали записывать за нами новые идеи, рубрики, разработки и тому подобное. Время шло. День сменил вечер, вечер — ночь. За окнами забрезжил рассвет. И вдруг нас охватила тайная тоска: мы ощутили, что все наши, казалось бы, эвристические предложения ничего общего со вторым шагом не имеют, что по сути дела они сводятся к косметическому бегу на месте. Тоска стала превращаться в пытку. Я не выдержал и взял слово.

— Алексей Иванович,— сказал я,— наше бдение бессмысленно. Газета не может сделать второй шаг, пока и если его не сделает партия.

Воцарилась гробовая тишина. Взоры всех обратились к главному редактору. Все ждали, что шаровая молния взорвется и поразит дракона-святотатца. Но ничего похожего на галактические протуберанцы не произошло.

— Давайте расходиться, Мэлор Георгиевич прав,— сказал Аджубей тихим и усталым голосом...»

В октябрьские дни 1964 года, когда жизнь нашей семьи круто переменилась, мы условились с женой не отыскивать в бесплодных разговорах правых и виноватых, не записывать в памяти обид и нелепиц. Хорошо помню, что уже в один из первых дней после того, как ее отца сместили, Рада сказала: «Ты знаешь, это, конечно, горько и незаслуженно, но, может быть, и к лучшему».

Это «к лучшему» вбирало в себя надежду на то, что жизнь — в широком, общественном смысле слова — вновь обретет исчезавший динамизм и последовательность. Не только мы, многие надеялись, что пришел срок «второго шага».

Теперь, когда позади почти четверть века, возвращение к пережитому естественно по многим причинам. Плохо, когда незнание выносит скорый суд. Вот почему я решил рассказать о том, что знал сам, знали близкие мне люди. Те самые десять лет имели, конечно, свою предысторию.

Заканчивался 1949 год. Месяца через два студенты 3-го курса отделения журналистики МГУ, перевалив очередную сессию, должны были начать практику в газетах. Я и Рада готовились к экзаменам в московской квартире ее отца, Никиты Сергеевича Хрущева. Он тогда работал на Украине.

Дом на улице Грановского, известный московским старожилам как V-й дом Советов, а прежде — графов Шереметевых, построили по проекту архитектора Александра Мейснера во вкусе буржуа конца девятнадцатого века. Аляповатое П-образное здание с небольшим въездным сквериком вполне соответствовало своему назначению: до революции здесь снимала квартиры богатая публика.

В 20—30-х годах дом заселили члены правительства, крупные военные и партийные деятели. В 1938 году получил здесь квартиру и Н. С. Хрущев — переехал из «Дома на набережной». В тот год Никиту Сергеевича избрали кандидатом в члены Политбюро и направили на Украину Первым секретарем ЦК. Приезжая в Москву в командировки — из Киева ли, с фронта во время войны,— он жил здесь. Полупустая, обставленная в аскетическом стиле тех лет квартира — без ковров, горок, хрустальных люстр, без картин и гравюр. Настольные лампы на гранитных пьедесталах с колпаками из матового стекла и оторочкой «под бронзу» напоминали по форме большие грибы.

Тяжелая, скучная мебель — кровати, столы, стулья и диваны в полотняных чехлах, книжные шкафы, тумбочки; по-видимому, так же было и в других квартирах этого дома, поскольку на то существовал неписаный стандарт. Тогда еще высокопоставленные лица не занимались «интерьером», да и само это понятие не вошло в быт.

Позже я понял происхождение вкусов того времени. В такой «казенной» строгости жил Сталин. На юге, в Москве, в Подмосковье, на квартире и дачах все у него было точно таким же. Дерево на полу, потолке, стенах. Минимум мебели, никаких картин. Мебель изготавливалась на одной фабрике и по одному шаблону.

Хозяева квартир, во всяком случае, так было у Хрущевых, не считали себя собственниками домашней утвари в общепринятом смысле. Там, где они жили, им практически ничего не принадлежало. На простынях и полотенцах стояли синие клейма: «V-й дом Советов» либо другие учрежденческие знаки. К столам, стульям, диванам были привинчены металлические инвентарные жетоны. Время от времени в квартире появлялись строгие мужчины, чтобы сверить инвентарные номера с записями в тетрадях, как будто кто-нибудь из жильцов мог покуситься на это добро.

В квартире Хрущева было особенно гулко и пусто. Большая семья Хрущева постоянно жила в Киеве. Никита Сергеевич приезжал в Москву нечасто и вовсе не обращал внимания на мебель и обстановку.

В тот поздний вечер, когда мы с женой дочитывали конспекты, в прихожей раздались голоса, кто-то прошел в комнаты. Оказалось, приехал Никита Сергеевич и с ним Ванда Львовна Василевская и Александр Евдо-

кимович Корнейчук. Рада пошла на кухню помочь домашней работнице, и вскоре все сидели за столом. Перебивать разговоры старших не полагалось, и лишь по ходу беседы мы узнали, что Никита Сергеевич только что был у Сталина. Возвращаясь домой, прихватил из гостиницы приехавших по своим делам в Москву Василевскую и Корнейчука.

В тот вечер Хрущеву, видимо, были просто необходимы собеседники. Он сказал, что едет в Киев сдавать дела, так как его избирают секретарем Московского обкома партии, — вопрос решен.

Ванда Львовна заплакала: «На Украине вас будет очень не хватать, Никита Сергеевич». Слова эти тронули Хрущева. Он знал, что Ванда Львовна говорит искренне. Польская и советская писательница, настоящая интернационалистка, в годы войны она активно печаталась в газетах, журналах, встречалась с Хрущевым на фронте. Повесть Василевской «Радуга», вышедшая в 1942 году, была отмечена Сталинской премией, ее называли сражающейся книгой.

И Василевская, и Корнейчук дорожили дружеским расположением Хрущева. Александр Евдокимович — известный драматург, автор «Гибели эскадры», «Платона Кречета», «Фронта», вел активную общественную деятельность. Был момент, когда Никита Сергеевич решительно защитил Корнейчука, автора либретто к опере Данькевича «Богдан Хмельницкий». Этой оперой открывалась летом 1951 года Декада украинской литературы и искусства. «Правда» напечатала статью, в которой критиковались «националистические» просчеты в литературно-исторической части спектакля. Обвинение было серьезным. Позже Хрущев рассказывал, что ему с большим трудом удалось погасить гнев Сталина. Автору разрешили самому внести необходимые поправки. Опера «Богдан Хмельницкий» не продолжила список тех раскритикованных произведений литературы и музыки, по которым уже были приняты соответствующие грозные постановления ЦК.

Ванда Львовна Василевская умерла в июле 1964 года и не узнала о смещении Хрущева. Неизвестно, что думал по этому поводу Александр Корнейчук. Во всяком случае, когда Никита Сергеевич скончался, Нина Петровна не получила от Корнейчука даже коротких слов соболезнования.

Знакомая тема. Как писал Илья Эренбург, «телефон вдруг замолчал...». Только ли забывчивостью или невоспитанностью объясняются мгновенные перемены? И забывчивость, и невоспитанность — это уже производные, а истоки глубже, они в отчуждении человека от самого себя и в том страхе, который обороняет от опрометчивости. Ел, пил с человеком, охотился, рыбачил, наезжал в гости, спрашивал совета, прибегал к помощи, а приходит час, будто и не был знаком. Мелкая дрожь пробирает до костей: как бы кто не вспомнил, что и ты, брат, ходил в друзьях, записывал себя в соратники, как бы кто не вспомнил и не упрекнул, не понизил в должности, не лишил бы чего...

Не все такие, но таких много.

Медленно, незаметно начинается отлив, и вот уже там, где плескалась вода, сухая земля...

Что стояло за неожиданным решением Сталина вернуть Хрущева в Москву? Теперь никто этого не узнает. Как никто не узнает, о чем говорили между собой эти два человека.

Однако эта «кадровая рокировка», если и выглядела импровизацией, совершилась с учетом следующих ходов. Казалось, Сталину было бы целесообразнее держать Хрущева на Украине, дела там набирали темп, республика давала стране все больше хлеба, восстанавливался Донбасс, росли энергетические мощности, отстраивались разрушенные города. Хрущев пользовался на Украине авторитетом. Сталин знал это и все-таки срочно вызвал его в Москву. Здесь уже сняли Первого секретаря МК и МГК, Председателя Моссовета Г. М. Попова. Говорили, что Сталина беспокоило властолюбие Попова, как будто тот сам определил себе все три должности. Теперь я думаю, что Хрущев понимал сложившуюся ситуацию. Не могло не беспокоить его нарастание напряженности в связи с «ленинградским делом». Секретарь ЦК Маленков и министр госбезопасности Абакумов по поручению Сталина активно громили ленинградские кадры.

Теперь известно, как и по чьей воле возникло это «дело». В 18-м и 19-м номерах ленинградского журнала «Диалог» за 1987 год и в «Комсомольской правде» в январе 1988 года напечатаны документальные данные на этот счет. Аноним сообщил в ЦК о неблаговидном поступке председателя счетной комиссии ленинградской областной и городской партийной конференции, проходившей в декабре 1948 года: были скрыты точные итоги голосования. Коммунистам объявили, что руководители парторганизаций города и области избраны единогласно, а на самом деле это было не так. Против первого секретаря обкома П. С. Попкова — 4 голоса, Г. Ф. Бадаева — 2, Я. Ф. Капустина — 15, председателя Ленгорсовета П. Г. Лазутина — 2.

Что и говорить, обман подобного рода — тяжкий партийный проступок, но бурная реакция Сталина, как станет ясно позже, шла от иного. Сталин никогда не любил этот город. Не здесь, не в этом городе отстоял он право считать себя вождем партии, не здесь встречал подобострастное поклонение. Он помнил о зиновьевской оппозиции, об убийстве Кирова... И вот повод нашелся. Маленков и Абакумов сделали беспроигрышный ход. Они предугадывали желания Сталина, эти желания совпадали с их собственными целями.

Избранный секретарем ЦК партии А. А. Кузнецов, ленинградец, герой блокадных дней, слишком быстро набирал силу и мог потеснить Берия и Маленкова, зорко следивших за каждым потенциальным соперником. Председатель Госплана Н. А. Вознесенский, Председатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов — тоже ленинградцы. Не слишком ли много ленинградцев в Москве?

Репрессии начались в 1949 году, а уже в сентябре 1950-го выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР, рассмотрев дело А. А. Кузнецова, Н. А. Вознесенского, М. И. Родионова, П. С. Попкова, Я. Ф. Капустина, П. Г. Лазутина по обвинению в измене Родине, контрреволюционном вредительстве, участии в антисоветской группе, приговорила их к высшей мере наказания. В то время в СССР смертная казнь была отменена, но, пока велось следствие, ее ввели снова.

На суде, прощаясь с живыми, А. А. Кузнецов сказал: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает». Как часто в наши дни возникают из небытия такие трагические, исполненные веры слова. И как можно простить тех, кто во имя своих карьерных целей угодливо готовил для мнительного и мстительного вождя списки «заговорщиков». История не только оправдывает, но и обвиняет.

Я часто видел Г. М. Маленкова. Разве мог подумать тогда, что этот мягкий, обходительный человек, любящий семьянин и отец, способен к жуткой, безжалостной интриге, которая унесет жизни многих ленинградцев — партийных и советских работников, что в ссылку будут отправлены их жены и дети, — им судьба тоже уготовит участь врагов народа по родственным признакам. А Абакумов? Получив указание или даже намек на чье-то мнение, он готов был на любую грязную работу. А вот в смертный час, когда по справедливости его приговорили к высшей мере наказания, он попросил хотя бы на минуту показать своего новорожденного ребенка...

В тот вечер, когда Хрущев угощал чаем Василевскую и Корнейчука, заметно было, что он нервничал: уговаривал гостей не торопиться. Наверное, не хотел оставаться без собеседников. Дело для него состояло не только в том, как сложатся отношения со Сталиным, — тут Хрущев, по-видимому, рассчитывал на поддержку. Но ведь он уехал из Москвы в 1938 году, бывал здесь только наездами и вот теперь врывался в плотно сцепленную обойму соратников вождя. Каждый из них внимательно и ревниво следил за другими, даже за тем, как и сколько раз обращался к кому-либо из них Сталин, кого звал или не звал на вечерние обеды-заседания, приглашал на отдых, как и над кем подшучивал в благостном расположении духа.

Все было расписано очень точно. Даже где, когда отдыхать семьям руководителей. Обычно звонил генерал Власик, начальник охраны Сталина, назначал место отдыха. Так распорядился Сталин. Летом 1950 года Нина Петровна сказала: «Едем в Ливадию». Огромный царский дворец считался тогда сталинской дачей. В одном крыле отдыхала семья Хрущева, в другом Светлана Сталина и ее второй муж Юрий Жданов. Никакого

общения между нами не было. Семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра.

Для всех, так долго знавших своего хозяина и так привыкших к абсолютному повиновению, он во все большей степени становился загадкой. Непредсказуемость его действий, решений, умозаключений не находила иногда никаких объяснений. Хрущев как-то рассказал о таком эпизоде. Во время одного из застольных заседаний Сталин встал: «Пойду попрошу у Мао Цзэдуна 20 миллионов долларов взаймы»,— и вышел. В ту пору между Москвой и Пекином существовала прямая правительственная связь, и можно себе представить, как десятки людей по линии спешили соединить две братские столицы, как напряглись переводчики, получившие указание переводить слова Сталина и ответы Мао Цзэдуна.

Все в молчании ждали. Сталин вернулся. Медленно отодвинул стул. Не любил, чтобы ему помогали. Сел. Сказал: «Деньги дает, но брать не будем!»

...Хрущеву было что принять в расчет на московской земле. Он только казался простоватым человеком. Случалось, наигрывал простодушие. Но я часто видел, какими холодными, отчужденными становятся в гневе его маленькие карие глаза.

Он знал правила игры, жестокие варианты ее развития. Сталин держал всех в напряжении. И Хрущева тоже. В начале 1947 года вождь сместил его с поста Первого секретаря Компартии Украины, но из Киева не убрал, назначил Председателем Совета Министров республики. «Первым» был прислан Л. М. Каганович. Перемещение последовало вслед за тем, как Хрущев доложил Сталину, что на Украине тяжелейший голод, есть случаи людоедства, вымирают целые села, республике крайне важно получить немедленную помощь. «Положил телефонную трубку,— вспоминал Никита Сергеевич,— думаю, все. Сталин ничего мне не сказал, я только слышал его тяжелое дыхание».

Украина получила некоторое количество зерна. Новый звонок Сталина — и новая накачка. Сталину стало известно, что Евгений Оскарович Патон, знаменитый ученый, инженер, демонстративно покинул одно из многочисленных совещаний, которые для «наведения порядка» проводил Каганович, да еще хлопнул дверью.

«Ваши националисты никак не успокоятся»,— сердито проговорил Сталин и повесил трубку.

Никита Сергеевич вызвал Евгения Оскаровича, попросил рассказать подробности. Совещание касалось сельских проблем, и, послушав с полчаса выступавших, Патон понял, что их заботы не имеют к нему никакого отношения. «Вы же знаете, Никита Сергеевич, я не терплю пустой траты времени, а что касается хлопанья дверью, так это потому, что я глуховат».

Хрущев доложил Сталину, как было дело. Сталин выслушал, ни о чем не переспрашивая. Верховный Главнокомандующий хорошо знал Патона. По его рекомендации Евгений Оскарович в 1944 году был принят в партию. Он называл Патона великим сварщиком. И было за что. Патон наладил серийное производство танков Т-34. Никто в мире не умел тогда сваривать стальную броню.

В конце 1947 года Кагановича отозвали в Москву, и Хрущев занял прежний пост Первого секретаря ЦК Компартии Украины.

И вот теперь, в декабре 1949 года, он снова в Москве.

Через несколько дней в газетах было объявлено, что Н. С. Хрущев избран секретарем ЦК и первым секретарем МК партии. Он должен был осуществлять общее руководство делами области и города. Текущими делами горкома занимался секретарь МГК Иван Иванович Румянцев, авиационный инженер. Иван Иванович был в ту пору молодым человеком, обаятельным, энергичным, и чувствовалось, что с Никитой Сергеевичем у него хорошие отношения. Городские и областные проблемы решались совместно. Никита Сергеевич по воскресеньям со своей дачи в Огареве часто уезжал в дом отдыха МК и там прогуливался с товарищами.

Вдруг И. И. Румянцев исчез, причем мгновенно. Могу только утверждать, что его исчезновение не связано было с отношением к нему Хрущева, а решалось где-то выше. Всякое случалось тогда при таких внезапных акциях. Ивану Ивановичу, видимо, повезло. Через какое-то время он вернулся директором на авиационный завод, где работал до начала партийной карьеры. Повторения «ленинградского дела» в Москве не произошло.

В тот год, о котором я сейчас пишу, наступала середина двадцатого века. 1950-й был общим днем рождения нескольких поколений. Это ощущение рубежа возникает у меня еще и потому, что 21 декабря 1949 года я практически единственный раз видел Сталина достаточно близко, не из студенческой колонны на демонстрации, а в Большом театре, где шло торжественное заседание, посвященное его семидесятилетию.

Сталин сидел в центре длинного, во всю сцену, стола. Рядом — Мао Цзэдун. Хрущев как секретарь МК и распорядитель вечера — слева от юбиляра. Казалось, Сталин совсем не реагирует на потоки приветственных слов, которые лились с трибуны.

Юбилейный вечер шел много часов. На стол президиума ложились все новые букеты, казавшиеся особенно яркими и нарядными в этот зимний месяц. Наступил момент, когда фигура Сталина скрылась за холмом из цветов, я спросил жену: «Почему Никита Сергеевич не отодвинет цветы?» «Но он же его не просит»,— ответила Рада. Может быть, Сталина устраивала такая необычная ширма, отделявшая его от зала?

Наконец речи кончились. Все встали, и овация, но без выкриков и скандирований, как и полагалось при таком составе публики, долго гремела в зале. Встал и Сталин. Невысокий щуплый человек повернулся спиной к залу, чтобы уйти,— и тут меня поразил большой круг лысины. Знаменитый посеребренный бобрик, который с такой тщательностью выписывали художники и «прорабатывали» на фотографиях ретушеры, оказался редким венчиком. Я ничего не сказал Раде, наверное, от испуга, что мне стало известно нечто сверхсекретное. Сталин медленно уходил со сцены, не останавливаясь и не разговаривая с почтительно расступившимися людьми, прижав к боку согнутую в локте правую руку. Говорили, что она у него подсыхала, укорачивалась, и он инстинктивно сгибал ее, чтобы на это не особенно обращали внимание.

Странная жалость пронзила меня тогда, разрушив стереотип вождя. Он на миг представился обыкновенным человеком, как все. Да и много ли нам известно о нем как о человеке сегодня? Долго мы довольствовались самым минимумом. Ну, например, тем, что он любил набивать трубку табаком из папирос «Герцеговина флор»...

Дочь Сталина Светлана Иосифовна написала в книге «Двадцать писем к другу» об отце с достаточной степенью откровенности и по-своему сказала о нем правду. Но всю ли? У этой книги странная и путаная судьба, как путана она и у самой Светланы. Не берусь ни винить, ни оправдывать эту женщину, ей, по-видимому, тяжело и перед собственным судом. Каким оказался бы гнев Сталина, если б он смог предположить судьбу дочери! Жена покончила жизнь самоубийством, сын загубил себя пьянством, дочь покинула Родину. Страшно.

Все это я вспоминаю теперь, и пережитое, естественно, видится с иных жизненных рубежей. Как и наши товарищи по университету, мы мало знали и мало интересовались в ту пору, как и что происходит там, «наверху». Круг интересов очерчивался строго, болтовня и сплетни, которыми так грешат в наши дни, считались недопустимыми да и были опасным занятием. Комсомольские организации действовали по строго заведенному порядку, исполняли поступавшие к ним директивы, ограничиваясь главной заботой — учением, устройством быта студентов и тем минимумом развлекательных мероприятий, которые сосредоточивались в клубе МГУ на улице Герцена.

Студенты отделения журналистики (тогда существовало только отделение — на филологическом факультете, и наш набор — 30 человек, в большинстве прошедшие фронт,— был первым) проявили инициативу и устраивали иногда собственные небольшие вечера на Стромынке, в тесных комнатухах студенческого общежития, где жили наши иногородние товарищи. Танцевали под патефон, пели и, конечно, читали друг другу стихи собственного сочинения. Вряд ли какая-нибудь другая человеческая обитель, кроме Московского университета того времени, собирала под свой

кров такое количество поэтов. Писали стихи филологи и физики, юристы и историки. Конечно, в общежитии теснота, скученность, бытовая неустроенность, шум и гам, всепроникающие запахи кухни, и все же молодое товарищество Стромынки навсегда в нашей памяти...

Смещение секретаря МК и Председателя Моссовета Попова нас особенно не тронуло. Правда, вслед за этим в комсомольских организациях начали «прорабатывать» порочные методы руководства тогдашнего секретаря МГК комсомола Красавченко, но в чем его обвиняли, я уже не помню.

Надо сказать, однако, что молодежь отнюдь не была безразлична к общественной жизни страны и народа. Рассказывали, что смещение секретаря МК комсомола Николая Сизова проходило не так гладко. Комсомольская конференция не отдавала его, не желала переизбирать и требовала более убедительных доводов. Пришлось Никите Сергеевичу Хрущеву ехать на конференцию и по-отечески внушать заупрямившимся активистам, что раз партия говорит «надо» — значит, надо.

Уже после смерти Сталина, когда встал вопрос о выдвижении молодых партийных кадров на высокие посты в органы внутренних дел и государственной безопасности, Хрущев одобрительно отнесся к предложению назначить Сизова начальником московской милиции; затем он стал заместителем Председателя Моссовета. Развеивалась легенда о личной неприязни Никиты Сергеевича к Сизову по прежним комсомольским делам. Легенды о разного рода приязнях и неприязнях, мнениях и соображениях Хрущева чаще всего оказывались напраслиной и подбрасывались для обсуждения тем кругом лиц, который умело использует политические сплетни в собственных эгоистических целях.

В повести «Зубр» Даниил Гранин рассказывает, как таким же образом — со ссылкой на «мнение» Хрущева — Петру Леонидовичу Капице запретили пригласить на семинар в его институт Тимофеева-Ресовского, одного из крупнейших ученых-биологов, человека сложной судьбы. Нажим на П. Л. Капицу был таким сильным, что иной на его месте сдался бы. «Консультанты» не знали характера Капицы и меры его человеческой и гражданской независимости и достоинства. Он позвонил Хрущеву и стал доказывать ему целесообразность выступления на семинаре Тимофеева-Ресовского.

Хрущев ответил, что это право Петра Леонидовича — приглашать в институт кого он считает нужным и проводить семинары с любым докладчиком. Стало ясно, что Никита Сергеевич и слыхом не слыхал о Тимофееве-Ресовском, о его предполагавшемся выступлении у Капицы, и тем более не запрещал его. Факт, приведенный Граниным в повести, документален. Когда в конце 60-х годов в доме у академика Олега Георгиевича Газенко мы с женой познакомились с Тимофеевым-Ресовским, он сам рассказал об этом анекдотическом эпизоде.

Как бы в подтверждение того, что наука живет своей собственной жизнью и над ней не властны никакие, даже самые высокопоставленные лица, Тимофеев-Ресовский вспомнил и свои молодые годы. Дело было в Дании. У Нильса Бора, где он тогда работал, было обыкновение устраивать раз в неделю несколько церемонный файф о'клок с точно выдержанным ритуалом. Никто не имел права опаздывать, а до первой чашки чая не велось никаких разговоров. Тимофеева-Ресовского предупредили на этот счет, и уже без пяти пять он сидел на отведенном ему месте. Оно оказалось за столом Нильса Бора. Минуты через три после того, как в абсолютной тишине началось чаепитие, дверь со скрипом отворилась, и маленький человек в тяжелых прогулочных ботинках, смущенно пригнув голову, прошмыгнул к свободному месту. Нильс Бор с гневом оглядел опоздавшего и демонстративно отвернулся. «Кто это?» — спросил Тимофеев-Ресовский хозяина. «Это король, — раздраженно ответил Бор, — вечно он опаздывает, я предупрежу его в последний раз и больше не стану приглашать».

В начале 1950 года в Москву переехала с семьей Нина Петровна. Дом на улице Грановского ожил. Младшая сестра жены, Лена, ее брат Сергей, Юля — дочь старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида, погибшего под Смоленском в авиационном бою, — все школьники и все требова-

ли внимания. Нина Петровна вела дом не без некоторой назидательности. Ровная со всеми домочадцами, она создавала строгую атмосферу, которая подкреплялась и сдержанностью самого хозяина. Никакого сюсюканья. Младшие видели отца практически только по воскресеньям, да и то он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих новых московских знакомых: профессора Лорха — выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране, селекционера сирени Колесникова, садовода-мичуринца Лесничего. Люди сельского труда, волшебники земли вызывали у Никиты Сергеевича чувство приподнятого умиления. Он вообще ценил яркие способности, таланты. Поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо. Яблоки Лесничего, сирень Колесникова, торфокомпосты Лысенко, мульчирование почв, предложенное учеными Тимирязевской академии, гидропоника, торфо-перегнойные горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже — кукуруза, убежденность в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое, многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за дело, то естественно, что не все и не всегда оказывалось приемлемым, доступным, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал, но берусь утверждать: единственной его целью было улучшить жизнь.

Начав по второму разу работать в Москве, он, конечно, вынужден был вести себя «осмотрительнее», чем на Украине, где контроль был не столь пристальным. Он был жизнерадостным человеком. Смешно рассказывал иногда о своих поездках по украинским колхозам. Вспоминал такой случай. Как-то в первый послевоенный год заехал он к одному своему знакомому председателю колхоза (Хрущев хорошо, не шапочно, знал сельских тружеников, с ними ему было легко и просто). К вечеру, когда осмотрели хозяйство, председатель пригласил на ужин и, уже сильно захмелев, стал выпрашивать ящик гвоздей. «Товарищ Хрущев, — все настойчивее говорил он, — достаньте ящик гвоздей, ведь наш колхоз носит ваше имя. — Поняв, что дело швах, хватил еще рюмку и выложил самый сильный, с его точки зрения, аргумент: — Товарищ Хрущев, достаньте, я вас прошу. Учтите, вы носите имя нашего колхоза!»

Какое-то время Рада и я жили у ее родителей «на Грановского». Для меня все здесь было непривычно, особенно пуританизм тещи. Я воспитывался совсем в иной семье. Моя мать, Нина Матвеевна Гупало, считалась одной из лучших московских закройщиц-модельеров, одеваться у нее мечтали многие женщины, главным образом актрисы, жены крупных писателей. В иных случаях деловые отношения переходили в дружеские — с Еленой Сергеевной Булгаковой, Мариной Алексеевной Ладыниной и некоторыми другими. Знала мою мать и Светлана Сталина. Видимо, ее отцу нравилось, как одевается дочь. Однажды он увидел на ней платье не по возрасту и сказал: «Что это ты так обтянулась? Носи то, что шьет Гупало, а это сними». Не знаю, откуда Сталину было известно, кто одевает его дочь, но так писала сама Светлана.

Теперь, когда нет в живых ни Нины Матвеевны, ни Нины Петровны, я по-иному определяю их место в своей жизни, в жизни моих детей. Моя мать редко бывала в доме Хрущевых. У нее на этот счет существовали свои принципы. Она воспитывалась в монастырском приюте, там, у монахинь, стала первоклассной белошвейкой и, быть может, там сложился ее характер — строгий и независимый. Моя мать и теща, такие разные по взглядам, привычкам, вкусам, были в чем-то схожи и никого ни о чем не любили просить.

Когда Нина Петровна скончалась и мы хоронили ее рядом с Никитой Сергеевичем на Новодевичьем кладбище, у могилы я сказал несколько прощальных слов этой мудрой женщине. Как и моя мать, Нина Петровна ничего не рассказывала детям о себе, и только потом, уже после похорон, от старых друзей мы узнали о ее юности, работе в подполье, в Красной Армии. Я говорил тогда у могилы, что мне бы хотелось, чтобы дети наши больше были похожи на деда и бабок, чем на родителей.

Жизнь им досталась тяжелее нашей, куда меньше в ней было земных радостей, без которых теперь вроде бы и жизнь не в жизнь. Идейность, с точки зрения таких людей, была самым главным достоинством личности. Их поступки тесно связывались с общественными потребностями времени. Так вырабатывались их нравственные устои, которым они остались верны до смертного часа.

Как-то Рада попросила свою маму написать воспоминания. Нина Петровна ничего не ответила.

Разбирая после ее смерти оставшиеся бумаги, Рада увидела автобиографические страницы. Нина Петровна успела написать очень немного. Вот что рассказала она дочери:

«Родилась я 14 апреля 1900 года в селе Василев, Потуржинской гмины (волости) Томашовского уезда, Холмской губернии... У меня был брат на три года моложе меня. Население Холмской губернии было украинское, в селах говорили по-украински, администрация же в селе, в гмине и выше была русская. В школах обучали детей на русском языке, хотя в семьях по-русски не говорили. Вспоминаю, что в первом классе начальной сельской школы, где я училась, учитель бил линейкой по ладоням учеников за провинности, в том числе за плохое понимание объяснений учителя по-русски (дети не знали русского языка). Это называлось «получить лапу».

Мама — Екатерина Григорьевна Кухарчук (девичья фамилия Бондарчук) — вышла замуж в 16 лет и получила в приданое один морг земли (0,25 га), несколько дубов в лесу и сундук (скрыню) с одеждой и постелью. В селе такое приданое за невестой считалось очень приличным. Вскоре после свадьбы отец ушел по призыву на военную службу.

Отец — Петр Васильевич Кухарчук — происходил из более бедной, чем моя мать, семьи, у них был неделимый надел 2,5 морга (3/4 га) земли, старая хата, маленький сад со сливовыми деревьями и одна черешня на огороде. Лошадей у них не было.

Мой отец был старшим в семье. Когда умерла бабушка Домна, его мать, то отец получил в наследство землю и должен был выплатить сестрам и братьям по сто рублей (большая сумма тогда). Думаю, что война 1914 года помешала завершить эту выплату.

Село наше Василев было бедное, большинство жителей ходило на заработки к помещику, который платил за световой день по 10 копеек женщинам на свекле и мужчинам на косьбе по 20—30 копеек. Помню немногое из той жизни: я должна была заготовлять крапиву и большим ножом нарезать ее для свиньи, которую выкармливали к пасхе или к рождеству. Нож часто попадал не на крапиву, а на палец, и до сих пор у меня остался шрам на указательном пальце левой руки.

Мы с мамой, Екатериной Григорьевной, жили в ее семье, хата у бабушки Ксении была просторнее, да и отец отбывал в это время воинскую службу в Бессарабии, а потом, в 1904 году, воевал с Японией. Обедали все из одной миски не за столом, а за широкой скамьей. Малых детей матери брали на руки, а мне и другим детям постарше места не хватало, еду надо было доставать из миски через плечи взрослых. Если проливали, получали ложкой по лбу. Почему-то дядька Антон постоянно высмеивал меня, обещал, что я выйду замуж в многодетную семью, дети будут сморкатые, и мне придется есть с ними из одной миски и добывать еду через их головы и т. п.

В 1912 году отец положил на подводу мешок картошки, кусок кабана, посадил меня и отвез в город Люблин, где его брат, Кондратий Васильевич, работал кондуктором на товарных поездах. Дядя Кондратий устроил меня учиться в Люблинскую прогимназию (4-классная школа), три года до того я уже проучилась в сельской школе. Учитель в селе внушил моему отцу, что я способная к наукам, надо отвезти меня учиться в город, и отец его послушался.

В Люблине я училась один год. На следующий год дядька поступил вахтером в Холмское казначейство и меня перевел в такую же школу в городе Холме.

Первая мировая война застала меня на каникулах в селе Василеве, ученицей второго класса Холмской прогимназии.

Осень 1914 года. К нам в село проскочили австрийские войска, стали безобразничать — грабить, уводить девушек... Мама уложила меня за печкой, не велела выходить, а солдатам говорила, что у меня тиф. Те, конечно, сразу уходили. Скоро положение изменилось, австрийцев из села вытеснили русские войска, и нам приказали эвакуироваться, куда и как — неизвестно. Лошадей у нас не было, взяли с собой то, что могли унести, и пошли из дома с торбочками. Шли туда, куда все люди шли... Помню, мама долго несла примус, предмет ее хозяйской гордости, а керосина не было, пришлось бросить и примус. Долго и тяжело мы шли впереди наступавших австрийских войск и на какой-то станции набрели на отца, который служил в частях «ратников», это были вспомогательные войска.

Отец доложил своему командиру о встрече с семьей, и тот разрешил нам остаться при части. Мама стала работать кухаркой у командования части, а мы с братом передвигались на подводе отца и кое в чем помогали. Мне было 14 лет, брату Ване — 11.

Во время затишья на фронте командир позвал отца, дал ему письмо к холмскому епископу Евлогию и велел отвезти меня в Киев. Там епископ Евлогий возглавлял какую-то организацию помощи беженцам. Мы с отцом к нему ходили, и он устроил меня учиться на казенный счет в Холмское Мариинское женское училище, эвакуированное из Холма в Одессу. В этом училище в Одессе я жила в интернате и училась до 1919 года, закончила 8 классов.

Несколько слов о епископе Евлогии и об училище. Холмский епископ Евлогий был важным оплотом самодержавия в Польше и ярым проводником русификаторской политики. Он готовил русификаторские кадры из детей местного населения, из западноукраинских сел. Если бы не его вмешательство, никогда бы я не смогла попасть на учебу на казенный счет в это училище, туда не принимали детей крестьян. Учились там дочери попов и чиновников по особому подбору. Я попала туда в силу особых обстоятельств военного времени, описанных выше.

По окончании училища я работала некоторое время в канцелярии училища, выписывала аттестаты, разные бумаги переписывала — машинки пишущей не было.

В начале 1920 года в подполье я вступила в партию большевиков и стала работать по поручениям партии в городе и в селах Одесской губернии. В июне 1920 года по мобилизации коммунистов попала на польский фронт. Меня взяли сначала агитатором при военной части как знающую украинский язык и местные условия, и я ездила по селам, рассказывала о Советской власти. Со мною ездил красноармеец, тоже агитатор. Когда сформировался ЦК Компартии Западной Украины, меня взяли заведовать отделом по работе среди женщин, мы уже были в городе Тернополе. Как известно, осенью 1920 года нам пришлось уйти из Польши. Вместе с секретарем ЦК КПЗУ т. Краснокутским и другими я приехала в Москву и получила командировку на учебу в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова, на шестимесячные курсы, созданные недавно Центральным Комитетом партии большевиков.

Летом 1921 года получила направление в Донбасс, в город Бахмут (теперь Артемовск), в губернскую партийную школу, преподавать историю революционного движения на Западе. До приезда будущих курсантов меня использовал губком партии на работе секретаря губернской комиссии по чистке рядов партии. Там же и я прошла свою вторую чистку, первая у меня была на фронте в Тернополе.

Как известно, после X съезда партии была отменена продразверстка и открылись рынки, на которых появились разные товары — были бы деньги. Я с двумя преподавательницами тоже ходила на рынок за хлебом, и заразились мы втроем сыпным тифом. Одна из нас (Абугова) умерла, а мы двое долго болели сыпняком, потом прибавились еще возвратные тифы, но молодость преодолела болезни, выздоровели. В больницу не брали, лечили в школе. Подкармливала больных Серафима Ильинична Гопнер, работавшая тогда завагитпропом Донецкого губкома партии. Она доставала нам шахтерские пайки через ЦПКП (Центральное правление каменноугольной промышленности), руководил этим учреждением Пятаков, будущий троцкист. Летом 1922 года Серафима Ильинична устроила меня на работу на губернские курсы учителей, организованные в Таганроге, на берегу Азовского моря. Там я выздоравливала после тифа.

Осенью 1922 года получила направление в Юзовку (теперь Донецк) преподавателем политической экономии в окружную партийную школу. Там я встретилась с Никитой Сергеевичем Хрущевым, который учился на рабочем факультете в Юзовке. В 1924 году мы с ним поженились и дальше работали вместе на Петровском руднике Юзовского округа. Район наш назывался Петрово-Марьинский, он объединял шахты Петровского рудника и сельскохозяйственные угодья Марьинки и прилегающих сел. Райисполком Совета рабочих и крестьянских депутатов находился в селе Марьинка, а районный комитет партии — на Петровке. Секретарь райкома жил на Петровке, а председатель райисполкома — в Марьинке.

Еще раньше, в конце 1923 года, меня послали пропагандистом райкома партии на рудник Рутченковка. Здесь жили родители и дети Н. С. (от первой, умершей жены), его сестра с семьей, здесь он работал заместителем управляющего рудоуправлением, отсюда пошел учиться в Юзовку на рабфак. Я вела занятия с шахтерами по политической грамоте, читала лекции в клубе на политические темы, выполняла разные поручения райкома по текущей работе. Поселилась я в доме для приезжих (что-то вроде гостиницы рудоуправления) напротив клуба, перейти дорогу. Но после дождя перейти эту дорогу было очень трудно, сапоги оставались в грязи, ноги «выходили» из сапог. Надо было подвязывать сапоги особым способом. Меня пугали перед поездкой на Рутченковку грязью, а сапог у меня не было, пришлось найти частника, который сшил сапоги. Когда я читала лекции в клубе, то приходило много женщин. Оказалось, что их интересовала я, как жена их приятеля Никитки Хрущева, какую такую он нашел не на руднике, а на стороне...

Когда Н. С. кончил рабфак, то его послали секретарем Петрово-Марьинского райкома партии, а меня перевели с Рутченковки на Петровку, тоже пропагандистом райкома партии. Интересная деталь: пропагандистов оплачивали тогда из центральных фондов, а секретарей райкомов — из местных. Одно время я получала больше, чем Н. С.

Тогда существовала еще безработица, среди коммунистов-шахтеров тоже. После занятий в политшколе на шахте мои слушатели провожали меня домой и, случалось, упрекали, что я работаю и муж мой работает, а мой собеседник ходит без работы, а дома большая семья... Но постепенно жизнь налаживалась, безработные на шахтах исчезали...

В январе 1924 года умер Ленин. Н. С. ездил в Москву на похороны в составе донецкой делегации. По призыву ЦК много рабочих вступило в партию. Это был ленинский призыв. Работы пропагандистам прибавилось, надо было обучать малограмотных рабочих основам политической грамоты, это было трудно. Приехали новые пропагандисты из Москвы, мобилизованные ЦК из состава окончивших разные вузы студентов.

В конце 1926 года Н. С. перешел на работу в окружной комитет партии, где стал заведовать организационным отделом, а я поехала в Москву повышать квалификацию — в Коммунистическую академию им. Крупской. Здесь я училась на отделении политической экономии до конца 1927 года. По окончании курсов меня направили в Киевскую межокружную партийную школу преподавателем политэкономии. Читать надо было на украинском языке, так как слушателями были подпольщики из Западной Украины.

За год моей учебы в Москве Н. С. успел поработать в Харькове в ЦК КП(б)У и к осени 1927 года уже работал в Киевском окружкоме заворготделом (секретарем был т. Н. Демченко, впоследствии невинно репрессирован). Поэтому меня и направили в Киев, хотя очень настаивал товарищ из отдела распределения кадров ЦК, чтобы я поехала в Тюмень...

В Киеве в 1929 году родилась Рада. В том же году Н. С. уехал в Москву в Промышленную академию, а летом 1930 года мы приехали к нему и поселились в общежитии Академии на Покровке, № 40. У нас было две комнаты в разных концах коридора. В одной спали мы с маленькой Радой, в другой Юля, Леня и Матреша — няня, найденная Н. С. к нашему приезду».

(Прерву записки Нины Петровны.

От первой жены, Ефросиньи Ивановны, у Никиты Сергеевича было двое детей — Юлия и Леонид. В 1918 году, спасаясь от немцев, Ефросинья Ивановна перебралась с донбасского рудника в Успенке, где они жили с Хрущевым, в его родную деревню Калиновку Курской области. Никита Сергеевич был на фронте. Он получил разрешение навестить жену. Приехал в печальную минуту: Ефросинья Ивановна лежала в гробу — умерла от тифа. Хрущев похоронил ее, а малых детей — Юлию двух с половиной лет и восьмимесячного Леонида — оставил на попечение родителей. О первых самостоятельных шагах в жизни, о приобщении Хрущева к революционному движению мне рассказывала Анна Ивановна Писарева, младшая сестра Ефросиньи Ивановны. Семнадцатилетним пареньком вошел он в 1911 году в их шахтерский дом, а в 1914 году Никита и Ефросинья стали мужем и женой.)

«Меня направили работать на Электрозавод, в партийный комитет: сначала организовала и заведовала совпартшколой, через год выбрали меня в партком, и стала я руководить отделом агитации и пропаганды партийного комитета завода.

Парторганизацию на заводе составляли около 3000 коммунистов, завод работал в три смены, у меня работы было очень много — уходила из дома в 8 часов, а возвращалась позже 10 часов вечера. А тут еще несчастье: Радочка заболела скарлатиной, положили в больницу, рядом с заводом. По вечерам я бегала смотреть через окно, что делает дитя, и видела: дали ей миску с кашей, большую ложку, а няня ушла к подругам поболтать. Рада была маленькая, немного больше года; вижу, ребенок стал ногами в миску с кашей и плачет, а няня не идет, и ничем помочь нельзя... Забрали ребенка под расписку досрочно, еле выходили.

На Электрозаводе работала я до середины 1935 года, то есть до рождения Сережи. Выполняли первую пятилетку в два с половиной года, получила почетную грамоту от заводских организаций. Проходила на заводе очередную, третью в моей партийной жизни чистку партии. Познакомилась с большим кругом актива, с литераторами, старыми большевиками и политкаторжанами, приходившими на завод по поручению своих организаций, с подшефными колхозниками. Те годы считаю наиболее активными годами своей политической и вообще общественной жизни.

Н. С. не дали окончить Промышленную академию, взяли его на партийную работу — сначала секретарем Бауманского, а затем Краснопресненского райкомов партии. Тогда шла жестокая борьба партии с правыми. Н. С. был делегатом XV съезда партии от Донецкой организации в 1927 году, а в 1930 году — делегатом от Московской парторганизации на XVI партсъезде. К 1932 году Н. С. работал уже секретарем Московского горкома, а затем и обкома партии. В 1934 году он был делегатом XVII съезда ВКП(б) и был избран членом ЦК партии. В 1935 году Л. М. Каганович, бывший до того 1-м секретарем МГК, уходит на транспорт наркомом, а Н. С. Хрущева избирают 1-м секретарем Московской городской партийной организации. Тут он работает до отъезда на Украину в начале 1938 года, куда его направили на должность секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии большевиков Украины. В Киеве он встретил начало войны в июне 1941 года.

В Москве Н. С. много сил положил на строительство первой очереди метро, набережных Москвы-реки, создание хлебопекарной промышленности (приспосабливали старые круглые помещения. Так требовалось по технологии). Надо было организовывать городское хозяйство, бани, туалеты на улицах, электроэнергию для предприятий Москвы и особенно области... Надстраивали малоэтажные здания, чтобы увеличить жилплощадь, и многое другое...

В этот период, когда у нас уже была квартира в Доме правительства на Каменном мосту (4 комнаты), к нам переехали родители Н. С. Тогда продукты распределяли по карточкам, мой распределитель находился недалеко от завода, а распределитель Н. С. — в теперешнем Комсомольском переулке. Отец Н. С., Сергей Никанорович, ездил в эти распределители за картошкой и за другими продуктами и носил их «на горбу» (на спине), другой возможности не было. Однажды с таким грузом он спрыгнул с трамвая на ходу, да еще в обратную от хода сторону, хорошо, что не убился насмерть. Он же носил Радочку в ясли на 11-й этаж нашего дома, когда лифт не работал... Рада очень любила дедушку.

Бабушка, Ксения Ивановна, больше сидела в своей комнате или брала табуретку и садилась на улице возле подъезда. Возле нее обязательно собирались люди, которым она что-то рассказывала. Н. С. не одобрял ее «сиденья», но мать его не слушалась.

Ранней весной 1938 года мы уехали в Киев, и мне пришлось оставить работу; все, что я делала с этого времени, была работа по поручениям райкома партии. В киевский период я преподавала историю партии в районной партийной школе (при Молотовском райкоме г. Киева), выступала с лекциями, учила на вечерних курсах английский язык. Дети маленькие (трое), часто болели, требовали внимания.

Любопытное отступление. Не помню даты, к сожалению. Когда В. М. Молотов стал наркомом иностранных дел, то ему построили дачу по специальному проекту, с большими комнатами для приемов иностранных гостей, и в какой-то день было объявлено, что правительство устраивает прием для наркомов и партийных руководителей Москвы на этой даче. Работники приглашались вместе с женами, так и я попала на этот прием. Пригласили женщин в гостиную, там я уселась у двери и слушала разговоры московских гостей. Все собравшиеся женщины работали, говорили о разных делах, о детях...

Позвали в гостиную, где были накрыты столы буквой «П». Усадили по ранее намеченному порядку. Я оказалась рядом с Валерией Алексеевной Голубцовой-Маленковой, напротив — жена Станислава Косиора, которого только что перевели на работу в Совет Народных Комиссаров СССР. Уже было известно, что на его место секретарем ЦК Украины поедет Н. С. Хрущев. За ужином я стала спрашивать жену Косиора, что из кухонной посуды взять с собой. Она очень удивилась моим вопросам и ответила, что в доме, где мы будем жить, все есть, ничего не надо брать. И действительно там оказалась в штате повариха и при ней столько и такой посуды, какой я никогда даже не видела. Так же и в столовой... Там мы начали жить на государственном снабжении: мебель, посуда, постели — казенные, продукты привозили с базы, расплачиваться надо было один раз в месяц по счетам.

Вернусь к приему, где для меня все было очень любопытно. Когда гости сели, из двери буфетной комнаты вышел И. В. Сталин и за ним члены Политбюро ЦК и сели за поперечный стол. Конечно, их долго приветствовали аплодисментами. Не помню точно, но, кажется, сам Сталин сказал, что недавно образовано много новых наркоматов, назначены новые руководители, в Политбюро решили, что будет полезно собрать всех в такой дружеской обстановке, познакомиться ближе, поговорить...

Потом говорили многие, называли свои учреждения, рассказывали, как представляют себе свою работу. Дали слово женщинам. Валерия Алексеевна Голубцова-Маленкова говорила о своей научной работе, за что была осуждена женщинами. В противовес ей молодая жена наркома высшего образования Кафтанова сказала, что будет делать все, чтобы ее мужу лучше работалось на новом ответственном посту, чем вызвала всеобщее одобрение.

За этим ужином я узнала, что у т. Косиора два сына. Жена Косиора произвела на меня очень приятное впечатление; я впоследствии часто вспоминала о ней, когда через годы узнала, что она была сослана безвинно в лагерь и расстреляна, а резолюцию о расстреле написал единолично В. М. Молотов. Мне об этом рассказал Н. С. при следующих обстоятельствах. Полина Семеновна Молотова встретила меня во дворе дома на ул. Грановского и попросила передать Н. С. просьбу принять ее в ЦК по поводу восстановления в партии В. М. Молотова, исключенного несколько лет тому назад... Н. С. принял Полину Семеновну и показал ей документ с резолюцией Молотова о расстреле жен Косиора, Постышева и других ответственных работников Украины, затем спросил, можно ли, по ее мнению, говорить о восстановлении его в партии или надо привлекать к суду. Это Н. С. рассказал мне, отвечая на вопрос, приходила ли к нему Полина Семеновна и чем разговор закончился.

В 1935—1936 гг. предприятия работали на непрерывной неделе: пять дней работали, шестой — выходной, по скользящей шкале. Очень для меня неудобный был режим — никогда не имела выходных вместе с Н. С., он работал с постоянным выходным. Цель непрерывной рабочей недели была хорошая — чтобы оборудование было загружено полностью, чтобы производительность труда росла, чтобы люди меньше уставали. Но не оправдал себя такой порядок, перешли потом на шестидневную рабочую неделю с выходным днем в воскресенье.

Помню, в те годы секретарем МГК по пропаганде работала Евгения Коган, жена Куйбышева, помню ее дочку, Галю Куйбышеву. Помню, как я огорчалась, когда т. Коган устраивала походы своих товарищей в театры — это бывало часто, — а я не могла пойти вместе с ними, потому что по воскресеньям работала на заводе. И все другие культурные мероприятия, в каких участвовал Н. С., мне были недоступны из-за «непрерывки».

Секретарем парткома на Электрозаводе работал т. Юров, очень энергичный товарищ. Тогда называли друг друга по фамилии, не особенно интересовались семейными делами. Юров не знал и не интересовался, за кем я замужем. Однажды он позвонил поздно вечером нам на квартиру, я подняла трубку, он отрывисто спросил, кто у телефона, я ответила: «Кухарчук» — автоматически. «А ты что там делаешь, я звоню на квартиру т. Хрущева?» Очень он был поражен тем, что я, оказывается, жена Хрущева. А вопрос у него был срочный: наши подшефные луга были под угрозой вытаптывания военной конницей, и необходимо было вмешательство МГК до утра следующего дня. На следующий день он меня допрашивал, как это я сумела скрыть свои семейные отношения с секретарем МГК. Я ответила, что не скрывала, а информировать товарищей на заводе без вопросов с их стороны не считала нужным. Кстати, с помощью МГК удалось защитить подшефные Электрозаводу луга от военной конницы...

Работали мы в партийном комитете Электрозавода много. Как я уже упоминала, уходила я из дома в 8 часов утра и возвращалась не раньше 10 вечера. Ездила на трамвае от Дома правительства до Электрозаводской улицы, дорога отнимала не менее часа. По дороге на работу и с работы читала литературные новинки, запомнилась мне «Как закалялась сталь», прочитанная впервые в трамвае. Завод работал в три смены, и партийная, профсоюзная и комсомольская организации (комитеты) должны были обслуживать все три смены: проводили собрания, политзанятия и пр.

В 50-е годы я еще поддерживала связь с работниками завода через Варю Сыркову, ходила к ней в гости, виделась там с товарищами по работе, а после ее смерти, а потом и смерти т. Цветкова (бывшего директора лампового завода) живая связь оборвалась, только по телефону передавала приветы через Тамару Тамарину, работницу электролампового завода с 1916 года. Тов. Юров впоследствии был невинно репрессирован и погиб.

Как мои родители познакомились с Никитой Сергеевичем.

В 1939 году немцы заняли Польшу и приближались к моим родным местам — селу Василеву. Как известно, наши войска в это время двинулись на запад и заняли районы Западной Украины, город Львов и Западную Белоруссию. Н. С. позвонил мне в Киев и сказал, что мое село Василев и окружающий район отойдут к немцам и, если я хочу, то могу приехать с оказией во Львов, а оттуда меня отвезут в Василев, чтобы я смогла забрать своих родителей. Еще Н. С. добавил, что организует мою поездку т. Бурмистенко, секретарь ЦК КП(б)У. Тов. Бурмистенко сообщил мне, что по командировке ЦК едут две женщины для работы во Львове, и я поеду с ними. Одна, молодая комсомолка, ехала для работы с молодежью, а вторая, партийный работник, должна была работать среди женщин Львова. Нам велели надеть военную форму и дали револьверы. Было сказано, что мы переодеваемся для удобства, чтобы военные патрули меньше останавливали нас по дороге. Ехали более менее спокойно, но на дороге недалеко от Львова чуть было не попали под <встречный> грузовик: шофер грузовика не спал три ночи и заснул за рулем. Пострадала только комсомолка — ударилась переносицей... Довез нас на своей машине проезжавший мимо командир (проверил документы), девушку отправи-

ли сразу в госпиталь на перевязку, а мы вдвоем остались на квартире командования. Командовал войсками Тимошенко Семен Константинович, тогдашний командующий Киевским военным округом, Н. С. Хрущев находился в войсках как член Военного совета. Когда Н. С. и Тимошенко вернулись домой и увидели нас в военном и с револьверами, они сперва расхохотались, потом Н. С. очень рассердился, велел немедленно переодеться в платья. И продолжал бурно возмущаться: «О чем вы думаете? Собираетесь агитировать местное население за Советскую власть, а сами приходите с револьверами? Кто вам поверит? Им десятилетиями внушали, что мы насильники, а вы с вашими револьверами подтверждаете эту клевету...»

Переоделась и поехала в Василев за своими родителями. Сопровождал меня Божко Василий Митрофанович, один из бойцов охраны Н. С. Доехали спокойно, нашли хату моих родителей. Отец и мать были дома. Сбежалось много народа посмотреть на меня и узнать новости. Никто не хотел верить, что село отойдет немцам, не знали этого еще и младшие командиры в частях. Но мне разрешил т. Тимошенко сказать, почему я приехала за родителями. Ночью во двор отца поставили танк. Всю ночь в хате толпились военные, грелись, мама их кормила, с ними сидел и В. М. Божко. Под утро приехали представители вновь организованной местной власти, чтобы меня арестовать как шпионку и провокатора. Еле их уговорили Божко и танкисты, что они ошибаются. Утром родители мои и брат с семьей погрузили в полуторку свое все имущество и себя, и мы двинулись на Львов. С нами доехал до первой военной комендатуры представитель местной власти. Он хотел что-то узнать поточнее, но в комендатуре не было еще никаких сведений о территории, которая по договору отойдет к немцам.

Привезла я своих родичей во Львов, во дворец воеводы, где квартировал Н. С. Стали они ходить по комнатам, удивлялись всему. Например, покрутил мой отец водопроводный кран и кричит матери: «Подойди, посмотри, вода льется из трубы». Все прибежали, смотрели, ахали, только брат Иван Петрович сказал, что он видел водопровод, когда отбывал военную службу.

Когда вошли в комнату т. Тимошенко и Н. С., отец, указывая на Тимошенко, спросил: «Это наш зять?» Но я не заметила, чтобы он разочаровался, узнав, что зять его — Н. С.»

Записки Нины Петровны прочитали наши дети, нам с женой хотелось, чтобы они узнали о деде и бабке подробнее, познакомились с тем, как те начинали жизнь, и со временем, о котором знали лишь в общих чертах.

Взвесив, стоит ли публиковать написанное Ниной Петровной, ведь она об этом не думала, Рада и я решили, что стоит, — широкому кругу людей могут быть интересны реалии бытия тех лет, сурового и скупого на ласку. Без блеска и широты обозрения, без глубоких, серьезных познаний о многом — в литературе, искусствах, самой истории — складывались биографии многих представителей того послереволюционного поколения. Не вина да и не беда этих людей, что они учились урывками и все больше для дела, а дело предъявляло им жесткие требования и властно подчиняло себе.

Нина Петровна оборвала свои записи 1939-м годом. Ни сама она, ни Никита Сергеевич не рассказывали своим близким, как складывались их судьбы. Хрущев с первых дней нападения фашистской Германии на нашу страну был на фронте. Вместе с генералом Кирпоносом возглавил оборону Киева и вернулся туда 6 ноября 1943 года, когда город был освобожден советскими войсками.

Однажды на торжествах, посвященных годовщине Сталинградского сражения, побывал Зиновий Тимофеевич Сердюк, товарищ Хрущева по работе на Украине, член Военного совета 64-й армии генерала М. С. Шумилова, сражавшейся в Сталинграде. Пришел в мемориальный музей. В самом дальнем углу висел маленький снимок заседания Военного совета фронта. Группа посетителей толпилась у стенда, и кто-то удивился: «Смотрите, тут, кажется, Хрущев, разве он воевал в Сталинграде?»

«Это были взрослые люди, не юноши и девушки, и мне пришлось прочитать им маленькую лекцию, — рассказывал Сердюк. — Они ушли, а я тогда подумал: может ведь случиться, что забудут не только многих, но и многое...».

Он прав. Склоняете ли вы голову, останавливаетесь ли в минутном молчании перед Триумфальной аркой в честь победы в Отечественной войне 1812 года? Впрочем, как это сделать? Установлена она так, что подойти к ней очень трудно, — справа и слева поток автомобилей. Когда ее восстанавливали, не задумывались, не вспоминали тех, кто сложил и за нас головы под Бородино. Реставрировали камни и бронзу, а сама по себе это цель пустая.

В 1987 году уже в поредевшей компании старых товарищей отметили мы 35-летие первого выпуска факультета журналистики МГУ. Жизнь разбросала нас по городам и весям, а многим, увы, не пришлось дожить до этого дня...

Когда сейчас спрашивают о первых послевоенных годах и при этом говорят: «Вам, конечно, было тяжело!» — я отвечаю совсем не так, как того ожидают.

Нет, говорю я, нет! Хотя не скажешь, что то время было простым и легким, главенствовало ощущение счастья. Мы представляли значимость дела, которому собирались служить, хотели как можно лучше и активнее проявить себя. Эти личные цели перекрывали все остальное в жизни тех лет.

Никто из нас не отважится назвать Московский университет того времени островом вольности, как никто не ставит слишком высоко образование, которое мы тогда формально получили. Филологи не прочли доброй половины книг лучших русских и советских писателей, историки западной литературы не знали имен многих литераторов «оттуда». Журналистам мало что говорилось о мировой прессе. Зато мы зубрили латынь и распевали при сдаче экзаменов по древнегреческой литературе: «С ужасом в город вбежав, трояне, как олени младые...» — в усладу нашему милейшему старцу профессору Радцигу. Может быть, это укрепляло нашу образованность, но более важных знаний нам не хватало.

На всю жизнь мы усвоили правила самообразования и наверстывали упущенное в университетских программах с жаждой и упорством.

На экзаменах, стоя перед черной доской, на которой по заданию профессора Галкиной-Федорук (она читала курс истории русского языка) были написаны длинные сложные фразы, не каждый мог быстро определить, где подлежащее и где сказуемое, и Евдокия Михайловна только крякала от досады. Галкина-Федорук не занижала оценок за пробелы в школьных знаниях, ведь между школой и университетом у большинства был фронт и у всех — война, а приглашала обычно прийти к ней домой, подзубрив предварительно элементарные правила. Принимая дома, сообщала, за каким из двух огромных сдвинутых столов работает она, а за каким ее муж — историк, в ту пору проректор МГУ. При особом расположении Евдокия Михайловна доставала баночку с вареньем, наливала чаю и с ехидцей спрашивала: «А знаешь ли ты, милый товарищ, что перед «а», «но», «да» ставятся запятые, а когда «бы», «ли», «же» пишутся отдельно»? Чаще всего домашний экзамен оканчивался благополучно.

Евдокии Михайловне нелегко дались «университеты», она начинала с самой черной работы, была даже грузчицей, и уже взрослым человеком осваивала азы грамматики. Сам Рабле мог бы позавидовать сочности и яркости ее речевых оборотов, когда она читала лекции о вульгарных словах и выражениях в русском языке. «А ну-ка, заприте двери», — обращалась она к старосте курса... Быть может, оттого, что мы слушали эти дерзкие и откровенные лекции Галкиной-Федорук, никто из нас не сквернословил. Нравы в пору нашей молодости были довольно строгие. В те годы все окрашивала Великая Победа. Она рождала чувство братства, единения, на ее фундаменте крепилась уверенность в том, что лучшее впереди, что все нам по плечу, что человеку не страшен никакой черт. Наверно, это ощущение счастливого будущего шло и от неведения, незнания многого...

Мы не были, конечно, такими уж простодушными бодрячками. Кое-что все-таки настораживало. К примеру, в 1949 году был арестован доцент Пинский, он прекрасно читал историю западной литературы XVIII—XIX веков. Стали «исчезать» с биологического факультета не только преподаватели, но и студенты. После августовской сессии ВАСХНИЛ в 1948 году для всех факультетов был введен курс мичуринской биологии— студенты называли его «лысенкоедение». В Коммунистическую аудиторию, самую большую тогда в университете, однажды явился профессор Презент, главный сподвижник Лысенко, и сообщил, что познакомит с новым важным учением. Он читал лекции зло и как-то надменно, будто поучал своих поверженных противников.

Думаю, что многие студенты-биологи относились к новому учению без почтения, хотя явно выражать это было более чем опасно. Филологи играли на лекциях в «морской бой», поскольку их не интересовали проблемы межвидовой борьбы, влияния среды на воспитание особи и т. д.

Однажды Презент соскочил с кафедры и, подлетев к моему соседу Авениру Захарову, выхватил у него листочек с квадратиками «морского боя». «Чем вы занимаетесь, студент,— прокричал он, размахивая перед носом Авенира бумажкой,— чем?!» Захаров, небольшого роста, плотный, как боровичок, в полинявшем бушлате, поскольку служил в войну на торпедных катерах, спокойно принял бумажку из рук Презента и проговорил: «Профессор, вы разговариваете со старшиной первой статьи Советского Военно-Морского Флота, па-пра-шу не кричать. «Морской бой», в который я сейчас играю, мое профессиональное занятие, оно меня успокаивает и помогает вникать в вашу чересчур сложную лекцию!»

Как ни странно, Презент сник и поспешно вернулся на кафедру. Через минуту ему была передана записка: «Не может ли профессор порекомендовать способ скрещивания клопа и светлячка—это облегчит нашу жизнь на Стромынке?»

Нас, филологов, главные события ждали, однако, впереди.

9 мая 1950 года в «Правде» была опубликована статья грузинского языковеда Арнольда Степановича Чикобавы о некоторых вопросах советского языкознания. Статья эта занимала всю специально для нее предназначавшуюся вкладку и сопровождалась предисловием от редакции, где сообщалось, что открывается свободная дискуссия по проблемам языкознания, направленная на преодоление застоя в этой важной области науки.

Через много лет редактор «Правды» той поры, человек острого, ироничного ума, рассказал, как появилось это сочинение в газете.

Неожиданно его пригласил Сталин на свою «ближнюю дачу» в Волынское и показал плотную стопку листов, исписанных четким почерком. Усадив за стол, сказал, что один его знакомый из провинции прислал статью. Пусть редактор прочтет ее сейчас и скажет, стоит ли печатать. Редактор понимал, что просто так, из желания посоветоваться, Сталин не стал бы вызывать его. Решение уже принято, но ему нужно было подтверждение той важности, какую он придавал статье.

Сталин неслышно ходил по комнате, время от времени наклонялся к столу, брал один из карандашей, лежавших аккуратной кучкой, наклонялся над плечом редактора и вносил какую-нибудь мелкую поправку: ставил запятую, снимал лишний союз... Не знаю, как уж там давалось редактору чтение этой весьма специальной статьи, что смог понять он в характере языковедческого спора Чикобавы с Марром, наверное, его больше занимал Сталин, мерно шагавший за спиной. Ни вопросов, ни замечаний. Молчание. И даже когда Сталин останавливался и почему-то трогал пальцем редеющую макушку редактора, оглядываться не хотелось.

Шутливый тон этого рассказа (чего не случается, дескать, с газетчиками) никак не вяжется с дальнейшими событиями. Как только статья Чикобавы была напечатана, пошли еженедельные вкладки в «Правде». Дискуссия полыхала вовсю, и студенты-филологи поняли, что ее огонь подпалит и нас, грешных. Мы учились по Н. Я. Марру, и учили нас его твердые последователи. Деканом факультета был тогда Николай Сергеевич Чемоданов, ярый маррист, жесткий человек, читавший лекции сложно, нисколько не заботясь о том, как их воспринимают студенты. На его экзаменах слабонервные девицы, загнанные в угол неожиданными и малопонятными вопросами, падали в обморок. Нас сразу взволновало главное: не придется ли пересдавать экзамены?

В отличие от сессии ВАСХНИЛ, где Лысенко и его приспешники сразу же начали громить «вейсманистов-морганистов», буквально затаптывать своих оппонентов, открыто переводить научный спор в политическое русло, языковедческая дискуссия сперва была иной, более демократичной.

На Чикобаву резко ополчилась целая группа ученых. Языковеды-марристы чувствовали себя в полной безопасности, так как за ними были не только авторитет Марра, чья точка зрения считалась официально признанной, но и позиция директора Института языка и мышления Академии наук СССР академика Ивана Ивановича Мещанинова. Он был первым языковедом, удостоенным звания Героя Социалистического Труда.

Ученые мужи сначала не поняли, где, в чьем кабинете читал знакомый мне редактор странички, которые они так лихо отвергали. В дискуссию вступили те, кто разделял точку зрения Чикобавы. Теория Марра о том, что язык есть надстройка над базисом, начала рушиться. Студентов особенно взбудоражила статья молодого ученого нашего факультета Бориса Александровича Серебренникова. Он был в ту пору то ли аспирантом, то ли едва успел защитить кандидатскую. Серебренников всегда держался принципиально, независимо, не скрывал отрицательного отношения к учению Марра. Он был учеником известного лингвиста академика В. В. Виноградова. Академика убрали с факультета, а его ученика ломали на собраниях, семинарах, ученых советах и в конце концов исключили из партии. Студенты считали это несправедливым и обрадовались, когда увидели публикацию Серебренникова в «Правде». Он отстаивал свою точку зрения...

Борис Александрович теперь академик, один из крупнейших советских лингвистов. Его принципиальная позиция, весь последующий путь в науке—пример достоинства и верности своим убеждениям. Для многих студентов той поры это был хороший урок, как может и должен отстаивать человек свои взгляды.

Статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании», опубликованная в «Правде» 20 июня 1950 года, расставила все точки и запятые в этом споре. Поверженные каялись, победители торжествовали.

Держу в руках брошюрку, экстренно выпущенную издательством «Правда» с материалами дискуссии, в том числе с ответом Сталина, как было сказано, группе товарищей из молодежи, обратившейся к нему «с предложением высказать свое мнение в печати по вопросам языкознания, особенно в части, касающейся марксизма в языкознании». Вновь читаю строки, которые некогда приходилось заучивать наизусть.

Сталин писал: «Дискуссия выяснила, прежде всего, что в органах языкознания, как в центре, так и в республиках, господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого «нового учения» в языкознании преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания. За критическое отношение к наследству Н. Я. Марра, за малейшее неодобрение учения Н. Я. Марра снимались с постов или снижались по должности ценные работники и исследователи в области языкознания. Деятели языкознания выдвигались на ответственные должности не по деловому признаку, а по признаку безоговорочного признания учения Н. Я. Марра.

Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики... Создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самовольничать и бесчинствовать... Если бы я не был убежден в честности товарища Мещанинова и других деятелей языкознания, я бы сказал, что подобное поведение равносильно вредительству».

Кто не согласится с чеканной мыслью Сталина о том, как должна развиваться наука? Но как—нам, теперь—не поразиться фарисейству. Будто и не было трагедии великого труженика науки Николая Ивановича Вавилова и десятков его коллег. Будто не было заушательской, разносной, а точнее сказать доносной, критики со стороны Лысенко. Будто не преследовали тех, кто сомневался в открытии О. Лепешинской, которая, не выходя из своей квартиры, «разгадала» великую тайну происхождения живого

из неживой материи. Она же, кстати, обосновала возможность омоложения содовыми ваннами. В ту пору в аптеках исчез порошок, употреблявшийся ранее как средство от изжоги.

За всем этим — постоянное стремление взвинчивать, предельно накалять общественную атмосферу. Какой-то театр абсурда, нечто за гранью логики... Теперь, спустя тридцать с лишним лет, это представляется сценами из инфернального мира. А мы-то жили в мире реального и, если говорить о нас в массе, верили всему, о чем читали в газетах и слышали на собраниях. Или, быть может, принимали на веру — все, что шло сверху вниз... Самоотстранение от сложных процессов общественного бытия было не только защитной реакцией — оно постоянно культивировалось: «Не лезь не в свое дело», «Наверху виднее», «Что, тебе больше других надо?» Психология, по сути, чуждая природе нашего общества, укреплялась в сознании многих.

Это уже после XX съезда партии стало понятнее, зачем так долго и так настойчиво вырабатывалась система низведения личности до положения «винтика» — ведь проще иметь дело с политическими младенцами.

Когда буря языковедческих дискуссий миновала, мой товарищ по факультету Виталий Костомаров вздохнул с облегчением. Ему, правда, влепили строгий выговор с занесением в учетную карточку — он что-то не так сказал на языковедческом семинаре, — но из комсомола не исключили. Чуть позже Костомарова как идеологически нестойкого не утвердили на общественную должность машинистки в стенную газету «Комсомолия». Встретившись недавно, мы посмеялись, конечно, над бдительностью своих сокурсников. Виталий сохранил листок многотиражной газеты «Московский университет», где в небольшой заметке студент-журналист А. Аджубей утверждал, что должность машинистки может быть предоставлена В. Костомарову, ибо является чисто технической. После этой заметки я был отстранен от прохождения по Красной площади в студенческой спортивной колонне МГУ и назначен на праздничные дни дежурить по факультету. Виталий Григорьевич Костомаров теперь директор Института русского языка имени А. С. Пушкина... Университетское время окрашено для студентов каждого выпуска в свой цвет. Я выделяю однокурсников не только потому, что мы были из первого послевоенного выпуска, но и по той причине, что очень скоро нас ждали острейшие переломные события.

Строилось новое здание МГУ на Ленинских горах, его открыли через год после окончания наших занятий — в 1953-м. Темпы возведения были рекордными и для нынешнего времени: всего шесть лет. Колючая проволока, сторожевые вышки, высокие заборы, которые окружали огромную строительную площадку, отъединяли нас, копавших во время воскресников траншеи для укладки труб, переносивших кирпич, убиравших территорию под будущие цветники, от «зеков» (странное дело, до сих пор в университете есть зона «А», зона «Б» и так далее), которые выполняли более тяжелую работу, но это не смущало и не пугало нас. По нашим тогдашним представлениям, за проволокой шло перевоспитание трудом, который мы, вольные, считали тем главным, что лежит в основе человеческого достоинства. Нашим трудом было ученье. Нас не посылали копать картошку, перебирать овощи на базах. Учиться хорошо и отлично считалось исполнением долга и проявлением общественной сознательности. Ребята, получавшие Сталинские стипендии, вызывали уважение.

В конце 1950 года я проходил практику в газете «Комсомольская правда». В военно-спортивном отделе, которым заведовал Борис Иванов, получил первое журналистское задание — написать о стрелковых соревнованиях на стрельбище «Динамо» в Мытищах. Участники соревнований расположились в белых вылинявших палатках, а выходя на линию огня, палили по таким же простеньким мишеням, какие висели в стрелковом клубе МГУ. Записав все данные о соревнованиях и победителях, я ринулся в редакцию и к вечеру отдал Борису Иванову свое сочинение. «Пойдет», — сказал он, проглядев страничку.

Утром я не отыскал заметку на последней полосе, где обычно печатали спортивную информацию. Прибежал в редакцию, робко постучал в кабинет Бориса Иванова. Он тиснул мою руку и сказал: «Старик, поздравляю с первой публикацией», — наклонился к столу и отчеркнул на газетной полосе крошечный, пять строк, столбик, набранный петитом в подбор с другой информацией. Больше всего я жалел об утере заголовка «Белые палатки, беглый огонь». Но зато меня приятно кольнуло по-доброму сказанное «Старик...» В «Комсомолке» тех лет это слово кое-что значило.

Борис Иванов выложил передо мной пачку писем читателей в редакцию и послал неподражаемо элегантным жестом прощальный привет. Дневная норма для литературных сотрудников была тогда — обработать сорок писем. Я не успевал. День за днем стопка писем росла. Росла и моя тревога: не справляюсь. Рабочий день растягивался до раннего утра. Я начал понимать, как делается газета. Хаотичное мельтешение людей, беготня к дежурному или главному редактору, ворохи оттисков с пометками «отделу информации», «свежей голове», крики по местному телефону снизу, от верстальных столов: «Сократите хвост Семушкину», «Рубаните Чачина» и т. д.

Через какое-то время я стал разгребать почту увереннее и даже готовил подборки писем. Таких подборок становилось все больше, и все больше писем отсылали на мой стол и «зав», и «зам», и даже старший по возрасту, а следовательно, и по положению литературный сотрудник. Роптать не приходилось — практика. За усердие стали чаще давать и репортерские задания...

Как-то само собой получилось, что, когда практика окончилась, я продолжал бегать в «Комсомолку». Однажды Борис Иванов предложил поступить на постоянную работу в отдел. Предвидя вопросы, он разрешил их с убедительной простотой: «Да что ты, не сумеешь окончить университет, работая у нас? Проблем не будет, главный сказал, что сможет договориться насчет свободного посещения лекций (ни заочного, ни вечернего отделений тогда не существовало). И вот в 1951 году я стал «вольноопределяющимся» студентом МГУ и штатным сотрудником «Комсомольской правды». Здесь, не перескакивая ни через одну служебную ступеньку, и довелось пройти весь путь «от» и «до».

Вспоминая «Комсомолку», многие ее бывшие сотрудники называют газету родным домом, дружной семьей, где все были братьями и сестрами. Важнее, мне кажется, другое. Во-первых, ценился и вырабатывался профессионализм, во-вторых, уже в самом начале пятидесятых больше, чем в других газетах, допускались свобода мнений, спор, поощрялась острая тема. Там приветствовали тех, кто любил письма, шел к теме от реальных историй, от обращения к раздумьям читателя, от факта жизни, а не от схем, какими заполнялись тогда страницы многих газет.

Однако и плата за честь работать в таком замечательном коллективе была высокой. Все интересы — в газете. Все время — газете. (Это без преувеличений: рабочий день длился не менее 12, а часто и 14 часов.) Командировки хоть на край света по первому слову редакции. А главное — надо было непрерывно снабжать газету находками, отыскивать необычное. Чтобы «вставить фитиль» коллегам из другого издания. «Старик, — слышалось в таком случае в комнате отдела, в лифте, в коридоре, в столовой, — старик, главный одобрил, — еду, лечу, встречаюсь...»

Как легенды передавались истории о корифеях «Комсомолки», которые добывали материалы в самых невероятных обстоятельствах. Семен Нариньяни, блестящий фельетонист, в 1934 году во время первого физкультурного парада прорвался на Красной площади к Максиму Горькому и с его помощью получил по нескольку строк впечатлений о празднике от всех членов Политбюро, включая Сталина. Когда Нариньяни доложил об этом редактору, тот не поверил. Но тут раздался звонок из высокого секретариата, и к сказанному на Красной площади было добавлено еще несколько строк.

Читатель нынешней «Комсомольской правды» вряд ли увидит газету начала пятидесятых, разве что в библиотеке или музее. Тридцать с лишним лет миновало с той поры. Если бы по какой-то странной случайности в его почтовом ящике оказалась та, «наша», «Комсомолка», он, молодой человек конца двадцатого века, наверное, удивился бы и, чего

доброго, пожалел бы и прежних читателей, и тех, кто делал газету. «Комсомольская правда» 50-х годов была куда как скромнее, если хотите, проще, суше, чем нынешняя. Две-три маленькие фотографии на четырех страницах, а чаще и без фотографий (на «украшательство» существовал строгий лимит), «слепые» колонки статей, небольшие заголовки, никаких броских аншлагов, минимум рисунков, карикатур — каждый сантиметр площади для дела. Засушивало газету обилие официальных протокольных заметок. Телетайп категорично отстукивал, куда их ставить. «В правый верхний угол второй полосы», «В левый нижний угол третьей полосы»... Случалось, что на «угол» претендовали сразу три материала, и тогда победу одерживало ведомство рангом выше.

Ночь напролет переверстывалась «Комсомолка». Терявшие силы и терпение метранпажи Матвеич или Степаныч (они верстали еще дореволюционную газету «Копейка») охрипшими голосами кляли дежурных по номеру и «верхнюю» редакцию. Оба они были милейшими, добрыми людьми, кладезем всевозможных баек о газетах и газетчиках, и мы относились к ним с великим почтением. Нервотрепка была скорее общим стилем ночной редакции. Газета, выбившись из графика, выходила днем, а то и вечером. В другие города она попадала через несколько суток. Фототелеграфа не существовало, матрицы везли на аэродромы и к поездам, которые, в свою очередь, либо не могли ждать газету, либо сами опаздывали. Как было объяснить читателям, что сообщение о завтраке в честь господина Н. дошло до нас к позднему ужину? Чиновники многочисленных ведомств мало считались с газетами, как, впрочем, и с газетчиками.

Листаю подшивки «Комсомолки». Выветрился запах типографской краски. Желтизна поползла по страницам. Когда белый мех начинает желтеть, скорняки говорят, что он умирает. Как бы ни изменили цвет газетные полосы, цена их только возрастает. Прошлое, если оно было достойным, работает на современность, зовет человека не вспять, а к возведению на земле новой жизни.

Мы любили свою «Комсомолку», делали все, чтобы она была другом и советчиком читателя. Впрочем, если быть откровенным, приходилось подниматься на котурны чаще, чем хотелось. Именно в те годы утвердились такие газетные выражения, как «битва за хлеб», «битва за металл». Они шли, конечно, и от жизни, ибо бились люди за многое. Победы давались тяжело, как на минувшей войне...

Совсем недавно мой друг, как раз из таких, кто знает, как даются журналистам строки, пришел на родной факультет в МГУ, чтобы встретиться со старшекурсниками. В его газете намечались две вакансии, и он хотел подыскать среди выпускников подходящих кандидатов. Мой друг — фантазер и, чтобы дать каждому равный шанс, предложил студентам написать две-три странички на «вольную тему», отметить девизом, а во втором, запечатанном конверте, сообщить фамилию. Газета, в которой он работал, — одна из самых боевых, попасть туда журналисту — все равно, что актеру выдержать конкурс у Ефремова. Через месяц, как и было условлено, он вновь пришел на факультет. В деканате узнал, что никто из выпускников не пожелал участвовать в конкурсе.

Уверен, в наши студенческие годы ни один не отказался бы. Должно быть, наше отношение к профессии было более трепетным. Если будущий журналист проявляет безразличие к своей собственной судьбе, вряд ли его взволнует судьба чужая...

В «Комсомолке» авторитет главного редактора был непререкаем. Ум, широта интересов, острота взглядов снискали Горюнову всеобщее уважение. Дмитрий Петрович был строг, почти официален, молодежь побаивалась его гнева, который, впрочем, не возникал без причины. Все знали, что «главный» не злопамятен, способен, если ошибся, изменить свою точку зрения. Он радовался удаче каждого сотрудника — опытного и начинающего, готов был поддержать в трудную минуту, даже если по каким-то обстоятельствам это давалось тяжело. Однажды Борис Иванов, заведующий военно-спортивным отделом, написал для газеты большой материал о канадском хоккее. На «Комсомолку», допустившую пропаганду «космополитизма» (в ту пору такое обвинение могло обернуться как угодно), обрушил гнев сам К. Е. Ворошилов. Канадский хоккей показался ему подозрительным. Почему канадский? Низкопоклонство!

По поводу канадского хоккея Горюнова непрерывно куда-то вызывали, он возвращался злой, резкий, коридор пустел — никто не желал попасться на глаза редактору в такую минуту. Затем Борис Иванов был вызван к главному, вся редакция волновалась за него. Мы так и не узнали, какие и с кем Дмитрий Петрович вел переговоры, но канадский хоккей вместе с Борисом Ивановым реабилитировали, велели, правда, именовать игру «хоккеем с шайбой».

В 1957 году Горюнов попрощался с «Комсомолкой», перешел в «Правду», потом много лет смело, энергично вел ТАСС. Внезапно, а все внезапное по-своему закономерно, Дмитрия Петровича назначили послом в Кению, затем в Марокко. Держали там долго, больше десяти лет, додержали до пенсии и вывели прекрасного журналиста на «заслуженный отдых». В ту пору Брежнев нередко отправлял в заграничную отлучку «строптивых». Горюнов не был покладистым и не спешил говорить вслед за словом «слышу» слово «слушаюсь». Многие сотрудники «Комсомолки» считают его своим учителем, в том числе и по этой причине.

15 января 1953 года в «Комсомольской правде» появилась передовая статья «Быть зоркими и бдительными!» За три дня до этого меня вызвал заместитель главного редактора Отар Давыдович Гоцеридзе, усадил за стол, запер дверь кабинета и, протянув небольшую папку, сказал: «На, прочти, запомни, что здесь сказано, а потом пиши передовую. Сообщение будет завтра, а передовая нужна к вечеру. Читай, читай, потом обсудим».

Он занялся своими делами, а я начал просматривать странички из папки, и у меня зарябило в глазах. Врач кремлевской больницы Лидия Федоровна Тимашук раскрыла банду врачей — вредителей, убийц и шпионов, повинных в гибели ряда видных деятелей партии и государства и готовивших еще более злодейские акты. (Сообщалось, что они залечили до смерти Жданова и Щербакова.)

Среди врачей-убийц профессора Вовси, Виноградов, начальник лечсанупра Кремля Егоров, Коган, Фельдман и другие. Академики, доктора наук, медицинские светила, допущенные в святая святых — Кремль! Вчитываясь в строки сообщения, я содрогался. Мой личный опыт общения с врачами был равен нулю, однако встречались знакомые имена. Одним из первых был назван Владимир Никитич Виноградов, крупнейший терапевт, блестящий диагност. Он не раз бывал в доме Хрущева, лечил Нину Петровну, оставался по приглашению хозяев обедать, рассказывал анекдоты из медицинской практики.

И этот Виноградов, доброжелательный, смотрящий прямо в твои глаза человек, как говорили, много лет наблюдавший за здоровьем Сталина, — шпион и убийца! У нас с женой только что, 21 декабря 1952 года, в день рождения Сталина, появился первенец Никита; Рада еще лежала в родильном доме на улице Веснина, в том самом, из «врат» которого вышли в свет многие сыновья, дочери, внуки и внучки партийных и советских руководителей — «правительственные дети», как говорили сотрудники роддома. Читая документы, я невольно думал о Раде и малыше.

Виноградов запомнился еще и потому, что он густо пересыпал свои фразы непонятным словечком «куцо». «Прихожу вчера домой, куцо, а ветер раскрыл окна, все бумаги, куцо, на полу...». Это словечко, похожее на «кацо», каким-то странным образом шло Владимиру Никитичу.

«Куцо» — стучало в висках, наверное, я выглядел ошалелым. Гоцеридзе покачал головой и со значением сказал: «Вот так-то. Ты все понял? Нужна передовая. Материалы, которыми следует пользоваться, перечитай серьезно». Он встал, открыл дверь кабинета, протянул ключ: «Запрись, чтобы не мешали. Когда напишешь статью, отдашь мне». Он не прибавил «только мне», но это было само собой понятно.

В той передовой статье были такие строки: «Выступая на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году, товарищ Сталин говорил: «Спрашивается, почему буржуазные государства должны относиться к Советскому социалистическому государству более мягко и более добрососедски, чем к однотипным буржуазным государствам? Почему они должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?»

В бумагах, которые я получил, эту цитату особо рекомендовалось использовать. Передовую напечатали. На редакционной летучке, где оцениваются и разбираются номера газеты за прошедшую неделю, о ней не было сказано ни слова. Такие темы не критиковались. Не стану утверждать, что тон передовой был более спокойным, чем в других газетах. Концовка призывала молодежь к зоркости и бдительности. Единственное, что отличало передовую,—в ней не перечислялись имена врачей. Теперь данное обстоятельство можно поставить себе в заслугу. Но малого стоит такая заслуга!

Через много лет Светлана Сталина напишет, что после ареста врачей ее отец отказался от услуг медиков, начал выбирать лекарства сам, капал в мензурку йод от склероза. Еще бы, как он мог пустить в дом людей вроде Виноградова, который лечил его двадцать лет, которому он поверял интимные стороны своей жизни, рассказывал о болях душевных и телесных, а презренный убийца исподволь готовил ему страшную кончину?!

Врач для больного, как священник для верующего. Если лгут священники,— а это Сталин знал, ибо сам мог стать священником,— почему не могут лгать врачи? Почему буржуазные государства «должны засылать в тылы Советского Союза меньше шпионов, вредителей, диверсантов и убийц, чем засылают их в тылы родственных им буржуазных государств? Откуда вы это взяли?».

Я понимал, что срочное поручение объяснялось по крайней мере двумя причинами: во-первых, у меня должны были найтись особо гневные слова—как-никак, и мою семью могли отравить; во-вторых, таким заданием оказывалось доверие. Зять Хрущева был подходящей фигурой.

В первый же свободный час я поспешил к жене в родильный дом, и там мы шепотом обсудили страшное известие. Сидела в комнате и молоденькая медицинская сестра Галя Семенникова. Ее больше всего поразило, что в списке значился начальник лечсанупра Кремля Егоров. У него только что в этом родильном доме появился на свет сын. «Господи,— причитала Галя, заливаясь слезами,—такая милая, красивая женщина, такой хорошенький мальчик, что с ними теперь будет? И что надо было этому извергу, ведь все уже есть, все есть...»

Это искреннее сопереживание — милость и гнев, задело меня больше, чем строки собственной передовой.

Мы дружим с Галиной Семенниковой и ее семьей тридцать пять лет. Галина Анатольевна стала хорошим врачом, организатором здравоохранения. Нет-нет да и вспоминаем мы тот разговор на улице Веснина, радуемся, что мальчик, родившийся перед арестом отца, не нес всю жизнь тяжелый крест сына врага народа. Да только ли этот мальчик?!

Страх и ненависть—сходные чувства. Ненависть к врачам-убийцам набирала силу. В поликлиниках и больницах врачи ходили как побитые. Газеты публиковали отклики трудящихся, клеймивших извергов и убийц. Был опубликован Указ о награждении Тимашук орденом Ленина «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц». Нашлось немалое число желающих занести и своего районного доктора в шпионы и вредители. Матери с ужасом вспоминали, что лечили своих детей у того или иного из поименованных. Больные требовали, чтобы в аптеках установили более строгий контроль за приготовлением лекарств.

В доме Хрущевых арест врачей не комментировался, хотя естественно предположить—н "ого не оставил равнодушным. Никита Сергеевич предпочитал лечиться сам. Иногда он приезжал с работы днем, и его ждала горячая ванна. Таким нехитрым, но проверенным способом ему удавалось снять почечные колики. Он по-прежнему много ездил по области, бывал в колхозах, на строительных площадках, где шло сооружение первых заводов железобетонных конструкций. В городе катастрофически не хватало жилья, сотни тысяч людей жили в подвалах и коммуналках — в жутких условиях. Если поездка намечалась на воскресенье, он приглашал Раду и меня — младшие еще не доросли.

Затрудняюсь сказать, почему он брал нас с собой. Журналистику в ту пору не считал серьезным занятием и уж тем более не ждал от нас никаких «публикаций».

Никита Сергеевич не терпел одиночества. Любил, чтобы кто-то был рядом. Он засиживался в МК допоздна. Начальник его охраны обычно звонил мне в газету и спрашивал: «Ну как, вышла в свет наша дорогая «Комсомолочка»?» Если позволяли обстоятельства, присылали за мной «хвостовую» машину (членов Президиума ЦК сопровождала машина охраны), и я, случалось, долго ждал у подъезда МК, пока выйдет Хрущев и мы поедем на дачу в Усово. Он предпочитал жить там, а не в переполненной городской квартире. Его тянуло на природу. Как бы поздно он ни приехал, обязательно гулял 15—20 минут, а утром быстро проходил по дорожкам свои полтора-два километра. Это позволяло ему выдерживать нагрузку, а в городе возможности погулять не было.

Во время ночных возвращений с Никитой Сергеевичем никаких деловых разговоров не велось, и более чем наивен тот, кто предполагает, что они вообще возможны в домашних обстоятельствах: «сказал Хрущеву», «посоветовался с Хрущевым» и т. д. Ехали обычно молча. Хрущев не спрашивал меня, как шло дежурство в газете, а я не задавал вопросов о его рабочем дне.

Утром в воскресенье Никита Сергеевич обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить с отцом в театр чуть позже, а в начале пятидесятых эта повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился: именно повинность. Никита Сергеевич чаще всего выбирал МХАТ, хотя много раз видел практически все спектакли. «Горячее сердце», наверное, раз десять, не меньше, и мы вместе с ним. Соглашался на любую оперу в Большом, а к балету относился равнодушно. Правда, принимал и балет, если танцевала Уланова или другая известная балерина.

Любил он театр имени Моссовета, считал его своим, московским. Юрий Александрович Завадский во время антракта непременно приглашался в ложу на чай. Они вспоминали многих актеров той поры, когда Хрущев в начале и в середине 30-х только начинал в Москве. Однако, если Завадский втягивал Хрущева в деловые разговоры, в оценку спектакля, Никита Сергеевич отшучивался: «Вы же видите, я не собираюсь уходить со второго акта.— И добавлял после паузы: — Хотя, может быть, и хочется. Зачем обижать актеров...»

В ту пору он не считал себя судьей ни в театральных делах, ни в кино, ни в литературе. Правда, в машине мог обронить: «Ерунда какая-то». Но не больше. Он не принимал бытовые спектакли, не любил «копания в грязном белье».

В его привязанностях особое место занимал документальный кинематограф. Киножурналы, посвященные науке, строительству, сельскому хозяйству, просматривал непременно. Если в просмотровом зале были помощники, он поручал им собрать дополнительные сведения о тех или иных новинках техники, изобретениях, интересных людях. Увы, не всегда то, что пропагандировалось на экране, существовало. Не знаю, какие меры предпринимались по поводу «кинолипы», но просмотр фильмов на какой-то срок прекращался.

Во время московских гастролей Киевского театра оперы актеры бывали на даче у Никиты Сергеевича. Вместе с ними он пел народные русские и украинские песни. Шло своеобразное музыкальное соревнование (голоса у Хрущева не было) на знание песен редких, фольклорных. К чести украинских певцов, они почти всегда подхватывали слова самых «забытых» песен и припевок. Хрущев родился в курской деревне, долго ходил в подпасках, много, конечно, слышал в детстве южных русских народных напевов, рядом лежали украинские села, и живой обмен культурным наследием был налажен хорошо. Любила петь и его мать, Ксения Ивановна; на деревенский лад она говорила не «петь», а «кричать песню».

Перебирая сейчас в памяти черты характера Никиты Сергеевича, думая о том, что больше всего он ценил в людях, прихожу к выводу — деловитость, профессионализм, трудовое достоинство. Хрущев уважал тех, кто энергично строит жизнь, не без гордости вспоминал, что в лучшие свои рабочие годы в Донбассе получал 30 рублей золотом. Слесарь должен был обладать высокой квалификацией, чтобы его труд так высоко оплачивали. Однажды исполнилась мечта молодого Хрущева. Он подкопил денег на покупку пальто. Приехал в Юзовку, пришел в магазин. «Подскочил приказчик, — рассказывал Никита Сергеевич, — спрашивает: «Чего изволите?» Я ему про пальто, он тут же достает, поглаживает один рукав, другой. «Какое желаете, правое или левое?» Я пощупал материал, поколебался и ткнул пальцем — правое. Продавец посмеивается. Оказалось, рукава от одного пальто». Хрущев не раз приводил этот пример на разных совещаниях, когда речь шла о торговле, заканчивал обычно нравоучительной сентенцией: «Вот так умели торговать дореволюционные приказчики. Наш советский продавец не будет морочить голову покупателю, он ему говорит: сам выбирай».

Хрущев не был призван на военную службу в годы первой мировой войны, шахтеров в армию не брали. Жизнь в Донбассе становилась все тяжелее, вспыхивали забастовки, появились в шахтерских поселках казачьи сотни. К этому времени Хрущев уже определил свои позиции, стал большевиком. Ушел сражаться с белыми. В годы гражданской войны он был комиссаром при политотделе 9-й армии на Южном фронте.

Помню, во время визита Никиты Сергеевича в Соединенные Штаты Америки на приеме в Лос-Анджелесе среди хозяев оказался сын купца из Ростова-на-Дону. В гражданскую семью купца вышвырнули из этого города как раз те части, где служил Никита Сергеевич, и она оказалась в Америке. Когда это выяснилось, произошла некоторая заминка, а затем Хрущев, забыв о «протокольных приличиях», заявил, что не желает ни есть, ни пить рядом с «контрой», что он приехал встречаться с настоящими американцами, а не с белякамн. Сына «беляка» куда-то оттеснили, рядом с Никитой Сергеевичем посадили «настоящего американца». Инцидент дипломатично замяли. Хрущев нисколько не жалел о сказанном. Немало было случаев, когда Никита Сергеевич эпатировал общественное мнение, но люди, видевшие его в таких обстоятельствах, замечали, что за кажущейся несдержанностью проглядывал тонкий, а иногда и лукавый расчет.

Бог знает, каких только «штрихов к портрету» Хрущева не дорисовывают иные люди! Я прежде всего смотрю на год выпуска таких свидетельств — это многое объясняет. Хрущев, естественно, не был ни ангелом, ни холодным человеком и политиком, не прятал взрывной сущности натуры. Особенно его раздражало вранье, пренебрежение делом и тем более притупление идеологической бдительности, как он ее понимал. Тут он бывал резким, и, случалось, никакие аргументы не могли заставить его изменить оценку человека или решение.

Теперь часто отыскиваются примеры ошибок Хрущева, его необъективности и даже самоотрицания в подходах к тому принципиальному развитию событий, которое нарастало в обществе благодаря его стараниям. Но что было, то было. Хрущеву не раз говорили, что Владимир Дудинцев в романе «Не хлебом единым» написал как раз о тех негативных явлениях, которые он, Хрущев, критикует, — это не изменило отрицательного отношения к книге. Непостижимо! Когда скульптор Эрнст Неизвестный задумывал памятник Н. С. Хрущеву на Новодевичьем кладбище, он соединил в нем белый и черный камень. Ломаная черно-белая линия надгробия — зримое подтверждение того, что в этом сплетении есть правда о любом человеке, кроме разве что Христа.

Известно, что провозглашение истин — занятие более легкое, чем их поиск. Хрущев любил рассказывать анекдот о споре двух военных — полковника и генерала. Когда полковник, как говорится, припер генерала к стенке и у того иссякли все аргументы для возражений, он сделал шаг вперед и гаркнул: «Полковник, не забывайтесь!»

Каждому, думаю, приходилось оказываться в положении либо полковника, либо генерала. В грубом варианте эту ситуацию выражают так: «Я начальник — ты дурак; ты начальник — я дурак».

Мы долго отучивались от демократичного сопоставления точек зрения. Трубим или помалкиваем. Заметьте, чем выше уровень обсуждающих ту или иную проблему, чем выше положение тех, кто участвует в этом обсуждении, тем реже и глуше звучит неординарное мнение. Я разговорился на эту тему с Никитой Сергеевичем, когда он был уже на пенсии. Спросил, считает ли он нормальным, что на сессиях Верховных Советов, на партийных съездах никто никому не возражает, не вспыхивают споры, полемика. Разве то или иное решение так уж бесспорно? Что случится, если оно будет принято не единогласно? И разве не честнее сказать о своем несогласии или особом мнении, чем создавать видимость единодушия?

Хрущев долго молчал. Мы успели пройти почти километр по дорожке, а он не отвечал. Подумалось, что не хочет продолжения разговора, и я не стал повторять вопрос. И вдруг Никита Сергеевич сказал: «Партия у нас уже старая, многое в ней сложилось накрепко, не сдвинешь...».

А вот ведь сдвинулось. Мне кажется, Хрущева порадовали бы революционные перемены, которые во все большей мере определяют нашу жизнь. Мы отыскиваем истину в сложнейших вопросах идеологического, экономического, хозяйственного строительства, не боясь разных подходов. Уходит в прошлое генеральское «Не забывайтесь!»

Весна 1953 года была холодной, оттепели еще не согнали снег с подмосковных полей, в лесу лежали не тронутые солнцем сугробы. Жена с сыном жили на даче Хрущева. Рада вставала ранним утром и обычно спрашивала у домашней работницы, когда вернулся отец, стоит ли ждать его к завтраку. Оказалось, что в тот день Никита Сергеевич приехал после 12 ночи, но через два часа его вызвали снова, и он еще не вернулся. Всякое тогда приходило на ум при таких внезапных отъездах. На следующее утро радио принесло страшную весть.

В правительственном сообщении говорилось о болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. В среду, 4 марта, это сообщение было опубликовано.

«Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища И. В. Сталина.

В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания».

Бюллетени о состоянии здоровья Сталина публиковались до 16 часов 5 марта. На следующий день первые полосы газет вышли в траурном обрамлении. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР известили, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

Тут же печаталось медицинское заключение о болезни и смерти И. В. Сталина, сообщение комиссии по организации похорон. Гроб с телом Сталина установили в Колонном зале Дома союзов. Председателем комиссии по организации похорон назначили Хрущева Н. С., в нее вошли Каганович Л. М., Шверник Н. М., Василевский А. М., Пегов Н. М., Артемьев П. А., Яснов М. А.

Хрущев возглавил комиссию по похоронам, но это вовсе не означало, что ему предстоит автоматически занять первый пост в партии. Гроб у изголовья несли Маленков и Берия. На траурном митинге выступали Маленков, Молотов и Берия. Все эти протокольные тонкости говорили о расстановке сил. Явно обозначился триумвират — Маленков, Берия, Молотов.

В день похорон, 9 марта, на мраморном фронтоне Мавзолея появилось еще одно имя: Сталин.

Медленно уходил траур. Дело было даже не в том, что боль утраты разделили миллионы людей. Определяло атмосферу всеобщее беспокойство, чувство незащищенности, своего рода сиротства. Для большинства с именем Сталина связывалось особое место нашего государства на мировой арене, уверенность в преодолении трудностей, препятствий, бед. «Он все сможет, найдет единственно верное решение». Так привыкли считать, так думали, таким утвердился феномен этой личности — выше бога, ближе отца и матери, единственный в своем роде.

Он лежал в Мавзолее, и в один из первых дней, когда открылось посещение, сотрудники «Комсомольской правды» прошли притемненными ходами к двум застекленным гробам, стоявшим почти рядом. Звезды на погонах отражались в массивных прозрачных стеклах, от чего саркофаг Сталина был более заметным, как бы притенил тот, в котором лежал Ленин. Это сложное, остро кольнувшее меня ощущение тут же ушло, но потом вновь вернулось...

Смерть Сталина не могла не поставить перед его преемниками вопроса о том, как жить и действовать дальше. Никита Сергеевич вспоминал, что в последние годы (а может быть, месяцы жизни) Сталин говаривал: «Останетесь без меня — погибнете... Вот Ленин написал завещание и перессорил нас всех». Почему Хрущев вспомнил эти слова, что стояло за ними? Предупреждал ли кого-то Сталин или в какие-то минуты реальнее представлял истинное положение дел в стране и, оглядывая свой жизненный путь, в чем-то раскаивался... В отчуждении к детям, в том, что после самоубийства жены он не пощадил даже тех ее родственников, к которым когда-то питал симпатию. Отчего он говорил: «Погибнете»?

Любые размышления тут могут строиться лишь на догадках. Многое в жизни Сталина было окружено тайной.

Все дни траура мы практически не уходили из «Комсомольской правды». Звонили нашим авторам, просили написать посмертные стихи или заметку в газету, готовили подборки писем. Траурные дни слились в один бесконечный, без отсчета времени. По очереди мы пробивались ко входу в Колонный зал и брали там интервью. Запах миллиарда цветов, принесенных к гробу Сталина, наполнял сырой весенний воздух. Даже теперь, через десятилетия, когда прохожу возле Дома союзов, он нет-нет да и возвращается вновь, запах тех цветов.

Земные заботы отодвинули печаль. Надо было печь хлеб, водить поезда, выпускать газеты. Через месяц после кончины вождя, точнее 3 апреля 1953 года, в редакцию поступило известие, о котором мгновенно заговорили. Когда газета ушла в киоски, сообщение это стало обсуждаться всюду и всеми.

«Оттуда» нельзя было передать никакого указания. Гнев мертвых не пугает живых.

Врачи, которых всего несколько месяцев назад, в январе, объявили шпионами и убийцами, оказались невиновны. «Комсомолка» гудела от голосов посетителей — читателей, авторов, тех, кто всегда спешит в газету, к истоку новостей. И всех волновало не только само это потрясающее сообщение, но и то, что с непременной логикой из него вытекало: Тимашук — недееспособная авантюристка и доносчица. Но ведь ее «разоблачения» кому-то были нужны? Она была награждена орденом Ленина «за помощь, оказанную правительству». Теперь справедливость восторжествовала. Люди радовались за незнакомых медиков, радовались тому, что это освобождало от страха и подозрительности, жизнь представлялась лучше, чище, чем всего двенадцать недель назад. Однако отмена ложных обвинений воспринималась куда шире и значительнее. За фактом признания ошибки стояла тяжелая, стыдная, но правда!

Арест организаторов провокации с врачами обсуждался не с мстительным злорадством, а как справедливое возмездие. Однако в общественном сознании не могли не возникать все новые и новые вопросы. Помнили Ягоду и Ежова, множество их «сподвижников». И прежде их арестовывали, судили и казнили. По-своему несчастные, эти люди — палачи и жертвы, — сделав свое черное дело, исчезали, чтобы дать место другим. Сколько раз это могло повторяться? Ведь не только мы, газетчики, прятали глаза от стыда: сегодня писали одно, а завтра другое, но и миллионы людей, которых сзывали на митинги клеймить и негодовать.

В марте в Москву вернулся Г. К. Жуков. Его назначили первым заместителем Министра обороны (Министром был Н. А. Булганин). С 1946 года Жуков по приказу Сталина командовал войсками Одесского, а затем Уральского военных округов. Возвращение Жукова из Свердловска тоже кое-что значило. Георгий Константинович сразу же добился реабилитации группы военных, арестованных уже после войны. В Москву вернулись маршалы авиации А. А. Новиков и Г. А. Ворожейкин, адмиралы В. А. Алфузов и Г. А. Степанов. Они, конечно, не молчали. Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ Мильчаков, отсидев полный срок в лагерях, добился встречи с Никитой Сергеевичем. Становились известны страшные подробности произвола...

Моя жена дружила с Аллой Кузнецовой, женой Серго, сына Анастаса Ивановича Микояна. Умная, мягкая, сдержанная молодая женщина тяжело переживала арест своего отца, а затем матери, Зинаиды Дмитриевны. Кузнецов был репрессирован в 1949 году по так называемому «ленинградскому делу». Во время войны Алексей Александрович и его семья все 900 дней блокады были в Ленинграде.

Однажды Рада решилась спросить у Никиты Сергеевича о судьбе Кузнецова. Он промолчал. Через несколько дней, гуляя с ней в лесу, сказал коротко: «Передай Алле, что Алексея Александровича нет в живых».

Вся семья Микояна — он сам, его жена Ашхен Лазаревна, братья Серго с удивительным тактом, подчеркнутым вниманием относились к семье Кузнецова, помогали Алле, ее сестрам и брату, когда были арестованы родители. Они делали это, не таясь, хотя знали, что ведут себя рискованно. Многие, увы, отказывались и от более близких родственников, а случалось, от отцов и матерей.

Алла Кузнецова долго и тяжело болела — сказывались блокадные дни. Она умерла 6 ноября 1957 года. Вернувшаяся за год до этого из ссылки Зинаида Дмитриевна на много лет пережила старшую дочь.

Неожиданно в газету хлынул поток писем о появлении во многих городах и областях страны банд уголовников, рецидивистов. Люди боялись выходить из дому, требовали усилить патрулирование ночных улиц и парков. После смерти Сталина прошла амнистия. Со странной поспешностью прощение даровали отпетым, потерявшим человеческий облик преступникам. Чуть позже стало понятным, что на самом деле скрывалось за сим «актом милосердия»...

В июле 1953 года я был далеко от дома, в Шанхае, — комсомольская делегация участвовала в работе съезда Народно-Демократического Союза молодежи Китая, а затем поехала по стране. В ту пору наши отношения ничем не были омрачены. Песня «Москва — Пекин» звучала повсюду с неподдельным энтузиазмом. Последняя ночь в Шанхае выдалась тревожной. Нас разбудил настойчивый стук в дверь. Сбивчиво, как бы с извинениями, хозяева сообщили о передаче японского радио: танки на улицах Москвы, идут аресты, говорят, что убит в перестрелке Берия. Утром мы связались с советским посольством в Пекине. Посол Василий Васильевич Кузнецов успокоил, сказал, что поездку по стране надо продолжать и что при встрече даст разъяснения. В тот же день румынские друзья, наводившие справки в своем посольстве, сообщили, что об отмене Бухарестского фестиваля молодежи и студентов речи нет, он состоится вовремя, в августе. Уже в Шанхае нам стало известно, что Берия арестован и что танки действительно стояли на некоторых улицах и площадях Москвы. О том, как и что происходило, я узнал, только вернувшись из Китая...

Несколько раз я видел Берия вблизи. Слышал его выступление на торжественном заседании, посвященном 35-й годовщине Октябрьской революции. Говорил он хорошо, почти без акцента, четко и властно. Умело держал паузы, вскидывал голову, дожидаясь аплодисментов. Доклад его составили нестандартно.

Внешне Берия — располневший, с одутловатым, обрюзгшим лицом — был похож на рядового «совслужащего» тридцатых годов. Шляпа обвислыми полями налезала на уши, плащ или пальто сидели на нем мешковато. Однако внешность обманчива. За мягкими складками одежды и телесного жира скрывалась натура беспринципная, хитрая и безжалостная. Берия боялись все, и было отчего. Случилось в ту пору в моей жизни несколько странных событий, значение которых я понял позже. Моя мать шила платья жене Берия. Нина Тимуразовна — агрохимик, кандидат наук, ценила деловитость матери, отсутствие навязчивой услужливости. Как-то Нина Тимуразовна обронила с ноткой сожаления: «Зачем Алеша вошел в семью Хрущева?» Мать, конечно, расстроилась, передала разговор. Мы только что поженились и были, конечно, обескуражены, тем более что из МГБ передали анонимку, — в ней обывательски описывалась наша с Радой «болтовня» по поводу «красивой жизни» в семье Никиты Сергеевича. Он дал нам прочесть анонимку, но не комментировал ее.

Два наших приятеля-однокурсника были однажды на даче Хрущева. Казалось диким, но сочинить эту несусветную чепуху могли вроде бы только они. В анонимке приводились подробности обстановки, детали семейных взаимоотношений, о которых никто другой знать не мог. Через много лет Никита Сергеевич рассказал, каким образом эта анонимка попала в папку «семья Хрущева». Мы с матерью тогда жили в коммунальной квартире. К нашей соседке, муж которой был арестован в 1937 году, пришел некий гражданин. Он и продиктовал донос, предупредив, чтобы женщина не болтала, если не хочет разделить судьбу мужа.

«Под колпаком» были не только квартиры, дома и семьи высших руководителей партии, правительства, вообще всех, кто интересовал Берия, но и служебные кабинеты. Однажды ночью в приемной МК партии появились высокие чины и потребовали от дежурившего там секретаря В. Пивоварова ключи от кабинета Хрущева. На вопрос, с какой целью, грубо ответили, что необходимо проконтролировать надежность сейфов и телефонных аппаратов, добавив, что секретарь не имеет права интересоваться подробностями их обязанностей — не его дело. Пивоваров наотрез отказался пустить ночных посетителей в кабинет, пригрозил вызвать хозяина. И хотя на него обрушился поток ругани, кабинет он не открыл.

Удивительное дело, но ночное происшествие не имело последствий. Пивоваров доложил о нем Хрущеву, а тот, видимо, решил смолчать.

Именно в это время Берия стремился сблизиться с Хрущевым, завоевать его расположение. Случалось, поздней ночью поджидал его на шоссе по дороге на дачу, чтобы побеседовать. Если я возвращался с ночного дежурства в газете вместе с Никитой Сергеевичем, то приходилось пересаживаться в машину грозного человека. Усатый шофер даже головы не поворачивал в мою сторону. Сидел неподвижно, как сфинкс, и казалось, машина движется сама по себе. Пассажиры первой машины беседовали. Мне оставалось разглядывать стволы берез, мелькавших по обочинам Успенского шоссе. Березовые рощи в том районе Подмосковья — такие фотогеничные, их много раз снимали в разных фильмах... Однажды я не выдержал и спросил шофера, можно ли закурить. Он не удостоил меня ответом, но как-то выразил запрещение. Может быть, движением офицерского погона с майорской звездочкой? И в самом деле, грешно было курить в автомобиле, пахнувшем свежей кожей.

По рассказам Хрущева, в дни, когда мучительно умирал Сталин, Берия перестал сдерживать свои истинные чувства. Злобно ругал Сталина, никого не стесняясь, а когда тот на миг приходил в сознание, бросался к нему, целовал руки, лебезил. Едва наступил конец, Берия, не подойдя даже к плачущей дочери умершего, тут же умчался из Волынского, чтобы первым оповестить друзей и приспешников. «Я сказал тогда Булганину, — говорил Никита Сергеевич, — как только Берия дорвется до власти, он истребит всех нас, он все начнет по новому кругу...»

Берия уже давно заигрывал с теми, кого считал нужным нейтрализовать, усыплял бдительность тех, кто относился настороженно к его амбициям, ставил на руководящие должности в органах внутренних дел своих людей, начал вмешиваться в дела обкомов партии, покрикивать на тех секретарей, которые требовали указаний ЦК и не хотели подчиняться распоряжениям бериевского аппарата. Первый секретарь Львовского обкома партии Зиновий Тимофеевич Сердюк доложил Хрущеву, что в ответ на его, Сердюка, возражения Берия крикнул в телефонную трубку: «Да я тебя в лагерную пыль сотру!»

Хитрый ход придумал Берия с амнистией после смерти Сталина. Она касалась больших групп заключенных. Берия беспокоило, что он уже не властен автоматически продлевать сроки заключения тем, кто был отправлен в лагеря в годы массовых репрессий и свое отбыл. Они возвращались по домам и требовали восстановления справедливости. А Берия было крайне необходимо вновь отправить в ссылку неугодных, задержать оставшихся там. Тогда-то и начали выпускать уголовников и рецидивистов. Они тут же принялись за старое. Недовольство и нестабильность могли дать Берия шанс вернуться к старым методам.

Нина Петровна как-то рассказывала о поездке Хрущева летом 1952 года на Кавказ. Отдыхал там и Берия. Он, конечно, приехал к Хрущеву. Пригласил посмотреть Абхазию. Поднялись на перевал, устроили завтрак на смотровой площадке неподалеку от Сухуми. Синее море, золотая долина внизу. Берия раскинул руки и проговорил: «Какой простор, Никита. Давайте построим здесь наши дома, будем дышать горным воздухом, проживем сто лет, как старики в этой долине». Никита Сергеевич спросил: «А стариков куда денем?» Спросил как бы вскользь, без упрека. Берия тут же, не задумываясь, ответил: «А переселим куда-нибудь...».

Проверял ли Берия настроения Хрущева? Или хотел в свой срок обвинить в безнравственности, настроить против него абхазцев? Нина Петровна рассказывала, что Никита Сергеевич вернулся домой взбешенный.

На чем основано мое убеждение в том, что именно Хрущев принял твердое решение обезвредить Берия, не дать ему возможности захватить власть? Не только на рассказах самого Никиты Сергеевича, который, когда эти тревожные недели миновали, не раз вспоминал, что и как происходило, хотя это и важное свидетельство. Не могли не видеть близкие, что перед самым арестом Берия Никита Сергеевич вдруг появлялся на даче в разгар рабочего дня, и к нему в разные часы приезжали Молотов, Ворошилов, Маленков, Булганин, Микоян. Обычно Никита Сергеевич надолго уходил с приехавшим товарищем к реке.

Рассказывал Хрущев и о реакции на его предложение. Все высказывались за арест. Важно было, что согласились Маленков и Молотов, позиция первого беспокоила Никиту Сергеевича. За многие годы Маленков и Берия притерлись друг к другу. Но Маленков был тверд, сказал, что объявит на заседании Президиума ЦК об аресте Берия. Никита Сергеевич вспоминал, что, когда он начал разговор с Ворошиловым, тот поначалу стал расхваливать Берия. Когда же выслушал Никиту Сергеевича, расплакался. Он считал Хрущева чуть ли не другом Берия, видел, как тот обхаживает Никиту Сергеевича, и просто боялся за себя. Ворошилов готов был сам арестовать этого авантюриста.

Есть еще одно обстоятельство, которое важно своими последствиями. Хрущев после смерти Сталина не был избран Первым секретарем ЦК. Как член Президиума ЦК Хрущев возглавлял работу секретариата, однако в центре политического руководства страной стояли Маленков, Берия, Молотов. Они возглавляли и Совет Министров СССР.

К кому стремились старые коммунисты, большевики-ленинцы, вырвавшиеся из ссылок? Где, у кого рассчитывали найти понимание, поддержку, а главное, опору в своих убеждениях? У Маленкова, Молотова, которые работали рядом с Берия? Люди все же пробивались в ЦК. Они не связывали сталинские преступления 30-х годов с именем Хрущева. Он не запятнал себя личным участием в массовых репрессиях. Так в ЦК сосредоточивались чрезвычайно важные сведения, и Хрущев из первых уст узнавал подробности гибели многих коммунистов, в том числе и многих товарищей, которых знал лично.

Он понимал, конечно, что может его ожидать. Необходимо было проявить максимум выдержки до самого последнего момента. Осведомители Берия могли проникнуть всюду. Хрущев пошел на более рискованный шаг. Еще по Украине он знал Серова, заместителя Берия. Видимо,

объяснился и с ним. Серов сдержал слово и оказал твердую помощь. Оставляю в стороне мотивы, по которым он это делал, во всяком случае, какая-то часть операции была им выполнена.

Существенное состояло в том, что Никита Сергеевич получил полную поддержку маршала Жукова и генерала армии Москаленко. Именно они вошли в Кремлевский зал заседаний Президиума ЦК и объявили Берия, что он арестован. Этот акт был лишь финалом той предупредительной работы, которую провели военные.

Не только личную смелость проявили в те дни Хрущев и другие. За этим рубежным для нашей истории поворотом стояла воля Центрального Комитета партии.

Состоявшийся затем Пленум ЦК вывел Берия из своего состава, исключил из партии. Лишенный наград и званий, он стал подследственным.

Каких только небылиц не рассеяла по миру буржуазная пресса! Утверждалось, что «Берия убит без суда и следствия прямо в автомобиле».

В те же дни наши газеты сообщили об образовании Специального Судебного Присутствия Верховного Суда СССР в составе Председательствующего — Маршала Советского Союза И. С. Конева, и членов — Председателя Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов Н. М. Шверника, первого заместителя Председателя Верховного Суда СССР Е. Л. Зейдина, генерала армии К. С. Москаленко, секретаря Московского областного комитета КПСС Н. А. Михайлова, Председателя Совета профессиональных союзов Грузии М. И. Кучава, председателя Московского городского суда Л. А. Громова, первого заместителя министра внутренних дел СССР К. Ф. Лунева.

Следствие продолжалось несколько месяцев. Судебный процесс проходил при закрытых дверях.

Руки Берия обагрены кровью тысяч невинных. В Азербайджане и Грузии он планомерно уничтожал всех, кто так или иначе мог знать о его связях с мусаватистской разведкой — дочерней организацией английской разведки, а заодно и многих других людей. Перебравшись в Москву, сначала в качестве заместителя Ежова, а затем и полновластного хозяина НКВД, он стал рьяным исполнителем и организатором массовых репрессий 1937 — 1939 и всех последующих годов.

В конце декабря Специальное Судебное Присутствие Верховного Суда СССР, изучив представленные Прокуратурой СССР материалы и заслушав обвиняемых, приговорило Берия Л. П. как врага народа и партии и шесть его главных подручных к высшей мере наказания — расстрелу. 23 декабря 1953 года приговор был приведен в исполнение. Берия успел отправить письмо в ЦК Хрущеву. Он просил о пощаде, просил дать возможность искупить вину в каких угодно каторжных условиях...

Наступит когда-нибудь время, и суд над Берия, десятки томов дела будут преданы огласке.

Год 1953-й шел к концу. В сентябре состоялся Пленум ЦК партии, который проанализировал состояние дел в сельском хозяйстве. Хотя на XIX съезде партии проблема зерна была объявлена решенной, закупки зерна не покрывали потребностей страны, в особенности это сказывалось на развитии животноводства. С 1940 по 1952 год промышленная продукция выросла в 2 — 3 раза, а валовая в сельском хозяйстве — всего на 10 процентов. В докладе Хрущева отмечалось, что рост производства зерна сдерживается отходом от принципа материальной заинтересованности — коренного положения социалистического хозяйствования. Хрущев напомнил важную мысль Владимира Ильича Ленина о том, что для перехода к коммунизму потребуется долгий ряд лет и что в этот период перехода хозяйство нужно строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, личной заинтересованности, на хозяйственном расчете» [1].

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 33, стр. 36.

Сентябрьский Пленум ЦК занял важное место в истории нашей партии. Хрущев был избран Первым секретарем. Это свидетельствовало не только о росте его личного влияния, но и об активизации, усилении роли партии в жизни страны.

В январе 1954 года Хрущев в записке в Президиум ЦК КПСС назвал цифры хлебных ресурсов. На конец 1953 года хлеба было заготовлено не только меньше, чем в 1951 и 1952 годах, но и меньше, чем в 1940-м, а расход его увеличился более чем в полтора раза. Без необходимого количества хлеба невозможно было думать о дальнейшем успешном развитии всего народного хозяйства. Зерновая проблема обозначилась под № 1. В записке обосновывалось предложение взять хлеб на целинных и залежных землях Казахстана, Сибири и ряда других районов. Так впервые в политическом документе появилось слово «целина».

Экономический поворот, который страна начинала в ту пору, не мог не привести к переменам в журналистике. Главное в нашей жизни — дорога. Знаю по собственному опыту и по опыту моих товарищей. Самые непоседливые репортеры проводят в командировках по сто дней в году, — из самолета в самолет, из поезда в поезд. В наши дни комфорт выше, а в пятидесятых годах, когда еще не было аэропортов в Домодедове и Шереметьеве, брони на гостиницы, да и гостиницы чаще оказывались «домами для приезжих», — жизнь и труд журналиста проходили в нелегких условиях. Но главная беда — не бытовые проблемы, а запреты.

Смешно и грустно вспоминать, но нам не всегда удавалось «пробить» на газетную полосу даже заметку о пожаре, наводнении, не говоря уже о более существенных происшествиях. По газетам выходило, что не случались у нас железнодорожные и авиационные катастрофы, не тонули пароходы, не было взрывов на шахтах, автомобили не наезжали на пешеходов, снежные лавины не обрушивались на горные села, а селевые потоки не угрожали городам.

Да что там начало или середина пятидесятых — даже в шестидесятых публикации о катастрофах не поощрялись. Уже работая в «Известиях», в какой-то день я узнал от сотрудников, что под Москвой столкнулись электричка и товарный состав. Какие только слухи не передавались из уха в ухо. 200 убитых! 300! В Министерстве путей сообщения подтвердили, что столкновение было, погибли два человека. Редакция направила на место происшествия репортера, он все уточнил, но заметка так и не появилась в газете. Публиковать ее без разрешения МПС мы не имели права, а там заявили примерно следующее: «Ни к чему! Кто знает — тот знает, кто не знает, — не узнает. Вы напишете, что погибли два человека, а все именно поэтому и будут считать, что жертв куда больше». Высокопоставленный путеец знал, что газетные строки многие привыкли расшифровывать по-своему. Если мы писали, что фильм дрянной, на него выстраивались очереди, и наоборот.

Картинки такой идеальной жизни создавались неспроста. В том числе и на газетных полосах. Бесконфликтные ситуации были удобны. Во-первых, потому, что люди, дескать, работали с большим оптимизмом, а, во-вторых, безгрешными, сильными, умными оказывались те, кого «табу» на правду спасало от критики.

Приходилось переучиваться и нам. Однако не все обновляется так быстро, как хотелось бы. И не так заметно глазу. Есть у Алексея Максимовича Горького очерк о бризантном взрыве. Горький приехал на Днепр в тот день, когда там предстояло ликвидировать каменистые пороги, мешавшие строительству электростанции и судоходству. Молоденький инженер предупредил писателя, чтобы тот внимательно смотрел на реку, потому что сейчас скальные зубья уйдут под воду и Днепр перестанет клокотать и пениться. Горький ждал, что услышит взрыв, увидит, как взлетят в воздух камни и фонтаны брызг, но ничего такого не произошло. Что-то глухо ухнуло, волна сделала последний крутой поворот и, успокоившись, слилась с плавным движением вод. Прибежал радостный, взволнованный инженер, спросил: «Ну как?», — а Горький, недоумевая, ответил, что впечатлений никаких, поскольку он, собственно, ничего и не заметил.

Инженер объяснил, что весь секрет в бризантном взрыве. Взрывчатка закладывается под самый корень скал, к тому ложу, на котором они покоятся. Это позволяет избежать лишней траты энергии, и хоть внешне неэффектно, зато надежно — разом ликвидируется все, что мешает делу. Горький тогда подумал: вот если бы и в общественных отношениях можно было очистить жизнь от всей дряни, всех наростов таким вот бризантным взрывом, как было бы прекрасно.

Шел 1957 год. Страницы «Комсомолки» становились живее и человечнее, завязывались дискуссии, шире использовали письма, и, пожалуй, мы первыми начали публиковать острые очерки на морально-этические, нравственные темы. Читатели старших поколений до сих пор вспоминают фельетон Ильи Шатуновского «Плесень». В нем шла речь о двойной жизни, двойной морали, словах и их сущности.

В Доме работников искусств состоялось обсуждение фельетона и разгорелись такие страсти, что кое-кто из ответственных товарищей готов был обвинить выступающих чуть ли не в посягательстве на «основы». Поразительно живуча эта охранительная бдительность, стремление свернуть мысль, довольствоваться молчанием. Позже, в 1958 году, когда открыли памятник Маяковскому и там стала собираться молодежь, читали стихи, первым поползновением тоже было запретить, вызвать милицию. Забыли, как Маяковский любил диспуты, как выходил в них победителем. В идейной борьбе надо побеждать не окриком, а аргументом.

Мы в газете, не без ошибок и споров, учились демократии. Это было нелегко по многим причинам. Наше поколение воспитывалось на указаниях. За их черту, если того требовало дело, надо было выходить во всеоружии. А мы мало что знали о «Комсомолке» первых лет ее существования, газета боевых тридцатых жила только в памяти немногих уцелевших, жила в преданиях. Мы не могли опереться на опыт старших товарищей.

Репрессий конца тридцатых годов не избежали комсомольские кадры и журналисты молодежной прессы. Еще до ареста в 1938 году Генерального секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева (он был расстрелян в феврале 1939-го) забрали его друга, Николая Бубекина, главного редактора «Комсомольской правды». Когда я стал главным в «Комсомолке», то занял кабинет Бубекина. За спиной у меня едва различалась дверца в панели, и я нет-нет да и «проигрывал» в воображении тот день, когда Бубекин исчез из редакции.

Здание комбината издательства «Правда», в котором и сегодня размещается редакция «Комсомольской правды», было построено по проекту архитектора П. А. Голосова. В торцовой части всех этажей маленькие лифты выходили прямо в кабинеты сотрудников. Никто этими лифтами никогда не пользовался, многие даже не знали о их существовании. В кабинете Бубекина ореховые панели и вовсе скрыли дверцу. В один из вечеров секретарь главного Дуся Михеева (она потом работала в этой должности при других редакторах) понесла на подпись Бубекину очередную готовую полосу (завизированную газетную полосу отправляли в цех на матрицирование); в кабинете его не оказалось. Искали повсюду, но тщетно. Началась паника — некому было подписать номер в печать. Михеева утверждала, что ни на минуту не отлучалась, что главный из кабинета не выходил. Дежурные звонили по разным телефонам, но тут раздалось позванивание «большого» аппарата на столе главного. Было сообщено: «Не ищите Бубекина, он у нас». В кабинет к нему вошли из неприметного лифта.

«У них» был не только Бубекин, а почти вся редколлегия «Комсомолки», многие прекрасные репортеры. Только в середине пятидесятых очистились их имена, начал возвращаться их опыт. Еще очень медленно...

Естественно, что мы хотели знать, как строилась жизнь наших товарищей, хотели узнать о многом. Какая цена и за что заплачена, в чем объективные трудности, а где иного порядка. Это — желание каждого мыслящего человека, если он всерьез считает себя ответственным за общее дело. Недомолвки и умолчания опасны, по крайней мере, по двум причинам: они освобождают от ответственности (в том числе исторической) и приводят к прежним заблуждениям и ошибкам. Повторять ошибки, натыкаться на «горячее» и не помнить об этом простительно только детям.

Разве может позволить себе сапер написать: «По-видимому, мин нет?» Это абсурд. Но почему не абсурдным кажется утаивать что-то в явлениях и процессах, где неосторожный, неосмотрительный шаг не менее страшен, чем на заминированном поле? Когда Сталин выстраивал свою концепцию строительства социализма, он отрезал прошлое, ибо оно не вписывалось в рамки принятых им политических, экономических и социальных взглядов. Почему надо непременно держаться этого правила?

Сегодня мы больше, чем когда-либо, понимаем, что любые действия любого человека не могут оцениваться вне свободного критического осмысления. Понимаем, как проигрывает общество, отдавая одному лицу право внеконтрольных решений. Коллективизм — основа нашей политики. А нам пока что остро не хватает культуры в осмыслении тех или иных политических событий, в том числе и по отношению к людям в политике.

Как уже говорилось, сентябрьский Пленум ЦК 1953 года остро поставил хлебную проблему. Газетчики знали, как на самом деле выглядят просторы колхозных полей. Знали, что во многих хозяйствах на трудодень ничего не выдавали и крестьяне сводили концы с концами изнурительным трудом на личных делянках. Хрущев не без горечи говорил, что когда летом 1950 года он объезжал подмосковные колхозы, то застал в одном из них 12 немощных старух, а назывался колхоз «Новая жизнь». Что же, Хрущев не знал этого раньше? Разве все мы не понимали, что до того благополучия, которое рисовалось усилиями многих, в том числе и газетчиков, ох как далеко? Помню, как в 1952 году потряс всех правдой и смелостью своих «Районных будней» Валентин Овечкин. Ведь в те годы написать такое решались не многие литераторы. Михаил Ульянов рассказывал, как тяжело выходил на экраны фильм «Председатель», а делали его уже после XXII съезда партии. Пугали авторов возможным наказанием. Увы, пугают еще и сегодня...

Кто? И зачем это нужно? Кому сладка неправда, ведь рано или поздно она обернется бедой.

Чаще всего это лицо неуловимое. Некто, субстанция. Не поймаешь на слове, не схватишь за руку. Это Инструкция, мнение, брезгливое выражение лица, поднятые вверх брови, росчерк карандаша. В такой «неуловимости» — главная сложность.

Я родился в Средней Азии, в Самарканде. В тридцатые годы, мальчишкой, узнал, что такое голод. Хлеба совсем не было. Рынок пустовал. Гонимые голодом, мы, мальчишки, убегали за город, ловили там черепах, тут же на кострах варили черепашьи яйца, смешивая желтки в консервных банках. Начались кишечные заболевания, милицейские кордоны опоясали город и возвращали ловцов черепах родителям под расписку.

Следы страшного опустошения видел я позже, когда перед войной работал в геологоразведочной экспедиции в Казахстане. Мы искали оловянную руду — касситерит в междуречье Иртыша и Ишима, колесили по бурой, выжженной степи на грузовичке в районах Аягуза, Кокчетава, Семипалатинска, возле районных центров Кара-аул, Баян-аул. Часто приходилось шурфовать русла пересохших речушек. Шурф — прямоугольник 80 на 125 сантиметров, и чем глубже удавалось зарыться в землю, тем больше было надежды наткнуться на породу, в которой прятались красные, похожие на вишневую косточку касситеритинки.

Берега речушек, на которых мы останавливались, ставили палатки, разводили костер, обезлюдели. Вдоль берегов на многих километрах встречались развалившиеся, превратившиеся в прах саманные дома аулов. Иногда мы проходили умершей улочкой. Вперемешку с костями животных лежали и человеческие кости. У людей, которые убегали от голода из этих краев, не хватало сил хоронить близких.

По вечерам, когда каждый, как кавалерист саблю, точил полукруг лопаты, мы, конечно, разговаривали. Валентин Иванович Пятнов, начальник экспедиции, помнил годы коллективизации на многих своих маршрутах, геологи ведь не сидят на одном месте. Но что мог он сказать нам, своим младшим товарищам, если и сегодня мы еще избегаем тщательного, спокойного анализа, сопоставления точных цифр, фактов...

А ведь главное — не в желании ворошить прошлое, а в том, чтобы великая страна успешнее решила современные сельскохозяйственные проблемы.

Совсем недавно мы узнали, что труды русского ученого-экономиста, знатока кооперации Александра Васильевича Чаянова издаются во многих странах, что его размышления об организации сельского труда принесли колоссальную пользу земледельцам Италии, Индии, Японии...

В 1987 году Чаянов и другие крупные ученые-экономисты были реабилитированы Верховным Судом СССР, с них снято обвинение в организации так называемой Трудовой Крестьянской партии (ТПК), а обвинение во вредительской, шпионской деятельности отменено решениями еще в 1956-м. В 1930 году «каленым железом» выжигали взгляды, не укладывающиеся в сталинскую схему сплошной коллективизации. Казнили блестящих людей и перечеркивали альтернативную точку зрения.

Старший из сыновей Александра Васильевича Чаянова, Никита, погиб в московском ополчении, младший, Василий Александрович, солдатом прошел фронт. После войны он многое сделал, чтобы доказать невиновность отца. Я думаю сейчас о таких сыновьях — Святославе Николаевиче Федорове, хирурге-офтальмологе; Юрии Николаевиче Вавилове, ученом-физике; Станиславе Яковлевиче Долецком, детском враче, ученом; Юрии Валентиновиче Трифонове, писателе. Малая часть знакомых мне людей... Федоров сказал как-то: «Если б не XX съезд, большинство таких, как я, оказалось бы на обочинах жизненных дорог...».

Пожалуй, наиболее ярко энтузиазм тех лет проявился в грандиозной эпопее освоения целинных земель. Хлеба стране недоставало и взять его надо было быстро. Просчитал ли Хрущев все иные варианты выхода из хлебного тупика, можно ли было поступить иначе — не берусь судить. Целинная эпопея получала в разные годы разные оценки. В середине шестидесятых годов я слышал высказывания о том, что целина — крупнейшая ошибка Хрущева наряду с созданием совнархозов, ликвидацией ряда министерств и изменением роли тех из них, которые остались. Потом, правда, целину «взял на себя» новый Генеральный секретарь, и критики приумолкли.

В феврале 1954 года Хрущев выступал перед комсомольцами Москвы и Московской области, уезжавшими на освоение целинных земель в Казахстане. С ними отправилась и целая бригада «Комсомолки». Мы писали об отчаянно трудном, не принесшем радости первом, неурожайном 1955 годе, о втором, когда уходили за горизонт необозримые золотые поля. Гордились, что очеркист «Комсомолки» Семен Гарбузов написал сценарий первого художественного фильма о целине.

Никита Сергеевич объезжал один за другим целинные совхозы. Азартная натура этого человека требовала личных впечатлений, встреч с людьми. Я часто слышал и его выступления на больших митингах, и беседы с молодыми целинниками у палаточных костров. Никогда не обещал он им благ в виде божественного ниспослания, не боялся говорить о тяжести труда, никого не обманывал на этот счет.

Тема хлеба — и шире пищи, продовольствия, продуктов, еды — звучала во всех многочисленных выступлениях Хрущева. Только в 1954—1955 годах он побывал в Сибири, на Дальнем Востоке и Сахалине, в Средней Азии, на Украине, в Саратове, Воронеже, Ленинграде и Ленинградской области, Риге, Курске, вновь в Средней Азии, я уж не говорю о проводимых им многочисленных совещаниях в Москве, о Пленумах ЦК, которые были в ту же цель: накормить страну.

Всю свою энергию, темперамент, цепкость он направил на достижение этой цели. Для политического деятеля это означало связать свой авторитет, влияние, в немалой степени и свое будущее с тем, что даст задуманное.

Тридцать миллионов поднятых, засеянных и принесших хлеб гектаров резко повысили государственные ресурсы. Уже через три года, к 1957-му, продовольственная проблема стала менее острой, практически исчез дефицит на многие продовольственные товары, и прежде всего на хлеб, молоко, мясо...

Молодые люди часто спрашивают, как возникают у нас лидеры в высших кругах власти. Как удалось добиться этого Хрущеву? Почему-то эти темы у нас не обсуждаются. Быть может, то, о чем я пишу, что-то прояснит.

В 1954 году Никите Сергеевичу исполнилось шестьдесят. Семейных торжеств он не признавал. С утра, как обычно, младшие отправились на занятия, старшие — на работу. Однако юбилей все же отпраздновали — явочным порядком. На даче собрались гости. Нельзя было не заметить, насколько хозяин стола отличался от них. Обветренный, загорелый, с седеньким венчиком волос по кругу мощного черепа, Хрущев походил на приезжего родственника, нарушившего чинный порядок застолья. В тот вечер он был в ударе, сыпал пословицами, поговорками, каламбурами, украинскими побасенками. Он чувствовал, конечно, что его простоватость коробит кое-кого из гостей, но это его нисколько не смущало. Цепкие глаза бегали по лицам собравшихся, и, казалось, в них, как в маленьких зеркальцах, отражалось все, что владело его вниманием. Без пиджака, в украинской рубахе со складками на рукавах (у него были короткие руки, как он говорил, специально для слесарной работы), Хрущев предлагал и другим снять пиджаки, но никто не захотел.

Гости сидели со снисходительными минами на лицах, не очень-то скрывая желание отправиться по домам, но встать из-за стола не решались. Было видно, что они принимают Хрущева неоднозначно, что вынуждены мириться с тем, что он попал в их круг, а не остался там, на Украине, где ему самому, по-видимому, жить и работать было легче и сподручнее. Эта несовместимость Никиты Сергеевича с гостями вызывала неловкость и даже тревогу. Нина Петровна сказала: «Давай отпустим гостей».

Когда все разъехались, Никита Сергеевич вышел на веранду и попросил включить магнитофон с записями птичьего пения. Он привез магнитофон из Киева, очень гордился тем, что киевские инженеры и рабочие сделали его надежным. Часто включал. Пение птиц записывал сам, устанавливая по вечерам тяжелый деревянный ящик в кустах, где гнездились соловьи и другие голосистые птахи.

Этот аппарат работал лет тридцать!

Магнитофон не единственное увлечение Никиты Сергеевича. Он настойчиво добивался выпуска электробритв, электронных часов (отдал на Московский Второй часовой завод свои, полученные от заезжего американца в подарок), соломенных шляп, зажигалок, хоть сам никогда не курил, а чуть позже — синтетических мехов. Демонстративно носил шапку из искусственного меха. У его коллег были такие же, но из меха натурального, и он в шутку тихонько менял свою на чужую. Хозяин обнаруживал это не сразу и, возвращая шапку, Никита Сергеевич радовался: «Видите, даже не заметили, что она искусственная».

Синтетика была под его особым контролем. Хрущев говорил, что без развития производства синтетических материалов вопрос с одеждой решить будет невозможно. Он стал активно принимать западных бизнесменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промышленник, если не ошибаюсь, Маринотти (я бывал на его фирме в Риме), поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так вошла в наш быт ткань «болонья».

Увлеченность всем новым, какая-то детская радость от того, что освоили выпуск магнитофонов, часов, бритв, свидетельствовали о постоянной жажде улучшать жизнь и быт людей не в глобальном, а скорее в конкретном, я бы даже сказал, предметном плане. Теперь многочисленные любители магнитофонов и обладатели электронных часов не знают, чьими стараниями начался их выпуск, но на Втором часовом заводе до сих пор работают люди, помнящие те электронные часы, переданные Хрущевым. Заместитель генерального директора Семен Борисович Ривкин, которому я как-то принес старые часы американской марки, сразу их узнал. «От этих часов, — сказал он, — пошло развитие нового направления в нашем производстве».

И было это, конечно, не так просто: отдал — сделали. Никита Сергеевич бушевал, если бритвы, часы, зажигалки быстро ломались, стыдил инженеров на совещаниях. Человек темпераментный, «взрывной», он ча-

сто не сдерживался. Напомню эпизод, о котором ходило немало толков — от умилительных: «Вот это да, знай наших» — до презрительных: «Подумайте, стучал ботинком по столу, да где, в Организации Объединенных Наций! Позор! Что подумали о нас?» Но ведь это не противоречило протокольному порядку заседания. Хохотали многие делегаты сессии ООН, а Генеральный секретарь Хаммаршельд не сделал Хрущеву замечания, хотя жестко контролировал соблюдение всех основных правил поведения в соответствии с Уставом.

Все началось, собственно, за день до памятного события. Предстояло обсуждение так называемого «венгерского вопроса». Во время завтрака в советской миссии Хрущеву сообщили о повестке дня, сказали, что предупредят, когда в знак протеста надо будет покинуть зал. Хрущев как бы не понял, о чем ему говорят. А после разъяснений удивился: «Покинуть зал, когда наших друзей поносит черт-те кто, да еще отказаться от права на обструкцию?» Не без юмора рассказал, как Бадаев, член большевистской фракции в Думе, специально учился у мальчишек свистеть — в Думе все большевики освистывали неугодных ораторов, да так, что их речи практически невозможно было услышать.

И вот председательствующий объявил о рассмотрении «венгерского вопроса». Советская делегация не покинула зал. Разнесся шепот удивления: «Советские не ушли». И тут началось. Хрущев непрерывно (но в соответствии с процедурными правилами и регламентом) вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, требовал, чтобы ораторы предъявили мандаты членов делегаций и прочее. Было уже не до «венгерского вопроса», становилось ясно, что на этот раз обсуждение проваливали иным, более «громким» способом. Все члены нашей делегации в соответствии с темпераментом колотили по откидным столикам перед креслами, их поддержали многие другие делегации. Как на грех, с руки Хрущева соскочили часы. Он начал искать их под столом, живот мешал ему, он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок...

Возвращаясь к этому эпизоду «ботиночной дипломатии», скажу о другом. Когда вслед за «венгерским вопросом» стал обсуждаться «алжирский», французы чинно покинули зал. Кто-то спросил, отчего уходят. Не без французской учтивости они ответили: «Идем в магазин покупать горнолыжные ботинки...»

В середине пятидесятых и мне, и моим товарищам по газете приходилось непрерывно ездить в командировки (те самые сто дней в году). В 1954-м «Комсомолке» удалось выпросить у издательства «Правда» автомашину для пробега по Украине в связи с трехсотлетием воссоединения ее с Россией. Возглавил нашу бригаду из трех человек очеркист Илья Котенко. У него было прекрасное качество: он не давил своим авторитетом, а исподволь учил профессиональным тонкостям в работе, и у соавторов не возникало неловкости, когда они ставили свои подписи рядом с подписью бригадира. Как ни настаивали на том, чтобы его фамилия шла первой, он предпочитал алфавитный порядок.

Илья Котенко руководствовался верным журналистским, а скорее чисто человеческим принципом: «Если тебе самому интересно то, что ты видишь, слышишь, узнаешь, — это может быть интересно и читателям, а если наигрываешь интерес — мучаешь читателя». Донской казак Котенко, любивший и хорошо знавший южные земли и южан — русских и украинцев, — оказался во время поездки в родной стихии. Смешивая украинскую «мову» с русским языком, он умел втянуть в разговор любого заинтересовавшего его человека — от мальца до старика, — что чрезвычайно важно для нашего дела. «Почем продаете мед?» — спрашивал Илья хозяина, сидевшего на лавочке перед хатой. Внимательно оглядев незнакомцев, тот отвечал: «Я не продаю». «А почем продают?» — допытывался Илья. «А бог его знает», — разводил руками хозяин. «Так, может, у вас и меда нет?» — И Котенко делал шаг к машине. «Отчего же нет, — обижался собеседник, — заходите, попробуйте». Мы знали, что и на этот раз обеспечены ночлег и нескончаемое продолжение беседы... «А почем вы продаете сало?» «А я его не продаю», — и так далее.

Я стал газетчиком не сразу. Вначале хотел быть — и почти стал — актером. Учился после войны в школе-студии Художественного театра. Курс мастерства актера вели в нашей группе Павел Владимирович Массальский и Иосиф Моисеевич Раевский, они открыли и вывели на сцену таких талантливых людей, как Олег Ефремов, Михаил Козаков, и многих других. У Олега Ефремова театр навсегда остался первым, самым главным, единственным делом жизни. Немногие знают, откуда у Олега Николаевича эта страстная любовь к театру, к сцене, где ее начало. Биографы знаменитого теперь режиссера отыскивают ее в ночных репетициях будущего театра «Современник», но это не совсем точно, она родилась раньше. Однажды, на первом курсе, когда мы играли бессловесные этюды (для драматического актера это такое же нудное занятие, как гаммы для пианиста), Олег оттащил меня в потаенный уголок, сунул в руку какую-то бумажку и сказал: «Читай и, если хочешь, подпиши»

Бумажка содержала клятву верности актерскому братству, верности профессии и ее высокому предназначению. Заметив, что я медлю, добавил: «Но только кровью», — и совершенно серьезно протянул мне лезвие бритвы.

А я актером не стал. Перешел в Московский университет, на филфак, а затем на отделение журналистики. Два начала. До сих пор в снах я иногда продолжаю доигрывать роль Шванди в спектакле «Любовь Яровая». Жаль, что в университете на нашем курсе не нашлось человека с маленькой бритвочкой и текстом профессиональной клятвы. Подпиши мы такую бумагу в начале пути — сам этот путь оказался бы прямее и строже. Говорю больше о себе. Не все напечатанное вспоминаю с охотой. Можно сыграть множество ролей, но в свой час — ту, первую, которая останется с тобой навсегда. Можно написать множество статей и очерков, пока поймешь, что наконец-то достиг профессионального уровня Разбуди меня сейчас ночью и спроси, что больше всего осталось в памяти, где, в чем, когда открылось это неуловимое «нашел», и я, вопреки возможным ожиданиям, назову не интервью с главами государств, не множество других событий в моей журналистской практике, а маленькую историю.

У подъезда редакции «Комсомольской правды», когда я шел на ночное дежурство, обратились ко мне два паренька, как оказалось, глухонемые. В редакционном скверике жестами, записками объяснились. Было при пареньках письмо, и я прочитал его тут же.

Завязка истории приведет нас к газете «Британский союзник», к ее послевоенным номерам. 5 марта 1946 года в Фултоне Черчилль произнес свою памятную речь. В присутствии президента США Трумэна он призвал западный мир «показать русским силу». Началась «холодная война». «Британский союзник» перестал выходить. Неизвестно, по каким причинам пустился он в одном из последних номеров в рассуждения о глухонемых. Перечислялись профессии, увлечения, недоступные глухонемым, — из-за этого они-де несчастны, обездолены. Этот номер газеты и попал случайно в руки пареньков.

Оба они только что окончили ремесленное училище и работали на одном из ростовских заводов слесарями. В Москву приехали искать поддержки. Реакция парней на статью в «Британском союзнике» была своеобразной. Решив доказать, что и глухонемые кое-что могут, они начали копаться на ростовских промышленных свалках, отыскивали там старые, отслужившие срок части простеньких самолетов, детали моторов (за войну такого накопилось немало). В «засекреченном» сарае, с помощью друзей, без чертежных досок, с самыми малыми подручными средствами, ночи напролет работали ребята и построили настоящую, похожую на «У-2» летательную машину. Наконец, выкатили свое детище на пустырь, уселись в пилотскую кабину, завели мотор, и струи ветра ударили в их лица, выбивая из глаз слезы. А может, не было у них слез? Просто, вспоминая ту давнюю встречу, ловлю себя на том, что, когда слушал их, слезы наворачивались на глаза.

Наступил их «первый час», час торжества. Они взлетели! Кружили над городом, над ростовскими пляжами, ныряли в холодные воздушные ямы, а теплые влажные облака вновь поднимали самолет ввысь. Тридцать минут длилось воздушное приключение. Эти тридцать минут были их

победой. Не верящие в бога, они оторвались от земли, но невозможно объяснить, как могли они сделать это без божественной поддержки. Согласитесь, что каждый, кто встречается с таким чудом, в глубине души на какие-то мгновения перестает быть атеистом.

Когда ростовские инженеры познакомились с самодеятельными расчетами ребят, больше всего их поразили удивительно точно найденный способ крепления шасси с фюзеляжем, углы сопряжения и запас прочности самолета. «Комсомолка» добилась, чтобы отважных летчиков поддержали в московском авиаклубе. Там им подарили настоящий современный планер. Ребята получили чертежи и инструкции сборки и возвратились в Ростов. «Британский союзник» был посрамлен. Но вот испытали ли чувства стыда те ростовские держиморды, которые «пресекли недозволенное» и сожгли собранный ребятами самолет, как только он сел на землю.

Мы бессильны с точностью объяснить множество поразительных проявлений человеческого духа, влекущих к себе, заражающих нас естественным стремлением испробовать и свои силы. Нельзя отнимать у человека потребность в возвышенных идеалах, если мы хотим, чтобы как можно больше наших сограждан походило на Стаханова в час, когда он рубал уголек, на Федосеенко, Васенко, Усыскина, достигших рекордной высоты на стратостате «Осоавиахим-1» и не потерявших мужества в миг катастрофы. Надо, чтобы общество приветствовало дерзость, риск, азарт — черты, свойственные неординарной личности. Я не согласен с теми, кто в принципе не приемлет героику только потому, что в тот или иной период культивировалась ее надуманная разновидность.

Я часто спорю со своими сыновьями: им кажется, что мы отстали от жизни, закоснели в представлениях, потерявших значение в современном мире. Им смешно и грустно оттого, что мы шпыняем их по мелочам, уходя от главного. Им надоели нравоучительные сентенции о прическах, модах и прочей, как они говорят, муре.

Мы тоже проходили через такое. В начале эталоном были широкие брюки. Затем узкие. Декольте у девушек дозировались с еще большим тщанием. По приказам министров в служебные помещения не допускали женщин в брюках. Длина волос тоже контролировалась. Бороды воспринимали как вызов общественному мнению, и если их насильственно не состригали по примеру Петра, то все же они сильно портили репутацию. Ссылки на внешность Маркса, Энгельса, Ленина объявлялись кощунством. А дети наши не хотят, чтобы мы делили проблемы, вставшие перед обществом, на взрослые и молодежные, ибо они действительно неделимы. Они хотят разговаривать серьезно, не бояться задавать нам любые, самые острые вопросы, хотят получать ответы, а не раздраженное одергивание. Такой душевной близости надо радоваться. Она требует убежденности, сильных аргументов, а не надоевших расхожих штампов. Как поразительно умел говорить с молодежью Ленин! Он всегда был собеседником, а не поучающим метром. Отчего же мы придавали такое значение поимке на бульваре группы ребят, у коих нижняя часть одежды была на сантиметр уже или шире установленной? Отчего (странное совпадение) всякий раз, когда перед обществом встают сложнейшие экономические, моральные, социальные проблемы, и молодые люди (в своем абсолютном большинстве) хотят серьезного обсуждения «задач дня» и будущего, кто-то переводит острие дискуссии на мини- или макси-юбки?

Совсем не хочу, чтобы меня посчитали защитником «металлистов», «рокеров» и других любителей заемной моды. И не всегда с Запада идет к нам эстрадная безвкусица.

Во время давнего визита в Мексику я был принят Президентом страны Лопесом Матеосом. Сказал ему, с каким интересом слушал замечательных уличных музыкантов — «марьячес». Президент заметил, что Мексика очень бережет свои национальные культурные традиции, хоть делать это непросто из-за музыкальной экспансии близлежащей страны. За те несколько дней, что я провел в Мехико, удалось увидеть великолепные национальные массовые спектакли: народные танцы, скачки, парады костюмов. Они шли на площадях, стадионах — повсюду, завораживая весь город, всех. Их организация требует высокого вкуса режиссеров и постановщиков, да и немалых средств. Я как-то спросил Игоря Александровича Моисеева: неужели мы не способны создать бытовой танец, который понравится нашей молодежи, а может быть, завоюет весь мир? Он ответил: «Способны, но знаете ли вы сколько это стоит?»

Вспоминаю и другой разговор — с Леонидом Осиповичем Утесовым. Он считал, что миграция стилей в эстрадной музыке возможна и полезна, это тоже форма мирового обмена культурными ценностями. Показал вырезки из старых, тридцатых годов, газет, в которых шла острая дискуссия о джазовой музыке, добавив не без иронии, что «Известия» выступили против джаза — «музыки толстых», а «Правда» — за энергичные ритмы...

В «Известиях» начала шестидесятых годов мы «спасли» джаз Олега Лундстрема. Пригласили музыкантов в небольшой редакционный зал, и там они ударили во все свои барабаны и затрубили во все трубы. Окна были открыты, веселая музыка собрала на сквере у памятника Пушкину толпу. Послышалось «браво!», «еще!», и седовласый красавец Лундстрем сиял от счастья. «Все знающая Москва» (есть такая категория) загудела: «зять» решился пойти против «тестя».

Хрущев не то чтобы не любил джаз, но как-то высказал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу свое неудовольствие по поводу джазовой атаки на слушателей во время одного из итоговых концертов художественной самодеятельности. Шостакович был председателем жюри и пригласил Хрущева в только что открывшийся Кремлевский театр (теперь в этом переоборудованном зале проходят заседания Совета Национальностей Верховного Совета СССР). Концерт начался парадом-алле сразу пяти джазовых оркестров, гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки. Хрущев досидел до конца, а затем в сердцах сказал Шостаковичу, что не ожидал от него такой безвкусицы. Шостакович не знал не только о том, что, как всякий старомодный человек, Никита Сергеевич не очень-то большой поклонник джазовых рапсодий, но и о том, что такое начало концерта могло показаться ему своего рода вызовом. Желание немедленно обратить недоразумение в поучительное предупреждение привело к тому, что джазы были изъяты из музыкальной жизни.

И вот после этого в стенах «Известий» звучит джаз. Это отнюдь не было каким-то вызовом: я знал, что Хрущев вовсе не требовал запрещений. Просто он считал, что пять джазов одновременно — это слишком...

Время доказало, что нелепо настаивать на возвращении к старомодной стрижке, как нелепо призывать равняться на дутых ударников и ударниц коммунистического труда, если на них работала целая рать администраторов (такая публика сейчас особенно боится газетчиков).

Пришлось мне не так давно принять участие в передаче «12-й этаж». «Лестница» располагалась не в студии, а у входа в Боткинскую больницу. Шел мелкий холодный дождь, но и ребята, и главный врач этой больницы, и ведущая Олеся Фокина продолжали задавать вопросы тем взрослым товарищам, которые находились в тепле, в Останкине. Речь шла о трудовом воспитании подростков, об их отношении к посильной трудовой деятельности, к заработку. Удивительно единодушны и требовательны были мальчики и девочки четырнадцати-пятнадцати лет. Они хотели работать. Разносить почту, ухаживать за больными, развозить по домам белье из прачечных в дни каникул и в свободные часы. Говорили, что хотят иметь свои деньги, а не цыганить их у родителей.

Главный врач поддерживал ребят и девочек, готовых работать по несколько часов в неделю нянечками, санитарами. «Нельзя», — тут же парировал представитель Министерства здравоохранения. «Поднятие тяжестей детям при перевертывании и переносе больных (это его выражение. — **А. А.**) запрещено инструкцией». «Лестница», услышав это, засмеялась. Мальчики и девочки превосходили внушительными фигурами многих взрослых. Когда у этого товарища спросили, а как относится Министерство здравоохранения к тому, что ежегодно десятки тысяч школьников месяцами собирают хлопок на залитых дефолиантами полях, он промолчал.

Иногда мы полагаем, что наша молодежь ничего не видит, не слышит и не понимает. Зря мы так полагаем.

(Окончание следует.)

Публицистика

Отто Лацис

ПЕРЕЛОМ

Ну вот мы и вернулись к тому, с чего начинали тридцать с лишним лет назад. К проклятым нашим вопросам. Почему мы строили социализм по-сталински? И могли ли мы иначе его построить? Не праздное любопытство стоит за этим желанием постичь наше прошлое, а тревога о настоящем и будущем, потому что, не разобравшись со сталинщиной, мы не обретем гарантий против ее повторения, не укрепим доверие новых поколений к социализму, не возродим его авторитет в мире. А без этого мы просто не можем жить.

Ведь были двадцать лет умолчания о неудобных вопросах. Что они дали? Укреплен ли авторитет социалистической идеи в результате этого молчания? Нет, только ослаблен. Это наша пропаганда молчала о горькой правде нашего прошлого, это наша наука не исследовала сложные проблемы. Чужая пропаганда не молчала, чужие историки не теряли времени. Да и те советские люди, кто не слушал чужих голосов, они не мирились с незнанием и заполняли вакуум мифами, самодельными концепциями.

Социалистическое сознание старших поколений пострадало относительно меньше. Жизненный опыт людей, прошедших революцию и гражданскую войну, социалистическое строительство и войну Отечественную, этот опыт давал ощущение силы нашего строя. Потрясенные горькой правдой в пятьдесят шестом году, люди тех поколений в большинстве своем все же выработали понимание того, что ленинские идеи, социализм — это одно, сталинщина — другое. Но совсем иную закалку дал жизненный опыт тем, кто вступил в активный возраст в семидесятых, для кого политика отождествлялась лишь с застойным временем.

Именно в те времена, когда на страницах печати господствовала «идейная чистота», в реальной общественной жизни произошло немыслимое прежде засорение идеологии. Монархические, буржуазно-демократические, шовинистические, националистические, разномастные религиозные идеи, справедливо считавшиеся некогда принадлежностью лишь остатков эксплуататорских классов, распространились среди интеллигенции, среди рабочих и крестьян, среди потомков революционеров. Не просто распространились, а стали модой, свидетельством вольномыслия. Сегодня противники перестройки любят порассуждать о случившемся будто бы в пору гласности повреждении основ социализма, о появлении «альтернативных башен», стремящихся сокрушить наш строй. Есть подобные «башни», хотя «плакальщики по социализму» любят приписывать к ним и любую критику извращений прошлых времен. Есть в обществе носители антисоциалистической идеологии, но гласность только лишь позволила им обнаружиться. А появились они в годы молчания.

Сегодня историки начинают сначала. Начинают в худших условиях, потому что двадцать лет упущены. Начинают в лучших условиях, потому что документы 70-летия Октября дали то, что нужно науке: не истину в последней инстанции по всем вопросам, а возможность вести объективное исследование. Начинают с тех же вопросов, перед которыми остановились в конце пятидесятых — начале шестидесятых.

И вот уже первые ответы.

Дмитрий Волкогонов, кажется, выложил всю горькую правду. Вот некоторые оценки Сталина и сталинщины из его очерка в «Литературной газете» от 9 декабря 1987 года: «попрание человечности»; «преступления»; «нечеловеческие унижения и испытания»; «чудовищная несправедливость», «никакие заслуги не оправдывают бесчеловечности»; «озлобление», «методы командно-бюрократического стиля, насилия, «закручивания гаек», апологетом которых был именно Троцкий, будут взяты на вооружение Сталиным»; «быстро привык к насилию»; «ликвидация личных противников»; «страшная инерция насилия»; «смотрел на общество как на человеческий аквариум; все в его власти»; «не была ли рядом с жестокостью и никогда не распознанная душевная болезнь Сталина?». Такие вот оценки. И факты, страшные факты. Только в органах НКВД «более 20 тысяч честных людей пало жертвами этой вакханалии беззакония».

И после всего этого: «Во время борьбы за выживание нового строя исключительное значение имела целеустремленность и политическая воля лидера. Здесь, пожалуй, Сталину после Ленина не было равных». Затем: «имел и нечто такое, чего не было у других». Вывод: «В этих условиях альтернатива других лидеров была маловероятной».

Так ли? Вспомним слова из доклада «Октябрь и перестройка: революция продолжается»: «...Культ личности не был неизбежным. Он чужд природе социализма, представляет собой отступление от его основополагающих принципов и, таким образом, не имеет никакого оправдания». А ведь заявление об отсутствии «альтернативы других лидеров» автоматически оправдывает перед лицом истории все, что творил Сталин. Однако разве, если будет доказано, что надо оправдать, добросовестный исследователь не обязан принять это? Но в том-то и дело, что не доказано. Целеустремленность и политическая воля? Десятки соратников Ленина обладали этими качествами, и ясно сейчас, что любой из них был лучше, потому что невозможно придумать худшее: на всех поворотах истории, на каждой ее развилке Сталин избирал для нашего народа путь наибольших издержек и жертв. Лишь непостижимый логический сбой позволяет иным авторам твердить, что Сталин каким-то образом ускорил наше развитие; все факты вопиют о том, что он его замедлил, что он не раз отбрасывал страну назад и лишь крайнее напряжение сил народа и великие жертвы позволили избежать полной утраты завоеваний Октября.

Игорь Клямкин в «Новом мире» тоже доказывает объективную предопределенность сталинского пути социалистического строительства, но подходит к делу более основательно. Отсутствие альтернативы он выводит из анализа классовых сил, из социальной психологии численно преобладавшей крестьянской массы: «Победили тогда сильнейшие, и никто, кроме них, победить не мог, потому что другого «проекта застройки» нашей улицы, способного конкурировать с коллективизацией, в ту пору не было». И дальше: «Большинство крестьян примирилось с коллективизацией, потому что в кулаке видело своего врага. Потому что не успело «обуржуазиться», не было готово к конкурентной борьбе на рынке, боялось его разоряющей стихии еще с дореволюционных времен».

В этом есть правда: действительно, крестьянам были тогда присущи и такие свойства. Вероятно, эта правда помешала автору увидеть, что он дал лишь неполный ответ на неполный вопрос. Здесь анализ много глубже и убедительнее, чем у Д. Волкогонова, поскольку И. Клямкин от рассмотрения свойств отдельных лиц перешел к характеристике социальных слоев. Но вопрос он потихоньку подменил. Нас интересует, почему победила сталинская линия строительства социализма, сталинская линия в индустриализации, коллективизации, государственном и партийном строительстве. Почему за Сталиным, а не за группой Бухарина пошли правящая партия и ведущий в политическом отношении класс, а уж затем и наиболее многочисленный тогда класс — крестьянство. И. Клямкин, ненароком опустив вопрос о выборе, который сделало руководство партии, свел все к крестьянству. Но и на этом не закончились малозаметные подмены. Отвечая прямо на поставленный вопрос: приняли ли крестьяне сталинскую коллективизацию? —

пришлось бы признать: нет, не приняли. Лучшее тому доказательство — массовое уничтожение скота и сокращение сбора хлеба. Но, признай это, рухнула бы затейливо выстроенная концепция. Поэтому автор ставит еще более узкий вопрос: почему крестьяне не восстали, как предрекала эмиграция? На этот неполный вопрос и дается приведенный выше ответ. Он также неполон. Для восстания требовалась не только «любовь» к раскулачиваемым. Многое нужно мирному хлебопашцу, чтобы затеять войну в собственном доме. Нужна привычка к войне, нужна политическая организация, нужна уверенность в своей силе и в слабости противника, нужно крайнее отчаяние от безысходности, от невозможности существования в сложившихся обстоятельствах. Такое редкое сочетание условий было только в двадцатом году, тогда и были мощные восстания. В двадцать девятом из всех этих условий была разве что безысходность, но и ее Сталин вовремя пригасил лицемерным отречением от «перегибов». В такой обстановке следовало бы удивляться не тому, что крестьяне в целом не восстали, а тому, что кое-где они все-таки восстали.

Нет, не удалась и И. Клямкину попытка доказать, что страна наша получила тот путь, какого заслуживала, что иного быть не могло. Был иной путь, были сторонники иного пути. Многие авторы сегодня склоняются к тому, что путь, предлагавшийся группой Н. И. Бухарина, обеспечил бы выполнение тех же исторических задач ценою меньших издержек. Так, Л. Гордон и Э. Клопов («Знание — сила», 1988, № 2) пишут. «Опыт реального социализма — и в СССР, и в других странах — говорит о принципиальной возможности построения социализма в рамках политики, близкой к той, которая предлагалась оппонентами И. В. Сталина».

Был иной путь. Почему же он остался только возможностью? Полный ответ на этот очень важный и далеко не академический вопрос потребует немалых трудов, в том числе изучения еще не прочитанных документов. Но некоторые предположения можно высказать уже сейчас. Они связаны с характеристикой не крестьянства, а рабочего класса и его партии, руководства этой партии после Ленина.

I

Отдельная личность мало что может изменить в моменты резкого неравновесия общественных сил, значительного перевеса одной силы. Вероятно, никакое влияние одной личности не могло бы остановить народное восстание против Временного правительства в конце 1917 года, после того как оно доказало свое неумение и нежелание дать то, ради чего совершился февраль: землю крестьянам, хлеб рабочим, мир народам. Это особенно ясно доказано случаем с Каменевым и Зиновьевым, личный авторитет которых был велик. Но так силен был массовый напор, что самые авторитетные личности, не посчитавшиеся с ним, оказались в изоляции. Большинство против них в ЦК было столь решительным, что мы вправе предположить: случись так, что Ленин вовсе не смог бы по каким-либо причинам повлиять на это решение, Каменев и Зиновьев все равно большинства не собрали бы. А если бы и собрали, если бы и ушли большевики в сторону, это лишь освободило бы поле для левых эсеров, для анархистов или иных политических сил, но не остановило бы восстание.

Иное дело, когда сталкиваются две противоборствующие тенденции, имеющие с обеих сторон мощную социальную поддержку, так что весы качаются примерно в равновесии. Тут бывает достаточно толчка даже одной личности, чтобы одна чаша перетянула. Так было в вопросе о Брестском мире. Предположим на минуту, что в этот момент опять-таки Ленин не смог бы по какому-то стечению обстоятельств участвовать в решении. Пожалуй, тогда, без противодействия этой единственной личности — Ленина, противники мира победили бы в партии. Ведь в какой-то момент в ЦК они оказались в большинстве, и против него не хватило даже всего ленинского авторитета, громадной энергии и силы убеждения. Понадобились еще время, стоившее ухудшения условий мира, и угроза отставки на съезде (к чему Ленин не прибегал никогда более и что дало несколько голосов).

Здесь именно личность, заняв правильную позицию и приложив все свои способности, спасает дело.

Состояние не очень устойчивого равновесия — притом не на момент, а на длительный период — создавал неизбежно и план перехода к социализму, названный новой экономической политикой. На десятилетия — вплоть до создания нового рабочего класса — преобладающей в стране оставалась крестьянская масса, отнюдь не сознававшая своей заинтересованности в социалистическом будущем. Правда, в руках рабочего класса была государственная власть, но и она не обеспечила бы перевеса, если бы использовалась для политики подавления крестьян,— возможна была лишь политика союза. В длительной перспективе это означало неизбежное мелкобуржуазное влияние на самих рабочих. Избежать связанных с этим опасностей можно было лишь при полном единстве среди «личностей» — верхнего слоя партии. На это время чрезвычайно выросла роль не миллионов, а тысяч — большевиков с дореволюционным стажем — и даже единиц — руководителей партии.

Как дожить до того времени, когда сложится мощный слой рабочих? Как избежать перерождения и прочих опасностей? Ведь мелкокрестьянское хозяйство порождает капитализм «ежедневно, ежечасно». А тонкий слой рабочих стал после войны еще тоньше. Кто убережет его от всепроникающего мелкобуржуазного влияния? Ответ был только один: убережет партия. А кто убережет партию? На XI съезде, последнем, где был Ленин, стоял особым вопросом повестки дня доклад о партийном строительстве. В нем приводилась цифра: большевики со стажем до февраля 1917 года составляют в партии два процента. Это уже после чистки, уменьшившей партию на четверть за счет новоиспеченных коммунистов.

Два процента, но твердокаменных, с громадным политическим опытом, занявших все ключевые позиции в партии и государстве. Они должны были удержать на рельсах паровоз революции на самом трудном перегоне. Только после этого роль личности или нескольких личностей, от которых зависел успех всего дела, могла уменьшиться до нормальных пределов. Под силу ли такая задача нескольким тысячам — верхушке партии? Под силу, если только не будут мешать друг другу. Отсюда тревога о единстве на протяжении всего 1923 года, во всех последних работах Ленина. Отсюда «завещание» — стремление внимательно присмотреться к самым верхним, от которых все зависит. Напомним имена шестерых вождей. В «Письме съезду» названы: Троцкий, Сталин, Каменев, Зиновьев, Бухарин, Пятаков.

Спустя всего четыре года Троцкий был уже в ссылке, Каменев, Зиновьев и Пятаков исключены из партии; спустя еще два года Троцкий был выслан из страны, Бухарин лишен сколько-нибудь значительной власти. Сталину не противостоял никто из старых вождей. Его власть стала единоличной уже тогда, в конце двадцатых годов. Репрессии тридцатых годов не означали захват власти Сталиным — они означали только укрепление ранее захваченной власти. Тогда устранялась уже тень возможной конкуренции. Как же были устранены реальные конкуренты?

Самой драматической схваткой, в которой потерпел поражение последний из конкурентов Сталина в шестерке, была борьба против правого уклона, начавшаяся после XV съезда (декабрь 1927) и закончившаяся к XVI съезду (1930). Этот период интересен не только тем, что означал фактический захват неограниченной власти. И не только мощью поверженных противников (Бухарин — член Политбюро, руководитель Коминтерна, редактор «Правды», виднейший теоретик и любимец партии, Рыков — член Политбюро, председатель Совнаркома и, таким образом, непосредственный преемник Ленина по занимаемой должности, Томский — член Политбюро еще при Ленине, председатель ВЦСПС). Интересно и распределение позиций в этом сражении.

Вспомним: первый из шестерки, кто был повержен,— Троцкий, сам напал на Политбюро и ЦК. Он был настолько самоуверен, настолько действительно крупной был фигурой благодаря своим заслугам в двух революциях и в недавно закончившейся гражданской войне, что не только пошел один против всех остальных вождей, но и пошел против политики партии, разработанной на очередном

съезде еще при жизни Ленина и проводившейся Центральным Комитетом единогласно. Троцкий бросил на весы свой личный авторитет — и был побит. Главными его оппонентами были, между прочим, Зиновьев и Каменев.

Через полтора года пришел их черед, они пошли против Сталина и Бухарина, возглавлявших большинство ЦК. Опять инициатива исходила от оппозиционеров, они в качестве формальной мишени (неудобно выступать просто с предложением изменений в руководстве) избрали политику партии по основным социально-экономическим вопросам, разработанную единогласно на предыдущем съезде, конференции и пленумах,— и были биты. Потом они объединились с Троцким, которого сами же раньше колотили,— это уж было явно проигрышное дело, к XV съезду всех троих выбросили из Политбюро, затем из ЦК и, наконец, из партии (как и Пятакова, занимавшего менее значительные посты).

Но Бухарин не создавал оппозиции, недаром к нему применили слово «уклон». Бухарин не выступал против политики партии, напротив, отстаивал решения последнего съезда. Напасть на его позицию означало напасть на генеральную линию партии. До тех пор каждый, кто это делал, терпел поражение. Но Сталин сумел саму генеральную линию изменить между съездами, вытащить ее из-под ног стоявшего на прежних позициях Бухарина.

С 1923 года, когда Ленин отошел от руководства страной, и до конца 1927 года, включая XV съезд, Сталин неизменно стоял на позициях твердой защиты новой экономической политики, начатой Лениным. Борьба бывала резкой и трудной, соперники — сильнейшими, но Сталин и Бухарин — двое из шести — всегда стояли на ленинских позициях, причем если за Бухариным замечались в ходе отстаивания этих позиций некоторые ошибки, за которые его критиковали и которые приходилось признавать, то у Сталина и ошибок в эти годы не отмечалось. Он стоял как скала, казалось, оставив все колебания и ошибки в том, прошлом времени, когда был Ленин, который мог поправить любого. Тем более ошеломительным выглядит его поворот в 1928 году.

Основными вопросами схватки с «правыми уклонистами» были пути и темпы индустриализации (что свелось в основном к обсуждению заданий первой пятилетки) и пути и темпы коллективизации. В начале 1929 года Госплан предложил Совнаркому два варианта, которые не противопоставлялись политически, ибо отражали один и тот же подход — разница была лишь в степени напряженности. Один из этих вариантов, названный оптимальным, превосходил другой, названный отправным, примерно на 20 процентов. То есть по оптимальному можно было за пять лет достичь тех же показателей, что по отправному — за шесть.

Председатель Госплана Кржижановский поначалу не брал на себя ответственность за оптимальный вариант и объяснял в своих выступлениях, что два варианта плана — это как бы артиллерийская вилка, так что «попадание» при выполнении плана будет в ее пределах. Он полагал, что отправной вариант будет выполнен безусловно, а если к тому же, ориентируясь на оптимальный, мы вырвемся вперед на отдельных участках, это только полезно.

Однако позднее даже само название отправного варианта употребляли все реже, именуя его «минимальным», оппортунистическим, враждебным и т. п. Совнарком после первого же рассмотрения стал рекомендовать только оптимальный вариант. В апреле 1929 года XVI партконференция без споров приняла оптимальный вариант на основании единых по духу докладов Рыкова, Кржижановского и председателя ВСНХ Куйбышева. Затем на основе решения конференции V съезд Советов СССР принял пятилетний план. Однако история плана на этом не кончилась. Во-первых, серией постановлений ЦК партии, Совнаркома, ЦИК СССР были повышены показатели по отдельным отраслям — чугуну, нефти, тракторам, сельхозмашинам, электрификации железных дорог (повышение задания по чугуну особо отметил в своей резолюции XVI съезд партии). Во-вторых, был выдвинут лозунг «пятилетку — в четыре года». Это стало общепризнанной целью, но позднее и ее решено было превзойти. Докладывая на сессии ЦИК СССР о контрольных цифрах на 1931 год, Молотов сообщил, что намечен прирост промышленной продукции на 45 процентов вместо 22, предусмотренных пятилетним планом для третьего года пятилетки. А через месяц в речи на первой конферен-

ции работников промышленности в феврале 1931 года Сталин пояснил, что выполнение такого годового задания означает выполнение пятилетки в три года по основным отраслям. К тому времени подоспело решение перенести начало хозяйственного года на 1 января. А в январе 1933 года Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) объявил, что пятилетний план выполнен за 4 года и 3 месяца. Таким образом, если по плану отчетным годом пятилетки должен был стать 1932/33 хозяйственный (с 1 октября по 1 октября), то фактически им стал 1932 календарный год.

Оценить количественные результаты развития промышленности в годы первой пятилетки невозможно в двух словах. Из популярных учебников известно, что она была успешно выполнена за 4 года и 3 месяца. Несколько реже упоминается, что она была выполнена по валовой продукции промышленности на 93,7 процента. Это уже не совсем выполнение, но, учитывая сокращенный срок,— итог хороший. Однако интерпретация показателей валовой продукции требует определенной осторожности. Их значение нельзя преуменьшать, но не следует и преувеличивать. Во-первых, нам трудно определить, в какой степени сказался на этих показателях происшедший в годы пятилетки рост оптовых цен, на который вполне определенно указывает советская экономическая литература. Во-вторых (и это, может быть, важнее), стоимостная оценка объема продукции по природе своей условна, особенно при той беспрецедентной ломке структуры производства, какая произошла в те годы. Целые громадные отрасли, не существовавшие в 1928 году, давали продукцию в 1932-м: автомобильная, тракторная, авиационная, сельхозмашиностроение, нефтехимия. Известно, что именно продукция машиностроения, особенно производство оборудования, станков, оказала большое влияние на итоговую цифру валовой продукции всей промышленности. О чем говорит сопоставление индексов, включающих продукцию этих отраслей, с индексами того времени, когда их не было? Главным образом о том, что самолет как сумма валовой продукции больше, чем телега. Но надо помнить об условности валовых показателей при количественной оценке: н а с к о л ь к о возросла валовая продукция страны, если вместо ста телег произведено сто самолетов. Между тем сама природа поставленного вопроса (как выполнен план) требует именно точной количественной оценки. Для достоверного и полного ответа на этот вопрос надо использовать не только стоимостные, но и натуральные показатели по важнейшим отраслям.

Рассмотрим в качестве примера перипетии плана по чугуну. Это не наш выбор: именно чугун в политических спорах того времени оказывался на первом месте среди прочих отраслевых показателей. Металл был символом индустриальной мощи, а в стране, не накопившей металлофонд, именно чугун определял возможности металлургии. Отправной вариант предлагал выплавить в последнем году пятилетки 7 миллионов тонн чугуна, оптимальный (а значит, и первоначально утвержденный план) — 10 миллионов, повышенное задание XVI съезда — 17 миллионов. Фактически в 1932 году выплавлено 6,2 миллиона тонн. Против 3,3 миллиона тонн в 1928 году это было блестящим, невиданным в мире успехом, но никак не подтверждало правоту Сталина в споре о рубежах пятилетки — напротив, итог получился близким к отправному варианту.

То же произошло и со всеми прочими натуральными показателями. Пятилетний план намечал довести производство тракторов до 53 тысяч, повышенное задание — 170 тысяч, фактический итог — 49 тысяч. Соответствующие показатели по автомобилям: 100 тысяч, 200 тысяч, 24 тысячи. Электроэнергии в 1932 году произведено 13,5 миллиарда киловатт-часов при 22 миллиардах по пятилетнему плану, минеральных удобрений — 0,9 миллиона тонн вместо 8 миллионов тонн. Выполнение отмечалось только там, где показатели были стоимостные,— по общему и сельскохозяйственному машиностроению.

Означает ли это невыполнение основных показателей, что оптимальный и даже отправной вариант были нереальны? Едва ли. Рассмотрев ход пятилетки по годам, можно с большой степенью уверенности предположить, что если не полное выполнение оптимального плана, то попадание в «вилку» между ним и отправным было вполне возможным (по основным показателям объема промышленной продукции — о качественных показателях промышленности и других целях плана

судить сложнее). Даже самый общий анализ показывает, что ход пятилетки был сорван после ее начала резкими толчками к ускорению по сравнению с оптимальным вариантом — и без того достаточно напряженным. Лозунги выполнения плана в четыре года и даже в три, попытка насильственного ускорения в начале и середине пятилетки привели к диспропорциям, нарушению плановости и в итоге к спаду темпов в конце пятилетки, продолжавшемуся и в начале второй пятилетки. Общий итог довоенного развития промышленности — по сравнению с тем, что, судя по опыту, может дать планомерное, пропорциональное развитие,— этот общий итог был, несомненно, снижен скачком с последующим спадом, ибо спад дал большее отклонение от средних цифр, чем скачок.

Отправной вариант предлагал высокие, но постепенно снижающиеся ежегодные приросты промышленной продукции — от 21,4 процента прироста в первом году пятилетки до 17,4 в пятом. Это соответствовало объективным тенденциям роста в те годы. Оптимальным вариантом предписан был постепенный рост — от 21,4 до 25,2 процента. Но в годовых планах уже со второго года началось подхлестывание, которое не дало реального ускорения, но дезорганизовало производство. Вместо декретированного прироста на 31,3 процента фактический прирост в 1930 году составил 22 процента. На третий год запланировали 45 — вышло 20,5. На четвертый план был 36 — факт 14,7. Начался неудержимый спад, который снизил прирост 1933 года до 5,5 процента — неслыханно мало по тем временам. Но Сталин уже объявил пятилетку выполненной, пятый год в нее не попал и не испортил картину побед.

Механизм таких срывов известен. Возможность волевого изменения темпов ограничена наличными ресурсами. Ясно, что если, имея материалов на один завод, начинаешь строить два, не построишь ни одного. Так получилось с металлургией. Когда задание пятилетки по чугуну с 10 миллионов тонн подняли до 17 миллионов, отрасль надорвалась. Год самых больших по плану темпов — 1931-й — фактически дал снижение выплавки и чугуна, и стали. Затем последовал медленный рост, так что от 5 миллионов в 1930 году дошло лишь до 7,1 миллиона в 1933-м. А потом сразу скачок до 10,4 миллиона в 1934 году, когда ускорительские тенденции перестали существовать и таких скачков от промышленности не требовали. Тут уже сработал увеличенный задел, образовавшийся тогда, когда заложили сразу много новых строек. И хотя дата выплавки первоначально намеченных 10 миллионов тонн (шестой год после начала первой пятилетки) как будто говорит в пользу отправного варианта, возможно, был бы реален и оптимальный, не случись еще большего ускорения.

В речи «О задачах хозяйственников», где выдвигался лозунг выполнения пятилетки в три года и обосновывалась цифра в 45 процентов прироста промышленной продукции на 1931 год, Сталин спрашивал: «Есть ли у нас все возможности, необходимые для выполнения контрольных цифр на 1931 год?» И отвечал: «Да, такие возможности у нас имеются». Далее он в своей обычной манере — по пунктам — разбирал эти возможности: природные богатства; власть, «которая имела бы желание и силу двинуть использование этих огромных природных богатств на пользу народа»; поддержка этой власти массами рабочих и крестьян; такой строй, который был бы свободен от неизлечимых болезней капитализма; сплоченная и единая партия. «Вот, товарищи, все те объективные возможности, которые облегчают нам осуществление контрольных цифр 1931 года, которые помогают нам выполнить пятилетку в 4, а в решающих отраслях — даже в 3 года».

Бесспорно, все эти условия были в действительности. Но поминать о них было бы необходимо (и достаточно), если бы шла речь, предположим, о принципиальной возможности индустриализации. Но речь-то шла о конкретной хозяйственной задаче, и никто не мог бы объяснить, каким образом из наличия Советской власти и партии большевиков, поддерживаемых миллионными массами, вытекает задача повысить в 1931 году промышленную продукцию именно на 45 процентов, а не на 44 или 46, не на 10 или 100. В принципе для социалистического строительства абсолютно необходимы перечисленные Сталиным условия. Но это далеко не «все», как он сказал, условия, необходимые для решения конкретной хозяйственной задачи. Тут нужны были еще также такие пустяки, как гвозди и доски, кирпич и железо, цемент и стекло, притом нужны в определенном количестве и определенного качества, к определенному сроку и за определенную цену,— только на основании такого анализа можно говорить о реальности конкретной цифры прироста. Этой прозой Сталин пренебрег.

Но не все могли так легко отмахнуться от мелочей жизни. В феврале хозяйственники аплодировали Сталину, а в апреле ВСНХ делил между крупнейшими промышленными объединениями фонды на цемент и пиломатериалы на текущий год. Речь шла об объединениях Сталь, Уголь, Союзнефть, Союзсредмаш, Союзсельмаш, Парвагдиз и других такого же масштаба. Объединение, которому повезло больше всех, получило 84,4 процента потребного цемента и 71,7 процента пиломатериалов. Союзсельмаш — чуть больше половины нужного ему цемента и меньше половины — пиломатериалов, текстильная промышленность соответственно — 31 и 23,6 процента.

Нетрудно понять, что срыв второй половины пятилетки объяснялся именно авантюрным игнорированием материальной стороны дела. При такой напряженности и отсутствии резервов за срывом в одном месте шла цепная реакция, одна диспропорция тянула за собой другую.

Позднее Орджоникидзе говорил о недостатках в организации работы металлургии в те годы. Магнезит возили на южные заводы с Урала, хотя он был на Украине. Огнеупорный кирпич покупали за границей, имея огнеупорную глину в стране. Таковы неизбежные издержки погони за ростом любой ценой.

Все это сказалось на качественных показателях, прежде всего на себестоимости и, стало быть, накоплениях, а от их суммы зависело все, весь план, поскольку одним из краеугольных камней индустриализации был расчет на внутренние накопления. Среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве за четыре года пятилетки удвоилась и в 1932 году достигла 22,9 миллиона человек вместо 15,8 миллиона по плану. Такой избыток численности позволял компенсировать диспропорции, затыкать многие дыры в хозяйстве, но лишние миллионы трудящихся сами по себе представляют такую диспропорцию, которая способна расшатать весь народнохозяйственный организм. Так оно и вышло.

Хотя производительность труда в промышленности возросла за годы пятилетки лишь на 41 процент (планировался рост на 110 процентов), средняя зарплата за это же время удвоилась (а план предусматривал ее рост менее чем в полтора раза). Поскольку удвоилась и численность рабочих и служащих, выходит, общий фонд зарплаты возрос вчетверо, хотя план этого не предусматривал. А производство товаров народного потребления росло, напротив, медленнее, чем намечалось. Таким образом, не плановым, а стихийным стало движение и другой важнейшей пропорции: соотношения массы денег и массы товаров. Естественное следствие — быстрый рост розничных цен, сменивший политику низких цен, которая проводилась до 1928 года. Между тем планом предусматривался (и Сталиным был не раз обещан) рост уровня жизни. Хозяйственные органы стремились средствами плана сдержать рост цен, и они повышались не так быстро, как требовалось для сохранения равновесия на рынке. Рухнуло важнейшее завоевание нэповских времен — твердый, надежно обеспеченный рубль (оно не возвращено по сей день). Начался товарный голод. В год начала первой пятилетки была введена карточная система розничной торговли — отменили ее через два года после завершения пятилетки. Это был единственный случай в советской истории, когда карточная система в целом по стране вводилась в мирное время. Впрочем, коль скоро речь зашла о карточках, по которым распределялось прежде всего продовольствие (но не только оно), то следует обратиться к развитию сельского хозяйства в годы пятилетки.

Заметим, что данные о валовом сборе и урожайности основных сельскохозяйственных культур начала тридцатых годов не публиковались в статистических сборниках более пятидесяти лет и появились лишь в ежегоднике «Народное хозяйство СССР», вышедшем в 1987 году. Неудобно было сообщать эти сведения. Ведь палочная коллективизация — сталинская вместо ленинской — все эти годы оправдывалась необходимостью преодолеть хлебные затруднения. Вот как их пре-

одолели. Валовой сбор зерновых в 1932 году составил 69,9 миллиона тонн вместо 105,8 миллиона по плану и 73,3 миллиона тонн, полученных в 1928 году. Сбор сахарной свеклы за четыре года упал с 10,1 миллиона до 6,6 миллиона тонн. Поголовье лошадей сократилось с 32,1 миллиона до 21,7 миллиона (а планировался его рост). Поголовье крупного рогатого скота упало с 60,1 миллиона до 38,3 миллиона (в пятилетнем плане значилось — 80,9 миллиона). Поголовье свиней и овец сократилось более чем вдвое. Резко (в полтора-два раза) сократилось производство молока, мяса, шерсти, яиц.

Впрочем, только при составлении пятилетнего плана уделялось большое внимание показателям развития сельскохозяйственного производства. А в более поздних документах основное внимание сосредоточивалось на одном показателе: уровне коллективизации. Пятилетний план предусматривал охватить коллективизацией около 20 процентов хозяйств. Это задание было перекрыто уже в первый год пятилетки, а к концу ее в важнейших сельскохозяйственных районах коллективизация была в основном завершена. Таким образом, в сельском хозяйстве реакция на «ускорительство» была своеобразной. Тот показатель, который непосредственно старались «ускорить» — процент коллективизации,— действительно быстро рос. Но в том, ради чего добивались ускорения коллективизации — в производстве,— одновременно происходило ухудшение. Цель не оправдала страшные средства, она была взорвана ими.

Почему же так получилось? Было ли все это неожиданным, теоретически непредвиденным? А если предвидели вред ускорительства, кто толкнул к нему и зачем? Обратимся к документам.

В апреле 1923 года XII съезд партии — первый, где Ленин не присутствовал, но за работой которого наблюдал,— записывает в резолюции по отчету ЦК:

«Еще более тесная связь города с крестьянством, составляющим громадное большинство населения России, всестороннее обслуживание деревни передовыми рабочими, руководимыми нашей партией, широкая организация шефства и пр., осторожная линия, учитывающая действительную платежеспособность крестьянства при взимании налогов,— вот коренные практические вопросы, стоящие перед партией на ближайший период. В тесной связи с этим стоит важнейшая политическая задача партии, определяющая весь исход революции: с величайшим вниманием и тщательностью оберегать и развивать союз рабочего класса с крестьянством. Под этим углом зрения партия должна подходить к разрешению всех важнейших очередных проблем, не упуская из виду, что удельный вес госпромышленности во всей экономике страны может увеличиваться лишь постепенно и лишь при неуклонной и систематической работе партии над улучшением организации промышленности, повышением ее прибыльности и т. д.».

«Осторожная линия» (для села), «лишь постепенно» (для промышленности)— такие определения характерны.

Резолюция съезда «О налоговой политике в деревне» предусматривала новый шаг в углублении нэпа: переход от натурального налога к денежному, что «облегчает положение крестьянства и дает выгоду крестьянскому хозяйству не только сокращением издержек по взносу налога, но и тем, что предоставляет крестьянину возможность свободно приноравливаться к рынку»...

Май 1924 года. XIII съезд подтверждает решения XIII партконференции, которая отклонила троцкистскую критику экономической политики партии, разработанной X, XI, XII съездами. Затем XIV партконференция (апрель 1925 года) наметила существенный поворот — не к ослаблению, а к укреплению нэповских начал, прежде всего в отношениях с крестьянством. Конференция потребовала искоренения остатков военного коммунизма в налоговой политике и административной практике. Ставилась задача укрепления союза между рабочими и крестьянами и диктатуры пролетариата «на основе новых отношений и новыми методами, вытекающими из этих новых складывающихся отношений».

Конференция предложила использовать дополнительные ресурсы для кредитования и помощи основной массе крестьянства, приняла решение об облегчении условий применения наемного труда в сельском хозяйстве и краткосрочной аренды земли (целью этого было использование избыточности населения), предоставила

право участия в кооперации «всем слоям населения, занимающимся сельским хозяйством». Последнее означало допуск в кооперацию кулаков, притом с правом голоса, но предлагалось внести в уставы кооперативных организаций ограничения, гарантирующие недопущение «явно кулацких элементов» в правление обществ. Конференция потребовала полной свободы выборов в кооперативные органы, предупредила партийные и советские органы на местах от административного вмешательства в кооперативную работу.

Через несколько месяцев экономическая политика, подтвержденная XIV партконференцией, подверглась атаке «новой оппозиции» на XIV съезде. К этому времени заканчивалось послевоенное восстановление хозяйства, и потому перед съездом стояла далеко не только задача ответа оппозиции — надо было наметить линию индустриализации и социалистической перестройки всей экономики. Какими методами вести эту работу?

Съезд отмечал в основной резолюции: «Налицо экономическое наступление пролетариата на базе новой экономической политики». Это важно подчеркнуть: раз наступление — значит, принятые в этот период экономические нововведения в деревне были не вынужденными, с горя, уступками, которые при первой возможности берут назад, а частью постоянных принципов политики.

Съезд, далее, ставил задачу: «...держать курс на индустриализацию страны, развитие производства средств производства и образование резервов для экономического маневрирования...», «развертывать нашу социалистическую промышленность на основе повышенного технического уровня, однако в строгом соответствии как с емкостью рынка, так и с финансовыми возможностями государства...». Эта резолюция вошла в историю как первый партийный документ, выдвинувший индустриализацию в ряд дел ближайших, сегодняшних. Важно остановить на этом внимание: не XV или тем более XVI, а уже XIV съезд обозначил поворот от восстановления к индустриализации, и если бы сама логика этого поворота требовала перехода от пропорционального развития к ускорительству, то этот же XIV съезд должен был бы провозгласить подобный новый подход. Но ничего такого здесь не происходит. При всей краткости приведенных указаний принцип подхода к делу не вызывает сомнений — строгая сбалансированность и планомерность, обеспечение резервов. По существу, здесь прямое предупреждение против напряженных или перенапряженных планов.

Касаясь работы в деревне, съезд осуждал два уклона: с одной стороны, недооценку борьбы с кулаком, с другой — переоценку этой борьбы, затушевывающую «основной вопрос коммунистической политики в деревне, вопрос о борьбе за середняка, как центральную фигуру земледелия, и о кооперации, как основной организационной форме движения деревни к социализму.

Съезд особенно подчеркивает необходимость борьбы с этим последним уклоном. При относительно большей подготовленности партии к непосредственной борьбе с кулаком и к преодолению первого уклона, гораздо более трудную задачу представляет преодоление второго уклона, ибо его преодоление требует более сложных приемов борьбы по сочетанию методов политической изоляции кулачества с методами вовлечения основной массы крестьянства в русло социалистического строительства. Тем более что в настоящих условиях этот второй уклон грозит возвратом к политике раскулачивания, срывом нынешней линии партии в деревне, линии, уже обеспечившей серьезные политические успехи, срывом смычки между пролетариатом и крестьянством и, стало быть, срывом всей нашей строительной работы».

Вот как!

Съезд одобрил решения XIV партконференции по крестьянскому вопросу, указав, что «только этот поворот партийной политики, вытекающей из изменившихся отношений между классами, коренным образом улучшил положение в деревне...». Об улучшении положения резолюция поминала не зря: перед конференцией были крестьянские восстания, о них говорили на съезде ораторы, в том числе Сталин в отчетном докладе.

В конце 1926 года XV партконференция приняла резолюцию «О хозяйственном положении страны и задачах партии», в которой интересующему нас вопросу

целиком посвящен первый раздел. Он так и называется: «Период перестройки хозяйства на новой технической базе и темп индустриализации». Здесь читаем:

«Конференция категорически осуждает взгляды оппозиции о необходимости проведения индустриализации путем такого обложения деревни и такой политики цен, которые неизбежно привели бы к приостановке развития сельского хозяйства, сократили бы источники сырья для промышленности и рынок сбыта ее продукции, что с неизбежностью привело бы к резкому падению темпа индустриализации страны».

Можно привести много других документов, подтверждающих незыблемость в течение ряда лет той линии экономической политики, которую прокладывал, начиная с X съезда партии, Ленин, — линии, противопоставляющей всяким скачкам, «истерическим порывам» «мерную поступь железных батальонов пролетариата». Но самым значительным документом в этом ряду, документом, вобравшим в себя и достижения экономической теории и практический опыт хозяйственного строительства за десять лет Советской власти, были директивы XV партийного съезда по составлению первого пятилетнего плана, принятые в декабре 1927 года. Они и по сей день служат в экономической науке примером всесторонней разработки проблемы эффективности производства. Здесь на нескольких страницах рассмотрено соотношение потребления и накопления, промышленности и сельского хозяйства, производства средств производства и производства предметов потребления — короче, все основные народнохозяйственные пропорции. И ни в одном вопросе не допускалось нарушения равновесия, увлечения одной стороной пропорции в ущерб другой.

Этот документ трудно цитировать, мало толку рассматривать отдельные положения — надо воспринимать его целиком. Приведем лишь один небольшой пример — для характеристики самого подхода к решению проблем. В директивах сказано: «В вопросе о т е м п е развития необходимо равным образом иметь в виду крайнюю сложность задачи. Здесь следует исходить не из максимума темпа накопления на б л и ж а й ш и й год или несколько лет, а из такого соотношения элементов народного хозяйства, которое обеспечивало бы д л и т е л ь н о наиболее быстрый темп развития».

Как долго еще после этого оставался распространенным и неодолимым соблазн скачка, решающего все проблемы одним махом! Какими неисповедимыми путями в мечтах о скачке стандартизировалась сама продолжительность его (Сталин требовал выполнить пятилетку в три года, Хрущев мечтал догнать Америку по животноводству в два-три года, Мао планировал первый Большой скачок на три года)! И как ясно партия ставила задачу всего за несколько месяцев до первой в истории социалистического строительства попытки скачка: «Д л и т е л ь н о наиболее быстрый темп развития». Этим исключается предположение, что заранее, до первого опыта, могли не знать о пагубности скачка. Знали и зарекались от таких попыток. Стало быть, Сталин — а только он имел на то силу и власть — сознательно игнорировал это знание.

Но, может быть, Сталин и раньше выступал сторонником ускорительства, а ему мешали осуществлять его идеи? Посмотрим, что говорит он сам.

1921 год. В статье «Партия до и после взятия власти» Сталин пишет о хозяйственном строительстве: «Процесс этот будет, несомненно, медленный и болезненный, но он неизбежен, неотвратим, и от того, что некоторые нетерпеливые товарищи нервничают, требуя быстрых результатов и эффектных операций, неизбежность не перестанет быть неизбежностью».

1924 год. «Об основах ленинизма»:

«Едва ли нужно доказывать, что выполнить эти задачи в короткий срок, провести все это в несколько лет — нет никакой возможности». (Это — об основных задачах социалистического строительства. Как тут не вспомнить знаменитое изречение времен пятилетки: или мы пробежим это расстояние в несколько лет, или нас сомнут.)

1925 год, доклад «К итогам работ XIV конференции РКП(б)»:

«Некоторые товарищи, исходя из факта дифференциации деревни, приходят к тому выводу, что основная задача партии — это разжечь классовую борьбу в деревне. Это, товарищи, неверно. Это — пустая болтовня. Не в этом теперь наша главная задача. Это — перепевы старых меньшевистских песен из старой меньшевистской энциклопедии. Главное теперь вовсе не в том, чтобы разжечь классовую борьбу в деревне. Г л а в н о е т е п е р ь с о с т о и т в т о м, ч т о б ы с п л о т и т ь с е р е д н я к о в в о к р у г п р о л е т а р и а т а, з а в о е в а т ь и х в н о в ь. Главное теперь состоит в том, чтобы сомкнуться с основной массой крестьянства, поднять ее материальный и культурный уровень и двинуться вперед вместе с этой основной массой по пути к социализму».

Дальше:

«Но как включить крестьянское хозяйство в систему хозяйственного строительства? Через кооперацию. Через кооперацию кредитную, кооперацию сельскохозяйственную, кооперацию потребительскую, кооперацию промысловую. Таковы те пути и дорожки, через которые медленно, но основательно должно включиться крестьянское хозяйство в общую систему социалистического строительства».

Вот как: «медленно, но основательно»! И еще:

«Необходимо, чтобы коммунисты в деревне отказались от уродливых форм администрирования. Нельзя выезжать на одних лишь распоряжениях в отношении к крестьянству. Надо научиться терпеливо разъяснять крестьянам непонятные для них вопросы, надо научиться убеждать крестьян, не щадя на это дело ни времени, ни усилий».

А в заключительном слове на XIV съезде Сталин прямо дал понять, что и единение с середняком против кулака не следует понимать как объявление войны кулаку. Вот что он говорил по поводу содержавшегося в книге Ларина положения о соглашении с середняком:

«Это верно, что он в своей книге оговаривается об этом, утверждая, что нейтрализация недостаточна для нас, что нам нужно сделать «шаг дальше» в сторону «соглашения с середняком против кулака». Но тут, к сожалению, припутывается тов. Лариным его схема «второй революции» против засилья кулака, что не разделяется нами, что сближает его с тов. Зиновьевым и что заставляет меня несколько отмежеваться от него».

Попозже, года через три-четыре, очень уместно было бы вспомнить, что Сталин отмежевался от такой «второй революции», и не где-нибудь, а на съезде, поддержавшем его против оппозиции.

1925 год вообще дал множество подтверждений того, что новая линия в деревне разработана сталинским большинством ЦК (конкретно комиссией Молотова) не как кратковременный тактический шаг, а основательно, как политика всерьез и надолго. Вот «Вопросы и ответы» Сталина — июньская речь в Свердловском университете. Вопрос ему был поставлен прямее некуда: «Как вести борьбу с кулачеством, не разжигая классовой борьбы?» Отвечая, Сталин убедительно доказывает, что можно и нужно разрешать классовые противоречия, не разжигая классовой борьбы. В частности, о борьбе против кулачьих спекуляцтских цен:

«Мы здесь также не заинтересованы в разжигании классовой борьбы... мы вполне можем и должны обойтись здесь без разжигания борьбы и связанных с ней осложнений». Как? Ответ убедителен: «Мы можем и должны держать в распоряжении государства достаточные продовольственные запасы, необходимые для того, чтобы давить на продовольственный рынок, вмешиваться в дело, когда это необходимо, поддерживать цены на приемлемом для трудящихся масс уровне и срывать, таким образом, спекулятские махинации кулачества».

Далее сообщалось об успехах такой политики: сохранили низкие цены на хлеб и заставили кулака в ряде районов капитулировать, выбросить на рынок хлебные запасы по невысоким ценам.

Из доклада XIV съезду:

«Надо дать лозунг бедноте, чтобы она стала, наконец, на свои собственные ноги, чтобы она при помощи коммунистической партии и при помощи государства организовалась в группы, училась на арене Советов, на арене кооперации, на арене кресткомов и на всех аренах деревенской общественности бороться с кулаком, но бороться не путем обращения в ГПУ, а путем политической борьбы, путем организованной борьбы. Только так можно закалить бедноту, только так можно орга-

низовать бедноту и только так можно из деревенской бедноты вместо иждивенческой группы создать опору пролетариата в деревне».

Формулировки того же доклада в отношении промышленности не оставляют сомнений, кому принадлежат соответствующие фразы в резолюции съезда: «Можно было бы положить вдвое больше ассигновок на развертывание промышленности, но это был бы такой быстрый темп развития промышленности, которого мы не выдержали бы, ввиду большого недостатка свободных капиталов, и на почве которого мы наверняка сорвались бы...» И еще: «...в дальнейшем развитие нашей промышленности будет идти, по всей вероятности, не таким быстрым темпом, каким оно шло до сих пор». Сталин втолковывает настойчиво: «...мы должны строить с резервами, нам необходимы резервы, которые могли бы покрывать наши прорехи... нам нужно усвоить себе мысль о необходимости накопления резервов». Что ж, запомним это слово: резервы.

1926-й. Первый год индустриализации, первый год развития промышленности в новых условиях, принципиально отличающихся от условий периода восстановления. Изменилась ли позиция Сталина? Ни на йоту. Вот из его доклада «О хозяйственном положении Советского Союза и политике партии»:

«То же самое надо сказать о темпе нашего накопления, о резервах, имеющихся в нашем распоряжении для развития нашей промышленности. У нас любят иногда строить фантастические промышленные планы, не считаясь с нашими ресурсами. Люди забывают иногда, что нельзя строить ни промышленных планов, ни тех или иных «широких» и «всеобъемлющих» предприятий без известного минимума средств, без известного минимума резервов. Забывают об этом и забегают вперед». И дальше: «Командный состав в армии, отрывающийся от своей армии и теряющий с нею связь, не есть командный состав. Равным образом индустрия, отрывающаяся от народного хозяйства в целом и теряющая с ним связи, не может быть руководящим началом народного хозяйства».

В докладе на XV партконференции (ноябрь 1926 года) Сталин говорит, что оппозиционный блок «скатывается... на путь «сверхчеловеческих» прыжков и «героических» вторжений в области объективного хода вещей. Отсюда... требование индустриализировать нашу страну чуть ли не в полгода и т. д. Отсюда авантюризм в политике оппозиционного блока. В связи с этим приобретает особое значение теория оппозиционного блока (она же теория троцкизма) о перепрыгивании через крестьянство у нас, в нашей стране, в деле индустриализации нашей страны...»

В том же докладе звучит еще один мотив, который настойчиво повторялся в разных выступлениях:

«Тов. Троцкий, видимо, не признает того положения, что индустриализация может развиваться у нас лишь через постепенное улучшение материального положения трудовых масс деревни... Отсюда практические предложения оппозиционного блока насчет поднятия отпускных цен, налогового нажима на крестьянство и т. д., предложения, ведущие не к укреплению экономического сотрудничества между пролетариатом и крестьянством, а к его разложению...»

В беседе с иностранными рабочими делегациями (5 ноября 1927 года) Сталину был задан вопрос: «Как думаете вы осуществить коллективизм в крестьянском вопросе?» Он отвечал:

«Мы думаем осуществить коллективизм в сельском хозяйстве постепенно, мерами экономического, финансового и культурно-политического порядка».

Далее Сталин показывает, что в снабжении деревни различными промышленными товарами доля кооперации и государственной торговли достигла 70—100 процентов, в закупке крестьянского хлеба — свыше 80, в закупке сырья для промышленности — почти 100. Тем самым государственное плановое начало уже внедрилось в сельское хозяйство. Размеры производства, цены, качество хлопка, сахарной свеклы и т. п. определяют путем контрактации государственные синдикаты, а не игра сил на неорганизованном рынке. Сталин заключает: «...можно сказать с уверенностью, что все отрасли сельского хозяйства, не исключая производства хлеба, постепенно будут переходить на этот путь развития. А этот путь есть прямой подход к коллективизации сельского хозяйства». Но что касается «всеохватывающей коллективизации», то «к этому дело еще не пришло и не скоро

придет. Почему? Потому, между прочим, что на это нужны громадные финансы, которых еще нет у нашего государства, но которые будут, несомненно, накапливаться с течением времени».

Он и об индустриализации судил в ту пору с не меньшей осмотрительностью. Его позиция в докладе на XV съезде партии (декабрь) почти безупречна. Сталин приводит сначала цифры прироста продукции крупной национализированной промышленности за последние три года: 42,2 процента, 18,2 и 15,8. Затем — госплановские черновые наметки пятилетки: среднегодовой прирост продукции крупной промышленности — 15, всей промышленности — 12 процентов. Следует сравнение с американскими темпами (от 2,6 до 8,2) и дореволюционными российскими (10,7 в лучшие годы). Вывод: «Процент ежегодного прироста продукции нашей социалистической промышленности, а также продукции всей промышленности есть рекордный процент, какого не имеет ни одна крупная капиталистическая страна в мире».

В резолюции съезда по сталинскому отчетному докладу нет ни слова о повышении темпов, по отношению к индустриализации употреблены слова «продолжать неослабным темпом», выделена проблема накопления товарных и валютных резервов. А в директивах съезда подчеркнуто, что «центральной проблемой промышленности», решению которой должны быть подчинены все остальные задачи, является снижение себестоимости — количественные задачи на втором плане. Формулировка директив о темпах, не только не требующая их немедленного повышения, но почти предостерегающая от этого, приведена выше.

Задачи деревенской работы в докладе Сталина на съезде рассматриваются в духе изложенного выше пункта беседы с иностранными рабочими. Заслуживает внимания одна деталь: «Неправы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать и точка. Это средство — легкое, но далеко не действительное. Кулака надо взять мерами экономического порядка и на основе советской законности». Запомним дату: это сказано в декабре 1927 года.

Богат событиями, мудр и оптимистичен был этот съезд. Он оставил за спиной полосу первых успехов социалистического строительства и уверенно планировал дальнейшее движение. Он освободился от оппозиционного блока, участники которого в разных комбинациях терзали партию более четырех лет, начиная с выступления Троцкого в 1923 году. Всем надоела возня с оппозицией, всем хотелось спокойно работать, строить новую жизнь засучив рукава. Все с облегчением проголосовали за исключение оппозиционеров из партии. Овацией ответил съезд на итоговое рассуждение сталинского заключительного слова:

«Если просмотреть историю нашей партии, то станет ясным, что всегда, при известных серьезных поворотах нашей партии, известная часть старых лидеров выпадала из тележки большевистской партии, очищая место для новых людей. Поворот — это серьезное дело, товарищи. Поворот опасен для тех, кто не крепко сидит в партийной тележке. При повороте не всякий может удержать равновесие. Повернул тележку, глядь — и кое-кто выпал из нее. (Аплодисменты.) Возьмем 1903 год, период Второго съезда нашей партии. Это был период поворота партии от соглашения с либералами к смертельной борьбе с либеральной буржуазией, от подготовки борьбы с царизмом к открытой борьбе с ним за полный разгром царизма и феодализма. Во главе партии стояла тогда шестерка: Плеханов, Засулич, Мартов, Ленин, Аксельрод, Потресов. Поворот оказался роковым для пяти членов этой шестерки. Они выпали из тележки. Ленин остался в единственном числе. (Аплодисменты.) Получилось так, что старые лидеры партии, основатели партии (Плеханов, Засулич, Аксельрод) плюс двое молодых (Мартов, Потресов) оказались против одного, тоже молодого, Ленина... Теперь ясно каждому большевику, что без решительной борьбы Ленина с пятеркой, без оттеснения пятерки, наша партия не могла бы сплотиться как партия большевиков, способная повести пролетариев на революцию против буржуазии. (Голоса: «Верно!»)». Перечислив другие повороты и других «выпавших из тележки», Сталин закончил: «То же самое надо сказать о настоящем периоде нашей революции. Мы переживаем те-

перь период поворота от восстановления промышленности и сельского хозяйства к реконструкции всего народного хозяйства, к перестройке его на новой технической базе, когда строительство социализма является уже не перспективой только, а живым практическим делом, требующим преодоления серьезнейших трудностей внутреннего и внешнего порядка. Вы знаете, что этот поворот оказался роковым для лидеров нашей оппозиции, испугавшихся новых трудностей и вознамерившихся повернуть партию в сторону капитулянтства. И если теперь выпадут из тележки некоторые лидеры, не желающие твердо сидеть в тележке, то в этом нет ничего удивительного. Это только избавит партию от людей, путающихся в ногах и мешающих ей двигаться вперед. Видимо, они серьезно хотят освободиться от нашей партийной тележки. Ну, что же, если кое-кто из старых лидеров, превращающихся в хламье, намерены выпасть из тележки,— туда им и дорога! (Бурные продолжительные аплодисменты. Весь съезд встает и устраивает тов. Сталину овацию.)»

Оратор не подчеркнул совпадения: в 1923 году, после ухода Ленина, как и в 1903 году, в «тележке» оставались шестеро. Как и тогда, трое старых (Троцкий, Каменев, Зиновьев) и трое более молодых (Сталин, Бухарин, Пятаков). Совпадение было бесспорно случайным, но случайно ли Сталин подвел к нему слушателей? Уж очень нарочито подведение самых разных событий четвертьвековой истории партии, самых разных лиц под одну «теорию тележки», подтверждающую некую закономерность выбрасывания большинства лидеров и оставления одного. Не слишком ловко и привязывание длительной оппозиционной борьбы, начатой в 1923 году, к повороту года 1927-го. Оратор не подчеркнул и различия: XV съезд выбрасывал из «тележки» не пятерых, а четверых. Оставались двое, оба из молодых: Сталин и Бухарин. Но ведь никто не обещал, что это последний поворот.

Еще раз напомним дату: декабрь 1927 года.

А теперь шагнем дальше. Совсем недалеко, тут же рядом: январь 1928-го.

15 января 1928 года Сталин выехал в Сибирь. В Новосибирске, Барнауле, Омске, Рубцовске он собирает партийный актив и проводит совещания. Не прошло и месяца после съезда, на котором Сталин — как и год, и два, и четыре назад — громил троцкистскую «левизну», непреклонно и красноречиво отстаивал генеральную линию партии, ленинский план перехода к социализму. Но того Сталина больше никто никогда не услышит. И в этих первых после XV съезда публичных выступлениях, и во всех последующих звучит другой голос. Впрочем, публичными их можно назвать с одной оговоркой: они были впервые опубликованы спустя 21 год, притом в краткой записи.

Тема была узкая, конкретная: хлебозаготовки. Подход к теме был широкий, как подобает вождю. Сначала злоба дня: план заготовок не выполняется, поэтому надо нажать. Как нажать? Очень просто: с помощью судебных и прокурорских работников, применяя статью Уголовного кодекса о спекуляции. Ведь ясно, что план не выполняется из-за того, что кулаки хотят спекулировать хлебом.

Это было разумно: начинать поворот «тележки» с удара по кулакам. Момент опасный, ведь «теория тележки» не дает ответа на вопрос, чья очередь вылетать на повороте. Посему начинать надо полегче. У коммунистов нет причин любить эксплуататоров, и ясно, что защита партийной линии должна быть наименее уверенной именно в этом пункте. И все-таки местные работники спорили с генеральным секретарем. Они были, видно, старого воспитания, а главное — слишком прилежно читали то, что он сам говорил месяц-два назад. Приходилось вразумлять:

«Вы говорите, что применение к кулакам 107 статьи есть чрезвычайная мера, что оно не даст хороших результатов, что оно ухудшит положение в деревне. Особенно настаивает на этом т. Загуменный. Допустим, что это будет чрезвычайная мера. Что же из этого следует? Почему применение 107 статьи в других краях и областях дало великолепные результаты, сплотило трудовое крестьянство вокруг Советской власти и улучшило положение в деревне, а у вас, в Сибири, оно должно дать якобы плохие результаты и ухудшить положение? Почему, на каком основании? Вы говорите, что ваши прокурорские и судебные власти не готовы к этому делу. Но почему в других краях и областях...»

Пожалуй, достаточно. «Теоретическое обоснование» отхода от генеральной линии ясно: «почему в других краях...»

Но ведь не за тем же генеральный секретарь сразу после съезда сорвался с места на три недели, чтобы улучшить хлебозаготовки в Сибирском крае. Ухватившись за эту оглоблю, он приступает к более радикальному повороту «тележки» партийной политики:

«Нет гарантий, что саботаж хлебозаготовок со стороны кулаков не повторится в будущем году. Более того, можно с уверенностью сказать, что пока существуют кулаки, будет существовать и саботаж хлебозаготовок. Чтобы поставить хлебозаготовки на более или менее удовлетворительную основу, нужны другие меры. Какие именно меры? Я имею в виду развертывание строительства колхозов и совхозов».

Вот как. Не от коренной задачи социалистического преобразования деревни, а от текущей хлебозаготовительной надобности, оказывается, надо идти к мысли о колхозах и совхозах. Глубочайший социальный переворот, составляющий, по Ленину, целую эпоху («на хороший конец, одно-два десятилетия»), у Сталина превратился в оперативную кампанию, которую можно, как и хлебозаготовки, проводить административными средствами. До этого, пожалуй, не додумывалась ни одна оппозиция. Но ведь тут было не до теории. Коллективизацию как раз и требовалось обосновать текущей, острой потребностью — иначе нельзя было уйти от своих же вчерашних слов об осторожности, о вреде торопливости, о том, что массовая коллективизация — дело несегодняшнее, что к нему мы еще не подошли. А уйти от этих слов надо было непременно. Ибо вопреки всему, что было до того говорено и писано, Сталин теперь считал возможным ставить сроки этого крупнейшего общественного преобразования. Не приблизительные, а точные, не дальние, а близкие: «...нужно добиться того, чтобы в течение ближайших трех-четырех лет колхозы и совхозы, как сдатчики хлеба, могли дать государству хотя бы третью часть потребного хлеба».

Однако и здесь еще не кончался поворот «тележки». Не к кулакам вел столь устрашающий заход с прокурорами и Уголовным кодексом, не кулаков боялись обидеть спорившие с генсеком сибиряки. С кулаков только начиналась речь — с кого же иначе! — а вела она дальше: «нужно покрыть все районы нашей страны, без исключения, колхозами (и совхозами), способными заменить, как сдатчика хлеба государству, не только кулаков, но и индивидуальных крестьян».

Вроде бы не только бесспорно, но и старо. Колхозы нужны, кто станет с этим спорить! Новое было в том, что это ставилось в зависимость от дела срочного, текущего, от хлебозаготовок. Новое было в том, что генсек, еще вчера хваливший-ся прекрасной смычкой госпромышленности с крестьянством через кооперацию разного рода, через госторговлю, через государственные синдикаты (контрактация), теперь заявлял, что советский строй не может держаться на двух разнородных основах — социалистической промышленности и индивидуальном сельском хозяйстве.

Нет, не случайно он не публиковал эту запись двадцать один год. В 1949-м ему уже некого было бояться, а в 1928-м это был бы скандал: неприлично. Ведь не прошло и месяца после XV съезда, исключившего из партии оппозиционеров за те же самые речи.

Только в 1949 году опубликовано впервые и письмо ко всем организациям ВКП(б) «Первые итоги заготовительной кампании и дальнейшие задачи партии». Оно было подписано так: «По поручению ЦК ВКП(б) И. Сталин». Писанное в феврале, сразу по приезде из Сибири, оно содержало мысли, обкатанные в январских речах. Но это уже был документ, хоть и не для печати. Тут нельзя было просто «забыть» о некоторых неизбежных вопросах. Например, о таком: а как с государственными резервами, которыми так успешно побивали кулака еще вчера? Пришлось сделать изящное па в этом направлении: «Однако этих резервов не оказалось, как известно, у государства». И в том же письме: «Разговоры о том, что мы будто бы отменяем нэп, вводим продразверстку, раскулачивание и т. д., являются контрреволюционной болтовней, против которой необходима решительная борьба». Чтоб не забывались.

Ну и, конечно же, письмо строго предостерегало от перегибов. Уголовный кодекс применять, но незаконных арестов чтоб не было. Самообложение усилить, но разверстку — ни-ни. И никакого чтоб этого левацкого прямого товарообмена, а только «в исключительных случаях допускать в отношении остродефицитных товаров распространение льгот пайщиков кооперации на некооперированных крестьян при продаже ими хлеба». Теперь понятно?

А потом был доклад «О работах апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК». Он почему-то начинался с большого — чуть не треть доклада — раздела «О самокритике», хотя такой вопрос на пленуме не стоял. Сообщалось, что самокритика нужна нам как воздух, как вода. Чтоб неясностей не оставалось, Сталин прямо указывал, кого нужно критиковать: вождей. Вот так, по-революционному: чтоб не отрывались от масс, надо их критиковать. И пожурил массы за то, что они «начинают смотреть на вождей снизу вверх, зажмурив глаза, и нередко боятся критиковать своих вождей». И погрозил гибелью партии, если вожди зазнаются. И призвал: «...надо дать советским людям возможность «крыть» своих вождей...». И еще уточнил: «...необходимо внимательно выслушивать всякую критику советских людей, если она даже является иногда не вполне и не во всех своих частях правильной». Многим, верно, невдомек тогда было: к чему бы это после разгрома всех оппозиций столько о самокритике, да еще вождей велят крыть? А сейчас мы просто вспоминаем, что сделал первый человек в Китае, когда захотел убрать второго. Он выпустил дацзыбао: «Огонь по штабам!»

В том же докладе по-новому разъяснялся вопрос о статье 107 Уголовного кодекса. В феврале, как помним, писано было, что это только на один раз, на этот год. В апреле «тележку» довернули еще чуть: «...если в будущем заготовительном году не будет чрезвычайных обстоятельств и заготовки пойдут нормально, 107 статья не будет иметь применения. И наоборот, если чрезвычайные обстоятельства наступят и капиталистические элементы начнут опять «финтить», 107 статья снова появится на сцене».

В мае раздался первый залп по истинной цели всех этих маневров. В беседе «На хлебном фронте» Сталин сказал — для начала без имен,— что «есть люди», не понимающие значения борьбы с кулаком. Разговоры, что кулак не опаснее городского нэпмана, объявлялись «пустой либеральной болтовней», усыпляющей бдительность... Разъяснялось, что мелкому капиталисту в городе противостоит крупная промышленность, а кулаку — лишь неокрепшие колхозы и совхозы. Правда, то же самое говорила «новая оппозиция», и ей тогда сам генсек резонно возражал, что те же госпромышленность, транспорт, госторговля, банки противостоят не только городскому, но и сельскому капиталисту, и противостоят успешно. Сталин клеймил тогда Каменева и Зиновьева «паникерами», испугавшимися кулака, «капитулянтами», не верящими в победу социалистического хозяйства. Но теперь он говорил, что не понимать, сколь силен кулак,— «это значит сойти с ума, порвать с ленинизмом, перебежать на сторону врагов рабочего класса». А после ругани — к делу: «Широкая волна образования новых колхозов и расширение старых в начале этого года должны дать значительное увеличение производства хлеба в колхозах к концу года». Вот уже и «широкая волна». Конечно, когда крестьянам собирались показывать на опыте выгоды коллективного хозяйства, никто не ждал сразу «широкой волны», значительных результатов к «концу года». А стоило показать 107 статью — и волна тут как тут, и время меряется другими мерками.

Проведя свою линию на апрельском пленуме, Сталин попытался использовать первую победу, чтобы немножко ослабить обязательность решений прошедших съездов партии. В июне он пишет письмо «Ответ Фрумкину», которое посылает членам Политбюро (впервые опубликовано в 1949 году). Фрумкин, работавший по хлебозаготовительной части, попытался напомнить о решениях XIV и XV съездов. И Сталин отвечал ему, во-первых, что XIV съезд тут вообще ни при чем и незачем тащить нас назад — мы уж вон сколько отшагали вперед. А XV съезд — он же призвал бороться с кулаком. Как истолковывал эту борьбу и съезд, и он сам в то время, Сталин умолчал. Он всеми силами старался доказать, что чрезвычайные меры — это и есть выполнение решений XV съезда.

Но в июле произошла заминка. Поворот «тележки» встретил сопротивление на пленуме ЦК. Пленум длился девять дней, Сталин выступал по меньшей мере с тремя большими речами, в этих речах есть прямое указание на споры по основным вопросам деревенской политики. И здесь он применяет один из своих излюбленных приемов игры на публику. Если сравнить его речи на пленуме, впервые опубликованные через двадцать один год, и его доклад ленинградскому партактиву об итогах пленума, сделанный на другой же день и немедленно опубликованный, перед нами опять предстанут два разных человека. На пленуме Сталин крутит и вертит, отстаивая главное: сохранение заниженных цен на хлеб. Это ключ к той самой основной троцкистской линии — ускоренная индустриализация за счет сверхналога с деревни,— из которой вытекает все остальное: чрезвычайные меры (без них не выколотить хлеб при низких ценах), ускоренная коллективизация, также для облегчения хлебозаготовок, раскулачивание. В речи 9 июля (не для печати) Сталин говорит откровенно, что крестьянство «платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары промышленности — это, во-первых, и более или менее недополучает на ценах на сельскохозяйственные продукты — это, во-вторых. Это есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъема индустрии, обслуживающей всю страну, в том числе крестьянство. Это есть нечто вроде «дани», нечто вроде сверхналога...» Здесь излагается политика не только по существу, но даже по форме, по словам настолько откровенно троцкистская, что так и ждешь: сейчас генсек на нее обрушится, как делал не раз еще недавно. Но он продолжает (с места, где мы прервали цитату): «...который мы вынуждены брать временно для того, чтобы сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии...» Вынуждены — и все тут. Аргументация? Пожалуйста: «Мы не были бы большевиками, если бы замазывали тот факт, и закрывали глаза на то, что без этого добавочного налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша страна пока что обойтись не могут». Здесь бесспорный «шаг вперед» по сравнению с прежними речами, где такой путь индустриализации отвергался с возмущением. Далее Сталин говорит, что этот добавочный налог можно уничтожить, во-первых, лишь постепенно, через ряд лет, а во-вторых,— путем снижения цен на промышленные товары и снижения издержек производства хлеба. Тем самым путь повышения цен на хлеб не принимался даже на будущее. В речи на пленуме двумя днями позже сказано и больше того: что сами оппоненты генсека отказались «от политики восстановительных цен» на хлеб. (Восстановительные — это цены, покрывающие издержки производства. Что означает для крестьянства — будь оно единоличное или колхозное — намерение государства годами не платить восстановительных цен, понять нетрудно.) А еще через два дня, теперь уже в докладе «для печати», Сталин с удовлетворением сообщал о решении пленума провести «некоторое повышение цен на хлеб...» Так он выдал за свою заслугу то решение пленума, против которого рьяно выступал.

Это был третий пункт решений пленума, сообщенный в докладе о его итогах. Первые два были такие: «а) немедленная ликвидация практики обхода дворов, незаконных обысков и всякого рода нарушений революционной законности; б) немедленная ликвидация всех и всяких рецидивов продразверстки и каких бы то ни было попыток закрытия базаров...» Любопытен сам этот перечень средств воздействия на крестьянство, применявшихся еще до провозглашения политики «ликвидации кулачества как класса», да и не о кулачестве ведет здесь речь Сталин, а о крестьянстве в целом. Решимость отменить эти меры особенно умилительна, если учесть, что не только январскими речами сам генсек добился их введения, но еще четырьмя днями раньше, на пленуме, подробно объяснял, сколь не правы те, кто полагает, что чрезвычайные меры можно исключить в будущем. Ссылался при этом на Ленина. И не заметил (или не счел нужным замечать), что цитата из Ленина побивает скорее его, чем оппонентов. Ленин писал, что нельзя навсегда исключить чрезвычайные меры, потому что к ним «война, например, может принудить...» Так ведь то война.

На сей раз, однако, вышла неувязка: сам Троцкий оказал Сталину плохую услугу. Июльский пленум частично отменил чрезвычайные меры. Троцкий же,

который мог и вовсе не знать, как относился к этому Сталин, в открытом письме обрушился на такое решение, отстаивая политику чрезвычайных мер. Получив такого сторонника, Сталин оказался в глазах посвященных — то есть участников пленума и более или менее широкого партийного актива — в весьма неудобном положении. Это неудобство еще более возросло, когда Бухарин выступил в «Правде» со своей знаменитой статьей «Заметки экономиста».

На первый взгляд кажется вполне естественным, что Бухарин — правая рука Сталина в деле теоретического разгрома троцкистско-зиновьевского блока, основная мишень нападок оппозиционеров — выступает с очередной развернутой критикой троцкистских взглядов. Но чем дальше читаешь статью, тем более странным кажется ее тон. Троцкисты уже несколько месяцев как исключены из партии, их уже без лишнего шума арестовывают, высылают, они перестали хоть как-нибудь влиять на политику партии, а в статье Бухарина такая страсть, такой запал, будто речь идет о настоящем времени, борьба кипит и опасность велика. И вдруг соображаешь: так и есть, противник не в прошлом, он перед ним во плоти. «Троцкисты» — лишь псевдоним, прием автора статьи. Его противник — Сталин. Именно он говорил в последние месяцы все то, что теперь громит Бухарин. Правда, троцкисты тоже говорили это, почему и удалось Бухарину замаскировать критику псевдонимом, затрудняя прямой ответный удар. Но троцкисты говорили раньше — Сталин говорит теперь. Вот один пример. С начала 1928 года — в январских речах, затем на апрельском пленуме, затем на июльском — Сталин настойчиво повторяет, что деревня разбогатела благодаря трем подряд урожайным годам и теперь может припрятать хлебные излишки. Вывод из этого тезиса ясен: допущен перекос в ущерб индустриализации, в пользу села, в этих условиях нелепо требовать повышения цен на хлеб, надо, наоборот, поприжать деревню и взять с нее «дань» в пользу промышленности.

Это звучит очень революционно, особенно если учесть, что вслед за словами «растет и богатеет деревня» Сталин подпускает, что особенно богатеет кулак. Кто не захочет раздеть эксплуататоров на пользу социалистической индустрии? Но это лишь словесность, хоть и красивая. А у Бухарина против этого (то есть, разумеется, не против этого, а против дословно похожих рассуждений троцкистов) — факты, экономический анализ. Ряды цифр выстраиваются в доказательный вывод: доходы крестьян растут, но при этом хлебное хозяйство подорвано чрезмерным изъятием средств в пользу промышленности. Бухарин доказывает с цифрами в руках, что чуть не половину возросших доходов деревни составляют заработки отходников, что означает, во-первых, ускоренный рост промышленности при далеко не блестящем положении хлебного хозяйства, а во-вторых, массовый рост доходов отнюдь не кулацких: кулакам отходничество ни к чему. Ясны и практические выводы: стимулирование отходничества стране, и промышленности в том числе, не требуется, ибо рабочих рук и так избыток, а вот подрыв хлебной базы опасен, и в первую очередь для самой индустриализации. С особой яростью, с возмущением, почти явно искусственным, обрушивается Бухарин на письмо Троцкого против решений июльского пленума об отмене чрезвычайных мер.

Тут-то и выявилось, сколь нелегко бывает при повороте «тележки» выбросить другого и усидеть самому. Бухарин не выступил с оппозиционной платформой против линии партии, не выступил и с личной критикой Сталина, напротив, он защищает генеральную линию. Но так рьяно защищает, что генсек то и дело натыкается на нее сам.

Отступать поздно, Сталин может только расширять атаку. В октябре он выступает на пленуме МК и МКК ВКП(б) с речью «О правой опасности в ВКП(б)», которая публикуется в «Правде». Сталин доказывает, что в партии есть правый уклон, что это явление не пустяковое, а серьезное, и называет его основные признаки: правые против борьбы с кулаком и за свертывание темпов индустриализации. Он утверждает затем, что хотя из двух опасностей — правой и «левой» — «обе хуже», все же надо сосредоточить внимание на борьбе с правой, ибо «партия за годы борьбы с «левым», троцкистским уклоном научилась многому и ее уже нелегко провести «левыми» фразами». (Ах, где те золотые деньки 1925—1927 годов, когда партия, по утверждению ее генсека, была невосприимчива к правой опасности! Всего несколько месяцев прошло — и она уже готова этой опасности поддаться.)

В ноябре 1928 года пленум ЦК обсуждал контрольные цифры на 1928/29 хозяйственный год, первый год пятилетки. Речь Сталина на этом пленуме называлась «Об индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)». Три вопроса ставит оратор в самом начале речи: о темпах индустриализации, о сельском хозяйстве, о правом уклоне. В связи с первым вопросом затронуты самые разнообразные темы: и «индустриализация» Петра Великого, и дооктябрьская статья Ленина, и рассуждение о том, что кабы нам да германскую промышленность, то и не нужны особо высокие темпы индустриализации. Одно не упоминается ни единым словом, именно то, что имеет самое близкое отношение к теме: XV съезд и его директивы по пятилетнему плану. И немудрено: установки сталинской речи прямо противоположны линии съезда, ибо теперь выдвигается задача односторонняя: ускоренное развитие тяжелой индустрии. Не упомянут съезд и в связи со вторым вопросом, о сельском хозяйстве. И лишь по третьему вопросу, о борьбе с правым уклоном, помянут XV съезд. Помянут не без раздражения: «...XV съезд приплетен здесь ни к селу ни к городу». Такими словами начинается отповедь члену ЦК Фрумкину, который вновь обратился с письмами в ЦК и ЦКК и вновь напоминал о решениях XIV и XV съездов.

1929 год начался с выступлений Сталина на объединенном заседании Политбюро ЦК и Президиума ЦКК, опубликованных впервые в 1949 году в краткой записи под названием «Группа Бухарина и правый уклон в нашей партии». Здесь впервые названы имена: Бухарин, Рыков, Томский. Здесь сказано о разногласиях по тем же вопросам — темп индустриализации и пути решения зерновой проблемы,— впервые проявившихся на июльском пленуме. Здесь сказано, что статья «Заметки экономиста» — это попытка пересмотреть или «подправить» линию ЦК. Позднее, в речах гораздо более пространных, но для печати, то есть публиковавшихся немедленно, не нашлось места для упоминания этой статьи. Неудобно было Сталину публично признавать, что узнал себя в описании позиции, которую Бухарин критиковал как троцкистскую.

Первым из таких публичных выступлений против Бухарина была речь на пленуме ЦК и ЦКК в апреле, впрочем, напечатанная в то время в «Правде» с большими изъятиями. Там тоже шел бой, который нельзя было проигрывать. Пленум принимал тезисы о пятилетнем плане к XVI партконференции, которая этот план утвердила. На этом пленуме официальная критика правых была развернута уже во всех деталях. Она продолжалась и в других выступлениях Сталина в течение 1929 и 1930 годов.

С середины 1929 года генсек необычайно откровенен. Видимо, на апрельском пленуме он убедился, что Бухарин, Рыков и Томский сложили оружие. Это подтверждает и небывало резкий тон его речей. Когда-то он сдерживал Каменева и Зиновьева, требовавших немедленных репрессий против Троцкого. Потом, разгромив на XIV съезде «новую оппозицию», оставил высокие посты ее лидерам. Репрессий всегда добивались другие, а Сталин соглашался на них последним. Рано было показывать когти, пока в «тележке» оставался еще кто-то, кроме него. И даже в 1928 году, написав статью «Докатились!», в которой обосновывались аресты и высылки троцкистов, Сталин не опубликовал ее — она увидела свет лишь после войны, когда вышел соответствующий том его сочинений. А тут, в отношении правых, чьи прегрешения были гораздо меньшими, а капитуляция скорой и безоговорочной — строгость небывалая. На апрельском пленуме Сталин требует снять Бухарина и Томского с занимаемых ими постов (Коминтерн, «Правда», ВЦСПС), предупредив, что при малейшей попытке неподчинения они будут выведены из Политбюро. В этой речи гремит и первый, дальний еще гром грозы, разразившейся в 1937-м: Сталин намекает на причастность Бухарина... к заговору левых эсеров. От политических споров к обвинению в антигосударственной деятельности — это тоже было внове. И в то же время так понятно: побит последний соперник из шестерки, больше некого бояться, некого стесняться, некого удерживать в союзниках. В конце концов Сталин не боится

даже признать, что отброшены и линия XV съезда, и вся новая экономическая политика, разработанная Лениным. Вот кое-что из его речей и статей 1929—1930 годов.

«Если раньше кулак был еще сравнительно слаб,.. то теперь... он получил возможность маневрировать на рынке, он получил возможность отложить хлеб, эту валюту валют... Смешно было бы теперь надеяться, что можно взять хлеб у кулака добровольно».

Еще летом 1928-го он отмечал недовольство деревни, даже угрозу смычке и четко определял причину этого: не имея резервов, государство путем чрезвычайных мер затронуло страховые запасы хлеба у крестьян. Спустя несколько месяцев, весной 1929-го, он уже высмеивает Бухарина, объясняющего брожение деревни «перегибами» в политике, и дает новое объяснение: брожение отражает обострение классовой борьбы, каковое обострение неизбежно при наступлении социализма. Первый, но, увы, не последний, раз прозвучали слова о неизбежном обострении классовой борьбы.

Далее, не стесняясь троцкистских слов, Сталин вновь настойчиво повторяет тезис о необходимости «дани», «перекачки средств», «сверхналога» на крестьян. Не утруждая себя поисками аргументов, он обходится конструкцией типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда»: «Не означает ли это, что беря этот добавочный налог, мы тем самым эксплуатируем крестьянство? Нет, не означает. Природа Советской власти не допускает какой бы то ни было эксплуатации крестьянства со стороны государства». С той же степенью убедительности дан ответ на вопрос, посилен ли этот добавочный налог для крестьянства (именно так говорилось: «для крестьянства» — Сталин и не пытается утверждать, будто речь идет о сверхналоге на кулачество). Ответ: посилен, потому «что взимание этого добавочного налога происходит в условиях непрерывного улучшения материального положения крестьянства». То есть посилен, потому что посилен. А на Украину надвигался голод, от которого крестьяне умирали,— яркое свидетельство «посильности» сверхналога.

Предметом высмеивания стало и то, что сам Сталин отстаивал всего полутора годами раньше: «Известно, что Бухарин убегает от чрезвычайных мер, как черт от ладана». Интересно, что эти чрезвычайные меры в одном месте именуются «уральско-сибирским методом хлебозаготовок». Выше показано, как генсек организовывал в Сибири этот «метод», ссылаясь на «другие края и области», но не называя их. Теперь другим ставят в пример Сибирь. Трудно отделаться от мысли, что тогда, в сибирских речах, эти «другие края», успешно применявшие прокуратуру на хлебозаготовках, были мифом.

На глазах меняются сталинские критерии правильности политики партии. Еще в 1928 году в одной из речей он говорил, что поскольку после насильственного изъятия хлеба не произошло сокращения посевов,— значит серьезного недовольства крестьян нет. И это — отсутствие или наличие сокращения посевов — было, конечно, верным критерием. Но в 1929 году Сталин не желал его применять. О сокращении посевов (теперь уже происшедшем) в кулацких (по его словам) хозяйствах он говорил как о доказательстве необходимости чрезвычайных мер. Теперь уже даже восстания не были доказательством ошибок в политике. Сталин называет группу Бухарина «мелочной» за то, что она «пытается теперь использовать в своих фракционных целях такую ничтожную мелочь, как волнения в Аджарии. В самом деле, что представляет собой это так называемое «восстание» в Аджарии в сравнении с такими восстаниями, как кронштадтское восстание?» И дальше: «От нас требуют, очевидно, чтобы у нас не было недовольных элементов. Не с ума ли они сошли, эти товарищи из группы Бухарина?»

Еще в конце 1927 года поворот сознания крестьян в пользу коллективизации рассматривался как отдаленный и длительный процесс, притом процесс объективный, протекающий по своим законам. И хотя политика государства может его ускорять или замедлять, в любом случае это крупнейшее общественное преобразование происходит постепенно и не поддается планированию даже с точностью до года. В 1929 году Сталин уже не сомневается, что этим процессом можно управлять по своей воле, определяя сроки с точностью до месяца или недели. «Нам удалось повернуть основные массы крестьянства...», «нам удалось организовать этот коренной перелом в недрах самого крестьянства...» — это, по Сталину, достижения одного года. Вспомним ленинское: «работой долгого ряда лет подготовить...»

О законах и постановлениях, подтвержденных XV съездом (включая недопустимость раскулачивания), Сталин говорит: «Противоречат ли эти законы и эти постановления политике ликвидации кулачества, как класса? Безусловно, да! Стало быть, эти законы и эти постановления придется теперь отложить в сторону в районах сплошной коллективизации, сфера распространения которой растет не по дням, а по часам». Это сказано в январе 1930 года. Никакого съезда после XV еще не было. Не съезд отменил решения съезда, а Сталин.

Его тут же спросили свердловцы: коли теперь новая политика — ликвидация кулачества как класса, то какими методами должна она осуществляться? Ответ: «Основным методом осуществления ликвидации кулачества, как класса, является метод массовой коллективизации. Все остальные меры должны быть приспособлены к этому основному методу. Все, что противоречит этому методу или ослабляет его значение, должно быть отброшено». На первый взгляд в этом ответе содержится лишь простая тавтология. Ясно, что сплошная коллективизация означает ликвидацию не только класса кулаков, но и класса единоличных крестьян вообще. Может быть, Сталин хотел этим сказать, что не нужно раскулачивания, что надо всего лишь побыстрее загонять кулаков в колхозы? Нет, он четко объяснил, что раскулачивать надо, а пускать бывших кулаков в колхозы нельзя. Он обругал правых и за отстаивание политики кооперирования, этой предварительной ступени коллективизации, которая еще недавно удовлетворяла его и которая, между прочим, допускала участие кулаков в кооперативах, хотя и с ограничением прав. Так в чем же смысл этого ответа? В знаке равенства между раскулачиванием и коллективизацией, поставленном как бы ненароком, самим приравниванием того и другого к ликвидации кулачества как класса. Сталин высказался формально (и теоретически) правильно, настолько правильно, что будто бы ничего не сказал (если рассматривать этот ответ изолированно от других ответов беседы). Но в горячке «великого перелома» массе низовых работников ничего не стоило совершить логическую ошибку: если коллективизация есть метод ликвидации кулачества как класса, то и ликвидация кулачества как класса (по другим речам читай: «раскулачивание») есть метод коллективизации. Сталин этой ошибки не сделал, упаси бог. Он только предоставил другим сделать ее. Другие покатились от высылки кулаков к высылке «подкулачников», а затем к агитации середняков за колхозы с помощью пистолета — все это достаточно ярко описано у Шолохова в «Поднятой целине», у Залыгина в «На Иртыше» и у других.

А Сталин пришел исправлять «чужие» ошибки. Разжегши страсти и позволив сделать то, что ему было нужно, мессия явился со своим «Головокружением от успехов» и «Ответом товарищам колхозникам».

Эти два выступления, а также основанное на них постановление ЦК от 14 марта 1930 года «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении» ясно показывают и методы ликвидации кулачества, и, главное, методы коллективизации. Сталин поминает угрозу военной силой, угрозу лишить поливной воды (в районах орошаемого земледелия) и промтоваров, допущение «насилия в области хозяйственных отношений с середняком».

Однако надо было отмежеваться так, чтобы не помешать теми же темпами и дальше загонять середняка в колхоз. Вот почему постановление, сказав очень коротко о главном — нарушении добровольности в колхозном движении,— затем сосредоточивает внимание на мелочах, в которых отступить было не жаль: на «головотяпском перескакивании» от артельной формы к коммуне, на закрытии церквей и базаров, на обобществлении мелкого скота и птицы, на ликвидации приусадебных огородов. С этим всем предлагается решительно покончить. А вот главное — взятый темп коллективизации,— наоборот, закрепить. Предписывание сроков, повышающее процент коллективизации «в отдельных районах» до 90 за несколько дней, именуется «чиновничьим декретированием», а поднятие этого

процента за год-полтора по всей стране до 40—50 именуется успехом. И подтверждается постановление ЦК о темпе коллективизации, предписывающее весьма короткие сроки — в основном один-два года — для завершения коллективизации во всех основных зерновых районах. Это постановление (январь 1930 года) не вязалось не только с решениями XV съезда, принятыми до сталинского поворота, но и с пятилетним планом, принятым XVI партконференцией уже после этого поворота: ведь он предусматривал 20 процентов коллективизации за пять лет, а тут получалось 40 процентов за один год. Этим Сталин похвалялся. И в «Головокружении от успехов» критику предварял главным требованием: «з а к р е п и т ь достигнутые успехи и планомерно и с п о л ь з о в а т ь их для дальнейшего продвижения вперед». А в «Ответе т. М. Рафаилу», не предназначавшемся тогда для печати, писал откровенно о своем «Головокружении от успехов» и сопутствующих решениях: «Здесь, в марте 1930 г., не было никакого поворота в политике. Мы одернули зарвавшихся товарищей,— только и всего».

В 1929 году, как и позднее, Сталин настойчиво отстаивал единственный мотив ускорения коллективизации: решение хлебной проблемы. Для подтверждения этого он не гнушался жульнической статистикой, приводя цифры о том, что колхозы и совхозы уже дают больше хлеба, чем давали кулаки, и тем самым решается проблема «заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов». Между тем ясно, что проблема решается лишь в том случае, если колхозы заменяют производство не только кулацкое, но и тех середняков и бедняков, которые в эти колхозы вступили. А середняки были главными держателями хлеба, так что, «забыв» о них, Сталин значительно упрощал задачу. Он не скупился на обещания: «Благодаря росту колхозно-совхозного движения мы окончательно выходим или уже вышли из хлебного кризиса. И если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире!» Три года — какой знакомый срок! Сталин не любил заставлять ждать обещанного больше, чем три года. Однако через три года после этих посулов наша страна не стала самой хлебной в мире — она была страной с карточками на хлеб. И если голодные крестьяне все-таки строили колхозы, а голодные рабочие строили Магнитку и Кузнецк, то не благодаря сталинскому руководству, а вопреки ему. Он же не последний раз эксплуатировал героизм народа.

Ясно, что хлебная проблема не решалась такими методами — так можно было только сорвать ее решение, что и сделал Сталин. Отрицательные последствия сталинского способа коллективизации были возмещены в зерновом хозяйстве лишь через несколько лет, в животноводстве — спустя десятилетия. Трудно сказать, были ли они вообще когда-нибудь устранены в психологии тех крестьян, которые в том же духе стали относиться к труду в колхозах. (Колхозный строй соответствует интересам крестьянства, и зло было не в коллективизации вообще, а в извращенных методах ее проведения. Сами эти методы не сводились к административному насилию над людьми — голое насилие над всеми крестьянами было не по зубам даже Сталину. Точнее говорить о насилии над объективными законами общественного развития, включавшем и репрессии, и обман, и налоговое давление, и эксплуатацию энтузиазма передовых крестьян, и эксплуатацию низменных чувств толпы — вроде дележа имущества раскулаченных. Крестьянству пришлось заплатить за все — вот почему слово «насилие» ярче всего выражает его представление о коллективизации по-сталински.)

Одна цель была достигнута: с криками, шумом о правой опасности «тележка» была повернута, и Бухарин вылетел на повороте. Еще до XVI съезда его вывели из Политбюро. Троцкий, потом Каменев и Зиновьев тоже пытались изменить политику партии между съездами — и не смогли. Генсек смог. К XVI съезду он пришел победителем.

Может быть, именно ощущение победы, безраздельной власти, еще не отравленное горечью поражения, которое ему готовила в 1931—1933 годах экономика, побудило Сталина к необычайной откровенности на съезде в июне 1930 года. Он не скрывал, что был инициатором пересмотра оптимального варианта пятилетки в сторону дальнейшего ускорения, вне связи с реальностью. Он заявил в отчетном докладе съезду, что нужно «д а л ь н е й ш е е у с к о р е н и е темпа развития нашей промышленности», а «люди, болтающие о необходимости с н и ж е н и я темпа развития нашей промышленности, являются врагами социализма...» Он похвалялся решениями о повышении контрольных цифр по крупнейшим отраслям. Он развернул целую «теорию» о том, что планирование не кончается составлением плана и надо повышать план на ходу.

Возможно, он и впрямь поверил, что потоки чугуна и ход конвейеров подвластны его слову — прикажи, и пойдут быстрее. Иначе не проговорился бы в своем длинном рассуждении о предложениях троцкистов по пятилетке. Он настолько забыл прошлые речи, что решил похвалиться: мы более «сверхиндустриалисты», чем троцкисты, поскольку предлагаем темпы более высокие, чем предлагали они. Приведенное Сталиным для осмеяния старое рассуждение Троцкого (теперь оно именуется «капитулянтской теорией потухающей кривой») было просто изложением общепринятого в партии в 1925—1927 годах положения о том, что темпы периода нового строительства неизбежно ниже темпов периода восстановления. Наконец, Сталин был так неосторожен, что привел конкретные цифровые предложения Троцкого и троцкистов, чтобы противопоставить их своим и осмеять. Оказывается, Троцкий предлагал в свое время для пятилетки среднегодовой прирост промышленной продукции 18 процентов. Противопоставляя этому предлагаемые на 1930/31 хозяйственный год 47 процентов, Сталин не мог еще знать, что в 1930 году фактический прирост составит 22, а в 1931-м — 20 процентов, то есть очень близко к цифре Троцкого и очень далеко от его, сталинской цифры. Но он должен был знать, что тогда, когда выступал с этим предложением Троцкий, таким было общее мнение,— 18—19 процентов предлагала, например, комиссия Куйбышева. Даже более скромные темпы — 12 процентов — сам Сталин называл тогда рекордными. Но дело в конце концов не в цифрах. Характерно само намерение «перетроцкистить» троцкистов. И после этого Сталин еще повторил, что главная опасность в партии — правая опасность!

Впрочем, это говорилось больше для порядка. Сталин уже не боялся правых. Он победил — оставалось прибрать осколки побитой в драке посуды. И тут оказалось, что набито и наколочено много, приборка будет непростой. После лихих поворотов хромало не только сельское хозяйство — хромала промышленность. Еще совсем недавно звучали призывы критиковать «вождей», вообще поддерживать критику, даже если в ней только пять процентов правды. Но теперь, поскольку правых уже не было в «штабах», критика вождей не могла означать критику Бухарина, Рыкова, Томского. Она могла означать только критику Сталина и его людей, сменивших правых (место Рыкова в Совнаркоме, например, занял Молотов). И зазвучали звонки отбоя. В решении ЦК подвергается критике самый рьяный критикан — Демьян Бедный. Не в силах понять суть событий, раздосадованный неожиданностью, Демьян пишет письмо Сталину. И генсек в длинном личном письме отчитывает поэта. Он отвечает, что да, в его фельетонах «имеется ряд великолепных мест, бьющих прямо в цель» (неужели меньше пяти процентов?). Но есть еще «ложка такого дегтя, который портит всю картину». Это «к л е в е т а на наш народ, р а з в е н ч а н и е СССР...». Сколько раз, из скольких уст слышали потом сатирики подобные слова!

Однако усмирение Демьяна ничуть не помогает усмирить вырывающуюся из рук хозяйственную машину. В июне 1931 года в речи «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства» Сталин предлагает разукрупнить хозяйственные объединения — то есть сделать более плотным административный контроль за предприятиями, приблизить к ним ведомства. Но такие меры уже явно не помогали, крах ускорительства становился все очевиднее.

В 1932 году вождь замолчал. Все его выступления за год уместились на 25 страницах 13-го тома сочинений — короткие официальные приветствия «по случаю», одно короткое внешнеполитическое интервью, один ответ на письма с вопросами по истории большевизма. За год была одна статья — «О значении и задачах бюро жалоб». За год не было ни одной речи — не выступил даже на XVII партконференции, обсуждавшей директивы на вторую пятилетку и план на

1932 год. Все публикации года, вместе взятые, короче одной речи на совещании хозяйственников в июне 1931 года — а в том году за пять месяцев было два таких совещания, и на обоих Сталин выступил. Еще раньше статьи и речи одного года не умещались в целый том сочинений.

Что же произошло? Догадаться нетрудно: получив в 1931 году 20 процентов прироста вместо 45, которых он требовал, вождь понял, что в экономике не все подчиняется приказам. И предоставил некоторое время другим катить телегу ускорительства, которая уже сделала свое дело, которую пора было заменять. Не Сталин, а Орджоникидзе в докладе на XVII конференции сообщал о приросте промышленной продукции за прошедший год, в два с лишним раза меньшем, чем планировалось. И он же докладывал о запланированном на 1932 год приросте в 36 процентов — столь же нереальном, как и предшествующие 45. Не Сталин, а Молотов и Куйбышев называли фантастические контрольные цифры на вторую пятилетку (когда двумя годами позже XVII съезд утвердил окончательные директивы, его цифры просто не имели ничего общего с наметками конференции). Сталин счел за благо на время отойти в сторону, чтобы с тем большим успехом снова сыграть потом роль гения, который первым откажется от старой линии,— и кто позволит себе вспомнить, что он же эту старую линию выдумал, он же ее протащил, несмотря на протесты других?

В январе 1933 года Сталин выступил с первой за полтора года речью, точнее, с докладом «Итоги первой пятилетки» на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б). Человек наивный ожидал бы, наверное, в докладе на такую тему увидеть таблицы, много таблиц: в одной колонке — что планировалось, в другой — что получилось. И цифры в тексте, много цифр: что планировалось и что получилось. Разве можно без этого рассказать об экономических итогах? Оказывается, можно. В докладе нет таблиц — ни одной таблицы. В докладе нет цифр плана по промышленности — ни одной цифры о том, что планировалось. В докладе всего две цифры о выполнении плана — проценты по валовой продукции промышленности в целом и по тяжелой промышленности в том числе. Зато полтора десятка изречений буржуазной печати о пятилетке. Есть в нем и знаменитые сталинские заклинания: «У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь. У нас не было станкостроения. У нас оно...» и т. п. Есть в докладе длинные рассуждения о том, что социализм лучше, чем капитализм, а индустриализация лучше, чем ее отсутствие. Оказывается, членов ЦК партии большевиков после пятнадцати лет Советской власти нужно было во всем этом убеждать...

Но что поделаешь, не мог генсек заговорить по существу: так, мол, и так, вы знаете, что были споры — не о том, проводить ли индустриализацию, а о том, *как* ее проводить. Возобладала такая-то линия, это дало такие-то результаты. Не мог он этого сказать. А менять политику было пора, и перемену эту следовало обосновать. Оратор находит такой ход: «Правильно ли поступала партия, проводя политику наиболее ускоренных темпов? Да, безусловно правильно». Дальше следуют известные доказательства этой «правильности», но: «Можно ли сказать, что во второй пятилетке придется проводить такую же точно политику наиболее ускоренных темпов?» Для наивного человека и вопроса такого нет: ведь это уже решено XVII партконференцией, и никто ее решений не отменял. Но Сталин не наивный человек:

«Нет, нельзя этого сказать. Во-первых, в результате успешного проведения пятилетки мы *уже выполнили* в основном ее главную задачу — подведение базы новой современной техники под промышленность, транспорт, сельское хозяйство. Стоит ли после этого подхлестывать и подгонять страну? Ясно, что нет в этом теперь необходимости. Во-вторых, в результате успешного выполнения пятилетки нам *удалось уже* поднять обороноспособность страны на должную высоту. Стоит ли после этого подхлестывать и подгонять страну? Ясно, что теперь нет в этом необходимости».

В этом рассуждении — двухэтажное лукавство: одно уклонение от истины перекрывается другим. Внимание слушателя сосредоточено на верхнем этаже, прямом утверждении: выполнение основных задач индустриализации завершено.

При некритическом подходе это воспринимается как истина, при критическом — можно задуматься, так ли это. Взять обороноспособность: можно ли считать ее экономически обеспеченной, когда промышленность еще слабее, чем в любой из крупнейших капиталистических стран Европы — потенциальных агрессоров: Германии, Англии, Франции?.. А «база современной техники» под промышленность, транспорт, сельское хозяйство неужели подведена уже полностью? И это были бы справедливые вопросы. Но неопасные для Сталина. Человек, задумавшийся только над этими вопросами, уже мыслил бы в заданной колее, уже думал лишь о том, нужно ли ускорительство в будущем. Отодвигался в сторону вопрос, нужно ли оно было в прошлом. Как бы само собой разумелось, что, пока задачи индустриализации не выполнены, есть резон «подхлестывать и подгонять страну» (слова-то какие!). Как бы само собой разумелось, что ускорительство какую-то пользу принесло, приблизило момент победы в соревновании с капитализмом. Затуманивалась самая неприятная истина: что ускорительство отдалило этот момент.

Дальше оставалось оттиснуть мысль в надежную форму простого лозунга. Нашлись нужные слова: в первой пятилетке главным был «пафос нового строительства», во второй будет «пафос освоения». Пафосы получили количественное выражение: генсек объяснил, что «пафосу нового строительства» соответствовал ежегодный прирост промышленной продукции в 22 процента (он слегка преувеличил), а под «пафос освоения» хватит 13—14. После этого пленума XVII съезду были представлены директивы, по существу полностью отменявшие директивы XVII конференции. На съезде предложенные цифры кое в чем сократили. Фактически итоги второй пятилетки по основным отраслям были лишь чуть ниже цифр, принятых съездом.

Так завершился вираж в промышленности. С сельским хозяйством было сложнее. Ведь промышленность действительно двигалась вперед семимильными шагами, а что она могла бы двигаться еще быстрее и с меньшими жертвами — это уж были тонкости, очевидные далеко не всем. Но сельское хозяйство вовсе не двигалось вперед, а пятилось назад. Тут сложнее было и оправдывать прошлую политику, и обосновывать будущую.

О прошлом было сказано так: «Располагая тракторами и сельхозмашинами, с одной стороны, и пользуясь отсутствием частной собственности на землю (национализация земли!), с другой стороны, партия имела все возможности форсировать коллективизацию сельского хозяйства». Каким образом национализация земли помогала проводить коллективизацию именно форсированную, и почему до этого раньше никто не додумался, хотя национализирована земля была еще в 1917 году,— это вопрос темный. А вот утверждение о том, что форсировать коллективизацию можно было, поскольку трактора появились,— это утверждение заслуживает внимания хотя бы потому, что оно повторялось не раз до и после этой речи.

Цифры, приведенные самим же Сталиным несколько позже, на XVII съезде, показывают, что в «год великого перелома» не было еще и по одному трактору на двадцать колхозов, и даже в начале второй пятилетки, когда в основных зерновых районах коллективизация завершилась, набралось примерно по полтрактора на колхоз. Как во многих других случаях, здесь тоже верная *вообще* мысль (о том, что выгодность крупной техники побуждает крестьян к совместному хозяйствованию) не вязалась у Сталина с конкретным приложением этой мысли: не получалось, чтобы в первой пятилетке трактора могли сагитировать крестьян *в массе* за колхоз — не было еще массы тракторов.

В 1928 году тракторам принадлежало 2,5 процента энергетических мощностей сельского хозяйства, рабочему скоту — 94,8 процента. Даже в 1940-м перевес тракторов еще нельзя назвать подавляющим: 37,1 процента против 22,3 — на долю рабочего скота, численность которого к тому времени резко сократилась. При таких цифрах нужна была чисто сталинская смелость, чтобы «великий перелом» к коллективизации в 1929 году объяснять не административным давлением, а изменением массовых убеждений крестьян с приходом трактора в деревню.

Отношение к труду и общественной собственности лучше всего показывает, с каким настроением шел крестьянин в колхоз. Средняя выработка трудодней на трудоспособного колхозника в 1932 году — 118. Даже в 1953 году, когда общее падение трудового энтузиазма в колхозах было достаточно ярко охарактеризовано сентябрьским пленумом ЦК, соответствующая цифра составила 295.

Главной собственностью, которую нес в колхоз крестьянин, был крупный скот. Шолохов ярко описал, на какие муки пошел дед Щукарь (кстати, бедняк по всем признакам), чтобы эту свою собственность в колхоз не отдать. Сколько было таких «щукарей?» Даже падение поголовья коров с 29 миллионов в 1928 году до 19 миллионов в 1934-м не открывает всей картины. Уцелевшие 19 миллионов — в основном коровы личных подсобных хозяйств либо единоличников. На конец 1932 года, когда коллективизация была уже в основном проведена, колхозных коров было всего 2,6 миллиона и даже к началу 1941-го — всего лишь 5,7 миллиона из общих 27,8 миллиона.

Ну и еще одна цифра — для характеристики ухода за скотом в колхозах времен «великого перелома». Средний годовой удой молока от фуражной коровы в колхозах составил в 1932 году 931 килограмм. Кто знает, что в личном хозяйстве не держат корову, которая дает меньше ведра молока в день, тот поймет, что девятьсот литров в год — это ближе к продуктивности хорошей козы. Даже в 1945—1946 годах, когда и засуха была, и голод, и пахали на колхозных коровах — и то лучше доились они, чем в год «великого перелома».

О том, что коллективизацию не надо больше форсировать, Сталин также сказал в докладе. Ясное дело: в основном ее закончили, чего же теперь форсировать. Но этим дело не исчерпывалось. Производство хлеба не шло по плану, посевы зерновых в 1932 году были меньше, чем в 1930-м, а валовой сбор меньше, чем в 1929-м и в 1913-м. А хлеб надо было взять. И Сталин выступил на пленуме еще раз, с отдельной речью «О работе в деревне». Это было объявление войны уже колхозному крестьянству. Во-первых, генсек поносил местное руководство за то, что позволяет колхозам до сдачи хлеба государству создавать разные фонды: для собственного питания, фуражный, страховой и т. д. Сперва сдай государству, потом думай о себе. Во-вторых, он сообщал, что в колхозы пробрались враги и используют колхозы для борьбы против Советской власти. С учетом этого должны быть изменены политика и методы работы в колхозах. Яснее высказаться нельзя было. Колхозы оставались для Сталина врагом до конца — еще в предсмертном экономическом сочинении он успел указать на них как на главное препятствие на пути к коммунизму.

Но на этом кончается история о том, как Сталин повернул против Сталина. В дальнейшем мир знал только одного Сталина, он умело совершал самые невероятные повороты, но никогда не изменял себе. Психологов и писателей может заинтересовать вопрос, изменил ли он себе и при этом повороте или он с самого начала был иным, чем казался, и просто ловко лицемерил. Но для исторического, для политического анализа это — вопрос несущественный. Мы убедились в самом факте: Сталин отказался от собственных слов, в 1928 году он сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал. Во многих важных теоретических и практических вопросах он встал на чисто троцкистские позиции. Остается невыясненным, однако, вопрос: почему ему это удалось, почему он не вылетел из тележки на таком повороте?

II

Вождь должен видеть дальше, чем масса,— на то он вождь. Иногда его обязанность — не поддерживать, а сдерживать большинство, во имя, пусть еще не осознанных всеми, интересов этого большинства. Так Кутузов в 1812 году сдерживал нетерпение войска, отступавшего по родной земле. Так Ленин сдерживал революционное нетерпение партии в период Бреста. Так руководство партии в период XIV—XV съездов сдерживало нетерпение коммунистов «раздеть кулака». Во всех этих случаях вождь не выполнил бы своего долга перед народом, если бы выполнил волю народа так, как понимало ее большинство. Стало быть, вождь может быть повинен в невыполнении своего долга и в том случае, когда он не сдерживал страсти, присоединялся к ним, инициативу предоставляя другим.

Сталин вполне владел искусством предоставить другим совершить именно ту ошибку, которая ему нужна, заранее зная, что это ошибка, что в будущем она станет для всех очевидной и тогда придется отвечать. На этот случай он в стороне. Больше того — он охотно возьмет на себя инициативу исправления ошибки. Так было с печально знаменитой историей обороны Киева в 1941 году. Сталин не отдал вовремя приказ оставить Киев и даже снял с должности начальника Генштаба Жукова, который слишком настойчиво добивался такого решения. Но Сталин обставил дело так, что внешне иннциатива обороны города в безнадежных условиях принадлежала не ему — это хорошо показал в своих мемуарах маршал Баграмян. Сталин, видимо, хорошо знал недостатки командующего фронтом Кирпоноса — горячность, повышенное солдатское самолюбие, не позволявшее ему настаивать на отступлении. Долг главнокомандующего в разговоре с таким подчиненным — сдерживать его, не позволять зарываться. Сталин, напротив, играл на самолюбии Кирпоноса и умел повернуть разговор так, что командующий фронтом, только что договорившийся со своим штабом настаивать на отходе, к ужасу подчиненных, заявлял обратное: можем держаться. Он держался до последнего и погиб вместе с бо́льшей частью своих войск. Благодарностью ему было забвение или очернение его памяти при жизни Сталина — не объявлять же, в самом деле, что в гибели фронта повинен Верховный Главнокомандующий.

Нечто подобное было разыграно и в годы первой пятилетки. Лозунг «Пятилетку — в четыре года!» придумал не Сталин. Этот лозунг пришел снизу, с предприятий. Он отражал и благородный энтузиазм строителей социализма, и экономическую малограмотность широких масс. Партия вполне способна была, ничуть не гася энтузиазма, направить его в полезное русло — борьбы прежде всего за качество, себестоимость, производительность труда при точном выполнении плановых сроков и количественных заданий. Но Сталин на «пять — в четыре» ответил «пять — в три».

Почему левацкая тенденция оказалась в тот момент сильнее? Тому были, очевидно, и объективные причины: прежде всего преобладание мелкой буржуазии в населении. Шестерка вождей могла противостоять давлению мелкобуржуазного сознания, могла сама подчиняться ему, а могла и сознательно эксплуатировать его. Сталин именно это последнее и выбрал в заключительной схватке. Раньше него тот же путь прошли (только с меньшим успехом) Каменев и Зиновьев, также пытавшиеся играть на «левых» устремлениях масс. В числе их сотоварищей по оппозиции был Пятаков — единственный из шестерых, не сыгравший в период после Ленина самостоятельной роли. Еще один — Троцкий — бывал и «левым», и правым, не будучи, надо полагать, по убеждению ни тем, ни другим — он вообще, по сути дела, не был большевиком. Незаурядный революционер-организатор, он не нашел (и не сумел сколотить) партии «под себя» и в предвидении скорой революции всего за несколько месяцев до Октября избрал большевиков как единственную дееспособную партию. Но эта партия так никогда и не стала для Троцкого до конца своей.

Шестым был Бухарин. Этот вождь, закончивший свою карьеру с клеймом «правого уклониста», был лидером движения «левых». Он был «левым» при Ленине и против Ленина. Но в этой его позиции не было спекуляции. Он был «левым», потому что искренне считал свою позицию правильной — так, во всяком случае, судил о нем Ленин.

Решающее значение имеет, конечно, оценка не личных истоков воззрений «левых», а социальной направленности их идей. Такая оценка содержится уже в заголовке главной полемической работы Ленина того периода: «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности». В ней дан знаменитый анализ пятиукладной экономики России, в котором Ленин выделяет мелкокрестьянское хозяйство (а не крупнокапиталистическое) как основное препятствие на пути к социализму.

Почти всякий спор марксистов с «левыми» оказывается внешне (а в значительной степени и по существу) спором о темпах продвижения вперед. Так

могли бы спорить два человека, стоящие у железнодорожного переезда — пересекать ли полотно после того, как поезд прошел, или... чуть-чуть раньше. «Левые» вроде и стремятся туда же, куда и прочие революционеры, и переходить дорогу намерены в том же месте — только всегда норовят побыстрее. А что под колеса — ну, какой же революционер боится таких пустяков. Спор Ленина с группой Бухарина по вопросу о Брестском мире тоже был спором о том, надо ли пролетариату России бросаться под поезд, чтобы поторопить мировую революцию.

Значение этого спора и его исход слишком широко известны, чтобы здесь повторять основные исторические факты. Но для последующего изложения весьма интересны некоторые цитаты из речей Бухарина на VII съезде партии, решившем в пользу Ленина спор о мире. Вот самое характерное суждение:

«Тов. Ленин в конце своей речи говорил, что он подпишет какой угодно мир, чтобы эвакуировать рабочих из Петрограда; я утверждаю, что это как раз есть фраза, не холодный расчет, а самое настоящее увлечение чувством, конечно, очень хорошим чувством, но далеким от холодного расчета, который говорит нам, что в случае необходимости мы можем и должны пожертвовать десятками тысяч рабочих».

Пусть не покажется Бухарин легкомысленно кровожадным на основании этой вырванной из контекста фразы. Он ведь думал, что лишь возвращает Ленину его упреки «революционерам фразы», его призывы к холодному расчету соотношения сил. «Левые» больше всех кричали в защиту рабочих и крестьян Украины, Прибалтики и других районов, которые Брестский мир отдавал немцам. Бухарин различал лишь «массы», и лексикон его речей на съезде отлично показывает отношение «левых» к этим массам: «нужно обрабатывать человеческий материал», «нужно заставить массы понять», «мы должны массы поднять до себя», «наша священная обязанность заключается в том, чтобы давить на массы, втягивать их в борьбу». Действенным способом «давить на массы» он считал и немецкую оккупацию: давайте воевать, и если даже придется отступать из-за того, что рабочие и крестьяне воевать не желают,— это неплохо. Пусть узнают, что значит «жить под немцем»: «когда будет железное кольцо вставлено в ноздри, тогда, поверьте, товарищи, тогда мы получим настоящую священную войну».

Много позже, когда Бухарина станут именовать уже не «левым», а «правым», у него не раз будет повод вспомнить эти речи — и особенно слова о том, что революция может развиваться ценою гибели передовых рабочих.

История Бухарина — виднейшего теоретика и любимца партии — особенно наглядно показывает, сколь привлекательна для многих, сколь неотразимо сильна бывает при революционном наступлении склонность к мелкобуржуазной «левизне», как легко раскачать на нее людей и как трудно бывало остановить — даже когда останавливал Ленин. Бухарин дал самые наглядные уроки этого — а Сталин был внимательным учеником. Он не хотел лишний раз напоминать, что Бухарин был «левым», но сам его опыта не забывал, силу «левизны» растолковывал очень ярко и верно. В докладе XIV партсъезду, рассуждая о двух уклонах в борьбе с кулаком (переоценке и недооценке кулацкой опасности), Сталин говорил:

«Оба уклона опасны, оба они хуже, нельзя говорить, какой из них опаснее, но говорить о том, к борьбе с каким уклоном больше всего подготовлена партия,— можно и нужно. Если задать вопрос коммунистам, к чему больше готова партия,— к тому, чтобы раздеть кулака, или к тому, чтобы этого не делать, но идти к союзу с середняком, я думаю, что из 100 коммунистов 99 скажут, что партия всего больше подготовлена к лозунгу: бей кулака. Дай только.— и мигом разденут кулака. А вот что касается того, чтобы не раскулачивать, а вести более сложную политику изоляции кулака через союз с середняком, то это дело не так легко переваривается».

Сталин понимал, что «левая» политика менее сложна, меньше хлопот требует.

Однако ведь и это не было новостью, все это Ленин предвидел, был стройный план изживания мелкобуржуазной «левизны» масс под политическим ру-

ководством партии. И сама партия не поддалась ни на «левизну» Троцкого — Преображенского в 1923-м, ни на «левизну» Каменева — Зиновьева в 1925-м, ни на «левизну» всех их вместе в 1927-м. Почему прошла «левизна» Сталина в 1928—1929-м?

Можно найти частные обстоятельства, которые способствовали «ускорительскому» рвению при подготовке первой пятилетки. Например, на XVI партконференции, утвердившей оптимальный вариант плана, особенно дружно прозвучали голоса членов ЦК с мест, руководителей республик и областей. Никто не предлагал меньше, все хотели больше: дайте больше Украине, Сибири, Уралу и т. д. Однако позднее, на XVII съезде, на такие же речи о второй пятилетке Орджоникидзе ответил: эдак получится десятилетка. При обсуждении первой пятилетки тот же Орджоникидзе был ярым «ускорителем». А ведь при борьбе с любой оппозицией или уклоном его голос весил много как в силу авторитета, так и по должности: в период борьбы с правыми он был председателем ЦКК. Его личная честность вне подозрений — это доказано не только его жизнью, но и смертью. Он не лукавил — он искренне заблуждался. Он поверил Сталину в тот момент — и не он один, а большинство ЦК. Может быть, им не хватало политического опыта? Нет, это отпадает. Но ведь и член ЦК, нарком, дышит тем же воздухом, что и все простые смертные, и на него действует окружающая атмосфера, давят мнение окружающих, страсть тысяч и миллионов. И он не меньше — а может, и больше других боится оторваться, отстать от народа.

Здесь мы подходим к вопросу, который волею истории тесно связан с именем Каменева и особенно Зиновьева.

«Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать «вождя». Мы против того, чтобы Секретариат, фактически объединяя и политику и организацию, стоял над политическим органом. Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полновластное Политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии, и вместе с тем чтобы был подчиненный ему и технически выполняющий его постановления Секретариат. Мы не можем считать нормальным и думаем, что это вредно для партии, если будет продолжаться такое положение, когда Секретариат объединяет и политику и организацию и фактически предрешает политику. Вот, товарищи, что нужно сделать. Каждый, кто не согласен со мной, сделает свой вывод. Это право оратора начать с того, с чего он хочет. Вам кажется, следовало бы начать с того, что я сказал бы, что лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб. Я не считаю, что это основной политический вопрос. Я не считаю, что этот вопрос более важен, чем вопрос о теоретической линии. Я считаю, что если бы партия приняла определенную политическую линию, ясно отмежевала бы себя от тех уклонов, которые сейчас поддерживает часть ЦК, то этот вопрос не стоял бы сейчас на очереди. Но я должен договорить до конца. Именно потому, что я неоднократно говорил это т. Сталину лично, именно потому, что я неоднократно говорил группе товарищей-ленинцев, я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Эту часть своей речи я начал словами: мы против теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя! Этими словами я и кончаю речь свою».

Эти замечательные слова бросил в лицо Сталину член Политбюро ЦК РКП(б), председатель Совета Труда и Обороны Лев Борисович Каменев. Он произнес их с трибуны XIV съезда партии 21 декабря 1925 года (между прочим, в день рождения Сталина). Одних этих слов достаточно, чтобы увидеть, что противники Сталина не сдавались без боя и что не все в партии были обманута. Добавим, что большинство делегатов съезда составляли люди, которых сам Сталин счел впоследствии своими врагами и поступил с ними соответственно. Почему же, почему в ответ на слова Каменева, сегодня столь понятные нам, а тогда столь очевидно близкие к словам ленинского «завещания», почему на речь Каменева съезд ответил овацией Сталину?

Начать придется с того, что больше других содействовали этому сам Каменев и его соратник Зиновьев. Приведенные выше смелые и мудрые слова вовсе не кажутся ни смелыми, ни мудрыми, если прочитать их в контексте всего, что наговорила на съезде оппозиция. Каменев одну-две минуты разговора о Сталине утопил в более чем часовой речи о «теоретических вопросах» (и вслед за ним примерно так же выступил Сокольников), а первый оратор от оппозиции, ее «главный калибр» — Зиновьев — о необходимости замены Сталина не сказал в своем докладе ни слова. Вместо того он искал «уклоны» в политике ЦК, что было неверно прежде всего принципиально: политика ЦК в основных вопросах была верной. Это было наивно и тактически: со Сталиным вздумали тягаться на таком поле!

Не слишком ли строги мы к этим людям, которые — что бы там ни было — первыми громко сказали партии о том, что ее ждет? Но в том-то и дело, что объективно они в этот момент не ослабили, а укрепили Сталина. Они «подставились», пойдя на него неправой войною, дали ему легкую победу. Шутка сказать, три такие фигуры — Каменев и Зиновьев вслед за Троцким. Вместе с Пятаковым четверо из пяти сталинских соперников. Еще летом 1917 года VI съезд партии в одной из резолюций назвал Троцкого и Зиновьева — вслед за Лениным — «вождями мирового пролетариата». Они дали Сталину проглотить себя — и он как бы прибавил их вес к своему. Все их заслуги в революции и войне он как бы приплюсовал к своим, оказавшись победителем. И теперь уже мог идти с любой войною — правой и неправой — на кого угодно.

Чем они «подставились»? Прежде всего тем, что выступили слишком явно против самих себя. И не только тогда, когда блокировались с Троцким, в которого прежде первыми кидали камни —то уж было окончательное падение. Они выступили против себя еще на XIV съезде партии. Возьмем крестьянский вопрос. Всего за несколько месяцев до съезда XIV партконференция провозгласила новую политику в деревне — ту самую политику, на которую Каменев и Зиновьев напали на съезде. Руководил же конференцией Каменев, он председательствовал на всех заседаниях, в речи при открытии отметил «рекордный» рост промышленности и одобрил поворот «лицом к деревне». Последними словами, произнесенными с трибуны XIV партконференции, были полные оптимизма слова Каменева: «... Коминтерн... может быть уверен, что правильной политикой усиления социалистических элементов в нашем хозяйстве мы докажем, что и при замедленном темпе мировой революции социализм должен строиться и в союзе с крестьянством нашей страны будет строиться и построен будет».

Это было сказано 29 апреля 1925 года. А 21 декабря того же года тот же оратор говорил XIV съезду: «В чем действительная опасность? В том, что при затяжке мировой революции, при стабилизационных настроениях извне и внутри, при богатеющей... стране, при том мелкобуржуазном окружении, в котором живет рабочий класс, растут неизбежно элементы прикрашивания нэпа».

Да, поверить в искренность этого оратора делегатам XIV съезда было мудрено.

Каменев говорил на XIII съезде: «На вопрос о том, где же наш план, я отвечаю: наш план заключается не в этих абстрактных схемах. План, который проводила наша партия в течение последних месяцев, начиная с дискуссии, воплощен в двух словах: в денежной реформе. Никакого другого плана в том смысле, что это есть реальное направление и увязывание всего хода народного хозяйства вокруг одного стержня, в том смысле, что мы имеем определенное звено, ухватившись за которое, мы могли бы тянуть всю цепь,— никакого другого плана не могло быть в прожитые месяцы».

Разумеется, к XIV съезду положение экономики было иным, чем к XIII: денежная реформа была давно закончена, завершено и послевоенное восстановление промышленности, возникло много новых возможностей планового воздействия на производство, в том числе и самого прямого. Никто не стал бы в декабре 1925 года утверждать, что в денежной реформе и есть единственный план. Но остался в силе общий принцип: формы плана определяются содержанием решаемых хозяйственных задач, а значит для любого момента есть формы более подходящие, менее подходящие и совсем неподходящие. Что же говорит XIV съезду Каменев, столь разумный еще на предыдущем съезде? Вот что:

«Что же, вы хотите, чтобы мы дожили до того, когда совершенно ясно выкристаллизуется психология, идеология того крестьянства, которое не хочет давать нам хлеб в том размере, который нам нужен для развития социализма, не хочет давать хлеб по той цене, по которой нам, рабочему государству, было бы выгодно?..»

Это уже иной голос, иной строй мыслей, чем у Каменева на XIII съезде. Тот Каменев сказал бы, что, если крестьянство не хочет давать хлеб по плану, виновато не крестьянство, а план (делегаты XIV съезда так и кричали с мест Каменеву: что это просчет плана, просчет высшего хозяйственного органа — СТО и его председателя — Каменева). После XIV съезда эта истина осталась в распоряжении других — не Каменева. Другие, в том числе Сталин, разъясняли, что план должен и может предусмотреть, во-первых, реальную, а не односторонне выгодную цену, во-вторых, хлебные и другие резервы для маневра в случае попыток спекулятивного вздувания цен. Каменев еще пытался подпустить туману: «...я не предложу: давайте устроим раскулачивание деревни. Я говорю только, что линия должна быть взята правильно...» Но это уже были наивные попытки. Кто говорит, что надо получить у крестьян хлеб, не применяя экономического воздействия, тот может не договаривать, что требует воздействия административного: третьего не дано. И не случайно Каменева тут же, на съезде, ткнули носом в это противоречие. Микоян сказал: «Если вы говорите, что кулаки более сильны, чем это полагает партия, то извольте одно из двух: или больше уступок, или мордобой ему сейчас,— или раскулачивание, или больше уступок, для того, чтобы не было сорвано хозяйственное строительство».

Выходит, Сталину не было нужды заново конструировать политическое оружие в 1928 году: он мог брать его готовым из арсенала оппозиции 1925—1927 годов. И он использовал эту возможность достаточно широко.

Нападки на «врастание» кулака (Каменев на XIV съезде еще раз повторил это обвинение Бухарину) Сталин тоже придумал не сам. Но в 1925-м он ответил на это: не дадим вам крови Бухарина. Вообще нетрудно заметить, что оппозиция предвосхитила все основные шаги Сталина 1928—1930 годов. Ей принадлежали не только пропагандистские штампы, использованные позднее Сталиным, но и сама главная тактическая идея надеть маску «левизны» перед наступлением на линию партии, обвинив других в правом уклоне. А формирование оппозиционной ленинградской делегации на XIV съезд было настоящей опытной лабораторией для любого организатора «поворота тележки».

Нельзя не подивиться одной особенности оппозиции на XIV съезде: ее географической определенности. Ленинградская делегация — сплошь оппозиционеры, в прочих делегациях их почти нет. Прежде такого не бывало. Социальные особенности ленинградской организации совсем не объясняют дело, наоборот: это самый передовой, самый пролетарский отряд партии, наименее подверженный мелкобуржуазному влиянию. Обычное объяснение — ленинградская партийная организация накануне съезда была обманута своими руководителями. Верно, роль руководства (в Ленинграде господствовал Зиновьев) была решающей, но обеспечивало оно свой успех не обманом, а более надежными средствами. Хотя в руках оппозиции были ленинградские газеты, они ведь не были единственным источником информации для ленинградцев. Центральная «Правда» вела линию большинства ЦК. Да и на районных и губернской конференциях противники губкома не молчали, так что информацию о позициях обеих сторон парторганизация губернии имела. Нет, обмануть питерских рабочих оппозиция не смогла и молчать тоже не заставила,— достаточно посмотреть выступления представителя Металлического завода и некоторых других предприятий с приветствием съезду. Чтоб заставить замолчать,— для этого потребовалась бы долгая «работа» потом, в случае победы оппозиции. Но к съезду этого и не требовалось, а нужно было другое, что и сделал зиновьевский губком: обеспечить свой состав делегации на съезд.

Этот успех оппозиции можно объяснить только одним: действием такой мощной организующей силы, как партийный аппарат. В руках оппозиции был партий-

ный аппарат губернии, и она его полностью использовала. В речах делегатов XIV съезда сведения о борьбе за аппарат прорывались лишь изредка, но все же наговорено достаточно много, чтобы уловить характер этой борьбы.

Псковский делегат Струппе рассказал, как перед съездом готовилась первая партийная конференция Северо-Западной области, в которую должны были войти пять губерний, включая Ленинград. Конференция не состоялась — псковская губернская организация не пошла на нее. Не сговорились о представительстве: Ленинград требовал себе в новом областном комитете не менее $^4/_5$ всех мест, а ему давали не более $^3/_4$. Оппозиция пыталась овладеть аппаратом пяти губерний вместо одной, за это шла борьба, генеральная линия политики осталась где-то за пределами внимания.

Другой пример. Молотов показал съезду протокол пленума ленинградского губкома, состоявшегося перед губернской конференцией. С патриархальным простодушием были занесены в протокол списки новых составов губкома и губернской контрольной комиссии, составленные старым губкомом. Если губком мог избрать сам себя и провести решение на конференции, то он мог провести там все, что хотел. Он провел и свой состав делегации на съезд, отобрав надежных и выбросив сторонников большинства ЦК — даже Комарова, который был раньше секретарем губкома.

О попытке захвата центрального аппарата рассказал на съезде Ворошилов. С наивностью, по-видимому, нарочитой, он описал тайное совещание нескольких членов ЦК в пещере под Кисловодском, где предполагалось перестроить Секретариат ЦК так, чтобы отнять власть у Сталина.

В свою очередь, отказ Каменева и Зиновьева от предложенных накануне съезда условий примирения невозможно понять вне аппаратной борьбы: ведь по этим условиям им сохранялись все их посты. Терялся «только» контроль над имевшейся в их руках частью аппарата — а это и было главным. Попытки завоевать партийный аппарат были основным содержанием борьбы, которую вели Каменев и Зиновьев, а выдвигаемые ими политические позиции — лишь маскировкой, к тому же весьма неудачной, поскольку она не ослабила, а усилила огонь по ним. Победить на этой почве борьбы за аппарат Каменев и Зиновьев заведомо не могли — здесь Сталин был сильнее, хотя они, может быть, и думали иначе. Могли ли они победить, сойдя с этой почвы? Нет, в таком случае они не смогли бы даже начать борьбу в 1925 году: кроме как за аппарат, им не за что было бы бороться со Сталиным, пока он сам не отошел от генеральной линии, то есть до 1928 года. Но ведь и он в таком случае не мог бы победить их в 1925 году. А в 1928-м ему в этой предполагаемой ситуации пришлось бы нападать не только на Бухарина, Рыкова, Томского, но еще и на Каменева, Зиновьева, Сокольникова, да впрочем и на Троцкого, который в 1923—1924 годах не все потерял — добит он был лишь после блока с Зиновьевым. Короче говоря, не сверни они сами на выгодную Сталину почву аппаратной борьбы — видимо, коллективное руководство в верхушке партии продержалось бы дольше, а может быть, дожило бы и до такой степени стабильности внутри ЦК, когда разрушить эту коллективность уже не мог бы никто.

Что выступление Каменева и Зиновьева на XIV съезде было Сталину выгодным, что Сталин этого выступления хотел, показывает один эпизод, рассказанный Куйбышевым в заключительном слове по докладу ЦКК на съезде. Желая показать миролюбие Сталина, Куйбышев сообщил, что во время Ленинградской губернской конференции, когда уже ход ее (организованная подготовка оппозиционной делегации) стал ясен, в большинстве ЦК обсуждался вопрос, не послать ли несколько членов ЦК, чтобы сообщить конференции точку зрения большинства и предотвратить оппозиционное выступление на съезде. Оказывается, «не кто иной, как Сталин, высказывался за то, чтобы не делать этого, потому что была еще надежда, что дело не зайдет так далеко. Была надежда, что товарищи одумаются и борьбу прекратят». Интересно: на что опиралась такая надежда, если предлагалось их не разубеждать, не мешать готовить делегацию оппозиции? Если с одобрения Политбюро (это на съезде не отрицалось) Московская конференция записывает в свою резолюцию обвинения оппозиции, идущие

настолько далеко (ликвидаторство, аксельродовщина), что в резолюции съезда их и не пытались повторять, хотя по соотношению сил могли это сделать? Ясно, что цель сталинского «доброго» шага могла быть одна: не спугнуть. Одно дело побить Зиновьева на Ленинградской конференции и тем подорвать его позиции как лидера ленинградской организации, и другое дело — побить (а это было обеспечено, лишь бы они выступили) и Зиновьева, и Каменева на съезде и подорвать их положение как вождей всей партии. Тем более что Сольц — «совесть партии» — в речи на съезде толковал яснее ясного: за спорами следуют оргвыводы — это законно, по Ленину.

От оппозиции Сталин получил в подарок не только выгодное поле битвы, но и полезный опыт. Зиновьев на практике показал, что аппарат способен — пусть только на время, пусть только в одном вопросе, но в нужное время и в решающем вопросе — повернуть по своему желанию даже самую передовую губернскую организацию. Способен повернуть вопреки ленинской линии, вопреки вчерашним клятвам собственных вождей,— потому что он — аппарат, организующая сила внутри партийной организации.

Впрочем, не будем забывать, что истина становится неуловимой при всякой попытке разбирать действия отдельных лиц сами по себе. И поступки Каменева и Зиновьева интересны нам не сами по себе, а лишь постольку, поскольку позволяют лучше разглядеть характер того массового движения, отдельные черты которого отражали и эти двое.

Но что здесь еще рассматривать? Уж говорено-переговорено об этой стороне дела, и ясность как будто полная: есть рабочие, их мало; есть крестьяне, их много. По мере индустриализации рабочих будет становиться все больше, а до того надо уберечься от влияния мелких собственников. Все ясно. И ничего не ясно. Неясен механизм этого пресловутого влияния. Когда Сталин вдруг сообщает, что руководитель Коминтерна и главный редактор «Правды», Бухарин, преемник Ленина на посту предсовнаркома Рыков и председатель ВЦСПС Томский стали выразителями интересов кулачества, это звучит... странно. И многие почувствовали эту странность. Ее почувствовал и председатель ЦКК Орджоникидзе, говоривший в одной из речей 1929 года: «Могут сказать: что же, вы такое обвинение выдвигаете против Бухарина? Разве Бухарин хочет капитализма? Разве в Октябрьские дни он не был рядом с нами? Ну, конечно, товарищи, Бухарин не хочет восстановления капитализма, в Октябрьские дни он был вместе с партией. Больше того, я не сомневаюсь, что он и сейчас готов вести беспощадную борьбу с буржуазией, но дело не в желании, а в политике. А политика т. Бухарина тянет нас назад, а не вперед».

Конечно, Серго говорит не так, как Сталин, он говорит о заблуждающихся товарищах, а не о врагах. И допускает вопросы, которых Сталин не допускал. Как мог Орджоникидзе, в декабре 1927 года докладывавший XV съезду партии об исключении из партии троцкистов и зиновьевцев, через несколько месяцев поверить Сталину, провозгласившему те же троцкистско-зиновьевские идеи? Почему поверили ему тысячи других — столь же честных и столь же опытных, как Орджоникидзе, столь же дорого заплативших потом за эту доверчивость?

Мы не найдем ответа, пока будем мыслить в категориях, привычных по сталинским речам: черное — белое без оттенков, рабочий — мелкий собственник без промежуточных переходов, причем рабочий — непременно человек без недостатков. Всегда ли господствовал такой подход? Нет, не всегда. Ленин, чуждый либерально-интеллигентского сюсюканья о рабочих, всегда анализировал не «рабочего вообще», а конкретные слои рабочего класса — начиная с «Развития капитализма в России» и до последних лет жизни. Большевики при Ленине видели даже различия между пролетариатом Петрограда и Москвы, знали различие между металлистом и горнорабочим и т. д. После гражданской войны Ленин был особенно внимателен к различиям внутри рабочего класса, и еще до того, как в «завещании» рассмотреть вопрос об устойчивости ЦК с точки зрения взаимоотношений «шестерки», он поставил этот вопрос с точки зрения надежности состава партии в целом. В 1922 году вопрос о партийном строительстве был внесен в повестку дня XI съезда — последнего, на котором Ленин присутствовал. Сам Ленин

выступал с политическим отчетом, но за подготовкой резолюции о партийном строительстве следил внимательнейшим образом. Он написал об этом два письма членам ЦК перед пленумом, вносившим предложения ЦК на съезд. Вот взгляд Ленина на проблему:

«Со времени войны фабрично-заводские рабочие в России стали гораздо менее пролетарскими по составу, чем прежде, ибо во время войны поступали на заводы те, кто хотел уклониться от военной службы. Это — факт общеизвестный. С другой стороны, так же несомненно, что партия наша теперь является менее политически воспитанной в общем и среднем (если взять уровень громадного большинства ее членов), чем необходимо для действительно пролетарского руководства в такой трудный момент, особенно при громадном преобладании крестьянства, которое быстро просыпается к самостоятельной классовой политике. Далее, надо принять во внимание, что соблазн вступления в правительственную партию в настоящее время гигантский. Достаточно вспомнить все литературные произведения сменовеховцев, чтобы убедиться, какая далекая от всего пролетарского публика увлечена теперь политическими успехами большевиков». И дальше: «...безусловно необходимо, чтобы не обманывать себя и других, определить понятие «рабочий» таким образом, чтобы под это понятие подходили только те, кто на самом деле по своему жизненному положению должен был усвоить пролетарскую психологию. А это невозможно без многих лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей, а по общим условиям экономического и социального быта.

Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него»[1].

В тех же письмах можно найти два важных количественных определения. Во-первых, Ленин считал имеющееся количество членов партии — 300—400 тысяч — чрезмерным и предлагал его уменьшить путем исключения непролетарских элементов. Во-вторых, он указывал, что настоящим рабочим, для которого можно сохранить короткий кандидатский стаж, следует считать лишь того, кто не менее 10 лет пробыл фактически рабочим «в крупных промышленных предприятиях».

Как видим, Ленин усматривал главную опасность мелкобуржуазного влияния не в прямом воздействии крестьян на партию — крестьянина с рабочим не спутаешь, он виден. Главная опасность — рабочий из вчерашних крестьян, полурабочий. Была ли такая постановка вопроса в 1922 году неожиданной?

«Деклассирование» было в политическом лексиконе того времени одним из самых употребительных слов. Оно означало разрушение рабочего класса. И когда X съезд решил самые срочные по окончании войны вопросы, в том же году декабрьская конференция обсудила вопрос о партийном строительстве, а еще через четыре месяца этот вопрос был поставлен вновь — на XI съезде. Докладчиком был Зиновьев, резолюцию, судя по упоминанию в ленинском письме, готовил тоже Зиновьев. Не гнаться за расширением партии, заботиться о качестве, сдерживать напор полурабочих, помнить о деклассировании — все это он разделял в 1922 году, выступая с докладом по поручению ЦК. А в 1925-м, на XIV съезде Зиновьев выступает с содокладом от имени оппозиции, он ее главный оратор. Здесь он трубит в фанфары:

«Мы продвинулись в области хозяйства в значительной мере вперед, все это признают, мы подходим к довоенной норме. Прекратилось деклассирование пролетариата, активность бьет ключом, культурный уровень рабочего поднимается и т. д. и т. п.»

Восторг такой, что даже слов не хватило: «и т. д. и т. п.» Куда делся видный теоретик, опытный политический вождь? Откуда взялся оратор, не понимающий

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 19—20.

даже такой очевидной истины, что сегодняшний хозяйственный успех только лишь стабилизирует состав рабочих, но нужны еще годы, чтобы выработать из них настоящий пролетарский кадр? Вспомним: Ленин брал для этого как минимум 10 лет. К тому же о стабилизации состава рабочих речи не могло быть. Разбегаться из городов перестали, но началось своего рода «деклассирование наоборот»: в город из деревни пошла масса, в которой вопреки бурному оптимизму Зиновьева лишь малую долю составляли старые рабочие, прежде ушедшие, а теперь возвращающиеся. Томский, как председатель ВЦСПС, в отличие от Зиновьева располагал на сей счет точными данными. Вот что он говорил в своем докладе XIV съезду:

«Из каких элементов пополняется промышленная группа? Часть, бесспорно, за счет пролетарского элемента,— дети рабочих, большинство комсомольцы. Это молодой, свежий элемент. Незначительная часть — старые рабочие, которые теперь возвращаются в крупные города из деревень, куда они убежали во время голода. Большая же часть — свежие крестьянские элементы, крестьянская молодежь. Это те новые рабочие, которые за два года пополняли нашу промышленность и каждый год прибавляют по 14%. Этот состав не связан с историей рабочего класса последних революционных годов, он не знаком с фабрикой, не прошел фабричную школу, не является активным участником гражданской войны, той героической борьбы наших рабочих, которая происходила в эти годы... Можно несколько остановиться на этом новом типе рабочего, пришедшем из деревни, который рассматривает себя до известной степени как гостя, как временного жителя фабрик и заводов. Под воскресенье, в субботу, такой рабочий уезжает с заработком в свою деревню, к понедельнику он возвращается на работу с котомкой, в которой он приносит хлеб, картошку и др. продукты на неделю. Держится такой рабочий от общественной жизни рабочих в первое время особняком. Этот рабочий принес много деревенских настроений и новый, совершенно своеобразный подход к фабрике, которую не рассматривает, не привык еще рассматривать своей, так, как рассматривает ее основной, переживший революцию рабочий, который сам это производство ставил, ставил с великими трудностями, с напряжением, который испытал и горести развала и радость восстановления».

Весьма солидный прирост новых рабочих в промышленности —14 процентов в год — не шел, однако, ни в какое сравнение с приростом в других отраслях. Число членов профсоюза строителей за 2 года и 9 месяцев возросло со 107 тысяч до 575 тысяч. Представители этой профессии — в то время сезонной — сплошь полурабочие и крестьяне. И именно эта часть рабочего класса росла быстрее всего еще в период восстановления, в 1923—1925 годах. В последующие годы (1926-й — первый год индустриализации, т. е. широкого строительства новых предприятий) не только еще быстрее пошел рост строительных рабочих, но и начался их быстрый перелив в промышленность. Множество рабочих Сталинградского тракторного, Горьковского автозавода, Кузнецка, Магнитки и многих других предприятий — их бывшие строители. Крестьяне шли в Москву на стройку метро, АМО, Шарикоподшипника и оставались в городе.

По данным позднейшей советской литературы, из 1,7 млн. промышленных рабочих, учтенных переписью в августе 1920 года, кадровые рабочие составляли не более 40 процентов, грамотные (по переписи 1918 года) — 64 процента. Трудно сказать, сколько из них осталось на заводах в ближайшие затем годы — война-то кончилась, но голод был еще впереди. Во всяком случае, расчет (40 процентов от 1,7 миллиона) показывает, что исходная позиция периода восстановления, с которой начал преодолевать свою деклассированность рабочий класс,— не более 700 тысяч кадровых рабочих. Запомним эту цифру. Потом начался обратный поток, лишь в первое время поглощавший городских безработных. Уже в 1926 году была острая нехватка квалифицированных рабочих, а среди безработных преобладали конторские служащие низшей квалификации и чернорабочие. В 1922—1925 годах, именно в тот период, о котором говорил на XIV съезде Зиновьев, из новых металлистов Ленинграда 45 процентов составляли дети крестьян, служащих, кустарей. А ведь это были из лучших лучшие и по географии, и по профессии — металлисты Ленинграда. Там среди вновь поступивших лишь менее

9 процентов имели землю — среди новых шахтеров Донбасса таких было почти 24 процента, а среди металлистов Московской области, принятых на работу в те же годы, сохраняли землю в деревне 25 процентов.

Из пополнения рабочего класса 1926—1929 годов в целом по стране выходцами из крестьянских семей были 45 процентов, из служащих — почти 7 процентов, имели землю почти 23 процента. Имевшие землю не спешили порывать экономическую связь с деревней. В 1929 году из металлистов СССР, имевших землю, 62 процента продолжали участвовать в сельскохозяйственных работах. Лишь 26 процентов металлистов-«землевладельцев» было без посева и без скота, но 47 процентов — и с посевом, и со скотом.

В годы первой пятилетки крестьянство стало резко преобладающим источником пополнения рабочего класса. И какого пополнения! Вспомним двадцатый год: всего 1,7 миллиона промышленных рабочих, из них меньше половины кадровых. А за годы первой пятилетки в народное хозяйство прибыло 12,5 млн. новых рабочих и служащих, в том числе 8,5 млн. из крестьян. Работать они обучались быстро. Стаханов, Бусыгин, Гудов были из крестьян. Но и это приходило не сразу: в 1932 году прогульных дней на одного рабочего было в 9 раз больше, чем в 1934-м. Нечего и говорить, что политический опыт приходит медленнее, чем трудовые навыки.

Вспомнив движение первой и второй пятилеток (скачок в 1930—1931-м, спад в 1932—1933-м, ровный ход в дальнейшем), интересно посмотреть данные о численности осевших в городах деревенских жителей: 1928 год — 1062 тысячи, 1929-й —1392 тысячи, 1930-й —2633 тысячи, 1931-й —4100 тысяч, 1932-й —2719 тысяч, 1933-й —772 тысячи, 1934-й —2452 тысячи.

С учетом тех, кто в городе не задержался, крестьянский водопад был еще в несколько раз мощнее. Приведенные цифры показывают лишь ту часть крестьянского населения, которая осталась в городе. Гораздо больше было таких, которые приходили и, побыв некоторое время, уходили.

На таком фоне разворачивались в период XIV съезда споры о том, произошла ли стабилизация рабочего класса с окончанием разрухи,— споры, имевшие далеко не теоретическое значение, ибо от них зависела политика регулирования состава партии. Перед съездом оппозиционер Саркис написал статью, в которой требовал в течение одного года добиться, чтобы рабочие составили не менее 90 процентов членов партии. В отчетном докладе съезду Сталин посмеялся над этим, показав простым расчетом, что для этого потребовалось бы за один год увеличить партию с 900 тыс. до 5 млн., в то время как всех рабочих в стране — считая и сельскохозяйственных, и мелкую промышленность — было тогда 7 млн. Казалось, и спорить не о чем. Но вот выступает с содокладом Зиновьев. Обругав тульскую областную газету, которая предлагала принимать в партию и некоторое количество крестьян, он говорит:

«Но когда рядом с такими предложениями о приеме крестьян предостерегают против отсталых слоев рабочих,— что же это такое в самом деле? Я читал глубоко пессимистическую в этой части речь тов. Бухарина на московской конференции, который говорит, что такое теперь рабочий класс, сколько в нем нового, непереваренного элемента, сырья, и т. д. Меня это чрезвычайно удивляет. Откуда это идет так много сырья? Разве мы не понимаем, что дело будет идти так, что основное ядро рабочего класса будет переваривать сырье, а не наоборот? Откуда опасения, что мы возьмем такое большое количество, что не успеем переварить?.. откуда эта боязнь рабочего класса? Я не понимаю, откуда она. (Голоса: «Боязни нет».) Но тогда, что означают эти две статьи и тот вопль, который подняли против Саркиса?.. как можно выхватывать отдельные кусочки, полемизировать и приписывать аксельродовщину?.. Теперь ярлык аксельродовщины пришивается тем товарищам, которые повторяют основное положение большевизма о том, что наша партия по своему составу должна становиться все более и более рабочей».

Зиновьев разъяснял затем, что такое аксельродовщина: меньшевик Аксельрод предлагал «широкую рабочую партию» против большевиков. Но ведь раньше уже было про Аксельрода говорено. И говорено было вот что:

«Взять статистику, надеть очки и сказать: в партии только 50 или 49% рабочих, значит, она не рабочая партия,— это очень простая дешевенькая критика... В политике часто случается, что люди, желающие попасть в одну дверь, попадают в другую, и это случается с товарищами, которые берут под защиту рабочий класс, когда мы говорим о его деклассированности, когда они говорят об оскорблении его величества пролетария, когда говорят о взаимоотношениях с крестьянами. Они думают, что, поступая так, критикуют слева, а на самом деле поступают как люди, которые занимаются жалкими, мизерными перепевами того, что было сказано меньшевиками... щеголяют в истоптанных башмаках Аксельрода...»

Говорил это тоже Зиновьев, только на XI съезде. Тогда он умел и шире взглянуть на социальный состав партии, и ярлык аксельродовщины считал настолько правомерным оружием, что сам им пользовался. А к XIV съезду его точка зрения на те же вещи стала прямо противоположной.

Ленин видел два «этажа», определяющих дееспособность партии: массовую базу и верхушку. Верхушка регулирует социальный состав массовой базы, а масса помогает сохранять устойчивость верхушки. Троцкий, а затем Каменев и Зиновьев всю борьбу замкнули в верхушке — суждения о массовой базе служили им всего лишь материалом для манипуляций. В противном случае Зиновьев не встал бы в этом вопросе с ног на голову на XIV съезде. Между тем именно в вопросе о массовой базе Сталин готовил стремительный обход последнего соперника. Каменев и Зиновьев этого не только не замечали, но помогали ему изо всех сил. Он шел по проложенной ими лыжне. Разумеется, на словах Сталин и в этом вопросе, как во всех других, громил оппозицию. На деле он вел курс, противоположный решениям XI съезда, задолго до рождения этой оппозиции.

На XII съезде, при жизни Ленина, отхода от курса XI съезда не произошло. В отчете об организационной деятельности ЦК Сталин сообщил, что увеличение доли пролетарских элементов в партии за 1922 год произошло не за счет широкого приема в нее рабочих, а за счет вычищения непролетарских элементов и сокращения общей численности партии. Всего в партии осталось к началу 1923 года 373 тысячи членов (против 700 тысяч к X съезду). Резолюция по организационному вопросу подтвердила курс на сдерживание численного роста партии, несмотря на усиливающийся напор желающих вступить в нее.

Другого способа сохранить пролетарский состав не было, потому что практически не оставалось вне партии сколько-нибудь широкой массы кадровых рабочих. И если принять ленинскую норму — крестьянин делается рабочим (а не полурабочим) не менее чем за десяток лет на фабрике, то должно было пройти немало времени от первого периода нового роста рабочего класса (1922—1925) до того, как этот новый рост создаст массовый слой новых кадровых рабочих — рабочих не только по анкетным данным, а по всему сознанию и поведению. Соответственно и курс на замедление численного роста партии (у Ленина — даже на сокращение ее) должен был, казалось, сохраниться надолго. Однако он не продержался даже до XIII съезда, который собрался через год после XII. Уже в январе 1924 года XIII партконференция в специальной резолюции о партийном строительстве выдвинула задачу усиленной вербовки новых членов партии — рабочих от станка.

Интересно, что это была та самая XIII партконференция, главным событием которой было принятие резолюции против троцкистов, а одним из главных тезисов троцкистов было утверждение о неправильности линии в партийном строительстве за последние два года — то есть именно линии XI съезда, исключавшей массовый рост партии.

Сейчас широко распространен взгляд, что причиной Ленинского призыва в партию в 1924 году была смерть Ленина. Поэтому нелишне уточнить, что такой взгляд впервые высказал тогда же троцкист Преображенский, а Молотов в докладе XIII съезду о партийно-организационных вопросах высмеял его как недостойный марксиста, идеалистический взгляд. Молотов был прав — и не только

потому, что призыв в партию ста тысяч рабочих от станка был намечен XIII партконференцией за несколько дней до смерти Ленина. Он был прав и потому, что требовалась определенная гибкость в проведении принятого XI съездом способа регулировки состава партии. Ограничение приема новых членов имело не только сильные стороны. Численный состав партии не мог слишком долго развиваться в направлении, противоположном развитию численности рабочего класса в целом. Это грозило разрывом связей с массами — и механизм такого разрыва был прост. Ведь правящая партия должна занимать своими людьми руководящие посты в Советах, профсоюзах, комсомоле, в хозяйстве и армии. И при малой ее численности она чуть ли не вся уходила на эти руководящие посты. Да, к началу 1924 года удалось добиться того, что почти половину партии составляли рабочие. Но в основном рабочие по происхождению, а ныне уже партийные, советские, профсоюзные, хозяйственные, военные работники. Нужны были свежие силы, хоть немного. Механически закупорить партию на годы нельзя было: это уж была бы не партия, а сословие. Вопрос был в конкретном соотношении. На 350 тысяч членов партии (на 1 января 1924 года) 100 тысяч новичков из рабочих — это было реально, такое количество можно было постепенно «переварить», обучить, поднять до политического уровня старых большевиков.

Но вот прошло еще четыре месяца, собрался XIII съезд. О чем говорит Молотов в докладе? Уже не о 100 тысячах: принято более 200 тысяч. Он призывает остановиться? Нет, такое «перевыполнение» считает благом, требует продолжить, принимать еще. Он требует долю рабочих от станка довести не менее чем до половины партии в ближайшее время. Расчет, подобный тому, какой позже применил Сталин к предложению Саркиса, показал бы, что для этого нужны были еще тысяч 200—300, так что к концу года остались бы в меньшинстве те, что были членами партии в его начале. Но Молотов говорил, что при этом надо и для крестьянства, и для интеллигенции приоткрыть дверь — соответственно для выполнения поставленной им задачи рабочих от станка потребовалось бы еще больше, гораздо больше, чем вообще было в стране рабочих кадровых. Значит, выдвинутая количественная задача означала требование принимать в партию полурабочих. Наконец, Молотов выговорил и сакраментальные «90 процентов» — те 90 процентов, которые уже в следующем году стали главным предметом издевательства над оппозицией из-за того, что Саркис всего лишь в неопубликованной статье назвал эту цифру. Правда, в отличие от Саркиса, пожелавшего это выполнить за один год, Молотов срока не назвал: «наша партия ставит перед собой задачу максимального вовлечения рабочих в нашу партию с тем, чтобы довести процент рабочих в партии до 90%...» Но Молотов зато вышел с этим на полтора года раньше, чем Саркис, и нереальность задачи была гораздо более вопиющей. Да и не считал он это делом далекого будущего, потому что тут же издевался над украинской республиканской партконференцией, поставившей задачу иметь рабочих «всего лишь» 65—70 процентов. Молотов сказал, что эту ошибку надо исправить. Нет нужды доказывать, что Молотов — человек Сталина. Сейчас это просто давний исторический факт, но и тогда это было очевидно хотя бы потому, что именно Молотову передал Сталин в начале двадцатых годов руководство организационными делами партии, которые прежде вел сам. Так что линия Молотова здесь — это линия Сталина. Как видим, в отличие от других вопросов, в которых Сталин стал на платформу оппозиции позже, в 1928 году, в этом вопросе он придерживался таких взглядов раньше самих зиновьевцев или вместе с ними, под прикрытием их артподготовки. Значение состава партии он понял раньше других, причем для него это был вопрос не риторики, а дела.

Характерно, что в дальнейшем широкая вербовка в партию никогда не давала на практике того результата, который служил для нее благим предлогом: не давала роста доли рабочих в партии. Лозунг — одно дело, но прием ведь оставался индивидуальным, и при таком широком наборе рабочий класс середины двадцатых годов не мог дать достаточного количества кандидатов, выдерживающих конкуренцию с представителями других слоев. Вот почему к следующему, XIV съезду сами же руководители большинства ЦК — прежде всего Бухарин — вынуждены были говорить о неподготовленных кадрах, которых стало слишком много в партии.

Сталин был сдержаннее в выражениях, чем Бухарин, но, учитывая, что вчерашние лозунги Молотова сегодня стали лозунгами оппозиции, дал в докладе достаточно фактов, доказывающих, что рост партии между XIII и XIV съездами был чрезмерным. Сталин сообщил, что к 1 июля 1925 года в партии было 911 тысяч членов и кандидатов — вместо 446 тысяч (без Ленинского призыва) к 1 апреля 1924 года. Удвоение за 15 месяцев! И остановки не последовало: к 1 ноября 1925 года уже 1025 тысяч. Простой расчет показывает, что все имевшиеся к началу восстановительного периода кадровые рабочие крупной промышленности (вспомним: 700 тыс. в 1920-м) должны были вступить в партию, чтобы ее численность возросла с 300—400 тыс. в 1922 году до миллиона в 1925-м. А фабричные новички эпохи восстановления могли по ленинской норме числиться кадровыми только с начала тридцатых годов. В партию вошло 25,5 процента всех (а не только кадровых) имевшихся к ноябрю 1925 года рабочих крупной промышленности. Часть рабочего класса, принятая в партию, росла быстрее, чем общая численность рабочих крупной промышленности,— где уж там было говорить о том, чтобы новый рабочий сначала «поварился» в фабричном «котле». Но даже и при этом условии процент рабочих — членов партии снижался — так широко были раскрыты ее двери. Если на XIII съезде Молотов сообщил, что после приема 200—220 тысяч рабочих Ленинского призыва процент рабочих в партии поднялся до 62—65, то в докладе на XIV съезде он же отметил, что в результате дальнейшего приема этот процент снизился до 57,4, в том числе от станка — 38—40.

Молотов на XIV съезде не сказал о качестве массы коммунистов-новобранцев. Кое-что на сей счет сообщил на XV съезде Коснор. Массовый набор рабочих, начиная с Ленинского призыва (240 тысяч), включая второй Ленинский призыв в годовщину смерти Ленина (еще 75 тысяч) и дальше, дал до первого января 1927 года 488 тысяч новых коммунистов-рабочих. Из них 8 тысяч были за это же время исключены из партии и 47 тысяч ушли сами. В целом более десяти процентов не удержались в партии. К этому надо добавить, очевидно, гораздо большее количество таких, которые не совершили тяжких проступков, наказуемых исключением, и не сочли нужным уйти сами, но, оставшись в партии, отнюдь не были способны самостоятельно вырабатывать политическую позицию.

Вспомним Ленина: безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. На XIV съезде в речи делегата Захарова проскользнуло: «У нас в партии имеется 28 тысяч азбучно неграмотных». И это, несомненно, было следствием усиленной вербовки.

И другая сторона развития рабочего класса того времени. Еще в 1929 году на таких крупнейших ленинградских заводах, как «Большевик», «Кооператор», среди рабочих даже с 20—30-летним стажем, да к тому и потомственных — с отцами-рабочими,— находились такие, которые держали в деревне крупное хозяйство с наемной рабочей силой. Выходило, что стаж в 10 лет для кадрового рабочего Ленин назвал по меньшей мере без преувеличения. Особенно верно это было после войны и революции, перемесивших классы и социальные слои: так, в 1926 году на «Красном треугольнике» работали бывшие офицеры царской армии и потомственные дворяне.

Из всего этого ясно, что в середине двадцатых годов прием в партию всех или большинства рабочих мог рассматриваться лишь как возможность отдаленного будущего. Между тем в 1925 году Зиновьев, цитируя весьма растяжимую в смысле сроков фразу из резолюции XIII съезда («Близится время, когда в партию будет входить вся основная масса пролетариата нашего Союза»), старался доказать, что уже можно принимать в партию подряд всех рабочих:

«Что самое характерное в нашем рабочем классе? Неужели то, что неболь-

шая горсточка деревенщины перевешивает основную массу? Не наоборот ли? Откуда этот пессимизм как раз по самому основному вопросу?»

Так и хочется к этой колонне вопросительных знаков добавить еще один: неужели это тот самый человек, который тремя годами раньше, стоя на той же трибуне — трибуне съезда,— столь убедительно объяснял, что такое деклассирование пролетариата?

Тем временем Сталин осмеивал оппозицию лишь за саркисовские крайности — не более. Это помогало ему сделать не столь заметным то, что он принимал самую суть идеи ускоренного расширения партии. На том же самом XIV съезде тихо и без споров, без обвинений в аксельродовщине прошел доклад Андреева об изменениях в уставе партии. Суть этих изменений в резолюции съезда определена так: «смягчение формальных условий по вступлению в партию рабочих и крестьян».

О каких «формальных условиях» шла речь? До того действовало положение, принятое партконференцией в 1922 году — как раз тогда, когда столько внимания регулированию состава партии уделил Ленин. Для приема в партию рабочего требовались три рекомендации коммунистов со стажем не менее трех лет. В то время это означало стаж до 1919 года, то есть до того времени, когда Деникин, создав на подступах к Москве самую большую за всю гражданскую войну угрозу Советской власти, тем самым устроил последний суровый экзамен коммунистической решимости вступавших в партию. Партийная неделя 1919 года была вербовкой в партию рабочих в условиях, когда вступить в партию значило показать готовность идти на смерть. Такой партийный стаж для рекомендующих в сочетании с предложенным Лениным (и не принятым) десятилетним рабочим стажем для вступающих давал бы солидную гарантию чистоты партийных рядов. А на XIV съезде Андреев предложил ввести для рабочих две рекомендации от коммунистов с одногодичным стажем, для крестьян сохранить три рекомендации, но стаж рекомендующих сократить с трех до двух лет. Масса новых коммунистов набора 1924—1925 годов получила возможность воспроизводить самое себя.

В дальнейшем для объявления массового набора в партию перестали даже искать объяснений в каких-либо изменениях объективной обстановки, стали использовать и такой повод, как юбилей, годовщина прошедшего события. Канула в прошлое былая теоретическая строгость Молотова, искавшего марксистское объяснение Ленинскому призыву. Очередной призыв был объявлен в честь десятилетия Октября, и Рыков с гордостью сообщил XV съезду, что за первые недели этот призыв дал 70 тысяч заявлений от рабочих. К концу 1927 года в партии было 1,2 млн. человек. А давно ли Ленин говорил, что 300—400 тысяч — чрезмерное количество? Кстати сказать, и доля рабочих в партии опять не возросла, а сократилась к XV съезду с 58 до 56 процентов, в том числе рабочих от станка — с 40,8 до 37,5 процента. Таков был тот состав партии, которому предстояло через несколько месяцев сделать выбор между Сталиным и Бухариным. Бухарин и не пытался доводить до такого выбора, до какого доходили троцкисты и зиновьевцы: дискуссия по всей партии, голосование по ячейкам. Если в бюро ячеек еще к XIV съезду половину составляли члены партии с 1917—1920 годов, то к XV съезду девять десятых низового партийного аппарата составили те, кто вступил в партию в 1924 году и позже. Зато среди секретарей губкомов возросла доля коммунистов с подпольным стажем. Верхушка партийного аппарата и его низы двинулись в разные стороны. (Видно, за десяток лет Сталин развел их достаточно далеко, если в 1937-м низы поверили, что верхушка сплошь состоит из врагов.)

Так в партии создалась на несколько лет масса людей с минимальным политическим опытом и теоретическим багажом — масса, которую более опытным людям, да еще располагающим аппаратом организации, нетрудно было повернуть в нужную сторону. Более того, эта легковоспламеняющаяся масса была способна увлекать руководителей своим молодым энтузиазмом.

Яков Ильин, умерший в начале тридцатых годов журналист «Комсомольской правды» и писатель, оставил замечательный портрет рабочего первой пятилетки. Он собрал из рассказов строителей и работников СТЗ документальную книгу «Люди Сталинградского тракторного». Ее почти невозможно сейчас достать, но переиздавался в пятидесятые годы роман Ильина «Большой конвейер», написанный с той же документальной точностью: многие его эпизоды, портреты героев полностью совпадают с описаниями из сборника. Одно из биографических интервью в сборнике «Люди Сталинградского тракторного» называется: «Я говорю сынам: учитесь». Это рассказывает о себе один из лучших бригадиров стройки, талантливейший человек, но неграмотный. Другой рассказ принадлежит работнице из народности эрзя, ставшей ударницей. Она пришла на стройку в лаптях, вода из крана была для нее дивом.

Еще один заголовок: «Да, мы ломали станки». Рассказчик не из деревни, а с московского завода, комсомолец. Но в Москве он видел только станки из XIX века: под потолком общий вал и к каждому станку ременная трансмиссия. Станок с электрическим индивидуальным приводом — американский — увидел впервые на Тракторном. Станок был для обработки бронзовых деталей, а парню было любопытно, что получится, если сунуть туда сталь. Любопытство было удовлетворено вполне: станок сломался.

Сознательность комсомольцев была выше самых высоких вершин. Заводить дома свое хозяйство? Никогда: только коммуной. Получку, премию — на стол: каждый берет сколько хочет. Уйти на гулянку в штанах товарища, оставив его без оных,— ничего особенного. Позор не выйти на ночной комсомольский субботник, но вполне можно не выйти на обычную дневную смену. Вели спор, надо ли бороться с клопами в бараке. Постановили: комсомолец выше мелочей быта. Чтобы изменить генеральную линию в этом вопросе, потребовался приезд секретаря ЦК комсомола Косарева.

Психология быта соответствовала психологии производства. Законы конвейера, потока, исключавшего героический штурм, были непостижимы не только для крестьянина, но и для старого рабочего. Он не понимал, что 144 трактора в день, как требовал проект, это не только новые станки, но и новая психология. Для того чтобы сборка шла как следует, нужны были точные, стандартные детали. А сборщик искренне хотел сделать больше, дать план, несмотря на отсутствие деталей. И, оглянувшись, не идет ли директор, он вытаскивал из-за голенища напильник, подтачивал бракованную деталь и ставил на трактор. Директор, прячась за колоннами, ловил нарушителей, отнимал напильники, но никак не мог объяснить, что для того, чтобы собрать больше тракторов, надо бракованные детали возвращать.

Стройка шла героическим темпом, сроки несколько раз укорачивали. В 1930 году директора командировали в Америку, на тамошние тракторные заводы. Вернувшись, он узнал, что коллектив под руководством парткома взял обязательство пустить завод еще на три месяца раньше: к XIV съезду партии. Директор в ужасе сказал, что это невозможно. Ему ответили, что невозможно только одно: отменить это обязательство, опубликованное в газетах. Съезд, собравшийся увеличить задания пятилетки, должен получить первый трактор. И пуск завода состоялся за неделю до съезда, с конвейера сошли первые пять тракторов. В день открытия съезда на его трибуну вышел для приветствия представитель завода и доложил, что вопреки «маловерам и нытикам» завод пущен на два месяца раньше последнего правительственного срока. Директор оказался не прав.

За следующий месяц завод не смог выпустить ни одного трактора. В течение года после пуска он давал вместо 144 — 30, 50, 70 тракторов в день. Директора сняли. Второй директор довел выпуск до 90 тракторов, надорвался и, заболев, умер. Проектную мощность завод освоил при третьем директоре. Выигранные два месяца обернулись проигранным годом. Директор оказался тысячу раз прав.

Можно ли осуждать этих рабочих, зажигавших энтузиазмом не только своих директоров и парторгов, но и американских специалистов? Можно ли предполагать, что новообращенный рабочий класс мог вырасти в стойкого пролетария-коммуниста, избежав всех заблуждений подросткового возраста? Это были золотые люди, способные отдать все делу социализма. У них не было опыта, но приобретали они его с поразительной быстротой. Харьковский тракторный, пуск которого

отделен от пуска Сталинградского месяцами, пошел сразу неизмеримо лучше, а Челябинский, еще позднее,— еще лучше. Но был, был момент, когда молодая необузданная культура не могла обойтись без направляющей руки, которая помогла бы миновать опасные рифы. Однако вождь прибавил газу там, где его обязанностью было притормозить. Может быть, и Сталин увлекся, подобно тому, как увлекся Серго Орджоникидзе, поверил на время во всесилие энтузиазма? Можно допустить и это, но какое это имеет значение? Увлекся он искренне или цинично рассчитал свою политическую выгоду от эксплуатации массовых заблуждений, которые обязан был рассеять,— это вряд ли имело значение для того же Серго в феврале 1937-го, когда он решил уйти из жизни.

Сталин и Молотов, громогласно осменвая требование прибавить к 200 тысячам рабочих, бывших в партии при Ленине, 5 миллионов новых, под шум этих споров спокойно прибавили без малого миллион — и не только рабочих — всего за четыре года, прошедших от XIII конференции до XV съезда. Это было достаточно, чтобы к моменту последней решающей схватки в руководстве партии превратить «стариков» в незначительное меньшинство. Не только в составе рядовых членов партии, но и в низовом партийном аппарате все позиции занял партийный молодняк, для которого перипетии истории партии при Ленине звучали почти как библейские сказания.

За период борьбы с правым уклоном — с XV по XVI съезд — партия увеличилась численно еще в полтора раза, до 1952 тысяч. Новый набор был на сей раз преимущественно рабочим, а принятые критерии приема в партию сделали этот набор прямым пополнением резервов во время боя с правыми. В организационном отчете XVI съезду Каганович нарисовал весьма яркую картину:

«Этот рост идет в ногу с политическими лозунгами нашей партии. Под какими лозунгами шли рабочие в партию раньше и под какими идут они в настоящее время? В 1924 г. рабочие шли под лозунгом: «Укрепим партию. Возместим потерю Ленина». В 1927 г., в дни десятилетия Октябрьской революции, рабочие шли под лозунгом борьбы с троцкизмом, за ленинизм, за ленинский ЦК. В 1929 г. они шли под теми же лозунгами, но к этому прибавляли: «Одобряя решения партии по вопросу о правых уклонистах, заявляю, что буду бороться решительно с правым уклоном, прошу меня принять в ряды партии, чтобы помогать строить социализм в нашей стране». (Из заявления рабочего завода имени Ильича.) В 1930 г. к этим лозунгам прибавляется: «Для выполнения заветов Ильича, намеченного промфинплана и пятилетки в 4 года объявляем себя ударниками. Всем коллективом желаем вступить в партию». (Коллектив рабочих фабрики «Заря социализма».) Как видим, характер заявлений идет в ногу с теми политическими лозунгами, которые партия выдвигала».

Каганович, конечно, не понял, какую глубокую правду содержит последняя фраза приведенного отрывка. Вступить в партию коллективом (он не сделал даже формальной оговорки по этому поводу), чтобы выполнять промфинплан и заветы Ильича,— такую смесь в головах рабочих действительно можно объяснить лишь тем, что «характер заявлений идет в ногу» со сталинскими политическими лозунгами тех дней. Не менее характерно и первое из этих восхитивших Кагановича заявлений. Человек, еще не вступивший в партию, уже имеет мнение о существующем в партии уклоне, это мнение ставит в основу своего решения о вступлении, с этим его принимают. Начало спора с правыми — это лишь предыстория его партийной биографии. Он пришел к концу, заранее зная, что правые неправы. И когда через два-три года сама жизнь подтвердит все предсказания Бухарина о судьбе первой пятилетки, такой коммунист с 1929 года может даже не заметить этого. Он ведь пришел в партию, когда звучал голос лишь одной стороны. Сталинский поворот 1933 года он воспримет лишь как доказательство сталинской гениальности, а не как вырванное жизнью признание бухаринской правоты.

Устойчивость. Поразительно верно найденное Лениным слово. Именно неустойчивость — главная черта всякого неофита. Полузнайка опаснее незнайки. Активность уже разбужена, опыта и воспитания еще нет. Идеи уже знает, относиться к ним критически еще не умеет. Из младенцев во взрослые не перескакивают — сначала бывают подростками. Возраст заблуждений — он бывал опасным даже у теоретиков высокой культуры, у большевиков с дореволюционным стажем, и не только у молодого Бухарина, но и, например, у Дзержинского, Фрунзе, ошибавшихся в споре о Брестском мире. Уже этот спор показал, сколь опасны могут быть политические подростки, даже если это лучшие из лучших. Через десяток лет эти — десятки, сотни, тысячи, решавшие тогда,— имели неизмеримо больший политический опыт. Однако за ними уже шли миллионы новых, поднятые революцией к политической активности, но, увы, не имевшие ленинской направляющей руки. Бухарины-подростки смяли Бухарина-взрослого.

Краткость исторического опыта, молодость культуры социализма была определяющей чертой двадцатых годов. «Страна-подросток» — это повторяли за Маяковским с гордостью. Не было привычки мыслить десятилетиями, «через год» это было долго, «через десять лет» — туман, фантазия. В этом было большое преимущество строителей нового общества, но в этом и слабость. Сама мысль об отдаленных последствиях не доходила. Как в медицине: чтобы узнать, что ДДТ опасен тем, что накапливается в организме, надо было его одному поколению накопить. Когда Бухарин говорил об отдаленных последствиях ускорительства, его мало кто понимал. Орджоникидзе в речах 1929—1930 годов, приводя цифры об успехах начала пятилетки, вполне искренне утверждал, что эти цифры опровергают предсказания «Заметок экономиста», верил и в 17 млн. т чугуна в 1933 году. Понадобилось столкнуться с отдаленными последствиями — спадом темпов в конце пятилетки,— чтобы в 1934-м на XVII съезде тот же Серго предложил снизить контрольную цифру по чугуну на 1937 год с 18 до 16 млн.,— и это было принято, потому что делегаты съезда прошли ту же школу первой пятилетки. Фактический итог второй пятилетки по чугуну был близок к контрольной цифре: 14 вместо 16 — это уже совсем не то, что 6 вместо 17.

Беда была не только в незнании законов долговременного экономического развития (точнее — в непонимании, потому что тех, у кого знание было,— не слушало большинство) — не было и понимания отдаленных последствий текущих организационных и политических решений для социалистической культуры, психологии, традиции, когда принятые в прошлом конкретные решения, переплавившись в определенный тип культуры, сами потом влияют на совсем другие решения, в другой обстановке. Так, дружный напор массой, числом стал нормой именно в первую пятилетку. В речи на знаменитом Объединенном пленуме ЦК и ЦКК в 1933 году даже Орджоникидзе не заметил в своих цифрах того, что сегодня бросилось бы в глаза любому внимательному экономисту. Как о бесспорном успехе он сообщал, что за пятилетку на Московском автозаводе основной капитал возрос с 9,9 млн. рублей до 53,4 млн., а численность рабочих с 1,9 тыс. человек до 15 тысяч. Приводя затем аналогичные цифры по 23 крупнейшим предприятиям, он не сделал сопоставления, лежащего на поверхности: численность занятых растет быстрее, чем основные фонды, то есть фондовооруженность рабочего падает, возможности роста производительности труда на основе новой техники используются не полностью. В экономическом отношении человек ценился ниже, чем основной капитал, машина: людей много, машин мало. Это лишь первый шаг экстенсивной культуры хозяйствования, потому что затем приходит и неполное использование машины. Действие наряду с интенсивными экстенсивных факторов роста неизбежно на начальной стадии индустриализации, но политик должен предвидеть и неизбежные последствия этого для культуры труда и управления, избежать насланвания привычки, сохранить возможность перехода к интенсивному хозяйствованию. Сам Серго скоро увидел опасность зарождавшегося типа культуры труда. В речах он упрекал директоров заводов, что у них из семи часов смены работают от силы пять. Некоторые оправдывались: у меня не пять, у меня шесть часов работают. Что работают всю смену, не утверждал никто, излишек рабочих на заводах был общепризнанным фактом. Серго не победил эту «культуру», она оказалась страшно стойкой, выросла в нынешнюю «сверхзанятость», которая лишь с огромным трудом вытесняется экономической реформой.

Героические штурмы, возведенные в закон, выросли в штурмовщину,— судя по речам Орджоникидзе, даже домны Магнитки «качало» от 1000 тонн суточной выплавки до 400 тонн. А на Сталинградском тракторном степень штурмовщины испугала Серго, он сказал: прекратите ночные коммунистические воскресники, у людей не останется сил работать днем. Но прежде чем отказаться от штурма как метода работы, надо было убедиться, что он не дает желаемых результатов. А тем временем сложилась привычка, произошел отбор, укрепился круг специалистов по штурму, которые именно так умели работать лучше других, а по-другому не умели и должны были бы уступить место.

Сложилась всеобщая привычка к низкому качеству роста, сложилась система экономической защиты низкого качества. Необратимость валюты и административное утверждение нереального обменного курса, централизованное установление цен и поддержание их на нереальном уровне независимо от состояния внутреннего рынка, узкобюрократическое толкование монополии внешней торговли, обеспечивавшее искусственную защиту неэффективных производств, столь же узкое толкование планирования и роли плана, отрицание экономических стимулов — эти и много других мер были нужны, чтобы и при низком качестве роста поддержать видимость экономического равновесия.

Сами по себе эти меры нельзя считать ни плохими, ни хорошими. Весь вопрос в том, применяют ли их, когда это действительно нужно, сознают ли их отдаленные последствия, помнят ли, что эти меры могут быть только временными. За всю сталинскую четверть века, в течение которой они применялись, эти меры были оправданы шесть лет, с 1939 по 1945-й — годы второй мировой войны. Только в эти годы был нужен и оправдан рост любой ценой, хотя бы ценой низкого качества. Сталин же сделал высокий темп самоцелью на все времена, не глядя, дает это что-нибудь людям или, напротив, обедняет их жизнь. Соответственно оправдывались любые меры, которые обеспечивали (или казалось, что обеспечивали) высокий темп. С годами все большему числу людей стало казаться, что без этих мер вообще нельзя, что в них-то и выражаются основные преимущества социализма в экономике.

Этот барьер массовой психологии оказался прочным. Уж на что смелой была хрущевская критика сталинизма, куда как решительна ломка старого при создании совнархозов. А по сути дела, весь замысел этой «революции» остался в узком кругу идей, завещанных Сталиным, не вышел за пределы перестройки административной лестницы.

Субъективизм, вера во всесилие приказа жили рядом с отношением к людям как материалу для строительства социализма, а не как к цели этого строительства. Тут рождалась самая тяжелая сторона психологии и культуры раннего социализма. Рядом с бухаринскими речами 1918 года (пусть немцы вставят «кольцо в ноздри» рабочим и крестьянам — лишь бы шли воевать, пусть погибнет Советская Россия — лишь бы раздуть мировой пожар), рядом с общим согласием сослать тысячи кулаков и «подкулачников» с семьями — лишь бы колхозы были не через пять лет, а через год — интересно вспомнить знаменательный спор между наркоматом юстиции и ЦКК—РКИ, разыгравшийся на XV съезде партии. В прениях по докладу Орджоникидзе работник ЦКК—РКИ Янсон заявил:

«По тому опыту, с которым мы встречаемся в работе органов юстиции, я лично пришел к убеждению, что здесь нам нужно не только реформами заниматься, но даже небольшую революцию произвести (Сольц: «Правильно!») снизу и доверху. Правда, товарищи, которые работают в органах юстиции, призваны к тому, чтобы защищать законность, но иногда эта защита законности превращается в буквоедство. Иногда начинают рассуждать таким образом, что если нужно тебе помирать, то помирай по закону.

Крыленко. Правильно!

Янсон. Это никуда не годится. По-моему, совершенно безразлично, если человек помирает — по закону он это делает или без закона,— результат одинаковый. Мы думаем, что наша законность должна быть построена так, чтобы она

была связана непосредственно и в первую очередь с требованиями жизни (Голос: «Правильно!»), с жизненной целесообразностью. (Аплодисменты.)... идет орабочивание судебного аппарата не только судейского, но также прокурорского и следственного. Но здесь еще колоссальное поле деятельности, и я полагаю, что наибольших результатов мы достигнем в том случае, если мы органы юстиции построим по такому принципу, чтобы там было определенное количество людей с практическим смыслом и опытом, людей рабочего происхождения (Аплодисменты.)...

Сольц. И поменьше юристов.

Янсон. ...которые должны быть спаяны с нашими советскими юристами... А сейчас у нас имеется некоторый профессиональный юридический уклон, который не совсем полезен для дела советской юстиции, являющейся совершенно новой формой юстиции по сравнению с буржуазными».

Выступавший от имени прокуратуры Крыленко еще не знал, скольким из аплодировавших Янсону предстоит через десяток лет «помирать не по закону». И возражать Янсону он начал в его логике, доказав сначала, что у юристов нет юридического уклона, ибо рабочих среди них 33,5 процента. Но при этом из 1176 уездных помощников прокуроров РСФСР лишь 124 имеют юридическое образование, 139 — высшее (видимо, неюридическое), 210 — среднее, 690 — низшее, 236 — без всякого юридического стажа. Почти 100 процентов — коммунисты. Но, кроме этого, Крыленко все-таки поставил основной вопрос: «Что в конце концов является для судебных работников основным указующим критерием: имеет ли он право, или не имеет права вкривь и вкось, по своему усмотрению, толковать, применять или не применять любой закон?» Его ответ: революционная целесообразность в переводе на простой язык означает «как бог на душу положит», она не может заменять точные указания Советской власти. Крыленко привел слова Ленина:

«Рабкрин судит не только с точки зрения законности, но и с точки зрения целесообразности. Прокурор отвечает за то, чтобы ни одно решение ни одной местной власти не расходилось с законом, и только с этой точки зрения прокурор обязан опротестовывать всякое незаконное решение, причем прокурор не вправе приостанавливать решения, а обязан только принять меры к тому, чтобы понимание законности установилось абсолютно одинаковое во всей республике» [1].

Ни одну речь на съезде, кроме речей оппозиционеров, так не перебивали репликами, как речь Крыленко. Даже посреди цитаты из Ленина кричали: «Не делайте из этого фетиша». Вот характерный кусок стенограммы:

«...т. Сольц... подал реплику: «есть законы плохие и есть законы хорошие». Хороший закон, говорит он, надо исполнять, а плохой (Голос с места: «Исправлять!») не исполнять. (Голос с места: «Правильно!» Голос с места: «А как же иначе?» Смех.) Нет, товарищи, я должен сказать, что горжусь тем, что в этом вопросе никто не может упрекнуть ни прокурорский надзор, ни судебные органы в том, что они берут на себя смелость исправлять законы или берут на себя смелость истолковывать их по-своему. Они делают то, что им приказали рабочий класс и партия, и большего от них требовать нельзя. (Мандельштам: «Как чиновники») Погодите, нет, не как чиновники, а как пролетарии».

Последнее слово осталось отнюдь не за Крыленко. Выступил Шкирятов и рассказал, как в одной деревне происходили убийства, а суд никого не мог осудить. Он говорил с возмущением:

«Суд, видите ли, ищет фактов. Тут царит только буква закона. На глазах происходит убийство, а им давай факты. К букве закона не подходит — судить нельзя».

Рассказал другую историю — о человеке, который во время гражданской войны боролся с бандитизмом:

«Этот товарищ кое-кого без закона расстрелял в то время. А теперь, когда мы живем в спокойной обстановке, когда все успокоилось, один из судебных крючкотворов разыскивает это дело... и говорит: вот такой-то коммунист (хороший

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 199.

ленинградский, кажется, или украинский рабочий-металлист) обвиняется в том, что он не по закону расстреливал,— и его предают суду. (Крыленко: «Да не отдал под суд! Что вы рассказываете!») Да, да, т. Крыленко, если бы не вмешательство ЦКК, товарища бы отдали под суд. Вот тут-то нужно руководствоваться не только буквой закона, а нужно подходить к этому закону своим пролетарским революционным чутьем. Вот что должно быть, т. Крыленко. (Голоса: «Правильно!» Аплодисменты. Крыленко: «Выходит, что расстрелять можно беззаконно?») Нет, не выходит, а выходит то, что нельзя быть бездушным чиновником».

«Хороший рабочий-металлист» мало интересовал Шкирятова, который даже не помнил — ленинградский он или украинский. Едва ли интересовала его и та бесспорная истина, что во время гражданской войны неизбежны иногда и расстрелы без суда — это не требовалось объяснять сидевшим в зале. Речь шла о том, как относиться к закону в мирное время — и тут поддержка зала была, увы, не на стороне Крыленко. В этом было главное. Даже делегаты съезда, цвет партии, в 1927 году были готовы принять анархистское, полурабочее отношение к такому важному вопросу — лишь бы оно было украшено эпитетами «пролетарского», «революционного» толка.

Более или менее длительный период неустойчивости пролетарского сознания в начале социалистического строительства нельзя считать ни случайным, ни характерным лишь для отсталых стран с многочисленным крестьянским населением. Здесь не случайность, а социальная закономерность, проявление особого этапа развития пролетарского самосознания, дающего некий промежуточный уровень. Уже осознаны революционные классовые интересы, но еще не накоплен достаточный политический опыт, чтобы преодолеть полностью мелкобуржуазные влияния. Уже отброшена старая буржуазная культура, но еще не выросла новая, социалистическая. Это этап, когда роль партии объективно огромна, когда от верности ее политики зависит все. Задача партии — вести рабочий класс путями, позволяющими наиболее надежно преодолеть это «недоразвитие», с наименьшими издержками достичь более высокой ступени пролетарского самосознания.

Путь, обеспечивающий наименьшие издержки и наилучшее качество новой культуры, не всегда самый прямой и короткий. В этом особая сложность задачи правящей партии. Образцом правильно проложенного пути была новая экономическая политика. Острота столкновения с крестьянами в дни Кронштадта и Тамбова побудила Ленина в первые дни поворота к нэпу характеризовать его как особую политику по отношению к крестьянству. В этом действительно заключалось начало, фундамент всего здания. Но в целом нэп был шире и богаче содержанием, что и раскрыл Ленин в последующие месяцы. Это была, кроме того, и особая школа для рабочего класса. Недаром Ленин так любил слово «учиться» — от «учиться торговать» и «учиться социализму у организаторов трестов» до лозунга «Задач союзов молодежи»: учиться всему, что создала до нас мировая культура.

Пытаясь использовать особенности этого исторического этапа в своих интересах, Троцкий первым додумался опереться на тот слой, в котором Ленин видел источник неустойчивости партии. Еще в 1923 году Троцкий воззвал к молодежи. Но его подвело именно то, что он был первым: слишком рано было, и первые струйки молодых, неустойчивых сил партии еще не могли одолеть старый костяк, даже если Троцкому удавалось повести их за собой. Сталин использовал тот же прием вовремя, когда приток молодых сил стал самым мощным. В середине и конце тридцатых годов наступил третий этап: приток новых рабочих стал не столь сильным по сравнению с уже сложившейся за две пятилетки массой рабочего класса. Появилась естественная устойчивость, которую уже не надо было поддерживать особыми мерами,— наоборот, особые меры требовались для того, чтобы ее нарушить. Новички третьей пятилетки не могли свалить новичков первой пятилетки одной своей массой. А свалить Сталину нужно было, ибо поколение двадцатых годов в рабочем классе и партии к концу

тридцатых годов уже не было неопытным. Оно обучилось, запомнило и горький опыт первой пятилетки, через который прошло под сталинским флагом. Лучшие люди этого поколения начали понимать слишком много — Сталин почувствовал это на XVII съезде, где, может быть, не хватило немногого, чтобы сменить его у руля. Потому-то он не мог позволить большинству делегатов дожить до следующего съезда.

Тем временем в политике чрезвычайные меры уступили место новой Конституции, в экономике ускорительство начало отступать перед трезвым расчетом. Приходило понимание отдаленных последствий сегодняшнего решения. А с ним и вопросы: какие сегодняшние обстоятельства сами служат лишь отдаленными последствиями вчерашних решений? И следующий вопрос: было ли необходимым ускорительство в первой пятилетке, нужно ли было претерпеть голод в начале тридцатых? Эти вопросы готов был выдвинуть не тончайший слой «старой гвардии», а основной, массовый слой «молодой гвардии». У него еще нет вождя, который выразит окрепшее новое сознание, но разве мало их, из второго эшелона старых большевиков, занявших место вытолкнутых соперников Сталина по шестерке? Киров, Орджоникидзе, Рудзутак, Постышев, Эйхе, Тухачевский — любой может завтра стать опасен. Может быть, они и сами еще не все это поняли — вот и надо спешить, пока не поняли. Надо убрать и их, и тот слой, идеи которого они готовы выразить.

Но победить массовый слой можно только массовым насилием. В этом секрет бессмысленной на первый взгляд массовости репрессий тридцать седьмого. Вот почему наивно говорить, что Сталина обманывали Ежов и Берия, что ему случайно не повезло: ошибся, мол, не тем поверил. Нет, он поверил именно тем, кому хотел поверить, он выбрал тех, кто лучше всего подходил для выполнения поставленной задачи. Чтобы убедиться в этом, нет нужды разглядывать темные фигуры этих бандитов. Они были всего лишь исполнителями, палачами с топором. Работу палачу задает прокурор, а он действовал вполне открыто. Теории Вышинского в сочетании со знаменитой речью самого Сталина об обострении классовой борьбы в ходе строительства социализма доказывают неопровержимо, что установка была именно на массовые репрессии.

Остановимся на фигуре Вышинского и попробуем рассмотреть его тоже, как представителя определенной социальной силы, интересной в данном случае постольку, поскольку Сталин счел нужным на нее опереться. Оксфордский «Сарвей» (советологический «журнал исследования Востока и Запада») в 1971 году опубликовал отрывок лагерных воспоминаний Иосифа Бергера, в тридцатые годы выполнявшего ответственные задания Коминтерна в ряде стран. Отрывок называется «Инжир». Так звали заключенного, с которым Бергер встречался в лагерях Красноярского края в послевоенные годы. Инжир поведал Бергеру, что он старый меньшевик, после Октября перекрасившийся в беспартийного специалиста в ожидании гибели большевиков. По делу Промпартии он был арестован и спасся от сурового приговора тем, что оговорил невинных людей — большевиков. С тех пор он видел в этом дело своей жизни: губить большевиков руками большевиков, писать на них доносы и сажать в тюрьму как можно больше. Он сделал на этом блестящую карьеру: когда начальником Гулага сделался Ежов, Инжир стал его главным бухгалтером. Эта близость его погубила: когда посадили Ежова, был вновь арестован и Инжир — он закончил свою жизнь в заключении.

Раздобыл ли «Сарвей» подлинные мемуары или изготовил фальшивку? Писал ли правду Бергер? Рассказывал ли ему правду Инжир? Мы не можем это проверить, но при всех скидках на возможную недостоверность одна деталь важна в этой истории: Инжир — меньшевик. Вспомним: при всей вере в возможность использования даже буржуазных специалистов, меньшевикам Ленин не доверял никогда. В пору чистки партии, отмечая, как мало в ней бывших меньшевиков, Ленин писал: хорошо бы оставить в партии в сто раз меньше. Имена многих меньшевиков используются в ленинских статьях как нарицательные, как ругательные слова: черновы, церетели, даны, заславские, майские.

Заславский, один из главных сотрудников самого ненавистного Ленину издания — меньшевистской газеты «День», стал при Сталине одним из видных сотрудников «Правды». По свидетельству старых правдистов, в двадцатые годы коммунисты «Правды» трижды отказывали Заславскому в приеме в партию. Он был принят, когда принес рекомендацию Сталина.

Безусловно, полезной была и дипломатическая, и научная работа Майского. Но как не подивиться его везению: этот бывший министр омского правительства Колчака, став советским послом в Лондоне, уцелел тогда, когда послы из старых большевиков гибли один за другим. Слава богу, что уцелел Майский. Но почему бы не уцелеть и Раскольникову?

Зато нельзя сказать, что была полезной деятельность Мехлиса. В воспоминаниях нескольких видных военачальников оценка его «подвигов» в Отечественной войне самая печальная. В отличие от Заславского и Майского этот бывший меньшевик был доверенным лицом Сталина и как таковой провалил не одну военную операцию, загубил немало людей. И должности он получал посолиднее: главный редактор «Правды», начальник Главпура, министр Госконтроля.

Самой страшной — и по существу точно совпадающей с предполагаемой деятельностью Инжира — была всем известная деятельность Вышинского. Из бывших меньшевиков он достиг самого высокого положения. Если бы только кто-нибудь сказал Ленину, что на процессе, который кончился смертным приговором троим из шести названных им виднейших руководителей партии (Каменеву, Зиновьеву, Бухарину), а также секретарю ЦК при Ленине Крестинскому и другим виднейшим старым большевикам,— если бы он мог представить, что государственным обвинителем на этом процессе будет меньшевик Вышинский! Человек 1923 года мог бы такую воображаемую ситуацию объяснить только одним: значит, победила контрреволюция. А ведь Вышинский был не только практиком, не только организатором одного центрального процесса. Он был и теоретиком, создателем норм для всех остальных «процессов» 1937—1939 и послевоенных лет.

Роль нескольких меньшевиков в истории сталинской эпохи прослежена здесь отнюдь не для того, чтобы дать какую-либо оценку меньшевизму в целом или хотя бы части его. Такая оценка, во-первых, увела бы нас от темы, а во-вторых, она невозможна в двух словах. Меньшевизм, как всякая социал-демократия, течение многоцветное, не поддающееся однозначной оценке,— сама природа этих партий допускает существование под одной крышей очень разных, порой противоположных направлений. Выше названы не вообще меньшевики, а лишь бывшие меньшевики, оставившие свою партию после Октября. И не вообще бывшие меньшевики, а лишь те из них, которые, не желая оставаться вне политики, исполнили предсказание XI съезда партии большевиков: пошли в единственную правящую партию, хотя отнюдь не стали большевиками по своим взглядам, а некоторые из них, возможно, не утратили и враждебности к большевикам. Но даже и этой узкой группе нельзя дать однозначную оценку. Да такая оценка и не нужна в рамках нашей темы. Нам важно оценить не меньшевиков, а Сталина, в данном случае через его отношение к меньшевикам. Мы видим, что Сталин относился к ним иначе, нежели Ленин и основная масса большевиков. Это отличие, это стремление Сталина опереться на силу, искони враждебную большевикам, само по себе говорит о многом.

Наш анализ подходит к концу. Мы увидели, какую роль в подготовке событий конца тридцатых годов сыграли события двадцатых: внутрипартийная и межпартийная борьба, действия меньшевиков, троцкистов, уклонистов. Издержки отчаянной борьбы за власть, желание замести следы, скрыть ошибки — все это объясняет многое в сталинских репрессиях, особенно в его маниакальном стремлении убрать не только личных врагов, но и близких соратников, от Каменева до Тухачевского, и личных друзей, например, Сванидзе. Но и это не до конца объясняет главную загадку: массовость репрессий, уничтожение тысяч и тысяч вовсе не знакомых и явно не опасных ему лично людей. Ответ на эту загадку может дать только анализ классовой направленности сталинской политики.

Такой анализ сразу показывает, что Сталин не мог ограничиться разгромом партии, отстранением от власти старой партийной верхушки. Его политика противоречила коренным интересам рабочего класса независимо от того, что рабочие в массе этого не сознавали и, соприкасаясь с негативными последствиями сталинского курса, воспринимали их как результат произвола местных властей, частные ошибки и т. п. Даже без осознания общей картины политического развития рабочий класс был способен инстинктивно, следуя ближайшим интересам, сломать сталинскую политику суммой отдельных решений по частным вопросам — посему следовало отнять у него власть над этими решениями. А власть рабочим при Ленине была дана большая.

Начнем с главного вопроса, определяющего демократизм общественного строя в современных условиях — с вопроса о распределении вновь созданной стоимости. Что достается работнику (в виде заработной платы), что — предприятию (прибыль), что — государству (отчисления от прибылей, налоги и проч.)? В подходе к решению этого вопроса — одно из главных отличий социализма от капитализма. Каковы бы ни были мнимые и даже подлинные свободы в буржуазном государстве, капиталист не может допустить рабочего к решению этого вопроса, в особенности у себя на предприятии, иначе он перестанет быть капиталистом. Именно власть решать этот вопрос делает капиталистов господствующим классом.

Классовое содержание этого экономического вопроса до предела обнажено одним замечанием Ленина на книгу Бухарина: «классы представляют из себя прежде всего «группы лиц» (неточно сказано), различающихся положением в общественном строе производства и различающихся так, что одна группа может присваивать себе труд другой группы» [1]. Годом раньше, в «Великом почине», эта формула развернута подробнее, но здесь Ленин оставил суть, вывод: возможность присвоения чужого труда. Проще простого: дай рабочему власть решать самому, на предприятии и в государстве, вопрос о распределении вновь созданной стоимости — и он никому не позволит «присваивать себе труд другой группы». Так вопрос о демократии (не в буржуазном, а в социалистическом понимании, хотя для сохранения социалистической демократии не безразличны буржуазные свободы), вопрос о подлинной демократии становится вопросом о характере общественного строя. Как же решался этот вопрос до поворота 1928 года и как — после?

Прежде всего для самостоятельного решения о распределении вновь созданной стоимости рабочему нужна информация — нельзя же решать с завязанными глазами. И в двадцатые годы регулярно публиковались индексы цен, сообщения о прожиточном минимуме, другие необходимые сведения. Сталин не только сделал государственной тайной прожиточный минимум и его отношение к средней зарплате, но и всю народнохозяйственную статистику довел примерно до такого же «совершенства», как позднее Мао в Китае. Даже издание обычных ежегодников «Народное хозяйство СССР» возобновилось только после XX съезда.

Дальше, требуется право рабочих участвовать в решении вопроса о величине заработка. Такую возможность рабочим удается нередко завоевать и при капитализме, но на условиях, которые не изменяют их положения эксплуатируемого класса: у них нет ни средств производства, ни государственной власти. Их профсоюзы всего лишь один из участников торга, в лучшем случае формально равноправный, но всегда ведущий торг в менее выгодных условиях, чем покупатель рабочей силы. Однако при социализме одного этого формального равноправия профсоюза с администрацией в решении вопроса о зарплате в сочетании с демократизмом рабочего государства достаточно, чтобы поставить рабочий класс в положение стороны решающей. Через профсоюз он решает этот вопрос на уровне предприятия в условиях действительного равноправия, поскольку предприятие не принадлежит не только профсоюзу, но и администрации, и вместе с тем рабочие сознают, что как часть рабочего класса они являются его хозяевами. Через государство, если оно демократично на деле, рабочие решают проблемы распределения на всех уровнях выше предприятия.

На предприятии (а это рабочему всего ближе и важнее) вопрос решался

[1] Ленинский сборник XL, стр. 391.

в двадцатые годы самым простым и верным способом: уровень зарплаты на каждый год определялся коллективным договором администрации предприятия с профсоюзом. Этот порядок был отменен в тридцатых годах, причем не только профсоюз, но и предприятие, и даже отраслевой промышленный наркомат не могли уже решающим образом влиять на уровень зарплаты — все решалось в едином центре, не несущем прямой ответственности за ход производства и тем более не подведомственном профсоюзам.

Далее, для подлинного влияния на распределение необходимо право рабочих влиять на само производство, от результатов которого зависит размер распределяемой стоимости. Этот вопрос объективно один из самых сложных, так как современное производство невозможно без централизованного управления и, казалось бы, предприятиям нельзя дать сколько-нибудь широкую возможность самоуправления, не нанеся ущерба общественной собственности. Но в двадцатые годы находили выход в том, чтобы поставить под контроль рабочих коллективов саму центральную хозяйственную власть.

Поначалу даже Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ) был выборным, его избирали на Всероссийском съезде совнархозов. И совнархозы тогда не были таким порождением административной премудрости, как в конце пятидесятых годов,— это были Советы, часть Советов депутатов, выборной народной власти. В свою очередь, право распоряжаться производством на своей территории делало Советы депутатов органами реально властвующими.

Но одна лишь выборность руководства не гарантирует подлинную власть рабочих: «демократию избирательной урны» легко сделать формальной. Важно подкрепить ее другими мерами, в частности, демократией экономической. И это было сделано. Новая экономическая политика дала предприятиям значительную свободу действий, а к концу двадцатых годов предприятия приобрели и значительный экономический контроль над вышестоящим аппаратом: назначаемые ВСНХ главки — главные управления по промышленным отраслям — были вытеснены синдикатами — органами особого рода. Предприятия входили в состав синдикатов добровольно, в качестве пайщиков, правления синдикатов были выборными от предприятий, само существование синдикатов зависело от экономической поддержки предприятий, а такая поддержка обусловливалась высоким качеством управленческих услуг.

Сталин тараном форсированной индустриализации разбил и созданные на основе синдикатов объединения, и ВСНХ, и совнархозы — всю эту никогда и нигде больше не повторенную систему демократического управления экономикой огромной страны, которую с огромным трудом возрождает лишь нынешняя перестройка. Руководитель той системы в ее наиболее развитом виде — последний председатель ВСНХ Орджоникидзе — еще до XVII съезда превратился всего лишь в одного из промышленных наркомов. Реальная власть над народным хозяйством ушла из его рук, остался лишь громадный личный авторитет — слишком ненадежная броня, как выяснилось вскоре.

Наконец, предприятия лишились всех экономических прав, какие они имели в двадцатые годы: права устанавливать цены, распоряжаться капиталовложениями и собственной продукцией. Вспомним, как высоко ставил Энгельс власть над продуктом труда. Он писал в «Происхождении семьи...»:

«Лишь только производители перестали сами непосредственно потреблять свой продукт, а начали отчуждать его путем обмена, они утратили свою власть над ним. Они уже больше не знали, что с ним станет. Возникла возможность использовать продукт против производителя, для его эксплуатации и угнетения» [1].

Разумеется, коль скоро при социализме сохраняется товарное производство, неизбежно и отчуждение продукта путем обмена. Но рабочему далеко не безразлично, каким способом это делается, участвует ли он, производитель, в решении вопроса о цене и других условиях продажи продукта своего труда, или это делает «сторонний ценовщик», выражаясь словами Чернышевского.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 21, стр. 113.

Колхозников, правда, Сталин так и не смог лишить формального права распределять вновь созданную стоимость. Но он вполне преуспел в лишении их этого права на деле, по возможности отбирая у колхозов **весь** произведенный продукт.

Узурпировав таким образом не только права партии, но и права рабочих и крестьян, Сталин неизбежно должен был и охранявшие его власть меры подавления направлять не только против партийной верхушки. Никак нельзя было арестовать всех рабочих и крестьян (хотя система Гулага представляла собой весьма обширный эксперимент по созданию «рабочего класса» совсем особого рода), но опасность для Сталина объективно представляли именно все, ибо он нарушил коренные интересы обоих трудящихся классов в целом. Даже не осознав своей враждебности Сталину, массы могли сорвать его экономическую политику хотя бы простым стихийным бегством с одного места работы на другое, что и происходило в масштабах, коих сам Сталин не мог скрыть. Последовало логичное завершение системы: всеобщая обязательная паспортная прописка, лишение рабочих и служащих права менять место работы по собственному желанию, приковывание колхозников к деревне путем лишения паспортов.

Можно еще долго характеризовать отношения Сталина с рабочим классом, и нигде не минуется отрицание «не»: люди, пользующиеся жильем, не решали, сколько и где должно строиться жилых домов на накопленные их трудом средства, покупатели не решали, сколько и каких товаров производить, за какую цену продавать, сколько и где магазинов для того построить. Нет, былая бедность наша, конечно, вызвана была не тем, что один Великий и Мудрый все решал. Но кто сочтет, насколько она продлилась из-за того, что от решений отстранялась мудрость народная?

Коль скоро народ не решал по-хозяйски вопросов трудных — вроде вопроса, как разделить небогатые свои доходы,— то создавалось впечатление, что не его, народа, а сталинской заслугой были и решения приятные — вроде ежегодного снижения цен. Все, что создавалось трудом народа, представало в обыденном сознании как дар вождя. Позднее его же исключительной заслугой стали представляться и военные победы, одержанные отнюдь не малой кровью. Изжить подобные элементы массового сознания — задача во многом актуальная и по сей день.

Решить эту задачу нелегко, такое решение требует и освобождения от многих предрассудков, и глубокого анализа многих сложных и неясных явлений общественного сознания. Взять, например, известный феномен «духа тридцатых годов». Откуда воспоминание о них как о времени светлом, радостном, героическом — о прекрасном утре социализма? Это не случайные личные впечатления людей, помнящих то время,— литература оставила нам достоверные художественные документы эпохи. Катаев, Третьяков, Каверин, Олеша, Горбатов, Ильф и Петров, Фраерман, Твардовский, Исаковский, Паустовский и десятки других, в том числе, может быть, самый удивительный голос, почти целиком отзвучавший именно в десятилетии тридцатых: Гайдар. Такие разные по характеру таланта и такие сходные по настроению книги той эпохи — веселые. Поразительный факт: даже в книгах конца тридцатых о шпионах, о врагах, обманывающих нас (Макаренко — «Флаги на башнях», Гайдар — «Военная тайна», «Судьба барабанщика»), даже в таких книгах главный мотив не угрюмое слово «бдительность», оглушавшее нас в начале пятидесятых, а мысль о доверии к людям. Гайдар в этом особенно настойчив, он эту мысль проводит и в «Тимуре», и в «Голубой чашке» уже в 1939-м, когда «дух тридцатых» умер,— не случайно этот рассказ был принят официальной критикой с недоумением.

Верно, существовало и другое мировосприятие, и у него были свои выразители — Булгаков, Пильняк. Но между ними и авторами, так сказать, оптимистического направления нет пропасти. Многие охватывали разные стороны действительности — далеко не однозначны, например, настроения Олеши. Платонов, может быть, лучше других видел силу и рабочего человека (в большинстве своих произведений), и его противника («Город Градов»). Но для анализа корней «духа тридцатых годов» нет нужды изображать оптимистическое мировосприятие того

времени как исключительное, единственное. Не так важно даже, было ли оно присуще большинству. Достаточно, что оно существовало и было массовым, что оно остается таким и в памяти многих наших современников, а в некоторых книгах наших дней даже изображается как вполне адекватно отражавшее объективную действительность тридцатых годов.

Оговоримся: мы ссылаемся здесь на художественную литературу без каких-либо литературоведческих претензий — просто как на документальное подтверждение того, что определенные взгляды и настроения существовали. Именно это явление массового сознания нас и интересует — каким оно было в жизни, а не как отражалось в книгах. Для людей, бывших тогда уже взрослыми, дух тридцатых — это нарком Серго, которому рабочие говорили «ты», это красные директора, еще не сменившие кепку на шляпу, это привычка говорить всю правду, ни на кого не оглядываясь и никого не опасаясь. Откуда все это в тридцатых, если Сталин победил в 1929-м?

В том-то и дело, что тогда он победил организационно, политически, но еще не победил психологически и социально. Более того, объективная инерция социальной психологии стала работать против него именно потому, что переворот его был скрыт от сознания масс, и, отрекшись от некоторых имен двадцатых годов, люди не отреклись от революционных идей. Революционный дух первых лет Октября, прорвавшись сквозь нэп, стряхнув частника, зарядившись энтузиазмом пятилеток, нашел наконец себе постоянную и прочную демократическую опору: массив нового рабочего класса. И непосредственно над этим рабочим классом стоял средний слой старой, ленинской закваски — он-то, слой, непосредственно общавшийся с массой, и создавал для рядового человека живое представление о характере власти. По этому слою судя, человек решал: своя власть. Откуда им было знать о характере сталинской группы на самом верху?

Это противоречие между новым сталинским курсом и старым духом среднего слоя опять-таки создавало в перспективе опасность, которую нельзя было устранить простой заменой нескольких лидеров; и по этим соображениям тоже выходило, что надо срезать целый слой. (Разумеется, полного единообразия не могло быть, часть старых кадров приспосабливалась, перестраивалась в новом духе, но монолитного просталинского сознания от этого поколения руководящих кадров нельзя было ожидать, вернее всего было — со сталинской точки зрения — это поколение вырвать.) Легко представить, что для массового сознания переход от светлого «духа тридцатых» в подземелье тридцать седьмого был страшен и непонятен своей неожиданностью, как для древних людей — солнечное затмение среди ясного дня. Чем лучше было жить, тем труднее для рядового человека заметить, какой подготавливается поворот. Даже оказавшись в заключении, люди подолгу не понимали происходящего, не представляли масштабов репрессий, отказывались верить тому, что с ними творится.

Объяснить это наваждение сегодня поможет только анализ направленности сталинской политики, очищающий суть явления от маскирующей шелухи разноречивых фактов. Эту суть раскрывает именно приложение ленинского понятия класса к сталинской политике.

При этом стоит заметить, что, определяя суть социально-экономических сдвигов, учители марксизма ограничивались указанием на в о з м о ж н о с т ь присвоения чужого труда — большего они не требовали для научной оценки явления. Энгельс говорит, что появление товарного обмена создало возможность порабощения человека с помощью продуктов его труда. Он не рассматривает здесь, каким сроком отделено воплощение в действительность от появления возможности. Он не интересуется, понимали ли участники первой купли-продажи, какому великому историческому процессу открыли путь (и без слов ясно, что не понимали).

Ленин тоже говорит о в о з м о ж н о с т и присвоения чужого труда как основе классовых различий. И политически нам безразлично, пользовался ли Сталин лично этой возможностью — достаточно того, что он ее создал. Этим одним уже определяется направленность его политики. А уж для сохранения этой основы ему потребовались прочие действия, включая ликвидацию в той или иной форме

буржуазных свобод и нарушение прав личности. Эти действия, их внешняя неожиданность и непонятная массовость сразу теряют загадочность, лишь только мы посмотрим на них как на средства и покажем, какой была цель.

Историю нельзя переиграть заново. Ранний социализм в Советском Союзе выполнил свое предназначение. Правда, получилось не так, как хотел Ленин и как реально можно было — сравнительно быстро и с наименьшими потерями,— а по-сталински, мучительно и с громадными жертвами. Международная обстановка тоже не облегчала этот путь. Но дело сделано. У сталинизма больше нет массовой социальной опоры в стране. Пусть никого не вводит в заблуждение обилие людей, готовых и сейчас петь славу Сталину. Во Франции было много монархистов и сто лет спустя после Великой революции, но монархизм умер как жизнеспособная перспектива в 1789 году — ни одна его позднейшая победа не была прочной. В пятидесятые годы сталинизм утратил последние объективные основания.

Сталинизм не может существовать как живое и развивающееся течение. Но это не значит, что на него можно махнуть рукой. Бывает, и мертвый хватает живого. Трудно и медленно восстанавливается в нашей жизни то, что Сталин разрушил. Эта работа пойдет много быстрее, когда будет четко осознано, что́ именно разрушено и что́ надо восстанавливать.

Культ личности как феномен массового сознания заслуживает самого пристального внимания.

Буржуазная пропаганда склонна изображать культ Сталина как порождение лишь террора и запугивания. Таково свойство буржуазного сознания: оно всегда воспринимает собственные представления как всеобщие, всегда использует законы и мерки собственного мира для объяснения чуждых ему явлений и потому ошибается. Парадокс «социалистического» культа заключается в том, что наибольшую силу ему придает опора пролетарской революции на широкую, демократическую социальную базу — попросту говоря, ее демократический характер.

Вспомним Бонапарта, который, кстати, в главном очень похож на Сталина: он тоже перевернулся. В молодости якобинец, друг младшего Робеспьера, освободитель Италии — он стал монархом, палачом уцелевших якобинцев. Но есть и разница, притом существенная: для деятеля буржуазной революции такой путь естествен, для вождя революции социалистической — нет. Буржуазная революция неизбежно должна перейти от безбрежного демократизма вначале, дающего ей поддержку масс против аристократии, к решительному антидемократизму после победы. В лице Бонапарта буржуазная революция искала и нашла человека, способного к такому повороту. Совершив поворот в интересах своего класса, Наполеон направил террор против демократических слоев и лишился их поддержки. Когда после Ватерлоо они вновь предложили ему помощь, он отказался: для этого надо было вооружить народ Парижа. Культ умер, умерла и империя.

Сталин был в другом положении. В социалистической революции ее цель и ее движущие силы едины: это трудящиеся классы. Она не нуждается в антидемократическом повороте, и если Сталин такой поворот произвел, то это был рецидив буржуазности, а не действие закономерностей пролетарской революции. Потому и террор Сталина обрушился не на «чужих», как у Наполеона, а на «своих», на людей социалистической революции.

Но культ здесь оказался — до поры — на стороне вождя. Им не были охвачены лишь те, кто осознал сталинское отступничество,— либо благодаря большому политическому опыту (меньшинство рабочих и интеллигенции), либо испытав это отступничество на себе: жертвы репрессий, значительная часть крестьянства, некоторые национальные меньшинства. Сталин немало потрудился для подрыва своего культа: срывом первой пятилетки, голодом в начале тридцатых, поражениями в начале войны, грубыми ошибками во внешней политике, наконец, самой пропагандой культа, которая многим внушала отвращение. Но все превозмогала благоприятная почва для развития культа, объективно существовавшая в сознании молодого рабочего класса, молодежи вообще. Это потом, повзрослевший рабочий класс накопит неприятие культа, накопит опыт, помогающий воспринимать раздельно достижения народа и заслуги вождей. А не освободившись от мелкобуржуазного сознания, человек склонен переносить свои устремления на вождя,

за которым он идет. Ему кажется, что вождь думает так же, стремится к тому же. А если что-то в действиях вождя вызывает сомнения, простой человек готов сам себе все объяснить великими словами «так надо». Сейчас мы говорим «надо, Федя» — и смеемся. Смеемся, прощаясь с детством. Но слова «так надо» имели и другое значение. Это были не только самодельные шоры для себя самого. Человек говорил «так надо» — и это значило, что он готов служить великой цели.

Это трудно представить человеку нового поколения, который не видел тех дней своими глазами. Да и старшие начинают забывать, как уживались в народе ненависть к злодею и поклонение Вождю и Учителю. Все чаще справляются с непонятным фактом самым простым способом: отрицают факт. Одни не верят в массовое искреннее поклонение — дескать, был только обман и запугивание. Другие сомневаются в сталинском злодействе. А в жизни все было: и поклонение, и злодейство. Для большинства, которое не заметило и не поняло сталинского поворота, реальный Сталин не имел значения. Будь на его месте любой другой — ему так же досталась бы вся сила энтузиазма масс, стремящихся слить в одном имени свое представление о революции.

Именно демократические корни революции придают режиму прочность даже невзирая на культ. Бонапартистский поворот в условиях социалистической революции не разрушил революционное государство, хотя и ослабил его. Даже те, кто отвернулся от Сталина, не могли отвернуться от революции. А для большинства Сталин и революция были нераздельны.

Сталин — наша слава боевая,
Сталин — нашей юности полет.
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

Две последние строчки тут устарели, две первые многие люди старшего поколения могли бы повторить и сейчас, только теперь осознавая, как много правды нечаянно вложил в них поэт. Это наш полет, наша юность и наша слава. Наша, а не его — вот чего в то время большинство неспособно было понять.

Культ личности не обязательный атрибут социализма вообще. Но, похоже, он атрибут раннего социализма, опирающегося на молодой рабочий класс. Это особенно верно для стран, где нет вековой культуры демократии.

В такой стране этап раннего социализма требует от революционного вождя сознательной и активной борьбы против культа личности. Достаточно лишь ничего не делать — и культ возникнет. Многим простым людям он даже необходим для политической ориентировки. Чапаев в фильме братьев Васильевых не знал, какой Интернационал свой: Второй или Третий. Но классовый инстинкт дал ему индикатор, действующий и без политического знания: он за тот Интернационал, в котором Ленин. Председателем этого Интернационала был Зиновьев — вполне достаточное основание, чтобы возник и его культ. Был культ Троцкого после гражданской войны, культ Рыкова, доставшийся ему как бы по наследству вместе с должностью председателя Совнаркома. Собрав все должности — вождя партии, государства, армии, мирового пролетариата,— Сталин взял себе и все причитающиеся по этим должностям культы. Это был уже суперкульт, дальше некуда.

Следующим этапом могло быть только разочарование — и с ним прозрение. После этого искренний, самородный массовый культ личности уже никогда не родится. Может быть уважение, авторитет — но их уже надо заслужить самому. Можно попытаться навязать культ силой или пропагандой. Но навязанный культ не бывает настоящим — от него за версту разит бутафорией, эрзацем.

Разумеется, есть слабые души, есть политически отсталые люди (не говоря уж о политических спекулянтах). Они обращаются к прошлому, тащат из гроба на пьедестал все того же Вождя и Учителя. Безнадежность этого подтверждает сам факт, что они не находят ничего лучшего, как оживлять труп — останки былого культа.

Ю. Золотов,
академик

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ТЕТРАДЕЙ

...За последние четыре года число молодых людей в возрасте 18—29 лет, изучающих религию, возросло более чем вдвое, среди молодежи эта тенденция развивается втрое быстрее, чем среди населения в целом.

«Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт», **1984 год, по данным института Гэллапа.**

VII

Марк Твен сделал местом рождения Тома Сойера городок Сант-Петербург, на Миссисипи. В английском звучании это название будет иным: Сент-Питерсберг. Имена собственные из одного языка в другой переходят какими-то неузаконенными путями. Может, лингвисты или историки объяснят, почему Нью-Йорк и в русском языке тоже Нью-Йорк, а Нью-Орлеанс уже Новый Орлеан? Нет большого греха, что мы говорим Флори́да, а в Америке — Фло́рида, говорим Кентукки вместо Кентакки, Иллинойс вместо Иллиной, Виргиния вместо Вирджиния. По-английски Москва тоже не Москва. Фонетическая передача может быть разной, но что, по-моему, не следует делать, так это переводить на другой язык имена собственные, как в случае с Новым Орлеаном. Примеров буквального перевода собственных имен сколько угодно: Северная Дакота, Южная Дакота, Западная Виргиния. А это только названия штатов. Когда я был школьником, на наших картах писали Город Соленого озера, сейчас везде, кажется, значится более правильное — Солт Лейк Сити.

Солт Лейк Сити — мировой центр мормонской церкви — был включен в программу командировки 1980 года. Не столько сама эта столица штата Юта, сколько расположенный милях в сорока южнее небольшой городок Прово. Там университет имени Бригэма Янга, находящийся под сильным влиянием мормонов и финансируемый их церковью.

Окончание. Начало см. «Знамя» № 5 за 1988 год.

Секта мормонов («святых последнего дня») возникла в США в девятнадцатом веке. Ее основатель Джозеф Смит опубликовал в 1830 году так называемую «Книгу Мормона». Сектанты почитают ее наряду с Библией. Секта довольно мощная, в ней четыре миллиона членов, она распространилась по всему миру.

В Солт Лейк Сити штаб-квартира, главный храм секты, а также огромный, на шесть с половиной тысяч человек, зрительный зал, кроме того, выставочное помещение и памятники основателям религиозного течения; среди них Бригэм Янг, чьим именем назван университет в Прово.

Университетский городок расположен у озера Юта, внушительного, но существенно меньшего, чем огромное озеро Грейт Солт Лейк, где, как известно, нельзя утонуть, поскольку вода насыщена солями.

Профессора университета не пьют кофе, чая и тем более спиртного: мормонская церковь все это запрещает. В киосках на территории кампуса не увидишь фривольного журнала «Плейбой» и подобных изданий. Мормонская церковь приветствовала в свое время полигамию, однако на законном основании многоженство продолжалось недолго, уже в 1890 году оно было запрещено.

В Прово семьдесят пять тысяч жителей, из них тридцать тысяч так или иначе связаны с университетом, раскинувшимся у подножия поросших лесом Скалистых гор (еще один пример перевода!).

Профессор Джеральд Бредшоу, специалист по органической химии, встретил нас в аэропорту Солт Лейк Сити, и мы сразу отправились на небольшую экскурсию по городу.

Главный храм мормонов снаружи великолепен: светлое, громадных размеров шестибашенное сооружение. На центральной башне красуется золотая статуя ангела. Внутрь храма мы почему-то не попали. Зато осмотрели выставку живописи, там и впечатляющий беломраморный Иисус Христос работы Торвальдсена.

С Бредшоу была его жена. А когда мы уже заканчивали осмотр Мормонского центра, появился вместе со своей женой декан химического факультета профессор Отт. Видимо, это было условлено заранее. Всей компанией отправились ужинать в ресторан с итальянской кухней. Разговор закрутился вокруг мормонской церкви, университетских дел, научных программ.

Высшее образование в США двухступенчатое. Первая ступень четырехгодичная, студенты на этом этапе получают общее образование в избранной ими области. Набор дисциплин, изучаемых, например, на химическом факультете, довольно широкий, в него входят некоторые гуманитарные предметы. Окончившие четырехгодичный курс в университете, технологическом институте, колледже, получают степень бакалавра или «первую профессиональную степень». Выпускник-бакалавр может идти работать, и семьдесят процентов дипломантов так и поступают. Если, конечно, повезет с рабочим местом.

Вторая ступень — «градьюит скул» — рассчитана в университетах и технологических институтах, реже в колледжах на более глубокую профессиональную подготовку и выполнение научной работы. Это нечто среднее между старшими курсами наших вузов, где проводится специализация, и нашей аспирантурой, скорее все-таки аспирантура. Чтобы поступить на вторую ступень, нужно сдать вступительные экзамены. Это тем более необходимо, что в аспирантуру поступают не только «свои», то есть окончившие первую ступень в данном вузе. Чаще наоборот, в США принята миграция: получив степень бакалавра, молодые люди обычно едут в другой город, в другой университет, выбирают вуз попрестижнее. Даже в самой короткой биографии американского ученого обязательно указано, где он учился. Типичная ситуация: бакалавра ему присвоили в одном университете, магистра и доктора — в другом.

Вступительные экзамены в аспирантуру организуют по-разному. Например, химики во Флоридском штатном университете сдают физическую и органическую химию. Затем в зависимости от интересов студента и его специализации для него составляют учебный план. В этом студенту активно помогает его главный опекун-наставник, один из профессоров или преподавателей факультета. Его студент обычно выбирает сам. Чуть позже вокруг этого «главного профессора» создается группа советников, своеобразная консультативная комиссия (так, во всяком случае, в Прово), которая окончательно определяет список курсов, помогает студенту и контролирует его.

Таким образом, обучение ведут, в сущности, по индивидуальным программам, притом большинство аспирантов изучает 9—12 относительно коротких курсов. Обычная продолжительность курса — квартал; в конце второго года обучения нужно сдать экзамен, помимо тех, что сдавались по окончании отдельных курсов. В принципе аспиранты должны постоянно общаться с учеными. Такому общению помогает и наличие приехавших из других мест исследователей — «постдоков» и ученых-визитеров.

В течение первых двух лет аспиранты слушают лекции, выполняют практические работы, ведут занятия со студентами первой ступени, сдают множество экзаменов и занимаются исследовательской работой. В университете имени Бригэма Янга аспирант должен выбрать научного руководителя, определить тему исследовательской работы и начать ее не позднее конца второго семестра. Обычно все учебные курсы заканчиваются к концу второго года обучения, но основная часть — еще в первый год. В дополнение к химическим курсам студент-химик может включить в свою программу курсы математики, физики, инженерные, вычислительной техники. Научный руководитель и консультанты направляют студента, корректируют его программу.

После двух лет обучения в аспирантуре можно получить степень магистра («мастэр оф сайенс») и покинуть университет — либо для работы, либо для продолжения занятий в другом месте. (Советские науковеды считают, что степень магистра приблизительно эквивалентна диплому советского вуза с 5—6-летним сроком обучения.) А можно перейти на более высокий уровень, предполагающий подготовку к степени доктора философии; в Америке говорят «пи-эйч-ди».

Это еще два-три года. Иногда, нацелившись сразу на «пи-эйч-ди», студенты не стараются получить степень магистра, проходят мимо нее.

В буклете о химическом факультете университета имени Бригэма Янга написано, что аспиранты на заключительном этапе обучения должны «продемонстрировать профессионализм» в иностранных языках, математике, вычислительной технике, не говоря уже о химии. Аспиранты еще слушают лекции, но немного, а чаще научные доклады, участвуют в семинарах и снова сдают экзамены или зачеты. Итоговые экзамены в Прово следует сдать не позже, чем за год до выпуска. Экзамены можно сдавать за один прием, можно по частям, письменно или устно — все по договоренности. И в зависимости от специализации.

Душа и сердце учебной программы, считают в университете Прово,— это научные исследования. Аспирант должен внести существенный вклад в науку. Здесь он развивает независимость, учится мыслить и приобретает наиболее важные знания. Окончательные детали программы аспиранта, которая неразрывно связана с индивидуальными интересами, в любом случае зависят от хода исследовательской работы. Ее конец нельзя предсказать определенно с самого начала — иначе исследования не были бы исследованиями. В конечном счете результаты исследований должны быть оформлены в виде реферата или диссертации; накануне выпуска они должны быть доложены и защищены перед экзаменационным комитетом. До защиты требуются публикации.

В этой системе обучения хорошо сочетается общетеоретическая подготовка со специализацией; кроме того, студенты приобретают опыт преподавания и опыт исследований.

Степень доктора философии примерно соответствует нашей степени кандидата наук. Мы знакомились с диссертациями, которые представляют на «пи-эйч-ди», они подчас слабее наших кандидатских. Но вместе с тем следует подчеркнуть, что американские ученые степени бакалавра, магистра и доктора свидетельствуют лишь об уровне образования, а не об уровне и значимости научных достижений.

Подсчитаем затраты времени на получение докторской степени. Будущий доктор философии в школу пошел шести лет, там провел двенадцать лет, затем четыре года потратил на первую ступень вуза, четыре-пять лет — на вторую. Итого ему 26—27 лет. У нас кандидатами наук становятся, пожалуй, не раньше.

Сама защита диссертаций в США проще.

В значительных вузах с хорошими научными традициями существует еще одна ступень обучения — «постградьюит». Студенты преимущественно заняты исследованиями, но обязательным считается и прослушивание курсов лекций самых крупных ученых, а также участие в семинарах. Это «последокторская» ступень. Теоретические курсы занимают до трети времени «постдоков», а общая продолжительность такого обучения в среднем два — четыре года. Формальных ограничений времени здесь нет. Такое обучение часто осуществляется на средства фирм, финансирующих исследования в определенных областях знания.

Давайте посмотрим что сто́ит в США учеба в вузе. В начале 1984 года плата в учебных заведениях была разной, но почти всегда довольно высокой: в частных вузах 8—12 тысяч долларов в год, в государственных университетах 4—5 тысяч долларов. Газета «Интернейшнл геральд трибюн» опубликовала сведения об оплате обучения в 1985—1986 годах в некоторых самых дорогих заведениях. В «Эм-ай-ти» в Кембридже, около Бостона, студент платит 17 030 долларов, в Принстоне — 16 700, в Йельском университете — 16 790.

За ужином в итальянском ресторане время прошло быстро. А потом Бредшоу усадил нас, размягших от съеденного и уставших от разговоров, в свою машину и повез в Прово. Несмотря на позднее время, на улицах и загородной автостраде много машин, все залито огнями. Мы едем вдоль западной бровки Скалистых гор, они слева.

Главный мой интерес в университете имени Бригэма Янга — профессор Рид Айзет. Очень известное имя, специалист по координационной химии. Сейчас занимается так называемыми макроциклическими соединениями. И у меня в обеих лабораториях, в Академии наук и в университете, ведут подобные работы.

При первой же встрече Рид Айзет с гордостью сообщил, что вице-президент Академии наук СССР Ю. А. Овчинников приглашал его в Советский Союз. Однако мы так и не поняли, принял ли профессор приглашение. Возможно, трудно найти средства на перелет или мормонская церковь ограничивает общение с безбожниками-коммунистами... С нами, правда, Айзет контактировал много.

Среди 26 тысяч студентов университета в Прово есть представители всех штатов США и выходцы из восьмидесяти стран мира. Можно догадаться, что прежде всего сюда тянутся приверженцы секты. И уж совершенно точно это в отношении профессоров: ученых-мормонов сманивают отовсюду, предлагая повышенную зарплату и другие блага. Гордятся и тем, что в университете самая большая в США группа студентов-индейцев.

— Много ли у вас «мероприятий»: совещаний, сборов, семинаров? — спросил я.

— В целом не очень.— Айзет был слегка озадачен.— Но научные семинары еженедельно. Я имею в виду химический факультет. Все студенты могут их посещать. Часто выступают приезжие ученые, таких докладов в год бывает до 30—40. Кстати, и вам предстоит это завтра на семинаре.

— О'кей, — осваиваю американский стиль разговора.

— Докладчиками бывают и наши преподаватели, и наиболее сильные студенты. Мы считаем семинар важной формой обучения. Других, как вы говорите, «мероприятий» мало.

В университете есть хорошо оснащенные и известные специалистам химические лаборатории, особенно Термохимический институт. Но университетские ученые и здесь, в Юте, и в других местах иногда жалуются на трудности

с приборами: на них не хватает денег. Сетования не беспочвенны: по сведениям Ассоциации американских университетов, в том же 1980 году средний возраст научного оборудования в университетских лабораториях был в два раза выше, чем в крупных промышленных лабораториях.

Университет имени Бригэма Янга частный, а частные, как правило, обеспечены лучше.

Государственные университеты в более трудном финансовом положении. Ассигнования штатов этим университетам, как правило, сокращаются, зарплата преподавателей растет не так быстро, как цены, здания университетов трудно содержать. Профессора все чаще уходят из этих вузов в частные фирмы, либо в университеты юго-западной части страны, которые в относительно лучшем положении (особенно в Техасе).

Конечно, хотелось спросить Айзета: как наука уживается в университете с мормонской религиозной догмой? Но мы не рискнули...

В Америке пишут, что среди студенчества наблюдается религиозный подъем. Журнал «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт» информировал, что в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире число студентов, специализирующихся в области религиозных дисциплин, возросло втрое, а теологический факультет расширяется быстрее всех остальных. Профессор Фрэд Бертолд объясняет интерес к религии актуальностью в мировом масштабе этнических аспектов, связанных с ядерным оружием, голодом и политическими преследованиями. «Уверенность в том, что мы почти на грани решения всех наших прагматических проблем, кажется, испарилась, и люди теперь стараются найти ответы на высшие вопросы бытия»,— говорит Бертолд.

Жизненные вопросы не решаются, а выход ищут в религии? И это практичные американцы?

Но факт остается фактом. Религия и политика всегда тесно взаимодействовали, и в Америке второй половины двадцатого века примеров такого взаимодействия можно найти множество, причем самого разного толка. Пастор баптистской церкви Мартин Лютер Кинг становится идеологом и руководителем движения негров за их гражданские права. Кореец Мун основал новую секту. В последнее время особое место занял священник Фолуэлл, возглавлявший крупную реакционную организацию «Моральное большинство»...

VIII

Если взять карту США, в нескольких штатах увидим город Атенс. Собственно, это Афины в английской транскрипции. В штате Джорджия тоже есть Атенс, там крупный университет, профессора которого организовали для встречи с нами солидный прием. Арендовали двухэтажную виллу в фешенебельном районе города, где особняки, один другого роскошней, красовались на фоне хорошо подстриженных свежезеленых газонов. «Наша» вилла «Тейлор Гредс Хауз» построена в восемнадцатом веке, для Америки это древность. Американцы ведут свою историю от высадки англичан в теперешней Новой Англии, а вовсе не от Колумба и тем более не от индейцев.

На вечеринку приглашены были все аналитики с женами. Почти официальный прием, но держались очень непринужденно. Все старались к нам подойти: всамделишные русские.

Выясняется, что мы в одном из самых старых университетов страны. Его символ — бульдог, его цвета — красный и черный; университетская газета так и называется: «Красный и черный».

Нам рассказывают, что должность профессора в США не очень редкая и не очень уж почетная по сравнению, скажем, с Великобританией. Все дело в том, что почти все преподаватели называются в Америке профессорами; вопрос, какой профессор. Ассистэнт профессор — это всего лишь ассистент (в нашем понимании), ассошиэт профессор — доцент. Ну а просто профессор — это уже п р о ф е с с о р. Широко распространено понятие «член факультета». Слово «факультет» в США имеет не совсем тот смысл, что в Европе и у нас: это сообщество профессоров, точнее преподавателей, в отличие от «стаф» — административного и обслуживающего персонала. Члены факультета («факульти мемберс») имеют, например, право — это всегда подчеркивается! это важно! — ставить автомобили около здания (даже не знаю теперь, как его назвать, это здание, ведь по-русски было бы «у здания факультета»). Членам «стаф» не дают права на стоянку; конечно, и секретари, и копировщики, и техники, и уборщики в большинстве своем тоже имеют машины, но паркуют их на крупных и относительно удаленных стоянках.

На приеме был профессор Хекьюлес, с которым я и теперь постоянно встречаюсь на международных конференциях. Жена его, очень молодая и красивая, через неделю-две должна была рожать. Беременность ничуть не повредила ее красоте. Но все же удивительно было, что она пришла. За ужином мы оказались рядом. Разговорились. Я спросил, есть ли у нее дети, в ответ она показала на свой огромный живот: ее единственный ребенок здесь! Ела с аппетитом, говорила, что ее «бой» вечером всегда голодный. Вдруг я увидел — боже мой! — что она пьет виски с содовой. К тому времени я уже стал осваивать американскую манеру непринужденного поведения и выразил вслух сомнение: можно ли ей пить. Она (что там

моя «непринужденность»!) похлопала себя по животу и со смехом объявила, что «бой» ничего не имеет против.

Днем побывали в лабораториях, лекционных аудиториях, библиотеке и вычислительном центре. Профессор Роджерс рассказал о своих работах по разделению смесей веществ и использованию компьютеров в химическом анализе. Роджерс уже почти ветеран — докторскую степень получил в 1942 году, в Принстонском университете. В последний день пребывания в Атенс мы обедали у него дома. Он гостеприимный, радушный хозяин, а дом с верандой почти в лесу, кругом тихо и зелено.

Познакомился я в Атенс и с Дональдом Лейденом, пожалуй, мы даже с ним подружились; когда через пять лет я оказался в Колорадо, он тепло принимал нас с Б. Ф. Мясоедовым в Денвере, куда успел переехать. А еще через три года, когда второй раз мне довелось попасть в Денвер, Лейдена там уже не было — он работает теперь в Форт-Коллинзе, в том же штате Колорадо. Дон Лейден внес большой вклад в рентгеновский метод анализа.

Вспоминаю также профессора Зейца (занимается хемилюминесценцией), доктора Маккарти, которому очень понравилась книга сотрудников нашего института Дроздовой и Манской о геохимии лигнина... Специалист по электрохимии органических соединений профессор Нельсон назвал себя при знакомстве типичным янки и попытался объяснить, что это значит, но я не понял. Теперь-то знаю, что янки — прозвище американцев, родившихся и живущих в Новой Англии; во время войны за независимость английские солдаты называли так восставших колонистов.

И здесь, в Атенс, и в других университетах лаборатории аналитической химии хорошо оснащены, располагаются в просторных помещениях, но штат сотрудников относительно небольшой. Я уже упоминал о тенденции иметь минимальные штаты лабораторий, но оснащать их хорошими приборами, которые приобрести подчас легче, чем платить зарплату обширному персоналу. В университетских лабораториях работают обычно профессор, 1—3 доцента, столько же ассистентов и секретарь. Исследовательские группы включают студентов старших курсов и «постдоков». Как правило, руководители лабораторий — известные в своей области ученые. Руководство химическими факультетами и часто аналитическими отделениями университетов выборное. Отделение может включать несколько по существу независимых лабораторий, во главе которых стоят профессора. Однако для решения общих вопросов (учебные планы, совместные семинары, экзамены и т. д.) на 4—5 лет выбирается руководитель отделения. На научную тематику лабораторий руководитель влияния, видимо, не оказывает.

Секретари, обычно женщины, проводят организационную работу, занимаются перепиской, телефонными переговорами, ходят в библиотеку, составляют библиографию. Правда, в кабинетах почти всех научных сотрудников и преподавателей есть свои небольшие библиотеки — основные журналы, монографии, учебники. Сотрудники покупают журналы и книги не на свои деньги.

Любопытно посмотреть на студентов. Одеты они всегда очень свободно. Редко увидишь портфели или сумки. Книги и тетради держат в руках, даже если ноша нелегка и громоздка. К учебе, кажется, относятся с чувством ответственности; да и как иначе, денежки за учение приходится платить немалые.

Некое «уравнивание в правах» преподавателей и студентов, неформальность их общения иногда покоряют, иногда с непривычки шокируют. На семинаре у Фрайзера студент, сделав доклад и ответив на вопросы, прилег на деревянный диван, стоящий возле доски, и в такой непринужденной позе слушал дискуссию по своему сообщению. Другой студент положил ноги на спинку стула, рядом с которым сидел сам профессор Фрайзер, так что, когда профессор оборачивался, его щека едва не касалась кроссовок. На семинарах и даже на лекциях студенты могут есть и пить. Мы как-то заглянули в большую лекционную аудиторию; профессор-лектор сидел на большом столе, свесив ноги. Ни пиджака, ни тем более галстука,— расстегнутая рубашка с короткими рукавами.

Что касается отношения студентов к профессорам, дело иногда принимает неожиданный оборот.

И з г а з е т. В Нью-Йорке начала действовать недавно созданная реакционная организация «За академическую точность», цель которой не допустить распространения среди американской молодежи «марксистских идей». В двух высших учебных заведениях Нью-Йорка — Хантеровском колледже и Колледже Баруха — из студентов создана так называемая «полиция мыслей». В ее задачу входит составление досье на всех профессоров и преподавателей вузов для выявления среди них «инакомыслящих». Против тех, кто попадет в «черные списки», будет организована кампания «общественного порицания». Организация уже действует в 150 университетах и колледжах США.

...Да, это так; вот пример. Профессор политехнических наук университета Аризоны Марк Ридер знакомил студентов с основами марксистской философии — и члены организации «За академическую точность» усмотрели здесь преступное отступление от декларируе-

мых организацией норм «точности». Марка Ридера стали подвергать нападкам, тем более что он подчеркивал в лекциях опасные последствия гонки вооружений.

В Атенс нас представили руководству химического факультета и университета, а когда визит наш — очень, кстати, короткий, двухдневный — подошел к концу, профессор Брюс Кинг повез нас на своей машине в Атланту. Дело было в пятницу после обеда, начинался уик-энд, а у Кинга семья в Атланте, так что нам по пути.

Небоскребы Атланты видны издалека. Столица американского Юга известна, в частности, и тем, что здесь родина «кока-колы» и штаб-квартира соответствующей компании. Прохладительных напитков американцы вообще пьют много, здесь их называют мягкими (софт дринкс). И среди этих напитков на первом месте «кока-кола», потом «пепси-кола». У нас не все знают, что «кока-кола» очень стара, ей уже более ста лет. Рецепт ее изготовления до сих пор держат в секрете. Недавно, отвечая на вызов конкурентов, компания «Кока-кола» решила несколько изменить рецепт, об этом поведал журнал «Тайм». Главный соперник — «Пепси-кола». Гиганты воюют уже девяносто лет.

...Брюс Кинг привез нас в отель «Сентер инн», расположенный в хорошем месте, прямо под небоскребами центра («даунтауна»). Впереди были суббота и воскресенье, но все наперед расписано.

В Соединенных Штатах есть добровольное общество, цель которого опекать иностранных гостей. В разное время, в разных городах я был объектом внимания членов этого общества. Всегда в уик-энд. То есть в субботу и воскресенье. Впервые это было как раз в Атланте.

В нашей программе запись: экскурсия и посещение дома мистера Роберта Даггана, общение с его семьей. Программу мы приняли еще в Вашингтоне, и теперь ее следовало выполнять по этому пункту. Наш хозяин — инженер, сотрудник авиастроительной фирмы «Локхид», заядлый радиолюбитель. Он имел радиоконтакты и с коллегами в Советском Союзе. Дважды ездил с женой в СССР. Им у нас понравилось.

Роберт Дагган оказался приятным человеком: внимательным, общительным, спокойным; мы прекрасно провели субботу.

У Дагганов три сына и две дочери, живут в собственном доме, на семью три автомобиля. Мы поехали в начальную школу («элементари скул»), где училась младшая дочь Даггана. В эту субботу (дети по субботам не учатся) там был праздник: развлечения, угощение, выставка рисунков и поделок детей. Нас познакомили с директором школы и председателем родительского комитета. «Из Советского Союза? — недоуменный взгляд.— Ах, из России!»

Когда начинаешь объяснять, всегда удивление: как, кроме России, еще четырнадцать республик? Какие же?

Школа нам понравилась: очень просторно, все рационально, чисто; и создается впечатление, что отдыху, свободному движению детей уделяют много внимания. Здесь же, в школьном буфете, мы перекусили и поехали в парк «Стоун Маунтин».

В двадцати милях от центра Атланты чудо природы — огромная гранитная глыба, гора посреди равнины. «Стоун Маунтин» — это и есть каменная гора. На почти отвесной ее стене в 100 метрах от подошвы — барельеф, изображающий трех генералов, героев Гражданской войны. Высота барельефа около тридцати, а ширина шестьдесят метров. Конечно, это «самая большая в мире скульптура». Работу над ней начали в 1923 году, закончили в 1970-м.

В 1975 году в Атланте, а также в Сан-Франциско на меня большое впечатление произвели здания гостиниц нового типа. Отели «Хайат Ридженси» имеют огромный полый объем внутри, коридоры как балконы или как ярусы в театре; ярко освещенные прозрачные лифты поднимаются в полости по ее внутренней стороне, на уровне первого этажа зимний сад с высокими пальмами. Зрелище поразительное. Потом, конечно, привыкаешь: а теперь и у нас есть такое здание — гостиница «Международная» на берегу Москвы-реки. Другая достопримечательность Атланты — высоченная круглая башня отеля «Пичтри», цилиндр этажей на восемьдесят, воспринимаемый как целиком стеклянный. В стекле отражается город, живой днем, замирающий к вечеру.

Из дневника. Автомобиль преобразовал Америку. В частности, машины изменили облик городов. В некоторых районах Атланты нельзя ходить пешком, все приспособлено только для транспорта: нет тротуаров. В центральных кварталах крупных городов теперь живет в основном бедный люд, они стали негритянскими и, в общем, мало населены. Здесь деловые здания, отели и — паркинги, паркинги. Богатые и среднего достатка американцы живут в собственных домах или, реже, в многоквартирных, по большей части на окраинах, точнее, за городом. Односемейные дома — хорошие дачи со всеми удобствами, часто с небольшим участком земли, обязательно с гаражом, обычно встроенным в дом. На работу и в магазины — колоссальные торговые центры тоже за городом — нужно ехать на машине, другого способа нет. Детей в школу развозят большие удобные, обязательно желтого цвета с черной отделкой автобусы

старого типа — с торчащим впереди мотором; по всей стране их именуют «желтыми автобусами».

В воскресенье днем я впервые попал на американский футбол. Огромный круглый стадион Атланты вмещает около ста тысяч зрителей, мы были среди них с двумя девушками, волонтерами того же общества, опекающего иностранцев; вернее, в обществе работала только одна, вторая пошла «за компанию». В этот день, 26 октября, Америка перешла на зимнее время, но нам об этом никто не сказал, и мы едва не разминулись с сопровождающими.

Американский футбол — это не футбол, это бог знает что; несколько раз потом я бывал на матчах, но до сих пор не только не знаю правил игры, но и плохо понимаю ее цели. Американский футбол чем-то напоминает регби, но это игра более грубая, основана на силовых приемах, постоянно прерывается. Впрочем, на ярко-зеленом поле хорошо смотрятся ярко-красные комбинезоны игроков, похожие на скафандры космонавтов. В перерыве и перед началом по полю марширует оркестр, идут колонны одетых в униформу девиц и юношей.

В целом американский футбол нам не понравился. Есть в США и европейский, он называется здесь «сокер». Играют в него мало.

IX

На самом видном месте, на первой полосе газеты аршинными буквами заголовок: «Профессор Золотов посетил Сентрал-Сити». В другой газете так же крупно: «ЦРУ не пустило доктора Пушкова в Америку». В третьей — «Советские шпионы захватили Сентрал-Сити!»; газета эта называется «Сентрал Сити энтерпрайз», под заголовком напечатано: «Основана в 1859 году, № 1».

Но позвольте, почему № 1? Что-то не то.

Это мистификация. В лавочке-типографии любой посетитель за доллар может заказать любой заголовок. В экземпляре газеты часть первой полосы оставлена пустой — сюда и впечатывайте, что душе угодно.

В данном случае — дружеские шутки. Доктора Пушкова ждали его коллеги американцы, но он не смог приехать, и ЦРУ в этот раз было ни при чем. Супруги Джеймс и Сильвия Навратилы связаны с Александром Арсеньевичем Пушковым и его женой Тамарой давними отношениями: мужья одновременно работали в Международном агентстве по атомной энергии в Вене. В честь Пушкова Навратилы — по-американски искренне и с самыми лучшими намерениями — назвали Сашей введенного в дом пса. Не исключено, впрочем, что это был «ответ»: кошка в московской квартире Пушковых зовется Сильвией...

Джеймс (мы его зовем Джимом) Навратил руководил научной группой на заводе компании «Рокуэлл интернейшнл». Название это часто мелькает в наших газетах: фирма входит в военно-промышленный комплекс США. В 1983 году Навратил и его сотрудники были отмечены престижной национальной премией за результаты работ по извлечению трансплутониевых элементов из отработанного ядерного горючего. Журнал «Рисерч энд дэвелопмэнт» опубликовал фотографию всей группы.

Но прежде всего Навратил организатор, менеджер. На его визитной карточке так и написано: менеджер. Типичный американец, он предприимчив и целеустремлен, здоров и полон сил. В основном Джим организует книги — как редактор-составитель и часто один из соавторов. У него хорошие связи с издательствами, ему ничего не стоит «провернуть» дело выпуска задуманной коллективом монографии или сборника. И еще он иногда организует конференции. Кстати, на сессию Американского химического общества в Майами мы приехали по его приглашению, о чем я уже писал. А двумя годами раньше Джим был в числе организаторов большой международной конференции по экстракции у себя в Колорадо.

Профессор Дональд Лейден, работавший раньше в университете Денвера, пригласил нас провести вечер в ресторане стиля «вестерн». Лейден принес нам галстуки, предложил надеть их, а наши снять и спрятать в карманы. Мы так и сделали, хотя нечетко понимали, зачем. Лейден организовал довольно шумную компанию, и на двух машинах мы отправились ужинать, предупрежденные, что фирменное блюдо ресторана — стейк, то есть бифштекс из вырезки.

Ресторан снаружи похож на огромный дощатый сарай с узкой дверью; называется «Дорожная пыль», эмблема — ковбой на усталой лошади, которая плетется пыльной дорогой. Дороге скоро конец, притомившегося и проголодавшегося ковбоя ждет горячий стейк. Внутри «сарая» — двухъярусное помещение тысячи на полторы посетителей, стены и потолок из потемневших досок, пол у входа из мелких лесин, которые дрожат под ногами. Но что это? Стены и потолок покрыты обрезками галстуков! Десятки тысяч галстуков всех цветов и фасонов! Вот теперь только нам объясняют, что у мужчины, впервые попавшего в этот стилизованный ресторан, должны непременно отрезать галстук и оставить его здесь на память. Это делается не сразу, а когда посидите и разомлеете.

Стейки трех размеров: большой, средний и маленький. Мы заказали средний, но он оказался огромным; каков же тогда большой? И очень вкусные были стейки; мы ели их с аппетитом, и продол-

жалось все долго, в промежутке танцевали. Тут надо было показать фирму, и нам это, кажется, удалось, наши дамы остались довольны заморскими кавалерами. А когда, разогретые танцами, мы вернулись к столу, послышались звуки бубна или чего-то вроде и к нашему столу приблизилась красотка с «дикого Запада», сопровождаемая эскортом мужчин в ковбойских костюмах. У красотки огромные ножницы. Под звуки колокольчиков и улюлюканье соседей наши галстуки обрезали почти у самого узла и тут же специальной машинкой вместе с визитными карточками прибили к стропилам. Надеюсь, они и сейчас там висят.

Еще пример декорирования в стиле «вестерн». На церемонию закрытия конференции по экстракции 1983 года (это уже в другой наш приезд), точнее на заключительный банкет, привели оседланного осла, с ним был погонщик в ковбойской одежде. Желающие тут же, в вестибюле гостиницы «Хилтон», фотографировались «при осле и ковбое». У меня есть такая фотография; глядя на нее, особо близкие друзья спрашивают: а который осел? Каждому входящему в банкетный зал надевали на руку — нет, не повязку,— а синюю резинку-подвязку, которой женщины когда-то удерживали чулки. На резинке значок с эмблемой конференции.

Однако мы отвлеклись от воспоминания о Сентрал-Сити и семье Навратилов.

В Сентрал-Сити мы попали в воскресный день в порядке экскурсии по Скалистым горам, которую нам организовали Джим и Сильвия. Впятером в их машине мы поднялись в горы, похожие на наш Северный Кавказ, но, пожалуй, более лесистые. Вылезали из автомобиля, фотографировались возле каких-то засохших деревьев — фантастических, причудливых, у великолепной машины Джима, которую лихо водит Сильвия (у нее есть и своя, поменьше), на фоне затянутых дымкой равнинных пейзажей. Августовский день был теплым и солнечным. А потом — Сентрал-Сити, первая столица штата Колорадо, теперь, по сути, город-музей, где многое рассчитано на туристов. В центре этого крошечного города сувенирные лавки, ресторанчики...

Экскурсия закончилась у дома Навратилов в городе Голден, недалеко от Денвера. Там же и завод, на котором работает Джим. Дом довольно большой и весь обшит тесом, участок огорожен забором из свежих, совсем еще белых досок. На первом этаже большое пространство, объединяющее гостиную, столовую и кухню; здесь же туалет, ванная, подсобные помещения; на этом же уровне встроенный гараж. (У Джима несколько хобби, одно из них — коллекционировать старые автомобили. В гараже три такие машины, из них две начала века.) На втором этаже — спальни и еще один туалет. Есть и полуподвальное помещение, святая святых хозяина,— у него там кабинет, мастерская, небольшая химическая лаборатория, биллиард. На участке цветы, немного помидоров и огурцов, фруктовые деревья.

Сильвия быстро организовала обед; детей—а их у Навратилов трое—Жоли, Николь и Джим — дома не было. Сильвия и Джим в браке по второму разу, и общий у них, видимо, только один ребенок.

Американская семья относительно стабильна, но это «относительно» — очень важная оговорка. В 1984 году на тысячу зарегистрированных браков приходился 121 развод. После 1970 года число разведенных, по данным Юнайтед Пресс, удвоилось.

Практически все американцы, с которыми мы общались, живут в собственных домах. Из 80 миллионов домохозяйств в 1980 году 54 миллиона располагались в односемейных домах. Те, кто может себе позволить, переезжают из городов в пригороды. Население Нью-Йорка, Филадельфии, Детройта и Бостона в период с 1970 по 1980 год в связи с этим сократилось. В целом по стране за указанное десятилетие прирост населения в пригородах был 15,1 процента, в городах только 10,2 процента.

Однако дома дорогие и постоянно дорожают. Об этом я писал.

Джеймс Навратил окончил университет штата Колорадо, расположенный в тридцати милях от Денвера. Считает себя учеником профессора Уолтона, которого я хорошо знаю.

Биография Уолтона типична для ученого-иностранца, ставшего американцем. Англичанин по происхождению, Гарольд Уолтон уже не молод (он родился в 1912 году). Окончил Оксфордский университет, стал там же, в Англии, доктором философии, женился на американке. Перед войной приехал на стажировку в Принстонский университет, потом два года работал на фирме «Пермутит», производившей ионообменные смолы. Преподавать стал в Северо-Западном университете (университет Нортвестерн) под Чикаго, был инструктором, ассистентом. И вот в 1947 году Уолтон приезжает в Боулдер, где и оседает. Начал здесь тоже ассистентом, потом стал доцентом и профессором; четыре года работал деканом химического факультета. Говорит по-испански, свободно читает по-французски и по-немецки. Увлекался альпинизмом. У него отличный дом, гостиная с камином, в 1980 году мы провели здесь чудесный вечер. Уолтон приезжал в Москву, был у нас в институте. Осуществил свой давнишний план: проехать поездом из Москвы до Находки. Спокойный, немногословный, держащийся с достоинством,

американец-профессор Уолтон остался по манере поведения англичанином.

Хорошо известно, что среди ученых США много иммигрантов. Вот статистика. В 1979 году 21 процент получивших степень доктора наук были иностранного происхождения. Каждый пятый член Национальной академии наук США — иммигрант; среди лауреатов Нобелевской премии иммигрантов 20—50 процентов (в зависимости от области науки). Выходцы из других стран составляют почти половину докторов наук в сфере техники и 35 процентов в медицине.

После обеда Джим повел нас осматривать дом, участок и старые машины. Пес Саша бегал за нами вокруг дома и иногда лениво тявкал.

— Пушков, Пушков, Пушков,— звал его мой спутник в этой поездке Геннадий Алексеевич Ягодин.

Но фамилии своей пес не знал.

Сашин лай сопровождал нас, и когда мы возвращались к себе в гостиницу «Хилтон», в центр Денвера. Уезжая, мы уже знали, что должны будем вернуться в дом Навратила через несколько дней: на вечеринку для друзей и коллег, принимавших участие в конференции.

...Международные конференции по экстракции организуются раз в три года, чаще всего в Европе. Но конференция 1983 года проводилась в Денвере; Колорадо — крупный центр горнорудной и металлургической промышленности. В программе конференции были технические экскурсии, мы с Геннадием Алексеевичем выбрали поездку на золотоизвлекательные фабрики в городе Крипл-Крик, южнее Денвера. Автобус шел туда несколько часов. Справа тянулись Скалистые горы, слева простиралась равнина. Проехали Военно-воздушную академию США, притулившуюся под горами, потом Колорадо-Спрингс и повернули в горы. Там еще покрутили часа полтора. Наконец, Крипл-Крик, городок, стилизированный под старину. За городом две фабрики, захудалые, малопроизводительные, дышащие на ладан.

Извлеченную из земли золотосодержащую породу обогащают, затем концентраты обрабатывают раствором цианистого натрия или калия: цианаты растворят золото, в том числе мельчайшие его частички. Полученные растворы, содержащие золото и другие химические элементы, затем обрабатывают, чтобы извлечь целевой продукт. Я бывал на наших обогатительных фабриках, где используют метод флотации. В Крипл-Крик увидел примерно то же самое — похожая технология, одинаковое оборудование. Но цех выщелачивания, где растворяют золото, меня поразил. На наклонном бетонном полу толстым, примерно полуметровым слоем насыпан концентрат. Из труб, протянутых над ним, фонтанчиками льется на концентрат раствор цианистого натрия — сильнейшего яда. Никакого ограждения, нет даже дежурного, концентрат у нас почти под ногами.

В аналитической лаборатории другой, уже фактически закрытой фабрики старая неопрятная женщина с длинными ногтями и папиросой во рту проводила так называемый пробирный анализ — классический анализ на золото и серебро. Здесь не было американской деловитости, и, по совести говоря, смотреть было особенно нечего. Зато мы и по дороге, и на фабриках общались с делегатами конференции, обсуждали свои проблемы.

На одной из сохранившихся фотографий мы стоим в обнимку с Пьером Данези. Итальянец, долго работавший в Риме, он несколько лет назад приехал в США на временную работу. Энергичный, живой, Пьер, однако, не так разговорчив, как большинство итальянцев; речь его размеренна, слова взвешивает. У него остались коллеги и преемники в Риме, и мы договорились, что они меня примут, когда я приеду в Италию. Через год я действительно туда приехал, но мне отказали в разрешении посетить лабораторию, потому что она занимается атомными проблемами.

Сильвия читает, иногда может что-то сказать по-русски. Джим приезжал в Москву. Приглашал нас в Майами и на еще одну конференцию в Нью-Йорке, на которую я не смог поехать, но ездил Б. Ф. Мясоедов. Прислал приглашение написать совместно книгу, и я его принял. Между прочим, книгу эту он собирается печатать в собственном издательстве, организованном в 1985 году. Но это все было позднее, а в 1983 году мы заседали на конференции по экстракции, знакомились с Денвером и штатом Колорадо.

Одна из центральных улиц Денвера — 16-я стрит — закрыта для автотранспорта, по ней ходит только бесплатный автобус. Это улица для покупателей, для отдыхающих, гуляющих, посетителей ресторанов и кафе. Видимо, и автобус содержат заинтересованные фирмы. Улица изящно оформлена, рядом крупнейшие отели, в том числе наш «Хилтон». Собственно, Хилтон — владелец гостиничной империи, его портрет можно увидеть в отелях по всему западному миру. Жить в них недешево, это фешенебельные и весьма дорогие заведения. Во многих есть залы для заседаний, всегда рестораны, магазины и разное другое.

В Денвере я увидел, как делают деньги. В буквальном смысле слова. Их делают на монетном дворе, расположенном в самом центре рядом с Капитолием, художественным музеем и другими общественными зданиями. Экскурсии

ведут по зданию монетного двора в сопровождении полицейских. Смотришь, правда, в основном через решетки и через стекло, но все-таки видишь, как чеканят монеты, как изготавливают медали. При монетном дворе нечто вроде нумизматического музея. Предприятие действует с 1863 года. Туристские путеводители говорят, что здесь самое большое хранилище золота в стране после Форт-Нокса, где находится золотой запас США.

Денвер что Кисловодск, триста дней в году солнце и действует центр исследований по использованию солнечной энергии. Когда в соседнем Боулдере профессор Сиверс подвозил нас к своему дому, он остановил машину в некором отдалении, попросил нас выйти и посмотреть. На крыше его дома были плиты солнечных батарей, они занимали всю южную сторону. Сиверс сказал, что получаемой энергии хватает для отопления всего дома, тем более что зима в Боулдере не такая уж суровая.

В Денвере большой аэропорт, и строят второй. Кстати, когда мы прилетели сюда неделю назад, наших чемоданов не было, где-то они отстали. Мы заявили об этом багажной службе, нас спросили, в какой гостинице мы остановимся, обещали все выяснить и сообщить. Через несколько часов чемоданы оказались у портье гостиницы, а в наших номерах горела лампочка на телефонном аппарате, сигнализируя, что мы должны спуститься к портье.

При отлете все было как положено, самолет быстро взмыл, курс — на восток, и — «Прощайте, Скалистые горы». Видимость отличная, горы были как на ладони.

X

Когда самолет, приблизившись к нью-йоркскому аэропорту Ла Гардия, заходит на посадку, открывается зрелище захватывающее. Прильнув к иллюминатору, смотришь на чудо. Частокол небоскребов Манхэттена особенно впечатляет в солнечную погоду или поздним вечером в огнях, на фоне чистого неба.

Город огромен; заезжему иностранцу дай бог осмотреть центральный Манхэттен, сердце Нью-Йорка. Да и то нужно много часов, дней, недель, чтобы объехать или обойти этот скалистый остров, вытянувшийся на много миль с севера на юг, сплошь застроенный и такой разный, что подчас поражаешься: неужели это все в одном городе?

В первый приезд мы с С. Б. Саввиным старались ходить пешком, даже в плохую погоду, а ее как раз было в избытке.

Сквозь мелкий косой дождь мы видим на берегу дома в сто пятнадцать этажей.

Эта фраза, в общем точная, имеет историю. Цитирую Владимира Маяковского.

«Тридцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:

«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей...»

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавший в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я б должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно, принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок и пятьдесят этажей...»

Чтобы не запутаться в кавычках, сообщаю: конец цитаты.

Ну, хорошо, а что увидит очередной русский, приехав в этот город через двадцать, через сорок лет? Технически возможно построить здание в пятьсот этажей, прикидки уже сделаны. Принимая во внимание тягу американцев к рекордам и сногсшибательным цифрам, можно думать, что кто-то и когда-то такие проекты осуществит. Тем более, до недавнего времени в США не было никаких ограничений на строительство высотных зданий. Однако, как писала газета «Крисчен сайенс монитор», организации по охране окружающей среды, муниципальные власти и общественность городов стали теперь больше думать об отрицательных последствиях такого строительства. Небоскребы создают преграду для солнечного света, способствуют возникновению сильных воздушных потоков, в том числе вихревых, представляют опасность для самолетов.

И вот уже возникло движение за установление норм «на высоту». В Сан-Франциско норму ввели: 50 этажей, причем строить можно только в районах, удаленных от центра; приветствуется конусообразная форма небоскребов. В Нью-Йорке власти тоже начинают вводить ограничения, хотя и робко; больше беспокоится общественность, с которой часто не считаются. Городское общество искусств протестовало против строительства высотных зданий около центральной площади Таймс-сквер, но их все равно строили. Общественность Уэст-Сайда, западной стороны Манхэттена, пытается помешать разработке планов строительства здесь 150-этажного здания, которое должно стать «самым-самым»...

Один из факторов, стимулирующих возведение высотных зданий,— это, конечно, дороговизна земли в центре городов. В Нью-Йорке, на Манхэттене, один гектар стоит около 70 миллионов рублей — если бы мы пересчитали доллары на рубли.

Конечно, в Нью-Йорке есть негритянский Гарлем, где мне впервые удалось побывать лишь в 1985 году, и то не вылезая из машины, есть приют бедноты Южный Бронкс, есть безусловная власть доллара, как, впрочем, во всей Америке, есть нищие, бездомные, наркоманы, проститутки; я видел на берегу Гудзона сборище гомосексуалистов; есть мафия; показывают место на Сорок шестой улице, где убили босса мафии Пола Кастеллано; есть множество социальных, расовых, финансовых проблем. Но есть и Нью-Йорк — поразительное творение интеллекта и рабочих рук, средоточие колоссального труда и невероятного богатства и, безусловно, один из центров духовной жизни Америки.

На Мэдисон-авеню множество картинных галерей. Другая группа галерей в Нижнем Манхэттене, в районах Гринвич-вилидж и Сохо. На Пятой авеню около 70-й улицы — коллекция Фрика.

Питсбургский промышленник Генри Фрик собирал произведения искусства в течение сорока лет. Здание для коллекции, построенное и особенно декорированное в стиле европейских дворцов XVIII века, закончено в 1914 году. Живопись, скульптура, предметы прикладного искусства представлены здесь не концентрированно, как в обычных музеях, но в дворцовой манере — свободно, без строгой классификации и периодизации. Собрание богатое: Беллини, Тициан, Веронезе, Веласкес, Эль-Греко, Гойя, Рембрандт, Ван Дейк, Давид... Недалеко Музей современного искусства, где долго висела «Герника» Пабло Пикассо. На той же Пятой авеню модернистское здание музея Соломона Гугенхайма; в лифте поднимаешься на верхний этаж, оттуда тебя ведет спираль пандуса, по стенам развешаны картины; спускаешься, смотришь. На другой стороне Пятой авеню вписана в Центральный парк громада музея «Метрополитен». В его залах ежедневно бывает до двадцати пяти тысяч человек; конечно, здесь не знают таких людских потоков, как в Эрмитаже, но для западного музея двадцать пять тысяч — много. В «Метрополитен» самое большое собрание американского искусства, для этого собрания в 1980 году воздвигли специальную пристройку. Трудно назвать выдающегося художника, произведения которого не были бы здесь представлены.

Отдельный огромный зал музея специально построен для Дендерского храма I века до нашей эры, вывезенного из Египта, с одного из островов Нила. В связи со строительством Асуанской плотины остров уходил под воду. Правительство Египта решило подарить храм Соединенным Штатам, чтобы отметить их вклад в спасение под эгидой ЮНЕСКО памятников Нубийской пустыни, которые попадали в зону водохранилища. Святилище Дендерского храма, сложенное из крупных камней, пилон перед ним, причал привезли и установили под гигантским стеклянным колпаком.

В США вообще много художественных музеев, и среди них прежде всего Национальная галерея в Вашингтоне, но нью-йоркские музеи впечатляют.

Во многих собраниях, особенно в Музее современного искусства, в Музее американского искусства Уитни (на Мэдисон-авеню) представлено модернистское искусство. Я, как уже говорил, люблю сюрреализм, и увидеть работы Сальвадора Дали или Магрита для меня почти праздник.

Иногда «современность» не в манере, а в сюжете; на огромном полотне в музее Уитни две молодые женщины изображены в ванной комнате, одна занята туалетом над биде. Что это — вызов? Вопрос о понимании искусства никогда не был и не будет простым; строго говоря, он никогда не будет иметь однозначного решения. Тем не менее можно подумать над словами американского писателя Френка Норриса: «Легко высмеивать Народ и неспособность Народа здраво судить об искусствах, однако бесспорно, что искусство, в конечном счете не понимаемое Народом, не способно жить и никогда не способно было сохранить свою ценность уже для следующего поколения». Правда, самое понятие «народ», с какой буквы бы ни писать это слово, тоже не однозначно.

Нью-Йорк — столица книжного дела. Почти все крупные американские издательства, выпускающие научную литературу, находятся на Манхэттене. Здесь множество и других издательств. В центре города есть великолепные книжные магазины; в последний приезд я открыл для себя два расположенных друг напротив друга многоэтажных магазина с самыми разнообразными изданиями. Это на Пятой авеню около Восемнадцатой стрит. Есть магазин — тут же рядом, у 21-й улицы, где продают советские книги.

Небоскреб фирмы ИБМ на Мэдисон-авеню. Фирма эта — «Интернешнл бизнес мэшинз» — известна во всем мире как крупнейший производитель электронно-вычислительных машин. Долго она делала крупные ЭВМ, в том числе самые крупные. Персональные ЭВМ появились без ее участия, и первые серии персональных компьютеров (в Америке все говорят сокращенно «пи си») производили другие фирмы. Но в ИБМ быстро поняли, что развертывается нечто грандиозное, и фирма схватилась за персональный компьютер со всей жадностью, на которую была способна. В 1986 году на крупнейшей выставке приборов для химического анализа в Атлантик Сити я увидел уже множество «пи си» ИБМ. Тогда же выписал из «Нью-Йорк таймс» цены на них — сравнительно невысокие. Простой «пи си» фирмы ИБМ стоил 1300—1400 долла-

ров, экземпляр получше — 2300—2400 долларов.

О персональных компьютерах много говорят и у нас, мы делаем крупные шаги в этом направлении. Но в американских научных кругах, даже в средствах массовой информации «пи си» — любимая тема. Чикагский журнал «Форчун» писал, например, что специалисты Массачусетского технологического института считают, что одним из применений бытовых компьютеров в близком будущем может стать доставка на дом «электронной газеты». Подписчики такой «газеты» смогут по утрам получать подборки статей по интересующим их вопросам из свежих газет и журналов. Заголовки и начальные строки могут выводиться на экран. Чтобы на экране появился полный текст, достаточно будет прикоснуться к заголовку.

В 1980 году в США было продано 724 тысячи персональных компьютеров, в 1981 году — 1,4 миллиона, в 1983 году — уже свыше семи миллионов. Дальше рост замедлился, рынок стал насыщаться. По данным журнала «Тайм», относящимся к 1984 году, 80 процентов американцев полагают, что в скором будущем ЭВМ станут такой же обыденной вещью в доме, как телевизоры и посудомоечные машины. «...Продолжительный роман американцев с автомобилями и телевизорами постепенно начинает сопровождаться страстным увлечением персональными компьютерами». Теперь слова «станут», «постепенно начинает» устарели. Персональные ЭВМ вошли в дом. И уж, во всяком случае, в школу.

Директор лаборатории электронного обучения педагогического колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Мэри Э. Уайт в статье «Микроэлектроника: революция в обучении», опубликованной в одном из изданий ЮНЕСКО, обсуждает проблему: что ждет школу в эпоху массовой компьютеризации. Может быть изменена форма обучения, считает М. Э. Уайт, и даже сама школа. «Было замечено,— пишет Уайт,— что учащиеся задают компьютеру больше вопросов, чем учителю, меньше стесняются или совсем не стесняются своего «электронного наставника». В связи с этим поднимается вопрос о возможном изменении роли учителя, а затем и об изменении роли самой школы в жизни детей. Предполагается, что повсеместное внедрение компьютеров позволит легче усваивать материал, сократить объем домашних заданий или вообще отменить их. А может, другой станет школа, если скоро настанет день, когда можно будет покупать или брать напрокат любые обучающие программы и использовать их на домашней ЭВМ. А раз так, то не надо будет никуда ходить, чтобы учиться».

Школа — предмет беспокойства во всех странах, будущее государства в значительной мере зависит от того, как готовится к жизни молодое поколение. Одна из задач, которую постоянно декларируют, но далеко не всегда решают,— научить молодых людей мыслить. Джин Маерофф писала в газете «Нью-Йорк таймс», что в 1981 году Национальная комиссия по просвещению обнаружила: экзамены по чтению в младших и старших классах показали ухудшение способности учащихся к логическому мышлению. В 1979 году результаты экзаменов по математике, проведенных этой же комиссией, показали, что учащиеся стали хуже решать задачи. Среди причин, объясняющих ухудшение способности самостоятельно мыслить, называют влияние телевидения, обеднение речи, понижение интереса к чтению, снижение роли письменных работ в школе. «Некоторые,— пишет Маерофф,— обвиняют в этом распространение компьютеров, хотя можно с равным основанием полагать, что они, напротив, развивают мышление». Многие школы и вузы ввели годичный курс «Критическое мышление».

В последний день работы конференции в Денвере, о которой здесь шла речь, стало известно о нарушении южнокорейским самолетом воздушных границ СССР в районе Камчатки и Сахалина. Телевизор захлебывался. Вечером на банкете должны были объявить, что следующая конференция состоится в Мюнхене, а конференция 1988 года — в Москве. Коллеги нас осторожно спросили: может быть, не объявлять о Москве, время не очень подходящее; мы подумали и сказали: объявлять. Все прошло нормально.

Сложности начались в Нью-Йорке, куда мы прилетели из Денвера на два дня. Было это в первые дни сентября 1983 года. Поселились в гостинице «Эдисон» рядом с Таймс-сквер. В прессе уже развернулась шумная кампания; в одной газете был нарисован огромный медведь с разинутой пастью, из которой торчат внушительные клыки, а к пасти приближается крохотный такой, беззащитный самолетик, русский медведь должен его, конечно, разгрызть и проглотить. Бедняжка самолетик, он сбился с пути...

Мы втроем шли по Сорок девятой улице со стороны Ист-Ривер. С противоположной стороны улицы к нам быстро приблизилась невысокая девушка с какой-то бумагой, сказала, что она гречанка, плохо знает Нью-Йорк и ищет гостиницу, кажется «Шератон». Я начал ей объяснять, что в городе два «Шератона», один, кажется, здесь, другой там. Показал на своем плане, где именно, и вдруг понял что этот «Шератон» ей ни к чему. Она сказала, что в планах города ничего не понимает, а вот ее подружка в доме напротив разбирается хорошо, и гречанка — ни много ни мало — попросила меня пройти с ней к этой подружке. Спутники, ждавшие меня чуть поодаль, торопили; я, разумеется, идти с девицей отказывался, тем более, напротив в непринужденных позах сидели на крылечке пять-шесть полицейских. Девица поняла, что я ее раскусил, стала нервничать — она не оправдала чьих-то надежд, не выполнила чье-то поручение. Вдруг из подъезда на другой стороне улицы выбежала вторая девица, по-видимому, та самая, что хорошо разбирается в планах городов, подбежала, схватила меня за брючный ремень и стала злобно трясти. Что она при этом говорила, я уже разобрать не мог. Было ясно: нас втягивали в провокацию. Нужно было уходить. Я что-то тоже резко сказал, вырвался и присоединился к своим. Друзья, конечно, поняли, что «гречанку» интересовал не отель «Шератон». Облегченно вздохнув, мы пошли домой.

Однако это было только начало. Какая-то «служба» взяла нас плотно. Через несколько сот метров нас догоняет такси, прижимается к тротуару, и таксист на чистейшем русском языке спрашивает: «Не страшно? Весь Нью-Йорк бурлит».

Нас брали на испуг. Когда поднялись на четырнадцатый этаж гостиницы «Эдисон», мы расстались: друзья жили вместе в номере, я же — один чуть поодаль, за поворотом коридора, номер мой — в узком сапожке. Повернул в сапожок, смотрю, напротив моей двери на подоконнике сидит молодой высокий мужчина. Что ему там делать? Бегло взглянув на него, я вошел в комнату и запер дверь на ключ. Слышу, какая-то женщина, которая, видимо, за мной следила, спрашивает у этого парня, в какую комнату я отправился. Конкурирующие службы?

С коллегами у меня была договоренность примерно через полчаса идти в кино. Я вовремя зашел за друзьями, мы подошли к лифту. Видим: возле него околачивается какой-то негр, у него портативная рация. Подносит рацию ко рту и довольно громко, не стесняясь, говорит: «Они выходят».

Конечно, те наши, кто постоянно работает в Америке, привыкли к слежке, даже, говорят, «скучают» без таких «хвостов». Нам это было впервые, и на фоне общей ситуации мы, честно говоря, почувствовали себя скверно. Вошли в лифт, тут же договорились кино отменить (кто знает, что они там еще придумают?) и вернуться. Спустились до первого этажа и, не выходя из лифта, нажали кнопку четырнадцатого. Нет, скучать не дадут: в коридоре четырнадцатого уже человек шесть. Видимо, сняли номер в гостинице и установили усиленный пост. Мы тут же решили, что я в свою одиночку не возвращаюсь, а иду к ребятам в их относительно большую комнату. Дверь мы заперли, на всякий случай даже забаррикадировали креслом, позвонили в наше представительство при ООН. Телефон, слава богу, не отрезали. Нам посоветовали никуда не выходить, пережидать до утра, а утром пообещали прислать за нами машину. Примерно до часу ночи вся команда ходила мимо нашей двери, иногда шлепали по ней ладонями. Скучно им было. А предпринимать какие-то более активные действия в гостинице им, видимо, не велели...

Между тем наступала ночь. Мы сдвинули две широкие кровати, я расположился между коллегами. Наутро, когда напряжение спало, один из них пошутил: переходим на «ты», поскольку провели ночь в одной постели.

Утром посторонних в коридоре уже не было, в моем номере все оказалось на месте, за нами пришла машина. В этот день мы возвращались в Москву. Поволновались в аэропорту, ожидая, что и здесь нам что-нибудь подготовили. Из Монреаля улетели последним нашим самолетом: Канада ввела «санкции»; рейсы прекращались.

Хочется сказать доброе слово о работниках нашей миссии при ООН и других советских учреждений в Нью-Йорке. Станислав Кондрашов, политический обозреватель «Известий», много лет проработавший в Нью-Йорке и часто приезжающий туда в командировки, имея в виду и этих работников, писал о «специфическом нью-йоркском гостеприимстве, которое распространяется на всех знакомых соотечественников и даже на знакомых знакомых».

XI

Академик Владимир Иванович Вернадский, побывав в 1913 году в Соединенных Штатах, записал в дневнике: «Замечалось не раз и сделалось общим местом, что человек понемногу свыкается с окружающим, не замечает происходящих вокруг него перемен до тех пор, пока сразу не попадает в новые условия жизни. Тогда он в старом увидит новое там, где все казалось столь обыденным и ясным. И, с другой стороны, многое важное поймется им как не имеющее значения, а на место него выдвинутся события и явления, значение которых им не подозревалось. Поездка в Америку дает особенно много именно с этой точки зрения; она меняет масштаб, которым мы меряем окружающее, ставит события на иное место, чем мы привыкли это делать».

В США кое-что и сегодня нужно измерять другой шкалой. Может быть, особенно это чувствуешь в Нью-Йорке и в Калифорнии.

Калифорния известна не только богатством и тем, что поставляет в Вашингтон государственных деятелей. Это крупный центр науки и образования.

Калифорнийский университет в Беркли — кузница научных кадров самой высокой квалификации, о чем коротко

уже сказано выше. Только на химическом факультете работали или работают лауреаты Нобелевской премии Латимер, Льюис, Кальвин, Бартлет и другие. Они сделали открытия первостепенной важности. В 1975 году мы многое услышали о создателе теории регулярных растворов профессоре Гильдебранде, ему было 94 года, он каждый день приходил в университет и не пользовался лифтом. Через шесть лет журналы отметили столетие корифея.

Джоэлу Гильдебранду принадлежат слова: «Платон говорил, что самой красивой геометрической фигурой в природе был круг. Он ошибался. Наиболее красивая геометрическая фигура — это прямая, связывающая вашу теорию с вашими фактами».

Калифорнийский университет имеет 150 лабораторий, среди них три ядерные, известные во всем мире: Радиационная лаборатория имени Лоуренса в самом Беркли, мы уже говорили о том, что в ней работает лауреат Нобелевской премии Гленн Сиборг, Ливерморская лаборатория тоже имени Лоуренса, расположенная к юго-востоку от Беркли и Сан-Франциско, ею руководил «отец водородной бомбы» Эдвард Теллер, и лаборатория в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, известная прежде всего тем, что там была разработана и изготовлена первая атомная бомба.

Мне повезло: Сан-Франциско удалось посмотреть хорошо, дважды с интервалом пять лет. Первый раз нас сопровождала молодая чета, совершенно случайно взявшая на себя роль гидов. Член общества опеки над иностранцами, которая должна была показать нам Сан-Франциско, позвонила в гостиницу и сказала, что попросила своих соседей повозить нас по городу. Гиды оказались доброжелательными и внимательными. Город на сорока холмах они хорошо знали. Мы увидели и пролив Золотые ворота, и знаменитый сан-францисский трамвай, который работает по принципу фуникулера, и небоскребы, и гостиницу «Хайат-Ридженси»...

В конце поездки приехали в парк на берегу Тихого океана. Довольно мощный прибой, на прибрежных скалах греются морские львы, повыше — какие-то крупные птицы.

Мы уселись, огляделись, задумались.

У Уолта Уитмена есть стихотворение «Лицом обратившись на запад от берегов Калифорнии», его на русский язык перевел Константин Дмитриевич Бальмонт.

Лицом обратившись на запад от берегов Калифорнии,
Вопрошающий, неутомимый, того, что еще не найдено, ищущий,
Я, ребенок, престарый, я над волнами, к очагу материнства, к стране скитаний, гляжу далеко,
Смотрю с берегов моего Западного моря почти что очерчен круг...
Много с тех пор переживши скитаний, скитавшись вокруг Земли,
Ныне лицом я опять обратился к дому, довольный и радостный
(Но где же то, для чего я отправился в путь так давно, так давно уже?
И почему же оно до сих пор так и не найдено?).

Под конец дня наши добрые гиды предложили заехать к ним взглянуть, как живут.

Квартира на втором этаже, четыре просторные комнаты; одну используют в качестве склада. Посреди спальни огромная кровать. Хозяева предложили нам сесть на нее, мы помялись, но они были настойчивы. Мы присели, потом даже прилегли и... поплыли. Вместо обычного матраца — толстый водяной мешок по размеру кровати, иначе говоря, матрац водяной. Воду подогревает электричество. Это почему-то произвело на нас очень большое впечатление. Потом я увидел в газетах рекламу: такие матрацы можно купить в магазине.

...Есть в Сан-Франциско свой Бродвей, на этой улице сосредоточены увеселительные заведения. В кинотеатрах идут фильмы, помеченные двумя или тремя крестами. Мелькают вывески (это уже не кино): «Частные комнаты», «Девочки, меченные тремя крестами», «Акты любви: шесть за вечер».

В университете в Беркли в один из приездов мы попали на химико-технологический факультет. Он не столь знаменит, как лаборатория имени Лоуренса или химический факультет, но здесь ведут интересные работы.

Декан Джадсон Кинг — очень высокий, стройный, коротко стриженный моложавый профессор — занимается разделением сложных смесей веществ, консервацией пищевых продуктов, разными способами сушки, очисткой сточных вод от органики и т. п. У Кинга превосходная научная биография: бакалавра получил в Йельском университете, магистром и доктором стал в Массачусетском технологическом институте. Всегда улыбается, переполнен здоровьем и оптимизмом. Когда была конференция по экстракции в Денвере, Джадсон Кинг отвечал за научную программу, я послал ему два доклада, один он опубликовал в трудах конференции...

Профессор Теодор Вермюлен — другого типа: гораздо старше и не тот темперамент. Его тема — очистка воды сорбционными и электрохимическими методами, но раньше занимался экстракцией и ионным обменом в приложении к переработке ядерного горючего («Мы с Сиборгом играли здесь в футбол»). Как специалист по ионному обмену Вермюлен известен и у нас.

Евгений Питерсон — еще один профессор этого факультета — занимается катализом, бывал в Институте катализа в Новосибирске у покойного академика Георгия Константиновича Борескова.

Однажды мы обедали в университетской столовой с Вермюленом, Питерсоном и Алексисом Беллом — русским по происхождению, я упоминал о нем. Я спросил, сколько же всего профессоров на химико-технологическом факультете.

— Двадцать, — прикинул Белл. — И сто сорок аспирантов.

Оказалось, тут есть и профессора-аналитики. Когда-то работал здесь, например, профессор Кирк, автор книги «Количественный ультрамикроанализ», переведенной на русский язык в пятидесятые годы.

Ультрамикрометоды нужны были в работе с новыми, открытыми здесь, в Беркли, элементами. Центром этих работ всегда была лаборатория имени Лоуренса, но химики других подразделений университета ей помогали. Берклий, калифорний — названия элементов говорят о месте, где их получили впервые. Но здесь же получены и плутоний, нептуний, америций, фермий, эйнштейний, менделевий. В первый наш приезд нам показывали оборудование, используемое сейчас для синтеза самых последних элементов периодической системы. Группа, которой руководил профессор Гиорсо, соревновалась с группой академика Флерова в Дубне.

В одно из воскресений мы вместе с сан-францисским адвокатом Сергеем Сергеевичем Бойканом поехали в Редвудский национальный парк, расположенный севернее города за проливом Золотые ворота. Проехали через трехкилометровый мост — Голден гейт бридж — и вскоре оказались у тенистого влажного ущелья, по которому течет речка Редвуд Крик.

Здесь растут секвойи — высочайшие и долгоживущие деревья с красной древесиной (редвуд — красное дерево). По специальной дорожке, проложенной в глубине каньона, мы попадаем в царство теней, в сказочный мир. Над нами самые крупные в мире хвойные деревья, голова заваливается, когда пытаешься смотреть на их вершины.

Английский поэт Д. Мэйсфилд писал о секвойях: «...Они похожи больше на духов, чем на деревья. Долины, в которых они растут, напоминают заколдованные места, населенные кентаврами или богами. Деревья высятся величаво, мощно и царственно, как будто они жили здесь вечно».

На дне ущелий секвойи могут расти до двух тысяч лет.

Раньше они были распространены по всему миру, останки их обнаружены на Шпицбергене, Новосибирских островах и в Японии. Пятьсот миллионов лет назад распространение этих гигантов приостановилось. Они сохранились только в Калифорнии и в небольшом числе в Орегоне. В горах Сьерры-Невады растут секвойи другого вида.

Деревья эти боятся пожаров меньше, чем другие. Когда горят леса, исполины часто остаются жить, хотя стволы и могут быть обуглены. Одна из причин — их рост, другая — повышенная влажность древесины. В Редвудском национальном парке можно увидеть самое высокое на земном шаре дерево, его рост 112 метров.

Леса секвойи некогда окружали Сан-Франциско, но в пору золотой лихорадки в середине прошлого столетия они стали исчезать, сохранился один лишь массив, называемый Миурскими лесами в честь американского писателя и натуралиста Джона Миура, умершего в 1914 году. Редвудский национальный парк — в этих лесах.

Кстати, одна из достопримечательностей Сан-Франциско — великолепные постройки из красного дерева в викторианском стиле. На улице Клэй почти сплошь стоят двух-, трехэтажные дома с большими выступами-фонариками, кокетливыми крышами, изящными лестницами прямо от тротуара. Входная дверь — обязательно в окружении небольших колонн. Окна большие. Дома эти вечны, поскольку древесина секвойи очень устойчива; она плохо горит, ее не пожирают термиты, она выдерживает высокую влажность. Это знали индейцы, заметили испанские завоеватели, потом и русские поселенцы, спустившиеся сюда с севера по тихоокеанскому побережью. С течением времени сюда дошли пионеры с востока Соединенных Штатов; правда, они оседали в основном по дороге — в Колорадо, Юте, Неваде.

Память о русских колонистах здесь сохранилась. И не случайно еще в 1881 году Уолт Уитмен в «Письме к русскому» писал, что у русских и американцев есть общие черты: «Не сокрушенное веками сознание, что у наших народов у каждого есть своя историческая, священная миссия, свойственно вам и нам. Пылкая склонность к героической дружбе, вошедшая в народные нравы, нигде не проявляется с такой силой, как у вас и у нас. Огромные просторы земли, широко раздвинутые границы, бесформенность и хаотичность многих явлений жизни, все еще не осуществленных до конца и представляющих собой, по общему убеждению, залог какого-то неизмеримо более великого будущего,— вот черты, сближающие нас».

XII

Из Нью-Йорка в Атлантик-Сити мы намеревались добраться самолетом. Привыкли летать, как будто в Америке нет других способов передвижения. Между тем расстояние небольшое, и в агентстве Кука нам посоветовали поехать автобусом. И вот мы освоили нью-йоркский автовокзал, проехались на комфортабельном автобусе с туалетом...

Наша цель — участие в очередной Питсбургской конференции по аналитической химии и прикладной спектроско-

пии. На этот раз она в Атлантик-Сити, причем очень важная. Собрались ученые, инженеры и те, кто продает приборы, материалы, лабораторную посуду, научные книги. Всего более 29 тысяч человек.

Любовь американцев к цифрам, к статистике завораживает. Вот и сейчас требуется выдать целую обойму.

Расходы на исследования и разработки в США растут. Если в 1973 году на них истрачено приблизительно 30 миллиардов долларов, то в 1984 году — около 98. Поступления из промышленности и от правительства примерно одинаковы; так, в 1984 году индустрия ассигновала 52 миллиарда долларов, федеральное правительство—45 миллиардов, остальные поступления — из других источников.

Научная работа в США престижна, исследователям неплохо платят. В 1984 году средняя зарплата человека с высшим образованием, работающего в области исследований и разработок, была 36 тысяч долларов в год, колеблясь в интервале от 16 до 70 тысяч.

Общий уровень квалификации тех, кому доверена научная работа, надо охарактеризовать как весьма высокий. Среди химиков — ученых и выполняющих инженерную работу — практически нет людей без степени бакалавра, то есть, переводя в наши категории, без высшего образования (таких специалистов всего несколько процентов). Бакалавров и докторов примерно по 37 процентов общего числа работающих. Каждый пятый химик имеет степень магистра.

В журнале «Ристерч энд дэвелопмэнт» за 1984 год сказано, что восемьдесят процентов химиков работают в промышленности, тринадцать процентов — в правительственных научно-исследовательских организациях и учреждениях, шесть процентов — в университетах.

Однажды меня попросили выступить в московском Доме научно-технической пропаганды, в очередной День химика, на этот раз посвященный проблемам аналитической химии. Предупредили, что в зале будут, как обычно, работники аналитических лабораторий отраслевых институтов и промышленных предприятий. Перед лекцией я увидел, что в зале почти нет мужчин, а только женщины всех возрастов — они-то и составляют у нас основную «работающую» силу при массовых анализах. Мужчины все больше заведуют лабораториями. И то не на предприятиях, а чаще в институтах. Ту же картину видишь на научных конференциях. Чем солиднее, чем престижнее конференция, тем больше на ней мужчин. На всесоюзном Менделеевском съезде по общей и прикладной химии женщин было уже заметно меньше половины.

А как в США? Как у них с этим «женским вопросом»?

Почти одновременно к этой теме обратились два научных журнала аналитической химии. Одна статья называлась: «Женщины в аналитической химии. Почему так мало?». Автор-женщина сетовала: «Из всех, кто был удостоен в американских университетах степени доктора философии в области аналитической химии, примерно 15 процентов женщин. Однако для любого принимающего участие в важных конференциях по аналитической химии очевидно, что женщин нет в верхних эшелонах аналитической химии — ни в промышленности, ни в вузах». Приводится много фактов, подтверждающих это, и не только в отношении аналитической химии, но и химии в целом. С 1863 года в Национальную академию наук США было избрано 1453 ученых, из них только 57 женщин, среди которых 9 были связаны с химией. Но лишь одна с чистой химией, остальные — биохимики. Большинство женщин, избранных в академию,— биологи и медики.

Но и в «нижних этажах» американской аналитической химии женщин относительно мало. Заходишь в лабораторию, видишь молодых людей, девушек — это студенты старших курсов, стажеры. Среди преподавателей преобладают мужчины. Даже в заводских лабораториях женщин меньше, чем у нас. Одна из причин — после выхода замуж многие молодые женщины посвящают себя мужу, детям, дому, то есть бросают работу. С этим связано некое не вполне правильное понимание и использование статистических данных. Часто говорят, что за равный труд женщины получают меньше мужчин. Это верно, если не учитывать возраста, а следовательно, стажа работы и опыта. Если же сравнивать мужчин и женщин одних возрастных категорий, то еще не факт. Дело в том, что работают преимущественно молодые женщины. Мужчины же трудятся до пенсии, с годами обретая заслуги, квалификацию и совершенствуя мастерство.

Небольшое торжество по поводу открытия конференции. В вестибюле Дворца конгрессов соорудили помост, на него взошли организаторы, мэр Атлантик-Сити; несколько очень коротких речей, фотовспышки, жидкие аплодисменты — и все началось. Началось сразу во многих местах. Симпозиумы, лекции, заседания секций, осмотр выставки. На ней представили свою продукцию 767 фирм — очень много. Кто-то подсчитал, что по площади выставка занимает четыре футбольных поля. В одном здании!

Рекламно-информационный материал — проспекты, буклеты, листовки, каталоги. Многие компании привлекают к себе внимание, раздаривая дешевые авторучки, брелоки, полиэтиленовые сумки, линейки, блокноты. На каждой вещи опознавательные знаки фирм — хотя бы

названия. В первый и второй день выходили специальные газеты, заполненные рекламой приборов, устройств, материалов, книг. На выставке можно оформить подписку на журналы; подписка на некоторые информационные издания бесплатная. Продают книги.

Но в основном люди знакомятся с приборами.

Химический анализ в наше время нельзя сделать без аппаратуры, иногда очень сложной и дорогой. За десять лет производство аналитических приборов в стоимостном выражении возросло в мире в десять раз и достигло трех миллиардов долларов в год. Треть этой суммы приходится на США. Оборудование для анализа выпускают сотни американских фирм, в том числе гиганты Хьюлет-Паккард, Перкин-Элмер, Вариан... Спрос на приборы огромен. А спрос рождает предложение...

Предложение же в форме активной, вездесущей, иногда навязчивой рекламы, в свою очередь, стимулирует спрос.

Из дневника. Реклама в Америке базируется на одном важном принципе, его соблюдают свято: рекламируемый товар никогда напрямую не сравнивают с другим товаром такого же свойства. Похвалы «своему» изделию никогда не сопровождают критикой изделия-конкурента.

Рекламу строят на демонстрации достоинств, так сказать, абсолютных. Правда, повторяют, что данный продукт «самый-самый». Но это вообще. И стремясь задушить конкурента, закрыть ему рынок, это делают, соблюдая приличия и щадя достоинство. Корректно.

В рекламе возможен, даже необходим гротеск, об этом писали еще И. Ильф и Е. Петров в «Одноэтажной Америке». Гротеск должен вызвать улыбку потенциального покупателя.

Стоимость приборов растет. По данным Р. Розенцвейга и Б. Терлингтона, авторов книги «Исследовательские университеты и их патроны», изданной в Беркли, на оборудование лаборатории аналитической химии в 1960 году нужно было затратить в среднем десять тысяч долларов, через двадцать лет уже около миллиона. Возросли расходы на эксплуатацию аппаратуры, на запасные части... Не всем по карману купить, например, хромато-масс-спектрометр стоимостью несколько сот тысяч долларов. Ища выход, создают, в частности, центры коллективного использования приборов. В 1978—1982 годах Национальный научный фонд США создал 14 региональных центров, располагающих наиболее современным оборудованием — электронными микроскопами, приборами ядерного магнитного резонанса и др. Приборами могут пользоваться ближайшие университеты и другие учреждения.

В первый день конференции я делал доклад о преподавании аналитической химии в СССР. Кроме меня, на симпозиуме, который в программе был назван международным, выступали канадец, японец, австриец и англичанин. Профессор Токийского университета Фува говорил, что у половины студентов химического факультета дома есть персональные компьютеры, и это определило новую ситуацию: нужно думать об изменении системы преподавания с учетом этого обстоятельства. Представитель Канады сравнил учебные программы по аналитической химии 1965 и 1985 годов и показал, сколь велики различия. В канадских университетах теперь много внимания уделяют физическим методам анализа, использованию компьютеров.

На выставке постоянно встречаешь знакомых. Доктор Хэммес работает в штате Иллинойс, его фирма выпускает реактивные бумаги. Например, бумагу, с помощью которой можно определять содержание калия в крови — быстро и просто. Месяца за два до конференции Пол Хэммес узнал, что будет мой доклад, и написал в Москву, что хотел бы встретиться. В Атлантик-Сити он меня разыскал, позвонил, и мы вместе пообедали в торговом центре.

Центр этот — очень длинное трехэтажное здание, построенное прямо на берегу и пересекающее пляж перпендикулярно береговой линии от набережной так, что основная часть здания — над морем. Сооружение оформлено как пассажирское судно: будто огромный лайнер уткнулся носом в берег. Два этажа заполнены магазинами, третий отдан в основном ресторанам.

Хэммес бывал в СССР, работал в Институте биофизики в Пущине. Шесть лет назад он принимал нас в университете имени Радгерса, где тогда работал. Это в Ньюарке, штат Нью-Джерси, совсем близко от Нью-Йорка. А потом снова был в Москве, мы показывали ему свой институт.

Как и многие американские ученые, Хэммес перешел из университета в частный сектор. Забрал семью, переехал в Иллинойс. Живет теперь километрах в ста от Чикаго, звал к себе в гости. Передавал приветы в Институт биофизики. Приятно, когда вспоминают нас добром, ценят расположение, внимание и гостеприимство. Конечно, Хэммес не исключение. Как правило, ученые-американцы, побывавшие в нашей стране, хорошо отзываются о ней, тепло говорят о наших людях.

Симпозиумы и семинары работают главным образом не в самом Дворце конгрессов, а в двух больших гостиницах, соединенных с дворцом переходами. Некоторые секции собираются и в других ближайших гостиницах. Практически все крупные отели Атлантик-Сити выстроены вдоль моря фронтом к набережной. А сама набережная — это широкий деревянный настил, по которому

периодически проезжает автопоезд, примерно такой, как в Москве на ВДНХ. Есть и другой вид транспорта — рикши. Самые настоящие, как на Востоке. Бедно одетые люди дежурят со своими колясочками у гостиниц. Март не сезон, в гостиницах живут люди в основном деловые, прибывшие на конференцию, поэтому клиентов мало, рикши простаивают. Я сфотографировал нескольких, стараясь сделать это более или менее незаметно. Но иногда рикше везет. Смотришь, в коляске сидит старушка с кольцами на всех пальцах или пожилой джентльмен в шляпе и с палочкой. Они приехали играть. Казино работают днем и половину ночи. Деньги перемещаются из одних карманов в другие. И научная конференция этому не мешает.

XIII

Из дневника. Отель «Парк Сентрал» в самом центре города, в пяти минутах ходьбы от Белого дома. Не роскошный, но очень приличный, номера просто превосходные. Есть кухня, в ней газовая плита. Сначала мы сетовали, что не запаслись спичками, но обнаружилось, что они не нужны: стоит включить газ, как он сам загорается. Здесь же набор посуды: ножи, вилки, ложки, тарелки, чашки, кастрюли, сковорода, кофеварка и прочее.

«Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен» (И. Ильф, Е. Петров).

Прилетели мы в пятницу вечером. В Национальной академии нас ждут в понедельник, так что два дня полностью наши. Начали не как-нибудь: с Белого дома. По субботам и воскресеньям туда пускали на экскурсию (теперь — и в другие дни тоже); желающих комплектуют человек по 30—40 и ведут на первый этаж. Первый вопрос: почему вообще разрешают любому желающему заходить в резиденцию президента? Потом мы поняли, какое это имеет значение. Надо всегда и везде подчеркивать, что народ США живет в условиях поамерикански понимаемой демократии и свободы, то есть, выбирая своих руководителей, вправе смотреть, как они живут и работают. Это чрезвычайно важно — поддерживать такую иллюзию.

С понедельника началась работа в Национальной академии наук США, которая находилась тогда на Пенсильванияавеню.

Из официального соглашения. «Национальная академия наук США и Академия наук СССР пришли к соглашению по следующим вопросам... Каждый год Национальная академия наук США и Академия наук СССР будут направлять 12 ученых на период до одного месяца с целью ознакомления с научными исследованиями, чтения лекций и проведения семинаров».

В Национальной академии наук нас встретил господин Форси, отвечающий за контакты со странами Восточной Европы, как здесь называют социалистические страны. Мы согласовали программу; Форси заказал билеты на половину нашего маршрута по стране, мы получили деньги и некоторые советы. Наш опекун созвонился или списался уже почти со всеми профессорами, которые должны нас принимать, обусловил сроки. Все заняло около часа. Нам оставалось чуть позже зайти за билетами и получить окончательное подтверждение программы. Когда мы через несколько часов явились в академию второй раз, было готово все, включая пачку авиационных билетов на добрый десяток рейсов. В тот же день мы вылетели в штат Айова.

Когда спустя пять лет я снова приехал по программе обмена в НАН, Форси уже не работал, вышел на пенсию. На его месте была энергичная молодая женщина литовского происхождения Дайан Биляускас, неплохо говорившая по-русски. Стиль работы был тот же, все дела были сделаны очень оперативно, без бюрократических рогаток.

Прежде чем покинуть столицу, я хотел бы несколько слов сказать о вашингтонском музее, который имеет прямое отношение к науке и технике. Это национальный музей авиации и космонавтики, точнее, Авиакосмический музей. Во время первого нашего пребывания в столице этот музей посетить было нельзя, его еще не было, он открылся 1 июля 1976 года. На церемонии президенту Форду предстояло разрезать традиционную ленточку. Однако простых ножниц не было, президент нажал кнопку, и усиленный во много раз радиосигнал с космического корабля «Викинг» сжег ленточку.

Этот музей сейчас один из наиболее популярных в мире, ежегодно его посещают 15 миллионов человек. Государственный секретарь Шульц назвал музей придатком госдепартамента, потому что едва ли не каждый зарубежный гость, включая приезжих самого высокого ранга, считает необходимым побывать там.

К куску лунного грунта здесь можно прикоснуться руками; в космическую станцию «Скайлэб» залезть. Здесь чертежи Циолковского и подлинный самолет братьев Райт. Несколько типов ракет, но нет ракеты «Сатурн-5», она впятеро выше здания музея. В кинотеатре показывают широкоформатные фильмы на экране высотой с пятиэтажный дом — более 18 метров. Когда смотришь фильм о полете, создается потрясающее впечатление качки, хватаешься за подлокотники. Сейчас собираются расширить и без того огромный музей за счет ис-

пользования нескольких ангаров в аэропорту имени Даллеса. Там будет выставлен, в частности, знаменитый бомбардировщик Б-29.

XIV

В марте 1982 года мы, два московских химика, собрались на очередную Питсбургскую конференцию. Подготовка шла обычным порядком, нужные бумаги были посланы вовремя и в организационный комитет конференции, и в посольство США в Москве. Вылет был назначен на четверг 4 марта, организационный отдел Академии наук заказал билеты на самолет.

Обычно я собираюсь в дорогу вечером накануне отъезда, раньше не хватает времени. На этот раз уложил чемодан за двое суток до вылета. В среду в конце дня мы отправились в президиум академии за паспортами, билетами и деньгами.

С билетами проблем не было; доллары на командировку тоже выдали, немного, но жить можно. Паспортов пока не было; нам сказали, что американское посольство еще не проставило визы. До конца дня оставалось два часа: успеют. Госдепартамент старается выдавать визы в последний момент; вдруг что-то произойдет, приезд наш окажется нежелательным... Так что лучше тянуть. Самолет вылетал завтра утром.

В шесть вечера привезли последнюю партию паспортов. Наших не было. Зачем я поторопился с чемоданом?

Билеты пришлось сдать, деньги нам оставили, забронировали места на другой рейс, Москва — Брюссель, дабы потом из Бельгии лететь в Нью-Йорк самолетом авиакомпании «Сабена». В этом случае вылет переносился на субботу.

В пятницу виз не было. Самолет на Брюссель ждать нас не будет. Стали «проигрывать» еще вариант, кажется, на понедельник: Москва — Гавана — Мехико — Нью-Йорк. Далеко, дорого, но пошли и на это. Надежда получить визы не покидала ни нас, ни помогавших нам сотрудников управления внешних сношений академии.

Сидим в ожидании. Коротаем время, вспоминая старые анекдоты об оптимистах и пессимистах.

Так или иначе, виз не было. Мы уже начинали опаздывать. Ну, пусть на день, даже на два опоздаем, лишь бы попасть. Аэрофлот и работники президиума делали все возможное. Виз не было. Чемодан, будь он неладен, стоял упакованный. Посольство США на телефонные звонки отвечало, что из Вашингтона нет отклика на их многочисленные запросы. Не помогли и наши звонки, и телеграммы в оргкомитет конференции. Во вторник или в среду мы сдались. Ехать уже не было смысла: конференция кончалась в середине дня в пятницу.

XV

Перебирая в памяти знакомых химиков — Фрайзера, Шопена, Уолтона и других, я думаю, что все они великолепные работники науки и хорошие люди.

Конечно, мы во многом разные. Но для ученых главное — любовь к науке, стремление сделать для нее как можно больше, забота об использовании результатов исследований во благо человека, желание работать в максимально благоприятных условиях, то есть прежде всего в условиях мира и спокойствия. Наука, во всяком случае, фундаментальная, границ не имеет. А. П. Чехову принадлежат слова: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения». Однако есть национальная специфика, традиции, разные условия, общество в разных странах ставит перед исследователями различающиеся задачи прежде всего в прикладных отраслях. Почти во всех государствах существует еще необходимость проводить под грифом «секретно» часть научных работ. Государству иначе нельзя; наука от засекречивания ничего не выигрывает, проигрыши же очевидны: отсутствие обмена информацией, сопоставлений и критики в международном масштабе снижает уровень исследований, заставляет по нескольку раз — в разных странах — решать одни и те же или по крайней мере сходные задачи...

Мы живем в период, когда отношения между СССР и США несколько улучшаются. Конечно, этому способствовало прежде всего подписание соглашения по ракетам средней и меньшей дальности. На этом фоне в начале 1988 года удалось подписать и новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве. И не на один-два года, как раньше, а на пять лет. Это основа для расширения контактов, для совместного решения глобальных проблем.

ПИСЬМА С ФРОНТА

ПУБЛИКАЦИЯ ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ
З. Н. СЕРЕБРЯКОВОЙ, П. И. КРОТОВОЙ,
Н. В. ХМЕЛЕВОЙ, С. М. РУБИНШТЕЙН

Саша Фетисов — друг моей юности. Мы познакомились зимой 1940 года в детском филиале Публичной исторической библиотеки. Оба учились тогда в 10-м классе, я — в общеобразовательной, он — во 2-й артиллерийской спецшколе. Я поступила в мединститут, он уехал в Киев, в артиллерийское училище. Во время войны мы встречались только дважды — в ноябре 1941-го и в декабре 1942-го, когда он на день-два приезжал в Москву с фронта. Больше я его не видела. Он погиб в бою за город Болхов Орловской области 22 июля 1943 года.

Представленные здесь письма или выдержки из них адресованы мне и моей маме — Марии Максимовне, с которой Саша также иногда переписывался.

Мне хочется воспользоваться случаем и выразить глубокую признательность добрым людям — капитану Сергею Ивановичу Беликову из Болховского военкомата и Галине Владиславовне Малюченко — руководителю клуба «Дорогой отцов» в Орле — за помощь в увековечении памяти Саши Фетисова на месте его гибели, сотруднице Центрального архива МО СССР Галине Ивановне Солодковой, отыскавшей документальное описание боя, в котором он погиб, а также полковнику в отставке Ефиму Ильичу Левиту, ныне руководителю мемориального музея боевой славы 2-й артиллерийской спецшколы, который в предвоенные годы был старшим военруком этой школы, за любовь к своим живым бывшим воспитанникам и за память о мертвых.

З. Серебрякова.

«4.01.42.

Здравствуй, Зоя!

...Немножко о себе. Сейчас мы усиленно наступаем. Позавчера только заняли Малоярославец и уже сегодня прошли от него 30 км. Гоним так, что сердце радуется. Только вот они, прости за выражение, большие сволочи, жгут и уничтожают все наши деревни, и потому частенько мне, как всем остальным, приходится новый 42-й год просыпать на снегу, греясь собственным теплом, теплом товарищей и теплотой, рожденной нашими победами над немцами. Я никогда не был подчинен чужим взглядам и настроениям, на меня мало действуют газеты, го мною владеет сейчас одно сильное чувство, один порыв. Бить, бить их всех до единого, не жалея ни молодости, ни старости... Я им должен за очень многое... Я должен им за смерть двух моих товарищей, которых я никогда не забуду. Не забуду никогда смерть одного своего хлопчика с Киева, который, уже раненный, отползал с моей помощью назад и полег костями под гусеницами тяжелого немецкого танка. Он не успел мне ничего сказать. Я услышал только слово «Сашка!», и я понял все. Я не забуду своего Вовку (не Смирнова, не твоя симпатия), которого пристрелил предатель, бывший кулак. За того я долг отдал... пришил из автомата этого зверя...

Пока. Саша».

Без даты (по-видимому, между концом мая и началом июня 1942 г. — **З. С.**).

«Здравствуй, моя милая Зойка! Нет мочи ждать дальше от тебя ответа и, нарушая все свои традиционные правила мирного времени, пишу тебе второе письмо... Ты была и есть моя первая любовь, мое счастье, а потому иногда, в тяжелых моментах, я жалею о том, что потеряю навсегда тебя... Зойка, как бы мы с тобой зажили! Ни ты, ни я не обладаем задатками старины — мелочностью, мещанством. Оба для своего времени, хотя и недостаточно, развиты. Имеем на плечах головы, готовые служить нам самостоятельно каждому. А как бы мы с тобой жили? Просто, без всяких выкрутас, жить будем вместе на равных правах, на одинаковом положении одинаковых хозяев. Сейчас я не хочу мечтать. Эта война научила меня многому полезному. Сколько было разрушено юношеских воздушных замков относительно будущего. Теперь я живу исключительно настоящим (ты и наша жизнь являются исключением). Сейчас мы стоим в прочной обороне, рассчитанной на разгром фрица. Первые вести с Харьковского направления говорят о многом и очень радуют. Конец фрицев не за горами...

Саша».

«29.08.42.

Здравствуйте, дорогая Мария Максимовна!

Итак, мы одержали большую победу: фронт немцев прорван, но немцы еще не бегут, а стараются при первой возможности огрызаться и драться. Бьем их со страстью, любовью и упоением. Мстим за лето 41-го года, за все пережитое и выпавшее на наше поколение. Вот почему я вам долго не писал... В общем, Погорелое и Карманово взяло наше соединение под командованием Рейтера — слыхали из газет или нет? Ждите свободного у меня времени и потом подробного письма обо всем происходящем. Пока. Саша.

Сегодня мне 21 год. Я стал взрослым».

«12.12.42.

Милая Зойка!

...Моя судьба, моя жизнь сейчас ценой в копейку и лежит в снегах ржевских и пустынях. Иногда становится страшно жалко своей жизни и, как резкая реакция, потом наступает страшное чувство обреченности и злобы и полной безвыходности из этого круговорота. Теперешние бои показали всю дешевизну человека. Эти бои первые по масштабам применения техники с нашей стороны. О результатах можно читать в газетах. Но, конечно, из газет нельзя увидеть наше поле, а оно велико по своему значению, хотя все его протяжение 7—8 км.

...С поездкой 1 января, конечно, ничего не выйдет, а если и выйдет, то проездом в госпиталь, не иначе. На мои письма мало обращай внимания. В них мало теплоты....

Воевать 17 месяцев и остаться прежним Сашкой — это чудо, а чудес теперь нет. Поверь мне, милая, порой становится страшно самого себя и хочется отделаться от этой тяжести. Но пока меня не берет и обходит. Не тоскуй. Буду стараться вернуться прежним, т. к. ты для меня дорога как прежде.

Саша.

Теперь можно играть свадьбу, я стал по твоему велению капитаном».

«2.01.43.

Здравствуй, мое милое, но ужасно непонятное создание!

...Насчет моей персоны: прежнего Сашки уже нет, об этом я тебе сказал сразу. Ты посмеялась, уверенная в обратном, а я не стал убеждать, так как знаю, чего это стоит сделать. В общем, Зойка, вспомни, что на моих плечах лежит 18 с чем-то месяцев этой трудной жизни. И моя беда, что я скрыл от вас настоящую картину всего переживаемого нами здесь. К тебе я остался прежним, но уже пыл-

ких писем не жди... Юность прошла давно, а в общем, молодость скомкали, вытерли ею чьи-то пальчики и бросили на наше чистое ржевское поле. Вот и делай со мной что хочешь. Ты требуешь приехать. Вероятно, больше не приеду, разве только проездом в далекий тыловой госпиталь.

Ты не задумалась над таким вопросом, как Сашка прожил целым и почти что невредимым 18 месяцев непрерывных боев? И каково ему хотя бы вот сейчас писать письмецо, когда он (фриц) так «фугует» вокруг нашего блиндажа, что из печки вылетает весь жар и то и дело тухнет лампа? А ведь каждый гостинец весит 60—40 кг., а мне хватило бы вполне 4 гр. Сегодня мой подчиненный вышел на минуту. Трах! Выбежали, по чистому снежку валяются лоскутки шинели, да метрах в 20 шапчонка. Вот и все...

...Ну, поздравляю тебя с Новым годом, а за новым счастьем скоро вот пойдем на запад. В общем, если не убьют,— следующий новый год будет мирным годом и уж мы справим его как положено. Выслал тебе снимок. Ну, все. Сашка-капитан».

«30.01.43.

Милая Зойка!

Пишу в очень тяжелые и трудные дни. Немец вот уже пятый день долбает и гремит и через каждые 5—6 часов бросается в яростные атаки—пехота и танки, для летней картины не хватает воздушных «архангелов». Я тебе не писал об этом ничего. Думал, это шутка, ну а сейчас дело приняло серьезный довольно-таки оборот. Я уже два раза оцарапан поверхностно. Сильно не берет. В общем, в эти дни имеешь шанс потерять своего или какого еще Сашку. Здесь заварилось дело насмерть, отходить некуда, да и нельзя: образование не позволяет, да и характер. Да и силишек маловато. От нашей стойкости зависят успехи на юге. А там ребята молодцы. Хотя там большинство молодежи. Привет мамаше твоей. Всего. Сашка».

«18.03.43.

Зойка! Пишу в дороге. Может быть, проеду Москву. Буду звонить к себе домой. Не писал, т. к. находился в пекле, брали Вязьму и Ржев. С 1-го апреля пиши по адресу: Полевая почта 20787-ц Фетисову А. А. Пиши. Твой Сашка».

«15.06.43.

Милая Зойка! Очень взволнован твоим вниманием к моей судьбе и персоне. Но больше не смей так волноваться никогда, а тем более писать такие волнующие письма командиру моей части... Так вот отвечаю на ваш запрос о «судьбе капитана Фетисова», или просто Сашки. Он жив и здоров, чего желает всей душой и вам...

...Очень сейчас напряженная обстановка. Ждем бури с минуты на минуту. Зойка, милая, думал в июне выбраться в Москву, но ничего из этого не вышло. Потянул пустышку в этом деле. Как там ты живешь, моя родная, жаль мне вас всех там. Вы страдаете гораздо больше нас. Мы уже ко всему привыкли, и кожа стала у нас дубленая, ничего не берет. Одна беда, нельзя сердце продубить, а оно иногда сильно и здорово мешает спокойно и здорово воевать. Частенько смотрю твои карточки, но они только выводят меня из равновесия. А все-таки чего бы мне ни стоило, а в Москве до зимы, если жив буду, обязательно побываю, не будь я Сашкой.

Зойка, милая, пиши мне больше... Мне в письмах единственная радость и жизнь. Все тот же, немного постаревший Сашка».

«3.07.43.

Милая Зойка! Получил письмо, в котором ты меня радуешь сообщением о твоем переселении на лесозаготовки. Ты права, что мне будет немножко лучше от этого. Но ты ошибаешься, если считаешь, что я настолько глуп, что не допускаю мысли, чтобы ты была веселой, общительной, чтобы тебя окружали тыловые воины нашей доблестной Москвы. Наоборот, я буду рад этому. Никто не виноват, что мне в 22 года моей жизни пришлось два отдать войне...

Пиши побольше о своей жизни, о друзьях и товарищах. Ты ничего не пишешь, как живет твоя мама? Передай ей привет от меня большой... и скажи ей, что Саша все тот же. Только стал немножечко умней и практичней во всех отношениях и вопросах жизни. Там успокой мою мамашу, она почему-то не получает моих писем и крепко волнуется: передай ей, что, мол, Сашка пока живой!

Крепко целую. Сашка».

«13.07.43.

Милая Зойка! Теперь можешь на меня злиться или не злиться, обижаться или нет, но теперь наступит продолжительное молчание с моей стороны. О наших успехах будут говорить газеты, а мне, во-первых, не хочется писать потому, что цензура половину не пропустит... Наконец, кончилось затишье и неопределенность. Мы наступаем! Наконец-то исполнилась моя заветная мечта попасть на самый ответственный участок боев нашей Отчизны. Я на самом отдаленном участке от наших старых границ, но от исхода нашей битвы зависит конец шайки фрицев или в этом году, или, что самое вероятное, в мае месяце 44 г. Остался всего один год... Поражен огромным количеством в этих боях наших самолетов и танков, а особенно артиллерии...

Думай больше обо мне, и я выйду из любого положения счастливым победителем, как всегда. Привет маме. Целую! Саша».

ВЫПИСКА ИЗ ЖУРНАЛА «БОЕВОЙ ПУТЬ 686 ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО БРЕСТСКОГО ОРДЕНА КУТУЗОВА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ПОЛКА»

«На подступах к г. Болхову противник создал сильную глубоко эшелонированную оборону. Для того, чтобы сломить сопротивление противника, разрушить его укрепления точным артиллерийским огнем, полку было приказано все батареи вывести в боевые порядки пехоты на прямую наводку... В этом бою пал геройской смертью начальник штаба 1-го дивизиона капитан Фетисов».

Жительница подмосковного села Коробово Прасковья Ивановна Кротова передала в редакцию фронтовые письма своего мужа Никиты Никоновича Кротова. Деревенский плотник, уроженец села Петряиха Шатурского района Московской области, он служил в саперном батальоне и погиб в 1942 году под Старой Руссой.

«Послано 7 ноября. С праздником поздравляю 7 ноября.

Здравствуй, дорогая мама Марья Павловна, от сына Никиты Никоновича шлю я тебе, мама, низкий поклон и пожелаю вам пожить до моего свидания; еще кланяюсь особо многоуважаемой и дорогой моей супруге Прасковье Ивановне, от супруга вашего Никиты Никоновича пожелаю я вам хорошего в твоей жизни и чтоб нам с тобой опять поиметь свидание: еще здравствуйте, дорогие мои детки, во-первых, дочка Лиза, дорогие мои сынки Шура, Коля и Сережа, пожелаю я вам счастья в вашей молодой жизни.

Сообщаю, до места дошли наши петряисские все вместе, только свояк Иван Григорьевич сзади, не пришел, отстал, но сегодня придет.

В Ногинске на рынке картошка 4 и 5 руб. кило, мясо 60 руб., свинина 75 руб., валяные сапоги — 500 руб.

Немец от Москвы далеко, нам опасного пока нет. Самолеты неприятеля летают мимо нас, но не стреляют.

Пока, в отношении житья, встаем мы в 5 час. утра, с работы приходим в 6 часов вечера, ходим за 5 км до работы. Спим тепло, хорошо. Но очень большой перерыв с завтрака до ужина. На работе без обеда, потому что ходить далеко до столовой.

Дорогая супруга Прасковья Ивановна, но как здесь ни хорошо, ну а дома в 10 раз лучше. Все описывать — вы сами не глупы, слышите и знаете, что военная служба — подчиняться нужно.

Но в отношении адреса, нам нет пока названия части и № почтового ящика. Как будет адрес, то я сообщу вам, но сейчас мне письмо не пишите, потому что оно ко мне не дойдет.

Дорогая супруга Прасковья Ивановна, до 15 ноября я жить буду вполне сытым. Сухари у меня есть, а дальше буду привыкать к пайку.

Берегите какие у вас есть продукты, в особенности картофель. Зря не бросайте.

Но ко мне окромя письма ничего по почте не шлите.

Но я счастлив, что взял валенки, ходят кто в чем вышел из дома, в своей обуви. Обувь пока не дают,— только кто совсем разутый — еще хуже тому, кто в холодной обуви.

Но я соглашусь перенести всё и все трудности, быть холодным и голодным, только остаться живым. Милые мои детки: Лиза и Шура, Коля и Сережа, у меня вся болезнь об вас, я вас жалею и жалко мне вас, не знаю как, мне очень хочется вас вырастить большими, неужели не увидимся? Может, увидимся!

Дорогая супруга Прасковья Ивановна, опиши мне, как ты с хлебом проживешь этот год, и что, тебе дают хлеба и за меня пособие?

Мы были в рабочем батальоне, теперь перевели в саперный батальон, в действующую армию. Посылаю я вам девятое письмо — 5 открыток и 4 письма закрытых.

Но днем мы на холоду, а ночь, хотя и тесно, но спим в домах, как наш дом, без кухни, 25 человек, как хочешь, так и ложись. Во всех домах полно армии, переполнено. Если перегнали бы нас поближе, ты бы меня навестила и что-нибудь привезла бы, покушать сухарей. Но сейчас нельзя, поезда не ходят, только на машинах все перевозят.

Но и пока, до свидания. Молите богу за меня, чтобы я остался жить и повидался с вами. Прощайте. Сообщите все».

«Здравствуйте, дорогие родные: мама Марья Павловна, от сына Никиты Никоновича шлю я тебе низкий поклон, еще шлю горячий привет дорогой супруге Прасковье Ивановне от супруга вашего Никиты Никоновича, еще кланяюсь дочке Лизе, сыночкам Шуре, Коле, Сереже, от папы вашего, Никиты Никоновича.

Дорогие мои родные, сообщаю я вам, что письмо это я посылаю вам 9-е, но от вас ни одного не получил, и если вы послали, все равно оне к нам не дойдут.

Описываю вам, как, куда мы приехали и где сейчас мы находимся. Из Пушкина нас пригнали на станцию Трудовую по Савеловской железной дороге, жили 16 дней, потом 19 ноября перегнали нас в город Дмитров, 60 км от Москвы, стояли 7 верст от Дмитрова. 27 ноября нас настиг немец. В этом письме я опишу, как поступает немец с населением и с пленными. Лучше самому себя застрелить, но не быть у него.

Сейчас мы стоим в Дмитровском районе от Дмитрова 25 км, от Клина 25 км, от Рогачева 15 км, от Подсолнечной 20 км, в глухом месте.

Сейчас немцев прогнали далеко за Калинин, опасного нам нет. На всех фронтах его погнали, и он уйдет на свою территорию. Они у нас все могут померзнуть. Вот что они проделывали с колхозниками — издевались. Я сейчас стою — место было занято немцем с 25 ноября по 9-е декабря. Они колхозников разорили начисто, продукты все поели, одежду, обувь всю забрали, дома жгли, валяные сапоги снимали с ног, даже и у детей, и убивали многих женщин; даже не то, что хорошее, но и чашки, ложки, чугунные лампы — все с собой забирали. Одним словом, ничего не оставляли, оставили голых наших крестьян. Я сам не верил в газетах, но, дорогая супруга, все это было верно, я лично убедился. Если все описать про них, это нужно описать 5 листов и все нехорошее.

Может, мы скоро приедем домой, немец обратно не вернется, его машины валяются за каждом шагу, и он их все сжег.

До свидания. Жив и здоров, письмо мне пошлите, дойдет или не дойдет — оно не дорого для вас».

«2 января 1942 г. Действующая армия.

Здравствуй, дорогая мама Марья Павловна, от сына вашего Никиты Никоновича шлю я тебе низкий поклон, еще здравствуй, дорогая моя супруга Прасковья Ивановна, от супруга вашего Никиты Никоновича шлю я тебе свое нижайшее почтение и целую, и крепко жму вашу руку и пожелаю я вам всего хорошего; еще здравствуйте дорогие мои детки Лиза, Шура, Коля и Сережа, от папы вашего Никиты Никоновича шлю я вам свой сердечный, горячий привет. Дорогая супруга Прасковья Ивановна, сообщаю я тебе, что это письмо посылаю ручно, с ананьинским гражданином. Фамилия его Витушкин, Федор. Повторяю, деревня Ананьинская.

Я от вас не получил ни одного письма, и невозможно было получить, потому что мы бываем на одном месте не больше недели, перегоняют с места на место. Были мы первое время около Дмитрова по Савеловской железной дороге, теперь мы находимся под Волоколамском от Москвы 100 км, а от Волоколамска 20 км, село Язвищи.

Получили мы обмундирование, не все, фуфайку, брюки, пару нижнего белья, шапку и все, больше ничего.

Дорогая супруга, Прасковья Ивановна, как получишь письмо, то немедленно пошли мне обратно с этим же товарищем ручно, он едет домой только на 6 дней в отпуск, и ты не медли ни одной минуты, пиши мне все новости у себя дома и в деревне, и в районе, и пошли мне ручно с ним, отнеси в деревню Ананьинскую, Витушкину Федору передай, а он мне передаст.

Дорогая супруга, очень трудно проводить это военное время, пошли сильные морозы, ходим на работу, хлеба дают нам восемьсот граммов, варят завтрак и ужин, обеда нет. Конечно, если бы поближе к дому, я знаю, ты бы меня не оставила, чего-нибудь да принесла бы. Но к нам сейчас адреса пока нет. Сообщение я только могу дать, но от вас не дойдет. Ничего, может быть, ты сумеешь мне переслать с ним суровых ниток и 1 кг гостинцев, что-нибудь. Этот подарок твой будет очень дорог. Положите иголку. У нас купить нечего. Магазины после боев разрушены. Не то что магазины, осталось деревень очень мало, все пожжено, сгорело, но фронт от нас недалеко... Но пока нас на фронт не погонят, потому что мы на ученье. А тут работаем, пока спокойно, боя не слышно, но все-таки опасно от аэропланов немецких. Один раз он нас обстреливал из пулемета, но никого не убил. Но пока я жив и здоров, чего . вам желаю. Прощайте. Трудно мне жить».

«5 марта 1942 года.

Дорогие мои родные, я пока от вас получил 1 письмо ручное от Витушкина, но по почте не получал. К нам вот уже 2-й день стали идти письма из Коробова, стали ребята получать, и я жду.

Мы пока стоим все на одном месте, за Можайском 12 км, вот уже 35 дней. Здесь сейчас у нас отбирают молодежь до 35 лет и отправляют дальше их под Вязьму. Но мы пока на старом месте, работаем с лопаткой и ломом. Очень тяжело достается мне, но делать нечего. Ходим за 5 км от квартиры. Дорогая супруга Прасковья Ивановна, очень хочется с вами повидаться, но никуда нас не пускают.

Опиши, как Лиза и Шура учатся и что им дают в школе хлеба и вам вообще, и как ты можешь перебиться с хлебом, что тебе дали в отчетный год из колхоза. Как корова, отелилась или нет.

Я все-таки не думаю быть на фронте, думаю быть остаться живым, и опиши, сколько у нас в деревне осталось мужиков и все новости. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров. Кротов Никита.

Я вам послал посылку —свои домашние вещи. Нам дали все казенное обмундирование».

«31 марта 1942 г.

Здравствуй, дорогая супруга Прасковья Ивановна, от супруга Никиты Никоновича шлю я тебе свой супружеский привет и крепко целую тебя и жму вашу правую руку, еще кланяюсь маме Марье Павловне, от сына вашего, Никиты Никоновича, шлю я ей свой сыновний поклон, еще здравствуйте дочка Лиза, сыночки Шура, Коля, Сережа, от папы вашего Никиты Никоновича шлю я вам от своей душн счастья в жизни и скорого свидания.

Сообщаю вам, что нас перегоняют на другое место, ко мне ехать пока воздержитесь. Мы сейчас стоим второй день в городе Можайске. Ждем отправления, поедем на поезде. Сегодня отправимся, куда — неизвестно, но разговор идет — к Москве блнже. Как приеду, то пошлю письмо тут же, где будем стоять, а пока ко мне не езди. Письма я ваши все получил до одного. И от Лизы 3 и от Шуры письмо и от Паши 2 письма. Но адрес мой старый, куда бы мы ни уехали, но адрес будет все тот же.

Ждите пнсьмо от меня, тут же пошлю, как приеду на новое место».

«3-го апреля 1942 г.

Письмо с дороги. Доехали до ст. Калязин Савеловской железной дороги, едем дальше, но неизвестно куда, но по всем видам — на Ленинград.

Поминаем страстные дни. Сегодня великая пятница, а завтра великая суббота, а потом пасха...

Мы будем находиться близ фронта, но не на фронте, потому что у нас кого нужно на фронт, тех выбрали. Из наших попали Ерохин И. И., Качурин П. Н... Становов А. остался на старом месте, по счастью — при санатории штатным плотником оставили.

Доеду до места — тут же пошлю вам письмо.

Но мы все здесь радуемся, очень надоело на одном месте, может, будет получше. Подолгу стоим на станциях, но с нами едет кухня, варят нам завтрак и ужин, чай. По дороге купить нечего, молоко — 30 рублей литр и того нет, с трудом. Насчет денег у меня есть рублей до 100, на всякий случай.

Теперь, Прасковья Ивановна, ты на свидание ко мне и не собирайся, я теперь буду от вас далеко-далеко. Только не забудь, если будут принимать посылки, то пошли чего-нибудь, прошу, не забудь. Но пока. Адреса от меня нет до приезду на место, тогда сообщу обо всем, как доехали, но пока, до свидания, писал в вагоне, торопился, следующее письмо будет послано с места, по приезде. Н. Кротов».

Фронтовые письма Юрия Владимировича Хмелева, адресованные семье, переслала в редакцию «Знамени» его сестра Наталия Владимнровна Хмелева, проживающая в Москве.

«29/3—1944 г.

Вы хотите поглядеть на нашу жизнь? Живем в землянке. Наша большая семейка состоит из 8 человек. Живем дружно, ладно. Четверо уже давно на фронте, были в госпиталях. Часто вечерами слушаем мы их рассказы о форсировании Днепра, боях под Орлом. Климат здесь довольно интересный. Приехали мы сюда зимой, снега нет. Тепло, сыро. На болотах тоненькая корочка льда Зелень у корней сосен. Наступила весна. У вас весенние каникулы. Прилетели грачи. Разлился Дон. Тепло. У вас, наверное, настоящая весна. А у нас? Идет снег. Ночью морозно. Стало совсем холодно. Зима. Настоящая зима. По утрам из чащи леса доносится бормотачие тетеревов. Наш снайпер уже делал несколько раз походы в болото за дичью, но, несмотря на то, что на его счету 47 убитых фрицев, ему еще не удалось открыть счет дичи. Скоро снимем с себя зимний наряд — две рубахи, двое кальсон, теплые брюки, фуфайку. Неуклюжи мы в своих теплых уборах. Очень много теплых вещей на каждом из нас. В таком виде трудно быстро бегать, вскакивать, но спать, стоять на посту тепло.

Скоро 31. Снова в этот день вспоминаю о вас, дорогие, вспоминаю мамино заплаканное лицо в окне нашего домика, когда провожала ты меня год назад в армию. Год! Ведь это такой большой срок. Как изменились вы все. Если можно, то пришлите мне ваши фото. Те, что сделал Тяпков. А те, что я взял когда-то из дома, когда уходил в армию, все пропали. Жалко, но ничего не сделаешь. Осталось лишь единственное. Фото Маруси, которое я ношу в кармане на груди.

С ним я ходил в бой. Быть может, оно спасло мою грудь от осколков и пуль. Я брал его с собой даже тогда, когда был приказ отдать все документы. Я хочу, чтобы на моей груди, как раньше хранили образок-медальон, хранилось бы всегда, охраняя меня, фото моей старенькой любимой матери.

Очень жаль, что я не нашел еще такого друга, который тоже бы любил искусство, увлекался бы стихами, чтобы ему был понятен Снмонов, Багрицкий. Пока еще нет таких друзей, но я верю, что найду такого. Меньше обо мне беспокойтесь, особенно это касается мамы: «Спи, успокойся, шалью укройся, сын твой вернется». Привет бабушке, Тяпкову. А если встретите Марусю случайно на дороге, передайте ей привет».

«14/4—1944 г.

Отец! Это письмо опять только для тебя одного... Мне хочется многое рассказать тебе, отец. Я хотел бы написать большое письмо Тяпкову, рассказать ему правду о пейзажах, видах, типах людей фронта, чтобы ему легче было рисовать картины о фронте. Много ласкового, большое спасибо хотелось передать и маме, и тебе за детство (такое детство!).

Хотелось бы рассказать тебе, как стал глядеть по-новому на жизнь, проходя испытания в эти суровые дни войны. Хотелось бы правдиво и подробно рассказать вам, как стал известным в роте и даже в полку своим художеством. Как рисовал каждый день по 6—7 портретов бойцов и командиров. Все это веселые, жизнерадостные фронтовики-гвардейцы. Это все орденоносцы.

В нашей газете мы часто читаем: боец такой-то убил столько-то немцев, сделал то-то, читаем о героях. Это все простые ребята в серых шинелях, закопченных, засаленных, которых встретишь в землянке, у кухни. А скинет шинель — ордена, да не один.

В нашем медсанбате много девушек-орденоносок, которые помнят сталинградские бои, у каждой из них на счету несколько десятков вынесенных раненых.
Вот такой народец я рисую с натуры. Приходится работать быстро. Фронтовик не терпит фальши. Он любит красивые аккуратные вещи. Жаль, что пока не могу выслать вам хотя бы несколько таких портретов.

Сегодня мы покидаем эти места. На некоторое время закрывается моя художественная мастерская, хотя еще очень большая очередь заказчиков. Идем на передовую к новым боям, схваткам. Снова смерть будет смотреть мне в лицо. Будут перебои в письмах, пусть это вас не тревожит...»

«14/4—1944 г.

Мамуся!

Спасибо за письмо, особенно ждал твоих строк о Марусе. Все чаще и чаще думами своими обращаюсь к ней. И постепенно забываются все недостатки, прежние огорчения. И как-то смутнее, туманнее становится ее фигурка, образ. Но все милее и милее становится она для меня, существуя в моем воображении, как какое-то божество, как ангел красоты, любви. Ее фото ношу на груди вместе с комсомольским билетом. Только фото я никому и никогда не показываю, хотя это очень распространено в армии. А ревнив я, мама, потому, что большинство моих друзей, даже некоторые командиры, получили вести из дома, что их жены или любимые девушки изменили, вышли замуж, гуляют с другими. И каждая такая весть колет и меня, заставляет волноваться за свое счастье.

Но встанешь утром на пост, пойдешь ли патрулем по фронтовым дорогам. Луна. Березки. Тепло. И успокоишься. Жизнь хороша! Хорошо жить! А любовь не погибнет, она придет — ведь мы еще молоды».

«21/6—44 г.

Отец! Спасибо за письмо. Я давно хотел написать тебе одному, чтобы не пугать зря маму. Ты пишешь мне, что скоро, видимо, начнется наступление. Да, отец, теперь, видимо, скоро. Я думаю, что прежде чем вы получите это письмо, вы узнаете по радио о новом наступлении. Скоро, очень скоро мы пойдем вперед. Мы застоялись здесь, много времени просидели в обороне. Теперь хватит. Нас зовут вперед стрелки указателей на перекрестках дорог, указывая своими отточенными концами на занятые врагом населенные пункты. Начали смердеть трупным запахом окружающие леса и болота.

Много убитых фрицев, много и наших холмиков — братских могил. Они призывают нас идти вперед. Большое будет сражение, наверное, одно из последних, но мы победим, конечно, отец. Но еще много усилий надо сделать, чтобы завоевать победу. Ты это и без меня знаешь, отец, это прописная истина. Но я хочу еще раз предупредить вас — скоро начнутся жестокие бои. Я еще не знаю, где мое место в них: кем я буду: или рупористом, помощником переводчика, или опять автоматчиком. Мне кажется, что последнее скорее всего.

Что ждет впереди — неизвестно. Частенько будем и без крова, но мы привычные люди — ночевали на снегу в морозы, ветер, а летом, даже пускай и в дождь, переночевать на улице не трудно. Но я пишу тебе, отец, вот почему: это, наверное, мое последнее письмо к вам из этих мест. А когда будет следующее — кто знает: может быть, через неделю-две, быть может, с поля боя или из госпиталя. И хочу, чтобы в трудную минуту я был уверен, хочу надеяться, что вы там все-таки спокойны.

Особенно боюсь за маму. Она все-таки, хотя и героиня, но такая, что не будет спать спокойно ночей, будет волноваться.

Я хочу, чтобы она, читая в газетах сообщения о действиях нашего фронта, о салютах Москвы, была горда, что в этих боях действует ее сын, чтобы она никогда не думала, что я погиб, ранен, не задумывалась над строками приказов «Вечная слава павшим в боях».

Знайте, что я всегда думаю о вас и стараюсь написать вам в свободную минутку, но что будет дальше, я не знаю, потому возможны большие паузы.

Будем надеяться, что останусь целым и невредимым, что спасет меня и здесь безграничная, нежная любовь моей матери.

Приветы передай Тяпкову и малышам-музейщикам».

«24/6—44 г.

То, что ждали, думали в последнее время, сегодня началось. Мое письмо придет нескоро к вам. Вы уже узнаете к тому времени из газет о наступлении Белорусского фронта. Оно началось сегодня утром на восходе солнца. Его ждали, к нему много готовились. Всюду зачитывали листовки с приказом перейти в наступление.

Вчера днем орудовали в немецком тылу наши штурмовики. А ночью как бы в ответ на вчерашний налет нас бомбили немецкие «мессеры». Страшная это была ночь.

...Мы часто вспоминаем, как в мае мы — автоматчики — ходили копать окопы, строить дзоты. Я был тогда еще пулеметчиком. Был уже вечер, закат. Солнце садилось. Тишина и красота. Мы весь день копали, устали порядочно. Заканчивали работу и уже думали об ужине. Над нами несколько раз пролетела «рама». Я укрепил свой пулемет на дереве недалеко от окопа, где работал, и при появлении «рамы» стрелял по ней бронебойно-зажигательными пулями. Со мной вместе вели огонь еще несколько пулеметов. Быть может, своим огнем мы привлекли внимание «рамы». Потом появилась вдруг еще одна «рама». До этих пор на нашем небе мы привыкли видеть только одну. «Что будет делать вторая «рама»? Откуда взялась еще одна?» — всех это очень заинтересовало. Братва наша повылезла из траншей, задрала пропылившиеся носы кверху, разинула рты — наблюдает. Одна из «рам» снизилась — пошла прямо на нас. Мы ударили по ней сразу из всех пулеметов. Вдруг кто-то как-то чудно по-деревенски произнес: «Хлопцы, глянь — обо.....сь!» Он был «прав»: от «рамы» отделилась стайка черных черточек, понеслась вниз. Через секунду мы, кто как мог — бегом, ползком, кувырком, кучей друг на друга, оказались в траншее. Еще через секунду грянули громовые взрывы... в воздух вместе с песком, болотной грязью взлетели кочки, молодые ели, пни. Нас засыпало песком, позакидало грязью. Через минуту мы, грязные, придя в себя, глядели вслед уходившей «раме». Метрах в 20—25 чернели глубокие воронки. «Это со страху ее так прохватило. Ну, держись, братва, держись славяне, сейчас еще картошки привезет...»

Многих моих товарищей уже не стало. Нет в живых и моего командира. В наступлении, в бою за город Бобруйск, погиб наш старший лейтенант. Сегодня меня назначили командиром отделения».

«12/8—44 г.

Привет из Белостока, привет из Польши! Что новенького в нашей беленькой хатке? Расположились в самом городе. Живем в домах. Непривычно это все как-то для солдата — и окна-великаны, и городская мебель, и чистота. Нам было бы лучше куда-нибудь в лес, в палатки — заявили мы сразу.

Это письмо пишу перед заступлением на пост, сидя за столом в уютной чистенькой комнатке на втором этаже. Окно открыто. В него врываются вместе с запахом города звуки улицы: рев моторов проходящей мотоколонны, вой, рев кружащих наших ястребков. Многое создает здесь такое чувство, которое напоминает очень живо детство, дни пребывания в Москве.

...В дни прорыва наш командир был на самой передовой. С боями мы ворвались в село Козлович, и завязался уличный бой. В огородах завязывались схватки. И вдруг немец рванулся вперед, пошел во весь рост в контратаку. Произошло замешательство. Отбиваться было нечем. Стрелки начали отходить. И командир полка бросил в бой свой резерв — автоматчиков. Их было немного, но своей лавой огня, быстротой действия они отбросили немцев назад, взяв 20 пленных. Никто и не знал, что командир наш погиб. Шальная пуля попала ему в переносицу, когда он перебегал вперед. Там, в Козловиче, осталась его могилка, в середине села — «старший лейтенант Алексеев»...

Меня не было в этом бою. Я конвоировал в плен пленных фрицев. Вернулся только через несколько дней. Вижу, сидят мои друзья, но некоторых нет. Новый командир сидит в середине. «В чем дело?» Молчание, и уже после сказали, что убит наш командир, что выбыли из строя некоторые друзья...».

«Германия. 27 февраля 1945 г.

...Сегодня кончился наш отдых во втором эшелоне фронта. Уже отдан приказ приготовиться к маршу. Идем в первый эшелон, снова на передовую. А эти дни отдыха прожили, можно сказать, замечательно. Расположились в господском доме. Большой, богатый дом. Дорогая мебель. Тепло, чисто, светло. А что еще солдату нужно после походной жизни?

Впервые за много дней, а может быть, и месяцев спали на кроватях с перинами. Недавно здесь жил помещик, теперь здесь «барствовала» солдатня — наши славяне. Я добрался до библиотеки. Досыта накопался в книгах.

Отпраздновал, как полагается, 23 число — год, как я на фронте. Только тех, кто был год назад со мной, уже нет со мной: иные в госпиталях, некоторые погибли. Кто знает, может быть, и мой черед?

Но пока жив и невредим. Тебе как будто писал уже, что стал связным в батальоне. Поддерживаю связь между командиром батальона и самой передовой. Труднее бывает ночью. Нужно очень хорошо ориентироваться, иначе попадешь не туда, куда надо. Ну вот и все новости моего житья-бытья.

Очень трудно рассказывать обо всем виденном, пережитом — ведь так много всего и все так разнообразно, поэтому трудно писать сразу большое письмо обо всем. Пиши лучше всего сама, что тебя интересует. А я уж тогда подробнее отвечу тебе.

Немок видел еще очень мало. Они прячутся по подвалам, на улицу высовывают носы только старики и дети, а большинство немцев удирают от нас, боясь нашей мести и кары.

Ну, пока. Юрка-брат. Где-то около Штетина. Белорусский фронт».

(Без указания даты)

«Привет вам, папа, мама, бабушка!

У нас сейчас хороший вечер — желтый, оранжевый закат. Только что прошел дождь, а сейчас свежо. Это был бы тихий вечер после дождя, нарядный, с пением птиц, но сегодня он не тихий. Все трясется и содрогается от орудийной пальбы. И земля, и лес. Гулко разносятся удары выстрелов, взрывов. Воют на разные голоса, проносясь где-то высоко, мины, снаряды и с гулом рвутся там, у немца. Только что ушли на свою базу после налета на немецкие тылы наши штурмовики.

Красивый вечер! На закате неба черные силуэты исковерканного, иссеченного леса. И красота мира с птичьим пением и лягушечьим хором, которое не утихает, несмотря даже на сильную канонаду, и эта чернота, хаос, где гуляет смерть, этот трупный запах, идущий из болот... Кто изобразил это? Когда? Никто и никогда не передаст этого, чтобы зритель так же остро это переживал. Это нужно самому видеть, ощущать, пережить. А красками сполна это не передашь.

Вам не передать моего чувства, которое я пережил, когда, выбравшись из болота и из леса, увидел вдруг поле колосившейся ржи и василек. «Елки-палки, черт возьми! Да ведь это же василек!»

...Юрий Владимирович Хмелев погиб в боях за освобождение Польши в марте 1945 года.

«Сообщаю, что рядовой РОЗИНОЕР Ефим Израильевич погиб 17 марта 1945 года и захоронен в братскую могилу пос. Корнево...

Багратионовский райвоенком майор Раткин».

Копию ответа на свой запрос о месте гибели и захоронения Ефима Израильевича Розиноера, а также письма, которые он посылал с фронта, передала в «Знамя» его родственница С. М. Рубинштейн, проживавшая в городе Лобия Московской области.

«15 IX—44 г.

Здравствуйте, дорогие и любимые дядя Иосиф, Сарра и все остальные!

Наконец-то после трехлетней разлуки могу с вами связаться. Письмо мое будет не радостным для вас всех: из всей нашей многочисленной семьи остался в живых я один. Отца мы потеряли 24 июня, 2-мя днями позже после объявления войны. Я, мама, Женя, бабушка, Ева, Люба, Фаня не смогли уйти, немцы догнали нас за Минском. Затем к нам в Минск прибежала из Сморгони Нехама с Витей (ее сын Леня уехал вместе с Гришей, а Рита, находившаяся в лагере Нарочь, эвакуировалась вместе с ним). Для нас настало очень тяжелое время. Дом сгорел, все имущество и вещи также были уничтожены. Мы нашли приют у брата Гриши Арона Савиковского. Вскоре Женю забрали в концентр. лагерь, находившийся в Дроздах. Несколько тысяч мужчин и он в том числе были расстреляны в начале июля. Но и всех остальных ожидала та же участь. Вскоре было образовано гетто, где началось методическое уничтожение евреев, находившихся в нем. 80 тысяч человек находилось в гетто после его образования. Несколько десятков человек остались в живых в Минске после 3 лет оккупации. Все остальные были самым зверским образом уничтожены до октября 1943 года. Несколько тысяч работоспособных мужчин, возможно, еще где-нибудь прозябают в лагерях. Сейчас же после образования гетто, начались убийства беззащитных женщин, детей, стариков. Грабежи, издевательства не покидали нас никогда. Всем пришлось идти на самую тяжелую работу. Выдавали нам по 200 г. хлеба в день и водянистый суп. 7 ноября 1941 г. произошла первая крупная резня. Один район гетто был в ночь на седьмое окружен большим числом пьяных гестаповцев, полицейских, полевой жандармерии и др. С утра всех начали выгонять на улицу, садить в машины и вывозить за город. Там их продержали пару дней в каких-то сараях, а затем партиями расстреливали или закапывали живьем в гигантских ямах. Всего тогда погибло около 20 тысяч человек, в том числе и много наших знакомых. Мы все не попали в этот район и еще продолжали дальше свое существование. 20 ноября последовал второй, так называемый, погром. Было снова уничтожено около 10 тысяч человек. Но мы все еще находились все вместе. 2 марта 1942 г. настала очередная крупная резня (я уже не говорю об убийствах, облавах на мужчин, откуда мне удавалось выходить невредимым и др.). Я и Нехама попали тогда уже в колонну, которая под большой охраной должна была отправляться к поезду. Тогда около 20 тыс. чел. вывезли на поезде, а потом расстреляли за Минском. Мне с Нехамой удалось тогда вырваться из колонны и спрятаться. Люба и Фаня прятались день и ночь на русском районе и тоже остались в живых. Всем остальным также удалось спрятаться в гетто. В конце июля 1943 г. произошла самая ужасная резня, продолжавшаяся 4-ро суток. Больную бабушку и Витю вывели из дома на двор и там расстреляли. Мама убежала буквально из-под носа гестаповца и спряталась в подземелье. Там она находилась 4-ро суток без воды и пищи, но все же выжила. Все мы остальные спрятались тогда на русском районе. Гетто существовало до октября 1943 г. В конце сентября все оставшиеся жители (к этому времени их осталось около 5-ти тысяч) были уничтожены или вывезены из Минска. Маму, Любу, Фаню, Нехаму и Еву вывезли. Как я узнал позже, все женщины были расстреляны за Минском. Из других источников мне сообщили, что часть женщин повезли в Люблин в концен. лагерь и в другие лагеря. Но все равно я нисколько не надеюсь, что они живы, так как они были вывезены первыми, которых наверняка расстреляли. Я до последнего времени, т. е. до июня 1944 г., находился в лагере, но, когда фронт приблизился, я бежал оттуда и скрывался в погорелищах. Мне выпало счастье одним из немногих остаться в живых. Если бы я вам рассказывал все то, что я пережил, что я перевидел за эти 2 года в гетто и год в лагере, то мне не хватило бы и 10 писем, чтобы рассказать вам об этом. Я был свидетелем самых ужаснейших преступлений немцев. Я видел, как немцы живьем сжигали людей, я видел, как целый детский дом, в котором находились дети до 5 лет, немцы передушили сапогами, я видел газовые машины-душегубки и чуть не попал в нее один раз. Много раз я был на волоске от смерти, но все же выкручивался и, наконец, дожил до того момента, когда я могу отомстить немцам за все мои мучения, за моих родных, которые так же, как я, любили жизнь и хотели дожить до лучших времен. Я никогда не забуду то, что я видел своими собственными глазами, я никогда не забуду десятки тысяч ни в чем не повинных женщин, детей, стариков, грудных младенцев, зверски, без всякого сожаления, замученных немцами только за то, что они евреи. С приходом Красной Армии в Минск я ушел добровольцем на фронт и уже участвовал во многих боях. Сейчас мы находимся перед фашистской берлогой. Мне теперь нисколько не страшна смерть, потому что знаю, за что отдам свою жизнь.

На этом кончаю. Привет всем родным и знакомым. С нетерпением жду ответа! Целую всех крепко! Ваш Фима».

«Привет с фронта! 12/XI—44г.

Мои дорогие. Могу сообщить вам, что я жив и здоров, чего и вам всем желаю. У меня все в порядке. Нахожусь у границ Восточной Пруссии. Стараюсь писать вам почаще, хотя от вас получаю письма редко.

На этом кончаю, потому что очень спешу, и к тому же карандаш сломался, а наточить нечем, пишу огрызком. Целую всех крепко! Привет всем.

Ваш Фима».

Литературная критика. Полемика

Тридцать с лишним лет выходит «День поэзии» в Москве. Возникший в 1956 году на волне общественного подъема, связанного с XX съездом партии, он привлек к себе восторженное внимание первых читателей. Ставшее поэтическим ежегодником, это издание знало в дальнейшем разные периоды — удач, полуудач, спадов.

Сейчас, когда в нашей литературе и литературной журналистике наблюдается ободряющий подъем, вызванный атмосферой перестройки, читатели в своих письмах в редакцию обращают внимание нашей критики на необходимость анализа уровня и тенденций последних выпусков «Дня поэзии».

Мы публикуем пришедшее в редакцию письмо читателя из Обнинска Н. С. Работнова и полемические заметки критика Аллы Марченко.

«...И остросовременно, и певуче...»

Я давний читатель московского ежегодника «День поэзии». Стараюсь его регулярно покупать. Обычно беру, не листая у прилавка. Как же — сливки столичной поэзии. Большинство редколлегии — известные поэты, она ежегодно обновляется.

Не всегда мои предвкушения оправдывались в полной мере. «Дни» бывали и праздниками, и буднями. Но разочарование и даже огорчение, вызванные сборником за 1987 год, оказались неожиданно острыми. И не потому только, что, вспоминая журнальный «пир души» прошлого года, надеялся, признаться, на что-то особенное. Но главное — нынешний «День поэзии», по-моему, оказался худшим за более чем тридцатилетнюю историю этого издания. Такое утверждение необходимо обосновать.

Начну с имен, которых в сборнике нет: Ахмадулина, Вознесенский, О. Дмитриев, Евтушенко, Исаев, Казакова, Межиров, Окуджава, Рождественский, Самойлов, Чухонцев. Нет покойного Высоцкого, к пятидесятилетию которого книга появилась на прилавках. Кто-то выбрал бы не такую дюжину блистающих отсутствием. Выбирать есть из кого. Я не поленился подсчитать: из трехсот пятидесяти с лишним авторов предыдущего сборника в нынешнем представлены менее трети, и общее количество участников сократилось более чем в полтора раза. «Кадровые» потери — количественные и качественные — оказались столь велики, что дают основание поставить под сомнение право сборника на традиционную, так сказать, торговую марку. То ли это издание?

Правда, оставшимся стало просторнее. А. Балин, например, напечатал подборку из двенадцати стихотворений, больше, чем двести строк. По-моему, до сих пор такого удостоились только А. Твардовский в первой посмертной и Б. Пастернак в юбилейной, к девяностолетию со дня рождения, публикациях.

Это, конечно, всего лишь арифметика. Обратимся теперь к поэзии. На второй странице обложки — фото Маяковского и слова: «— Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет!» Задумаемся — мы ведь и есть то — будущее для Маяковского — Отечество, которое он славил трижды. И вот в столице Отечества в главном поэтическом альманахе один поэт (Ю. Поляков) так пишет про другого, старшего товарища по цеху, в стихотворении «Наставник»:

> Обветшалой эстрады король,
> За ненужностью свергнутый с трона...
> Тощий, самовлюбленный осел!..

А С. Викулов написал басню «Случай», в которой фигурирует уже не осел, а свинья — хрячок, который

> Как все, из грязи
> диями не вылазил.
> И в небо — даже лежа! — не глядел.
> Лишь малость на отличку
> хрюкал разве.

Этот хрячок

> ...верит, что «Хрю-хрю» его
> вполне
> и остросовременно,
> и певуче...

«Певуче» — эзопов язык автора достаточно прозрачен, с «поросячьим стадом» он также несомненно сравнивает своих коллег.

А вот другой поэт (С. Золотцев) о другом непонятном и неприемлемом для него явлении культуры:

> Очей славянских синь эстрадный смрад забил —
> Гнусавый микрофон лахудры низколобой.

Позволю себе напомнить некоторым из поэтов, входящих в редколлегию «Дня поэзии-87», их собственные, высказанные в стихах и прозе морально-эстетические принципы:

> Нам жить в одной семье,
> Нам петь в одном кругу,
> Идти в одном строю,
> Лететь в одном полете...

(Н. Старшинов. «Я с тобой говорю»).

«Мы забываем об острой эстетической функции поэзии: не только т. н. информация и даже не смысл, но то охватывающее человека ощущение красоты, гармонического ошеломляющего соотношения всех частей произведения». (Е. Винокуров, «День поэзии-80».)

Добро, красота, гармония... В одном строю, в одном полете... Как это вяжется с «ослом», «хрячком» и «гнусавой низколобой лахудрой»?

А знаете, с чем рифмуются приведенные выше строки С. Золотцева про лахудру? Вот вторая половина четверостишия:

> ...Звезда моя полынь. Цветущий чернобыл.
> Земля моя полынь. Беда моя — Чернобыль.

Неожиданно, правда?

В сборнике четыре стихотворения прямо посвящены Чернобылю, и еще в нескольких звучат навеянные этой трагедией мотивы. Полностью разделяю тревогу, боль и гнев авторов. Нельзя считать пережимом и апокалипсические ноты — масштаб угрозы их оправдывает. Но обличать, привязывая к этой катастрофе не нравящуюся тебе эстрадную музыку? Где имение, а где речка...

Тематически в сборнике все в порядке. И культ личности, и замысел повернуть северные реки, и многое другое обличаются там совершенно справедливо. Но ведь это стихи. Важно — как написаны.

Вот, например, «Родные сердцу имена» А. Маркова. Я двумя руками за возвращение исторических названий московским улицам, и не только им. За это же ратует и А. Марков:

> ...Был ряд Охотный. Он — не торгом
> Пленял, а щедростью Руси,
> Убоиной, кормившей город...

«Пленял... убоиной» — трудно подобрать более противоречащие друг другу сказуемое и дополнение. И дальше:

Моча кому-то в мозг ударит,
И — с прошлым оборвется нить!

Не то чтобы я в принципе против таких резкостей. Но эта «моча» приводит в разрушительное для замысла стилевое столкновение с оборотами, использованными выше:

...Встает развернутая книга
Страданий и борьбы Руси...
...Согретые единой верой
В Сибирь кандальники бредут...
...По всей России в лихолетье
Их зов к сплочению летел!

Зоркость литературного редактирования сборника в целом не на высоте. Вот примеры обмолвок и недосмотров, на которые бы полагалось обратить внимание:

Я ощутил: невидимая нить
Меня с чужой утратою связала.
И медлил я. И думалось уже:
Своих утрат всегда бывает мало
И памяти, и сердцу, и душе.

(С. Агальцов)

Ведь получается буквально следующее: своих утрат мало, подавай чужие.

В своей округлости роскошной
Беззвучно движется луна,
Мне потому и невозможно
Уснуть, покуда ночь нежна.

(В. Андреев)

Четверостишие держится на «ночь нежна» — но ведь это название очень известного романа Фицджеральда, он так и в русском переводе называется.

...Не случайно изрек Цицерон,
хоть и не был мыслителем он,
что историю пишут поэты.

Кого же считает мыслителями Ю. Панкратов? Девятнадцать дошедших до нас трактатов Цицерона по риторике, философии и политике люди читают больше двух тысяч лет, не говорю уже о его знаменитых речах. Само-то «историю пишут поэты» — очень неслабая и справедливо лестная для поэтов мысль. Ниже Ю. Панкратов еще называет Цицерона не «историком». Этим, наверное, можно было и ограничиться.

Во вступительном слове к стихам покойного И. Кобзева А. Марков пишет: «Когда касается женщины, любви, Кобзев особенно осторожен и по-мальчишески застенчив:

Принесла мне солнце и весну,
Поклялась быть ласковой и верной...
Как ее, такую, обману?
А ведь обману ее, наверно...»

При всем уважении к памяти недавно ушедшего поэта образцом «особенной осторожности и мальчишеской застенчивости» это четверостишие никак нельзя считать.

Одной из популярных у авторов сборника мишеней является, увы, наука. Ей адресуется и праведный гнев:

Но хватит чудес — порождений ученого блуда, (!)
Чудес навороченных хватит с лихвой на века..

(М. Акчурин)

И жалоба:

Когда последнего поэта век технократии убьет...

(В. Рахманов)

И ирония:

Физик лирику воровскую
У экрана дисплея поет.

(А. Медведев)

Кстати, что-то в «век технократии» я не замечаю тенденции не то что к сокращению, но даже к замедлению роста числа поэтов. И слава богу, конечно...

Обличениями содержание сборника не исчерпывается. Есть и бодрое жизнеутверждение, и ностальгическая грусть.

Множество прочел я в последние годы стихотворений, в которых авторы обоего пола горько и красноречиво раскаиваются в том, что не сумели, не успели — хотя мечтали об этом десятилетиями — выбраться в дорогую сердцу родную деревню к горячо любимой матери, пока деревня была цела, а мать жива. Давайте больше не будем писать и печатать таких стихов. Читать их неприятно. Они есть в сборнике. Называть не буду, потому что верю искренности горя и запоздалого раскаяния авторов.

Вообще стихов о родном крае в сборнике много, может быть, большинство, но трудно хоть что-нибудь выделить, запомнить. Да, в лесу и на лугу, в поле и на речке хорошо. Да, воспоминания о детстве дороги всем. Но если об этом страниц пятьдесят в рифму почти подряд и почти одинаково? «Есть деревенька под Тамбовом...», «Живут деревни — Мир и Благодать — по берегам негромкой речки»..., «А всего-то — горбинка земли да стожок с теплым запахом лета». Детали примелькались. Да и не всегда точны. У А. Поперечного:

На сеновале сено пахнет медом,
Вчерашним ливнем, мокрым огородом...

Леживал и я на сене. Плох тот сеновал, где пахнет сыростью.

Много в сборнике стихов об истории, старине. Вот у Л. Смирнова («Русские таинства»): «Кружева из гранита, узоры мудреные...» Так ли уж характерны для русского народного зодчества — а речь о нем — кружева из гранита?

Приносили они — эти чибисы, горлицы,
Эти певчие птицы небесные...

Приходилось ли Л. Смирнову слышать крик чибиса? Мне приходилось. Не певчая это птица. Как, впрочем, и голубь (горлинка). Да и основная мысль стихотворения — что древние мастера, зодчие и строители, вдохновлялись главным образом птичьим пением, и что «узорочья наивно-чудесные», «завитки, закрутасы» для крылец, дверей, окон, горниц, стрехи, конька, кокошника и закомар — воплощенье щебетанья и воркованья, не кажется убедительной ни поэтически, ни исторически.

Весь сборник «День поэзии-87» служит иллюстрацией того, насколько сильно пошатнулось у нас почтение к сложности этой задачи: написать хорошее стихотворение о Родине. Это слово и его синонимы — Россия, Русь, Отечество, край родной — самые употребительные в сборнике, в среднем через страницу, не реже.

У Раисы Романовой на восьмидесяти строчках: «Над Родиной рдяное солнце горит», «Лишь то, что корни пустит глубоко, что влагу достает из недр Отчизны», «Родина наша! Земля наша! Дом наш! Кладбище!», «Родина милая!», «Милая Родина!», «Славная Родина!». А стихи предельно высокопарные, стандартно-слащавые. И не только у Р. Романовой. Высокие слова не должны служить паролем, штампом на пропуске: — в печать!

А теперь об оптимизме и жизнеутверждении. Есть ли спасение если не от «ученого блуда», так хотя бы от «смрада эстрады» и «радуги пустот» — «в руинах Третьяковки»(тоже из С. Золотцева)? Есть, оказывается. Прочтем стихи Ю. Лощица «Племя веселых старух» (Быль) и В. Машковцева «Дурила».

В Доме ученых разносится слух —
хоть канделябры туши!
Найдено племя веселых старух
под Весьегонском, в глуши.

Старух нашли и доставили целый автобус.

Знатный народ — полуслеп, полуглух,
но на погляд — веселы...
А как почали водить хоровод
под «ой ли, ладо!» припев,
повеселел и ученый народ,
плешками порозовев.

Аншлаг! Милиция сдерживает желающих. «Райкин умолк. И Хазанов прокис». Надо же! Хазанов не производит впечатления легко прокисающего человека. Но против полуслепых, полуглухих весьегонских старух не сдюжил. Что было, то было. Жанр ведь обозначен — «Быль». Корреспондент Би-би-си появился. Старух увезли от греха подальше. Вот это эстрада!

А вот и изобразительное искусство:

У деда Кирилла
хатенка корява,
плетень покосился
и крыша дырява.

Начальство дало бревен и тесу. Застучал топор деда. Истратил он материал, но не на избу.

Явилось начальство
и глянуло хмуро:
в имении деда
стояла скульптура.
Дурак деревянный
с огромной дубиной...
Что это?.. — Энто Дурила!

Махнули рукой. Но заговорила центральная пресса, и вот...

Туристы из Англии,
Австрии, Польши,
Гостей именитых
все больше и больше.

Американец
однажды Кириллу
три миллиона
давал за Дурилу.

Глагол стоит в несовершенной форме, но следующее, заключительное, четверостишие заставляет предположить, что сделка состоялась:

И деду в награду
своим чередом
люди поставили
рубленый дом.

Ну хоть не написано, что быль, как у Ю. Лощица.

Стихотворений и небольших поэм в сборнике, наверное, под тысячу. Ваншенкин, Винокуров, Жигулин, Ю. Кузнецов, В. Куприянов... Что ни говори, запомнилось не так уж мало хорошего. Но не по тому, далеко не по тому счету, который читатель вправе предъявлять к московскому «Дню поэзии». Вспомним опять Маяковского — больше поэтов, хороших и разных! А на этот раз получилось так: не больше, а меньше, и не только хороших, и, по возможности, одинаковых.

Н. С. Работнов,
доктор физико-математических наук

г. Обнинск

Алла Марченко

СИНДРОМ: ЕДИНОГРЕЗИЕ

И «День поэзии-86», и «День...» следующий (1987) я прочитала дважды. Сначала для себя: то с конца, то с середины, перепрыгивая через то, что не приглянулось (не тронуло) по первой же строфе, а то и строчке. Потом, через некоторое время, профессионально-педантично: подряд и медленно.

Впечатления оказались на удивление разными!

Выборочное чтение обнадеживало: не так, мол, мало и у нас вполне хороших поэтов! И дело-де в том, что, суетясь и толкаясь вокруг одних и тех же «модных» фигур (от О. Чухонцева до Т. Глушковой), мы попросту не прочли внимательно и Германа Валикова, и Александра Балина, и Светлану Кузнецову, и Тимура Зульфикарова... А Николай Тряпкин? Как был в затенении, так и остался. В тени Рубцова прозябал, теперь вот тень другого Николая — Клюева пододвинулась и застит...

Похоже, что и с Юрием Кузнецовым критика разминулась. Пока рядили-спорили, имеет ли сей то ли Демон, то ли «пигмей зла» право на эстетизацию жестокости, Кузнецов взял да написал пронзительно-еретическую «Простоту милосердия» (ДП-87). Пока выясняли, что он там, во тьме мифологических фантазий, затаил, поэт вдруг вынырнул из полумистической хмары к открытой, почти «голой» социальности:

Была погодушка недоброю,
Ты наломал немало дров,
И намахался ты оглоблею
Посереди родимых дворов.

Уж нет дворов — одни растения,
Как будто ты в краю чужом
Живешь, и мерзость запустения
Разит невидимым козлом.

Куда ты дел мотор, орясина?
Аль снес за четверть первача?
И все поешь про Стеньку Разина
И про Емельку Пугача.

А «Сказка о Золотой Звезде»? Не с лучезарным Пушкиным — с угрюмым Щедриным аукается здесь Ю. Кузнецов!.. Пойманная на крючок владычица речная просит рыболова в генеральских регалиях отпустить ее, обещая в обмен на свободу исполнение желаний. Но нынешнему генералу, не в пример прежней старухе, и желать-то нечего!

— Чего желать, когда я все имею:
И армию, и волю, и идею,
Звезду Героя, голос депутата,
Том мемуаров, ореол и злато...

Однако все эти положительные эмоции возникли, повторяю, при беглом смотре «Дней...». И мысли, и чувства, рожденные вторым, медленно-пристальным чтением, были куда менее оптимистичными.

Конечно, судить о состоянии поэзии в целом по той продукции, что предлагают рецензируемые сборники, вроде бы и нельзя. Уж слишком многие уважаемые авторы либо проигнорировали и «День...» первый, и «День...» второй, либо пожертвовали на общественные нужды «товар» поплоше. И это понятно: канули-минули те времена, когда в ежегодное Поэтическое Собрание являлись стопроцентно, при параде, воистину как на Праздник и несли в его кружку-копилку лучшее из сработанного за год. Это во-первых. Во-вторых. Хотя «День поэзии» и задумывался как День Открытых Дверей и долгие годы этот статус выдерживал, вирус «групповщины» проник и сюда. Выборные учредители, на первых порах смущаясь, а затем и открыто, не таясь, стали создавать режим наибольшего благоприятствования для игроков «своей команды». В-третьих. Какая бы из соперничающих сторон в свой черед ни захватывала игровое поле, организаторы игры, прекрасно освоившие приемы борьбы с чужаками известными, оказались совершенно беспомощными перед мощным натиском безымянной массы стихослагателей. И в самом деле: захлопнуть входную дверь перед самым носом искателя с именем хоть и хлопотно, и рискованно, зато престижно. А как скажешь «нет!» выдвиженцу какого-нибудь литобъединения, не годами — десятилетиями, не мытьем, так катаньем пробивающемуся в «члены союза»? Ведь для него, бедолаги, униженного и оскорбленного безвестностью, несколько строк в «Дне поэзии» не очередная публикация, а вид на жительство! К тому же смиренный проситель вовсе не так смирен, как кажется. Погладишь против шерстки, и — ощетинится, перейдет в наступление и засыплет вас прецедентами, доказывающими, что его стихи ничуть не хуже тех, что печатались и продолжают печататься! Он-то докажет, а вы попробуйте?! Попробуйте объяснить, что предъявленное сочинение стихами не является! Уж как пытал А. Лаврин Арсения Тарковского (я имею в виду диалог о поэзии, напечатанный в шестом номере «Литературного обозрения» за 1987 год), желая получить четко-вразумительный рабочий ответ на старый, как мир, вопрос: как отличить стихотворца от поэта. И ничего, кроме расплывчато-туманных ссылок на судьбу, которая-де и превращает предпоэта в Поэта, не добился.

Про гениального американского селекционера Бербанка рассказывают: он просто шел вдоль разложенных саженцев и на ходу, по одному лишь внешнему виду, выбирал, отмечая цветной ленточкой, перспективные. И, как утверждает легенда, никогда не ошибался. А вот объяснить, почему остановил свой выбор именно на этом, а не на вон том экземпляре, не мог: интуиция, чутье, и все тут. Теперь-то, в век генной инженерии, там, в биологии, все специалисты — бербанки, а у нас, в литературе, и по сей день приходится, увы, полагаться на «чутье»; не станешь же ради одного настырного полуграфомана запускать в ход и слишком тонкий, и чересчур громоздкий механизм литературоведческого анализа.

И вот результат: почти безымянная посредственность, обойдя все препоны, вольготно разместилась на широкоформатных страницах «Дней...», растворив в безликом своем множестве неординарное меньшинство.

Разумеется, казус сей лишь активностью литобъединений да слабодушием редколлегий поэтических ежегодников не объяснишь. Прочтите опубликованные в последнем (Пушкинском!) «Дне...» стихи молодых. Даже представляющий их Н. Старшинов не может сказать о своих подопечных что-нибудь запоминающееся: у Нины Швецовой «стихи навеяны жизнью города», а у В. Краснослободцева рождены «среднерусскими пейзажами».

Да и что скажешь, если идущие на смену рабски копируют своих покровителей? Что вверху, то внизу! А разве не приятно видеть свое отражение? Тем более, что отражение, как и любая копия, заведомо уступает и в яркости, и в четкости оригиналу! И приятно, и безопасно! Ни возмездия тебе, ни соревновательности, ни конкуренции! Царствуй и дальше, лежа на боку. А скучно станет от «вековечности таланта», можешь и поразвлечься, востребовать у ласковой фортуны новую потешку:

Дайте покосившуюся хату!
Дайте мне разбитое корыто!
(Л. Щипахина).

Не всерьез, конечно, кто же в наше-то практическое время отказывается от «золотых цацек»?

Но тут, в «Дне-87», молодым отвели хотя бы угол, отдельный и даже уютный. Распорядители предыдущего Собрания вообще рассовали своих молодых гостей по разным закутам, выбрав у каждого по одному-единственному стихотворению, да так «удачно», что не только О. Хлебников, но и В. Салимон, и М. Поздняев практически затерялись среди прочих неизвестных лиц! А между тем «День поэзии» — издание, с одной стороны, демократическое, а с другой — специальное, ибо адресовано не вообще читателю, а «читателю стиха», вполне мог позволить себе то, на что никак не решатся ни толстые, ни тонкие ежемесячники: в порядке «дружеской помощи», не дожидаясь, пока будут созданы и новые издательские серии, и новые молодежные журналы, решительно потеснить известных авторов, а освободившиеся «позиции» предоставить начинающим, чтобы приблизительно уравнять «стартовые» возможности. Ну, хотя бы самых многотиражных подвинуться попросить... А то что́ получается? Говорят (в отчете с VI Московского совещания молодых литераторов), что «поднимается прекрасная литература, ее надо печатать, но печатать негде».

Похоже, и организаторы «Дней» согласны: с молодыми неблагополучно и нужно срочно принимать меры. Иначе зачем перепечатывать тридцать лет спустя выдержку из вступления к первому «Дню...»? «Наша поэзия всегда противопоставляла себя и эгоистическому самовоспеванию, и казенному одосочинительству. Ее эстафета принесена к нам издалека... И она всегда будет подхватываться молодыми и смелыми руками».

Однако перепечатали, и даже, кажется, не замечают, что и эта, и другие подобные цитаты — из Н. Асеева, С. Маршака, А. Яшина свидетельствуют не в пользу нынешних литдеятелей, ибо четко фиксируют угол отклонения от намеченного в 1956-м курса, и не только по отношению к «молодым» и «смелым».

Александр Яшин писал в «Дне поэзии-56»:

«Поэзия вне времени не существует. И почва у поэзии и у жизни одна, и одним плугом она пашется. Появятся огрехи в пахоте на ниве народной, начнет разрушаться структурность ее почвы — это немедленно отзывается и в литературе... Началось обновление поэзии. Одним из примеров этого, нам думается, может служить настоящий сборник московских поэтов «День поэзии». Вероятно, мы будем по-новому писать. По-новому зазвучит и наша гражданская поэзия, гражданская лирика...»

Общественная ситуация, как видим, повторилась, и обновление поэзии (сужу по подборкам в журналах) началось. Однако и первый вышедший в условиях гласности «День...», и «День...» второй на это обновление не отреагировали. Даже те немногие образцы по-новому звучащей гражданской лирики (поэма А. Балина «Отметины», его же стихи о войне, процитированные стихотворения Ю. Кузнецова, плач О. Чухонцева по погубленным Каме-реке и Белой-реке, словом, все те произведения, где речь шла об «огрехах в пахоте на ниве народной», о разрушении «структурности ее почвы»), стыдливо засунуты в глубь сборников. Даже замечательный цикл гражданской лирики самого А. Яшина, написанный в 1956—1964 годах, да так и не увидевший в ту пору света, и тот отнесен в буквальном смысле на «я» (ДП-1987), хотя вообще-то составители вроде бы отказались от безлично-алфавитного принципа организации материала.

От этого привычного отказались, другого, увы, не изобрели; вот и свалили все в кучу, без мысли, плана и порядка. В итоге В. Ходасевич в «Гостиной-86» оказался через два кресла с Ар. Каныкиным, а над силуэтами Маяковского и Вас. Каменского (работы Е. Кругликовой) нависла А. Баева. Понимаю, сделано это без всякого умысла, по небрежности и равнодушию. Но читатель-то об этом не догадывается и посему недоумевает, ибо «стихи-молитвы» А. Баевой (не иронизирую — цитирую: «...слез не отирая, бормочу стихи или молитвы»), беспомощные технически, но претенциозные, бедные смыслом, однако самоуверенные, и есть то самое чириканье, какому Маяковский решительно отказывал в праве называться поэзией:

Березовая роща, ты — гитара,
трехструночка, тальянка
и рожок.
В тебе скипелась музыка
недаром
и отстоялась за ненастный
срок.

Впрочем, следы некоторого организационного усилия все-таки чувствуются. Оба сборника открывают одообразные творения (в «эпоху застоя» в издательской практике их именовали «паровозом»; считалось, что зарифмованные передовицы способны спасти, вывезти, довезти до печати недостаточно идейную рукопись).

Справедливости ради надо отметить: охотников собирать паровозики из деталей доперестроечного поэзо-конструктора становится все меньше и меньше. А. Преловскому (редактор «Дня-86») со товарищи удалось все-таки заполучить на открытие «Дня» авторов «с именем» — Р. Рождественского, Е. Исаева.

Но уже Вал. Сорокин, редактор «Дня-87», оказался в положении щекотливом: за неимением солидных желающих вынужден был пропустить вперед, в «президиумные» ряды, не имена, а темы, то есть тех, кто еще способен, не стесняясь и не краснея, отбубнить несколько «паровозных» строф типа:

Мы, счастливые, отгадали
Неотгаданный зов России!
(Л. Ворожцов)
О Родина, ты для высоких
слов или молчания...
Но более всего —
ты для труда,
дежурного, безвестного,
досыта...
(Ю. Матасов)
Нес Ленин в день субботника
бревно...
(И. Ржавский)

С постов бежали господа
министры!
(Б. Голубев)

Но, может быть, уступив авансцену в «Дне-87» тем, кто не умеет ни мыслить, ни писать по-новому, учредители праздников поэзии — Юбилейного-86 и Пушкинского-87, остальной, так сказать, сценической площадью распорядились с учетом и требований нового времени, и его новых возможностей?

Увы, за редкими исключениями, и здесь без перемен.

Но нет худа без добра. Именно «Дни...» обнаружили, предали гласности то, что не разглядишь, не имея в руках пусть неполного, с изъятиями, но свода: провести четкую границу между поэтом и стихотворцем сегодня весьма затруднительно. Порою и вообще невозможно, ибо в полуграфоманских творениях, как в утрирующем, контрастном зеркале, отразились типичные недостатки профессиональной поэзии. И прежде всего резкое снижение культуры стиха.

Попробуйте на досуге поломать голову над такой вот литературной викториной — отгадать, какие из процитированных мной фрагментов принадлежат маститым авторам, а какие «вечным рядовым»?

Матрос, сражаясь на линкоре,
долг службы выполнил сполна.
Его могила в синем море
Бессмертна сверху и до дна.

В ожидании чуда явленья,
А какого? — не знаю, — живу,
Не живу, а стою на коленях,
Хоть повсюду героем слыву.

Растерянный, пытал судьбу
забыться.
Но луч пути вдруг выгнулся
в горбыль.
Увидел: даль мерцает
и клубится.
Решил: настиг невиданную
птицу!
Но то был трактор —
проржавевший в пыль.

Имен авторов не называю специально, ибо суть не в именах, а в тенденции. Да, талант от бога, но вкус, культура, профессионализм, то есть не просто «к стихам охота» (Е. Шевелева), а охота к преодолению *напастей ремесла* — качества наживные. Но именно этой охоты, этой воли к совершенствованию становится все меньше и меньше. И чем меньше дела, то есть реальных усилий, тем больше слов-манифестов, а главное, безудержного самовосхваления. Причем «самохвалы», похоже, и не подозревают, что рекламируют самих себя, полагая, видимо, что *так принято*, что это единственно приличный случаю способ живописного «соображения», а следовательно, и профессионального самоутверждения:

Освобождая от великой боли,
Пришли герои — «быть или
не быть!».
Мне вместе с ними мыслить
и любить.

Всеведуще живу я. Всекасаемо.
. . . .
Все, что красиво, сделаю я
краше.
Все, что пылает у меня
в крови,
полетом станет, хлебом или
повестью.
Я как хозяин проявляюсь
полностью
В своих рачительности и любви.

Среди славословий в собственный адрес можно встретить и такое:

Нам ведомо наверняка
Все — от всевышних дум
парения
До прозябания цветка.

(Узнаете первоисточник? «...И дольней лозы прозябанье»? А так же: «Нам внятно все...»?)

Словом, несмотря на угрозы хозрасчета, на явные признаки того, что и «торговцы» и «почтенные издатели» «интерес утратили» к подобной поэзии, ее производители уверены в себе, ибо убеждены: «Без нас Вас ждет опустошение И оскудение души».

Как ни грустно наблюдать головокружение от мнимого величия и несуществующего успеха, еще более печальным показалось мне продемонстрированное «Днями...» *единогрезие*, если воспользоваться словцом Леонида Мартынова из стихотворения «Бог поэзии». На вопрос невидимого собеседника: «А кто же общий бог поэзии», поэт отвечает:

— Да,
Не было
Ни там, ни здесь его,
Ненужного и невозможного,
Как некий догмат непреложного
Единого единогрезия,
Над коим лишь смеется весело
Неосторожная, тревожная
Она, безбожная поэзия!

«Бог поэзии» опубликован все в том же Пушкинском «Дне...», и я, право, так и не поняла, почему редакционная «команда» Валентина Сорокина выбрала из мартыновского архива именно эти, а не другие стихи?

Неужели в порядке самокритики? Вряд ли. Скорее по неспособности к «соображению понятий», далековатых от сиюминутных забот и выгод...

А единогрезие прямо-таки удручающее!

Пройдите не спеша в хороший солнечный день по старому Арбату. Приглядитесь к картинкам, какие предлагает самодеятельный, вольный живописный рынок.

Варьируется всего несколько сюжетов: среднерусский пейзаж, упрощенный донельзя: березка, холмик, клок небес, иногда с легким космическим уклоном. Церковь. Церквушка. Храм. Букетики в вазах. Натюрморт с самоваром, с рябиной. Плывешь, плывешь по этой реке, а береговой ландшафт не меняется: березки, рябина, самовар, церковь. И опять, и снова: самовар, березонька, церковь...

Практически тот же самый набор предлагают нам и «Дни поэзии», причем и здесь *лидирует*, повторяясь чаще других, наипростейшая комбинация: дремлет посреди России поле (пашня, нива); лес щебечет окрест, а над полем и лесом — облака (молодые, голубые и т. д.).

Похоже, что, сортируя по мере поступления стихи, редакторы «Дней...», особенно последнего, словно бы ориентируясь на кубики с картинками, попросту клали рядком те, в коих обнаруживались сходные детали — одинаковые слова и выражения, то бишь прямые признаки единогрезия.

Так, у Б. Романова читаем:

В ручье, спешащем издали
в зеленый мрак оврага,
по краю спекшейся земли
еще мерцает влага.

И тут же, на той же странице, у Г. Беловой: «*Скользит* с небес ниспосланная *влага*». Г. Белова же сообщает, что летит под небеса: «Лечу под облака и не страшусь...» Через страницу ей вторит Н. Пепелышева: «Когда придется в облаках парить...»

Соблазнительно, конечно, утешить себя тем, что эта разновидность литературного «древа» — то ли нейлоновая елка к Рождеству, то ли пластмассовая березка к Троице — не имеет корней. Увы, имеет. Но вот что пишет М. Числов, единственный из профессиональных критиков, допущенный в Храм поэзии: «Поэты и всегда, и сейчас бывают разные... Но проходит время, и остаются немногие — те... которые обладали ощущением цельности бытия. И партийность, народность, полнота, естественность, простодушие, о чем всегда думаешь, когда заходит речь о настоящем искусстве, — следствие и слагаемое этого нерасчлененного восприятия жизни. Восприятия, свойственного прежде всего, как мне кажется, стиху, основанному на растворении личности в коллективе, индивидуального сознания в коллективном сознании».

Вот видите, как удобно! Растворись в коллективе, забудь, что когда-то, во время оно, поэту, дабы не слыть, а быть, полагалось «лица необщее выраженье», — и тебе обеспечены и тираж, и дружеское расположение уже растворившихся коллег, и даже будущее!

И все это пишется, пропагандируется, вбивается в умы и сердца — сегодня? Когда мы наконец-то сообразили, что корни и корни всех наших зол — «унификация умов»? Формулировка, кстати, принадлежит поэту — Иманту Зиедонису. Вот как комментирует ее, опираясь на тексты представленных на соискание Ленинской премии публицистических книг Зиедониса («Курземите» и «Все-таки»), профессиональный экономист Г. Лисичкин: «Спрашивается: а что в ней плохого, в унификации-то? Разве причиной многих раздоров, ссор, конфликтов... является не различие во взглядах отдельных людей, целых социальных групп на одни и те же вещи? На этот вопрос И. Зиедонис отвечает категорически «нет». Он показывает степень опасности — моральной и экономической, — которая таится в унификации общественного мышления, и, наоборот, огромный созидательный заряд такого положения вещей, когда различные мнения не механически соединяются в одно общественное...».

Андрей Турков, отвечавший в 12-м номере «Юности» участникам дискуссии о проблемах современной культуры («Молодая гвардия», № 9, 1987), очень точно отметил главную черту социального поведения этой «купницы»: все двадцать два члена ее продемонстрировали стопроцентное согласие по всем вопросам. Ничего поразительного, к сожалению, в сем поразительном согласии нет: синдром единогрезия предполагает ведь не только растворение личности в коллективе, индивидуального сознания — в сознании коллективном, но и совместное владение — одной на всех — истиной! Увы, любая нашенская совместность, будь то «большой свет» или «крестьянский мир», общее профсоюзное собрание или неформальное объединение, единогрезием держится!

Растворившиеся совместники готовы подписаться под любой программой, принять любые условия игры на веру, «как некий догмат непреложного», лишь бы не оказаться «белой вороной», лишь бы защититься совместностью, общностью от неуверенности в себе, от страха перед необеспеченной будущностью: а что если оттиснут от «ржаного вымени» (нарочно употребляю старый «ржаной» эвфемизм вместо нынешнего сдобно-крупитчатого — «пирог», ибо слишком хорошо знаю: для большинства «рядовых» писателей, особенно поэтов, проблема хлеба насущного — одна из самых болезненных).

С инакомыслием противной стороны мы еще как-то миримся, поскольку оно позволяет и самоопределиться, и самоутвердиться нашему единомыслию. Но что делать с разномыслием? Этого, похоже, не знают ни те, ни эти! Увы, не привыкли российские литераторы существовать поодиночке. Цитировать любим: «писательство — очень одинокое дело»; «ты — царь, живи один»... А на деле, как только обнаружим в своей среде *отдельного*, беспокойство ощущать начинаем. «В. Маканин как писатель не только сам по себе, но он как бы на отшибе... Сразу же скажу, что это устойчивое проти-

востояние, это принципиальное нежелание слиться... да что слиться — войти хотя бы в контакт... лично мне это состояние духа чуждо»,— сокрушается Руслан Киреев.

Казалось бы: какое дело Руслану Кирееву до живущего на отшибе Владимира Маканина? Не хочет сливаться? Ну и пусть себе не сливается! Но ведь не может слившийся Киреев успокоиться. Как же это так? Мы все вместе, за руки взялись, а он сам по себе?.. А В. Кожинов? В. Кожинов, как известно,— последовательный искоренитель рапповских рецидивов, доставшихся нам по наследству от тех времен, когда поэты скопом скандировали: «Другая радость в Мире есть: родиться и забыть себя и имя. И в стадо человеческое влезть, чтобы сосать одно ржаное вымя» (П. Орешин). Следовательно, должен вроде бы с повышенной остротой реагировать на усреднение, то бишь унификацию поэтической индивидуальности. А между тем он-то ее и рекламирует! Прочтите в «ЛГ» (2.3.1988) его заметки об опубликованных в «Огоньке» подборках В. Лапшина, Е. Курдакова, В. Попова. За что же хвалит критик эти средне-хорошие стихи? А за то, что они «выражают творческую программу, способную... объединить... всех подлинных поэтов». Вдумайтесь — всех! Да неужто мы и в самом деле так оскудели разумом, что не способны сделать элементарные выводы из уроков отечественной истории, даже из самых трагических?

Но, может быть, в отмеченных В. Кожиновым стихах перечисляются общекультурные, общегуманистические ценности? Да нет же, нет! Все тот же «арбатский группминимум» — среднерусский пейзаж, в двух вариантах: а) реалистический, б) со сдвигом в «возвышенную точность Зодиака» плюс «живописная группа на фоне разрушенной церкви». И не просто предлагается (не любо — не бери) — с нажимом противопоставляется «увлекательной крамоле», которая, к огорчению В. Кожинова, пользуется, оказывается, спросом у читателей. Ничего не поделаешь — пользуется. И у читателей, и у поэтов. А как же иначе? В годину горя и неловко, и неприлично, да попросту и стыдно воспевать красу долин, даже если это «среднерусские пейзажи»!

Да взгляните окрест! Даже Николай Тряпкин ослушался ученого наставника всех подлинных поэтов и написал, и напечатал в «Дне-86» «увлекательную крамолу»:

Ворует врач у порошков,
Ворует сварщик у паялки,
И даже — тренер у прыжков,
И даже — мусорщик у свалки.

Воруют грунт из-под двора,
Воруют дно из-под кадушки.
Воруют совесть у Петра,
Воруют душу у Марфушки...

Кого просить? Кому кричать?
И перед кем стоять в ответе?
И что мы будем воровать,
Когда растащим все на свете?

Даже самых камерных наших поэтесс, самых «субъективных», и тех в самый водоворот грубой жизни затягивает! Чтобы не быть голословной, процитирую два таких «крамольных» произведения — жестокую балладу (она же чистой воды публицистика) Светланы Кузнецовой — о наших мальчиках и жестокий романс Л. Григорьевой (тоже почти фельетон, в духе нового «Крокодила») — о девочках.

Светлана Кузнецова, «Васильки», из цикла «Русский венок»:

Синие рубашечки во зеленой ржи.
Синие фуражечки строем вдоль межи.
Синие иголочки во глазах пустых.
Синие наколочки на руках литых.
Синие, холодные по сердцу ножи.
Синие, свободные дали-миражи.
В синеву одетые чьей-то волей злой,
Сорняки, воспетые собственной землей.
Василечки-цветики на родных пирах.
Синие беретики во чужих мирах.

Лидия Григорьева, «У трех вокзалов»:

Зареванная клевая малютка
коту усатому кричала: «Ну и ладно!
Люблю тебя беспамятно, бесплатно!»
А было видно: ненавидит люто,
как худородный выскочка Малюта
дородных и раскормленных бояр,
в заморской тяжкой золотой парче.
А кот, пасущий привокзальных лярв,
Сквозь зубы процедил: «Ну ты вопче».

Цветные слезы капали в кулак.
Худая, как общипанный цыплак,
обычная вокзальная дешевка,
поклонница искусственного шелка
и в розанах цветного полушалка...

И шалая. И глупая.
И — жалко.

Впрочем, призывам В. Кожинова не вмешиваться в сиюминутность, не писать фельетонов и вообще публицистики — не внемлют и люди его ближайшего окружения, Ст. Куняев, к примеру. Я имею в виду отрывок из его поэмы «Иная жизнь», опубликованный в последнем «Дне...».

Сюжет животрепещущий. Лирический герой с неподдельной болью и непоказным стыдом признает: «Россию пропили почти». Удивляется, почему не бросили пить сами, а ждали Указа. И настроен самокритично, понимает: «бревно в своем глазу сыскать труднее, чем в чужом соринки». Однако не выдерживает испытания истиной, прячется за утешительную версию: виноватые — да, но без вины, ибо

Чтобы достать до наших генов,
нас спаивали столько лет,
как всяческих аборигенов.

То корчмари, то шинкари,
то теоретики Госплана...

Что это? И в самом деле «крамола» (не в кожиновском — прямом, в более тонком значении: лукавый замысел, производящий смуту) или Ст. Куняев запамятовал, что во все российские режимы винные откупа были скрытой формой огромного военного налога: что ни кабак, то батальон, по циничному разъяснению николаевского министра финансов графа Канкрина?

Один из дотошнейших русских мемуаристов Дмитрий Павлович Рунич, передавая историю Н. И. Новикова, павшего, по его суждению, жертвою зависти и наветов, сокрушался: «Нет ничего легче распространения ложного мнения между невежественными простолюдинами». Он же рассказывает и такой случай. Еще и основанное Николаем Ивановичем Новиковым масонское общество, и замечательные промышленные его заведения (типография, книжные магазины, аптеки и т. д.) пользовались полной свободой, а по Москве уже ползли зловещие слухи... Однажды Николай Иванович находился в гостях у жены своего друга. Вошел слуга и доложил о приезде знакомой дамы. Хозяйка дома, естественно, поинтересовалась у визитерши, что нового в городе.

— Ах, матушка, ваше превосходительство,— отвечала приезжая,— какой я видела страх: ехала из-за Москвы-реки по Каменному мосту, насилу проехать могла — такое множество народу. Все глядят на реку, и я велела кучеру остановиться; и что ж? Проклятый Новиков на камне плывет вверх по Москве-реке. Я так и обмерла и до сих пор еще отдохнуть не могу.

А Николай Иванович Новиков сидит тут же в гостиной...

И кто бы мог предположить, что двести лет спустя и по Москве, и по всей Руси великой начнут курсировать слухи, в сущности, мало чем отличающиеся, даже по набору сюжетов, от тех, какие передает Д. Рунич? Однако гуляют-разгуливают и клюют на невесть кем распространяемые ложные мнения не одни лишь невежественные простолюдины!..

В «Дне поэзии-1987» начинающая пушкинистка и поэтесса Наталья Сидорина выступила со свободным сочинением на тему: Москва и Подмосковье в жизни и творчестве Пушкина. Согласно версии Сидориной, замысел стихотворения «Клеветникам России» родился в январский зимний вечер 1831 года, когда в кругу друзей поэта в подмосковном имении Вяземских Остафьево обсуждалась острейшая политическая новость — польское возмущение. Что говорил Пушкин, что отвечал ему хозяин дома, Н. Сидорина не разъясняет, ей не терпится ошеломить нас сенсацией: «И несомненно: Пушкин был убит «клеветниками России» (поясняю: теми, кого поэт задел в одноименном поэтическом памфлете).

Разумеется, Н. Сидорина вправе высказывать, тем более в своем кругу, любые мнения, даже заведомо ложные, даже «смешанные с былиной». Однако следовало бы, наверное, внести в эту былинную смесь одно историческое уточнение: Петр Андреевич Вяземский и на польский мятеж, и на клеветников России смотрел иначе, чем его гениальный друг. Особое мнение Вяземского и высказано, и опубликовано, и не где-нибудь, а в «Записных книжках», дважды уже на нашей памяти переиздававшихся.

«Пушкин в стихах своих: Клеветникам России кажет им шиш из кармана... За что возрождающейся Европе любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне возрождающейся Европы, а между тем тяготеем на ней. Народные витии, если удалось бы им как-нибудь проведать о стихах Пушкина и о возвышенности таланта его, могли бы отвечать ему коротко и ясно: мы ненавидим или, лучше сказать, презираем вас, потому что в России поэту, как вы, не стыдно писать и печатать стихи подобные вашим. Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч.— Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура... Вы грозны на словах, попробуйте на деле.— А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: да, а что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы-то»!

Это особое мнение Вяземского и поныне читать как-то зябко! Уж очень сильно отклоняется князь Петр от общего всем! А тем простодушным, кто доверчиво поверит в «былину» Н. Сидориной, точнее Н. Сидориной по эстафетной цепочке передаваемую, и совсем чу́дное померещиться может: уж не Вяземский ли убийство Пушкина организовал, не через него ли клеветники, то бишь масоны, действовали?

Впрочем, с Н. Сидориной все более или менее понятно: ее выбрали из огромной толпы пушкинистов, ее отличили, ей Слово дали. Как же можно такой щедрый аванс, такое доверие не оправдать?

Да и какой спрос с начинающих, если резкое снижение профессиональной культуры мы обнаруживаем, увы, даже в стиховедческих высказываниях ведущих поэтов? За редким исключением, их теоретические выступления в «Днях» — это какая-то странная смесь (ерш!) черновых выдержек из записных книжек и подредактированных внутренних рецензий. Вот что пишет (ДП-86), к примеру,

Евгений Винокуров: «Есть поэты, которые создают стихи, как курица несет яйца или женщина рожает ребенка. Им не нужно какое-то особое мастерство, оно у них внутри. Чрезмерное мастерство может закупоривать интуицию, что ведет не к рождению живых детей, а к созданию манекенов. Сейчас мало поэтов, людей, у которых интуиция Есенина».

А мы-то грешным делом полагали, что Есенин — уникум, «цветок неповторимый», а оказывается, и среди нынешних членов СП есть равные ему интуитивисты! Вообще-то я вполне сочувственно отношусь к решению «цеха поэтов» заняться, так сказать, критическим самообслуживанием, ибо и сегодня, как и тридцать лет назад, среди критиков поэзии немало бойких «обозревателей», похожих «на людей, у которых,— как иронизировал Маршак,— есть руки, но нет пальцев для того, чтобы уловить художественные мелочи и детали». Но чем тогда отличается от безразличных к обаянию поэтической детали критиков тот же Винокуров, если не чувствует, какую допускает бестактность, перекладывая грубой прозой — **«как курица несет яйца»** — блистательный есенинский имаж: «Я сегодня снесся как курица золотым словесным яйцом».

И вот еще какое опасное «недомогание» выявили именно последние «Дни поэзии»: для очень многих, может быть, даже для подавляющего большинства поэтов **жизнь стихом** превратилась в занятие **«стихами в узком смысле»**. Казалось бы, род культурной деятельности, а по сути производство «километров паркета», когда «по инерции ленивого движения» член СП «ежедневно, чуть не по расписанию, в комфортабельных условиях уютной квартиры, побрившись и позавтракав, довольный всем (и собой), ничем не рискуя, ни на что не отваживаясь... строка за строкой — гладко и поверхностно зарифмовывает события своей или общей жизни...».

Диагноз этот поставлен не мной, а Михаилом Львовым. И предан гласности «Днем поэзии-86».

А вот о том, как глубоко укоренился опасный сей недуг, можно судить по тому, что ни сам М. Львов, член редколлегии сборника, ни другие ее члены не смогли даже в пределах подвластного им издания коренным образом переломить ситуацию. Отчасти, видимо, по лености, по нежеланию идти против течения, но, может быть, еще и потому, что занятие стихами в узком смысле в годы застоя сделалось еще и способом творческого самосохранения, точнее — самоконсервации, во всяком случае, для тех, кто не желал вступать в кооператив по производству однообразных «пустот».

Вчитайтесь хотя бы в определение поэзии, какое дает, скажем, Николай Панченко (отрывки из его книги о поэзии опубликованы в том же «Дне», что и процитированное выше резкое суждение М. Львова): «Стихи—следствие сложившегося языка, индикатор личности и потребность ее в самовыражении». И дальше: «Пока мы говорим стихами, нашей психее-душе! — не нужна фармакология».

Казалось бы, и красиво, и благородно. А по сути? А по сути, если и не апология того перерождения, о котором предупреждал М. Львов, то теоретическое оправдание занятия «стихами в узком смысле!..»

Было: — «Поэзия
— вся! —
езда в незнаемое!».

Стало: «Стихи—следствие сложившегося языка».

Было: «Я — где боль, везде».

Стало: «Потребность в самовыражении».

Было: «...Нахлынут горлом и убьют...».

Стало: «Пока мы говорим стихами, нашей психее-душе! — не нужна фармакология».

Не правда ли, есть над чем поразмыслить?

Читателям «Знамени» может показаться, что я в отличие от моего напарника Н. С. Работнова не вижу разницы между «Днем-86», показавшимся ему столь обильным — «журнальный «пир души», и скудостью «Дня» последующего. Вижу! Больше того, отдаю должное стойкости А. Преловского и его редколлегии, не допустившим на юбилейный Праздник слишком уж самодовольных «паркетчиков». Но и другое вижу: пир-то устроен не на средства ныне живущих, а на накопления уже мертвых: Николай Клюев, К. Чуковский о Ник. Гумилеве, стихи Мандельштама на смерть Андрея Белого... Да один неортодоксальный «Пушкин» Вл. Ходасевича чего стоит! Вот уж действительно «яство», способное сделать пиршественным даже общепитовский стол.

Не обошлись без помощи великих отошедших и учредители «Дня поэзии-87». Но каково качество публикаций... За недостатком места приведу только один пример — две странички о Павле Флоренском. Представляя читателям извлеченные из семейных архивов юношеские стихи русского Леонардо, безымянные публикаторы приводят выдержку из «Краткой литературной энциклопедии», где говорится, что П. Флоренский «в способах доискиваться смысловой изначальности слова сходен с В. Хлебниковым и предваряет этимологические штудии М. Хайдеггера». И тут же... цитируют «Литературную Грузию»: «Это удивительно чистая гармоничная проза. (Речь идет о воспоминаниях П. Флоренского.— **А. М.**) Писалась она в то время, когда неистовствовали футуризм и имажинизм, когда модой было коверкать язык и засорять его. Теперь в нашей словесности снова восторжествовала классическая традиция, и мы радуемся, обнаружив еще один ее образец».

Что это? «Род бессмыслицы», происходящий от «недостатка» «мыслей, заменяемого словами» (А. Пушкин), или просто предлог, чтобы, спрятавшись за спину великана, исподтишка бросить еще один ком грязи в русский «авангард»?

Похоже, и то, и другое!

Короче, наши «разногласия» с Н. С. Работновым вызваны не столько разницей вкусов и мнений, сколько разным направлением сюжетообразующей мысли. Я пыталась представить общую картину, понять динамику литературного движения, а Н. С. Работнов трезво и дельно оценивает конкретный сборник, и с этой его конкретной оценкой я полностью солидарна. «День поэзии-1987» и в самом деле вопреки надеждам и ожиданиям оказался «худшим за более чем тридцатилетнюю историю этого издания». И если бы не обнадеживающее оживление поэтических разделов ежемесячников 1987 и 1988 годов, пришлось бы, согласившись с М. Львовым, признать, что за спад общественного интереса к творчеству современных поэтов, и к «Дням поэзии» в частности, отвечают сами поэты. Но думается, что и ответственность, и вину должны, обязаны разделить, причем поровну с поэтами, и организаторы литературного Дела, решиться, как формулировал М. Львов, «на некоторую «чистку» — по Маяковскому».

Сетуя на то, что «Дню поэзии» приходится туго, ибо, возникнув тридцать с лишним лет назад как классический альманах, он со временем стал выполнять нелегкую роль единственного журнала московских поэтов, причем не ежемесячного, а ежегодного, поэты-издатели совсем не прозрачно намекают на необходимость превращения его... в ежемесячник.

Желание понятное. Отсутствие даже в столице специального периодического издания — журнала «Поэзия» — факт печальный. Но вопрос не в том, будет ли журнал выходить раз в месяц, а в том, **каким** он будет! Пойдет ли навстречу обновлению, или по инерции ленивого движения и мышления начнет тиражировать нынешний уровень нынешних ежегодников...

Правда одна на всех

Тяжкие сомнения охватывают восемнадцатилетнего следователя-инструктора Петроградского совета Алексея Крюкова после очередной облавы на хлебных налетчиков, завершающейся по обыкновению времени — осень 1918 года — расстрелом на месте задержанных бандитов: «Все чаще и чаще сейчас Крюков задумывался о смерти и все чаще и чаще ловил себя на том, что даже смерть врагов революции его отвращает. Раньше она, смерть, просто не существовала. Он сам не боялся умереть, а врага нужно уничтожить, смести с лица земли. Иначе как построишь республику? Как сделаешь ее сильной и мощной, чтобы она могла защитить себя? Да, противников приходится добивать, иного выбора нет. Но что-то все-таки его мучило, терзало сердце».

Своими сомнениями Крюков делится с одним из руководителей Петросовета, балтийским матросом Иваном Скоковым. «Человек и должен страдать, потому как сотворен из мяса, костей и крови! — отвечает Скоков.— Но ты не тушуйся. И не в том штука, что революция спишет. Наступит эпоха — и с нас спросится, пусть с покойничков. Ты знай только, что бьешься за счастье трудящегося люда. А без боли и стонов, братишка, нельзя. Без боли и стонов нас с тобой, красавцев неслыханных, матери не родили бы».

И вот наступила эпоха, когда спрашивается, и престрого, с тех, кто, подобно героям Ю. Щеглова, в годы революции и годы мирного социалистического строительства укладывал первые камушки в основание общественного порядка, под сенью которого мы родились и благоденствуем и который, однако, сегодня перестраиваем. Спрашивается за те трагические явления в истории Советского государства, и прежде всего — периода так называемого «культа личности», которые унесли жизни миллионов ни в чем не повинных людей, искалечили душу народа и которые, как мы теперь понимаем, одними историческими случайностями не объяснить.

Мы сегодня лучше, чем когда бы то ни было, понимаем значение морального фактора в истории, в революционном процессе: каковы характеры, личностные свойства участвующих в революции людей, таков и характер революции. Далеко не все активные участники нашей революции выдерживают сегодня проверку на нравственную состоятельность. Самый яркий пример — личность Сталина, о роковой роли которого в нашей истории мы узнали много нового за последние два года и, надо полагать, немало еще узнаем. Оно, конечно, задним числом легко подводить баланс добрых и недобрых деяний людей, уже сошедших с исторической сцены. И все-таки приходится это делать. Надо же извлекать уроки из прошлого.

Герой Ю. Щеглова проверку на нравственную состоятельность выдерживает вполне. Алексей Крюков — рядовой революции. История его жизни и борьбы тем особенно примечательна, что свидетельствует — и это свидетельство достоверное, оно опирается на документальные источники — свидетельствует о том, как в самой гуще народа в ходе революции выкристаллизовывалась, накапливалась благодатная духовная энергия, которая могла бы воплотиться в модель социализма, более приемлемую для трудящегося люда, чем та, которая осуществилась в конце концов — уже после Ленина, после того, как во главе государства оказался Сталин. Могла бы... Почему не воплотилась? Почему принципы демократии, человечности, уважения личности в конце двадцатых — тридцатые годы заместились методами командно-бюрократического манипулирования массами, «закручиваиия гаек», террора? Вопросы, конечно, существенные. Но факт, что были же в рядах активных борцов за новую жизнь люди, понимавшие: не любыми средствами достигается благая цель — дурные средства ведут только к дурной цели.

По долгу службы Крюков обязан расследовать факты злоупотребления властью со стороны работников уездных и волостных советов и иных местных руководителей,— была в то время такая своеобразная служба в системе Союза коммун Северной области. «Испытывая чувство жалости» к жителям городка Стрельна, власти которого чересчур ретиво набросились на мелкое предпринимательство и прихлопнули все чайные в округе, «в том числе и те, в которых наемные работники не эксплуатировались», Крюков восстанавливает справедливость, заставляет волисполкомцев вернуть хозяйкам чайных реквизированные у них самовары, кофейники, стаканы. Правда, открыть заново самоварные точки в Стрельне этими мерами не удается, старухи-самоварщицы, напуганные реквизициями, «наотрез отказались возрождать чайную индустрию, решив перейти бесповоротно на тихое огородничество», и в итоге в Стрельне негде стало «ни перекусить, ни погреться честному грешнику»; но тут важен урок, который извлекает из этой истории Крюков на будущее. Недопустимо, пишет он в докладной, представляемой в Петросовет, чтобы борьба с частным сектором сводилась к чисто формальному мероприятию: там, где без мелкого предпринимательства не обойтись, и нечего с ним воевать. «— А им-то как не стыдно! — возмущается он головотяпством исполкомовцев.— Во что превращает человека канцелярская тумба да возможность чайку попить по талону в благоустроенном кабинете! Они от кресла оторваться не желают и готовы исполнить любой параграф, да и то исполняют его бюрократически, от чего много бед предвижу».

Много усилий затрачивает Крюков на то, чтобы разоблачить проходимца Дергунова, забравшего в свои руки всю власть в городе Красном. «Через год с небольшим после революции комиссар в сером френче и шевровых кавказских сапожках получал зарплату... как военком, председатель партийной ячейки и чрезвычкома, глава следственной комиссии и старейшина госпитального совета». Пользуясь этой властью, он разворовывает продовольствие из государственного распределителя, терроризирует жителей, запугивает недовольных угрозами арестов и высылки на Соловки. Разбирая дело Дергунова, Крюков приходит к выводу, что страшнее Дергунова противника нет, такие, как шашель, подтачивают изнутри Советскую власть. Как сладить с перерожденцами?

Этот вопрос мучит юного следователя и при разборе другого подобного дела, взяточника Саранчи Егорова, председателя Воздвиженского волисполкома, навязанного воздвиженцам уездной властью. Саранча Егоров тоже, пишет Крюков в сопроводиловке к компромату, «сумел срастить себя с властью и использовать односторонне ее карательную силу исключительно в шкурнических целях». Так как же сладить с этим злом?

Крюков жестоко корит себя за то, что «веры в нем железной явно недостает, что истинной дороги к прекрасной коммунальной жизни пока не отыскал». Умом он понимает, что нужно не ослаблять напора в борьбе с врагами революции, и смотрит с обожанием на своего начальника Скокова, не знающего сомнений. «Ты — в стальной когорте борцов за мировую революцию,— внушает ему Скоков.— И точка. Комиссариат тебе за отца, революционная совесть — твоя мать, а наган — первый друг и брат. И точка, Крюков. Точка!» И все-таки... Все существо Крюкова сопротивляется, не принимает эту логику. При расследовании дел он все-таки больше доверяет непосредственному чувству, чем рассудку,— чувству жалости, сострадания, которое невольно вызывает в нем человек, судьбу которого он обязан решить.

Постепенно его мысли отливаются в ясную формулу: на одной логике борьбы далеко не уедешь. Он против богатеев, рассуждает он, и готов «ежедневно изымать из обращения ненужные элементы», но он «за справедливость, и прежде — если существует малейшая лазейка для прощения, то полезно ее использовать и простить виновных в сопротивлечии». Скокову он отвечает письменно: «Революция есть стихия, с чем не стану спорить, но за первым ударом бури должен устанавливаться железный порядок, который необходим повсюду. Ответственность перед законом — невзирая на должность лица... Люди есть люди, но люди разные попадаются, а правда одна. На всех одна».

Всего в один год вместилась революционная биография героического юноши Алексея Крюкова, не дожившего даже до своего девятнадцатилетия, успевшего, однако, за этот короткий срок сделать так много. В революции люди зрели быстро.

Читая повествование Ю. Щеглова, почти физически ощущаешь раскаленную атмосферу первого года революции, слышишь треск уличных костров, соленую речь «братишек» — балтийских матросов, хлопки револьверных выстрелов, видишь, как «ватно шмякаются на щебенку» тела расстреливаемых налетчиков, как, вздрагивая от простудного ветра, плюхается в седле голодный, обтрепаный, смертельно измотанный, неистовый уполномоченный Петросовета. Автор умело использует точную и броскую деталь, бьющую без промаха, неожиданный поворот сюжета. Некоторые сцены, правда, производят впечатление эскизности, это как бы наброски, хотя и сочные и впечатляющие, будущих более развернутых картин, и невольно приходит в голову, что автор, не будь он связан журнальными рамками, мог бы еще много го важного сказать о герое, о времени. Но главное сказано. Эпоха революции открывается мне, читателю, в непривычном ракурсе. Это побуждает думать. Стремление сказать правду о суровом времени водило пером писателя. А правда — она одна на всех.

Владимир Савченко

Юрий Щеглов. Жажда справедливости. Историческое повествование. Юность, № 11, 1987.

Без юбилейной позы...

«Трудно живется нашей сатире. Капитал, которому некогда положил основание Гоголь, не только не увеличивается, но, видимо, чахнет и разменивается на мелкую монету. Сатирики наши как будто встали в тупик и кружатся на одном месте, удивляя читателей кропотливостью своего трудолюбия, однообразием типов и замечательною поверхностностью своих отношений к жизни».

Печально, но эти слова более чем столетней давности могли бы претендовать на роль диагноза состояния нашей сатиры последних десятилетий едва ли не с большим основанием, чем когда были написаны Щедриным.

В призывах-то к развитию этого рода литературы, как и критики с самокритикой вообще, недостатка не было, в том числе самых что ни на есть авторитетных по тому времени.

«Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович,— писал, например, И. В. Сталин Горькому.— Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса (что и случилось... — **А. Т.**). Конечно, самокритика дает материал врагам. В этом Вы совершенно правы. Но она же дает материал (и толчок) для нашего продвижения вперед, для развязывания строительной энергии трудящихся, для развития соревнования, для ударных бригад и т. п. Отрицательная сторона покрывается и перекрывается положительной».

Не без горечи вспоминается, как судорожно хватались за эту «выигрышную» цитату мы, критики, треть века назад и как ликовали по случаю прозвучавшего с высокой трибуны заявления, что нужны новые Гоголи и Щедрины.

Однако сами-то сатирики, опираясь на свой жизненный опыт, прибавить шагу явно не торопились и даже рискнули несколько «уточнить» смысл услышанного:

Мы за смех! Но нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Они могли бы к месту припомнить и саркастическое замечание подлинного Щедрина: «С отроческих лет твердит мне начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь, боюсь...»

И положа руку на сердце надо признать, что оснований для столь дерзкого «непослушания» было предостаточно...

Басни Михалкова. Советская Россия. М., 1987.

Странным образом эти мысли одолевали меня при чтении книги, имя автора которой вроде бы никак к ним не располагало, поскольку уж его-то судьба являет собой пример чрезвычайно счастливого и беспечального литературного долголетия,— «Басни Михалкова».

И в самом этом жанре Сергей Михалков — редкостный «старожил», дебютировавший на этом поприще еще в начале сороковых годов и быстро привлекший к своим басням читательское внимание.

Не ради привычного юбилейного (совсем недавно писатель отметил свое 75-летие) славословия, а по всей истине следует сказать, что именно в этом жанре проявились лучшие черты таланта поэта.

Из всех баснописцев нашего времени он наиболее яркий (да многие и начали работать в этом жанре именно по примеру Михалкова, когда определился успех его первых басен). И если где-то «по соседству» с каноническим словосочетанием «басни Крылова» и уже менее отчетливым «басни Демьяна Бедного» объявилось и укоренилось новое — «басни Михалкова», в этом была определенная закономерность, а не просто результат усилий дружественной критики.

«Заяц во хмелю» и «Лиса и Бобер» были у всех на языке. Вновь заслышалась живая, естественная интонация басенного рассказа, бойкие, лукавые «коленца» родной речи, будь то «вкусная» обстоятельность повествования:

Раз в тихом бочажке, под бережком, чуть свет,
Рыбешка мирная собралась на совет:
В реке их Щука донимала,
И от зубастой им житья не стало.

(«Рыбьи дела»)

Или самый краткий и энергичный приступ к делу: «Индюк завидовал гусям, что могут плавать там и сям», или даже: «Лиса приметила Бобра».

Сюжет в этих баснях развивался подчас весьма динамично и картинно:

Везет же индюкам! Индюк попал на флот!
Индюк по-флотски ест. Индюк по-флотски пьет.
В тельняшку он одет, как ходят все на флоте.
Но в воду вы его и силой не столкнете:
Подальше от воды на суше он живет...

(«Морской Индюк»)

Подкупала и мнимопростодушная мина рассказчика, его притворное сокрушение, недоумение по поводу «непредвиденного» резонанса всяких историй о «братьях наших меньших»:

Вот пишешь про зверей, про птиц и насекомых,
А попадаешь все в знакомых...

(«Соловей и Ворона»)

В крыловской басне о Муравье была восхитившая Пушкина своей живописностью фраза: «Он даже хаживал один на Паука».

Маленькая михалковская басня тоже порой отваживалась на вылазку против набиравшего силу бюрократизма. Развивая самые невинные сюжеты — например, о бесконечных согласованиях насчет сущих пустяков («Текущий ремонт»),— автор многозначительно заключал:

В основу басни сей я взял нарочно МЕЛ,
Чтоб не затронуть поважнее дел!

Прековарный это жанр — басня! Звериное обличье уже не так-то легко напялить на многие нынешние сложные и «громоздкие» конфликты. Бывает, правда, и так, что это несовпадение дает какой-то непредвиденный дополнительный эффект, но нередко в «зверином» сюжете возникает искусственность. Попытка «напрямую» воплотить иную злободневность в басенной форме может обернуться заурядным фельетоном, и, наоборот, стремление отрешиться от многих реальных обстоятельств и ограничиться лишь «голой сутью» может привести к расплывчатым назиданиям, не имеющим в виду сколько-нибудь конкретной мишени,— словно бы басня из наблюдательного собеседника вдруг каким-то злым волшебством превращается в беззубого старца, шамкающего безобидные прописи:

Когда на то моя была бы власть,
Я, зная медведей породу,
Не допускал бы их до меду!..

(«Медвежий зарок»)

Право, в подобном случае и о «фельетонности» можно возмечтать, тем более что порой, именно виртуозно балансируя на опасной грани с нею, и создавал Михалков самые меткие свои басни, вроде «Дальновидной самокритики»:

К начальнику явился подчиненный
И заявленье положил на стол.
Престранной просьбой очень удивленный,
Начальник вслух прошение прочел.
А эта просьба излагалась так:
«Прошу меня уволить. Я — дурак».
Был сух и строг начальника ответ:
«Нам лучше знать, дурак вы или нет».
Из кабинета подчиненный вышел
И обратился с той же просьбой выше.
Здесь на прошенье был ответ таков:
«У нас в системе нету дураков!»
. . . .
Во всех инстанциях он побывал с прошеньем
И был освобожден. Однако... с повышеньем!

Лукавый, гротесковый поворот сюжета высветил некие тайны мадридского, то бишь бюрократического, «двора» резче и ярче, нежели иная добропорядочная канонически-басенная «обертка».

Винить ли, однако, только самого автора в том, что столь «дальнобойных» басен в книге меньше, чем хотелось бы видеть, как и в том, что временами его активность как баснописца заметно спадала? (Вероятно, если бы помещенные в книге басни были датированы, это сделалось бы особенно заметным.)

Именно этот вопрос, раз возникнув, и повлек за собой те размышления, с которых начиналась рецензия и с которыми, на мой взгляд, живо перекликается первая же басня сборника. Вызвали к начальству сотрудника, сочинявшего стихи, и поручили писать басни для стенгазеты (помните: «Мы не можем без самокритики...»? Но какой же, однако?!):

Разить порок пером учитесь у Крылова —
Возьмите образы зверей.
Курьершу хорошо изобразить Коровой,
Инспектора — Бобром...

«А надобно сказать,— поясняет Михалков,— был в этом пыльном тресте для баснописца непочатый край...» — и куда как повыше ступенью, чем «отечески» предначертанные для критики мишени! Однако на т а к о е не посягал даже гневливый и обладавший острыми клыками персонаж из басни «Больной Кабан»:

...«Скажите, а бывает,
Что и на Льва он голос поднимает?»
«Нет, этого пока не замечала я,
со львами вежлив он»,— прохрюкала Свинья.
«Быть может, он волков и тигров оскорбляет?»
«Нет, этого мой Хряк себе не позволяет!»

Неудивительно, что и из-под пера любителя, «бухгалтера-поэта», вместо сатиры «хвалебная начальству вышла ода»!

Случайно ли именно «Рождением оды» открывается сборник?

Говорит ли она всего лишь о том заурядном уровне нашей, отнюдь не только «самодеятельной» сатиры, на «фоне» которой должен хорошо «глядеться» сам автор басни?

Иллюстрировавший книгу художник, по-видимому, понял дело именно так и предварил «Рождение оды» рисунком, где некто, портретно напоминающий автора, вооружен копьем-пером и восседает на крылатом Пегасе, а от него пугливо шарахается волк!

Уж сколько раз твердили миру, что лесть мало того, что вредна, но еще и провирается невзначай! Уподобить баснописца чуть ли не Георгию Победоносцу, но при этом заменить полагающегося в таком случае «по штату» дракона или змея куда менее «представительным» зверем — не значит ли это невзначай сбиться с иконописной стези и неожиданно «поддакнуть» горьковатым опасениям поэта: всегда ли в полный голос звучало его басенное слово, не палило ли оно подчас по воробьям, упуская более крупную «дичь»?

Конечно, по-разному оценивают люди сделанное ими самими. Не так давно попалась на глаза книга одного поэта, озаглавленная «Я прохожу по строчечному фронту». Одним словом, с Маяковским на короткой ноге!

Но право же, куда веселей становится на душе, когда в маститом литературном «бойце с седою головой» угадывается и совсем иная оглядка на высокий пример классики, и тревожный, взыскующий, придирчиво-внимательный взгляд на вышедшее из-под его собственного пера.

А. Турков

Чего хочет душа человеческая

«А деревня, Николай Семенович, э-э... что-то перестал я понимать земляков»,— признается один из героев Васильева, профессор философии, который, выйдя на пенсию, перебрался в родные края.

«Та же дума и у меня, Иван Николаевич. Вы хоть долго в отлучке были, а я, если не считать учебы, никуда не уезжал. И представьте себе, не понимаю»,— соглашается с ним другой, вновь назначенный секретарь райкома партии.

Эти признания тем более примечательны, что первый из них — профессор Дубровский — резонер и любимый герой автора. У русской «деревенской» литературы, которая существует уже поболее столетия, давняя традиция — отталкиваться от такого вот непонимания, признания «великой загадки», еще не открытой крестьянской Америки. При всех поправках на время (деревня становится ближе к городу, писатель ближе к деревне) загадка остается загадкой. Книга Васильева — честная и достойная попытка ее разрешения, спокойный и обстоятельный разговор о современной деревне.

Правда, нет в ней той особой остроты, к которой мы в последнее время привыкаем, нет сногсшибательных разоблачений и инфарктных исходов. «Криком души» ее не назовешь. Только мне кажется, что болящая душа далеко не всегда выражает себя криком — скорее уж «горестными заметами». (И в скобках добавлю — куда легче было бы справиться с нашими безобразиями, если бы все они были вопиющими!)

«Должности... Отчего наш брат-обществовед уклоняется от изучения психологии должности? — рассуждает профессор Дубровский. — Литературные критики тоже. Как сговорились: разложат героя на составные, вывернут нутро, но должности не коснутся...» Оставим на совести профессора этот не слишком заслуженный комплимент критикам насчет «нутра». Нам важно, что сам Васильев поступает наоборот: «выворачивает» должность, примеряет к ней свои идеи. И никаких там попутных любовей и интриг — автору нужна «чистая» ситуация.

Итак, какова же деревня, показанная Васильевым? Обычная среднерусская деревня, не слишком богатая, но вполне преуспевающая; из нее «валом не валят, если кто и увольняется, так опять же в деревню»; здесь «у каждого полированная мебель, всевозможные бытовые приборы, на окнах тюль, на стенах ковры, в сервантах посуда». Однако за внешним благополучием кроется явление, которое автор называет «банкротством». Прекратятся государственные дотации — и сей же час подобное хозяйство развалится. Это «банкротство» не только не накладно, но и выгодно. Хитроумный председатель колхоза даже специально снижает рентабельность хозяйства, чтобы получить солидную дотацию, и этим заслуживает одобрение районного начальства... И вот уже стереотип мышления требует яростного обличения начальства всех уровней, деревенской бюрократии, которая «ходит по кругу», сохраняя свое руководящее положение пожизненно. Этим сестрам Васильев тоже «раздает по серьгам», но смотрит и поглубже: а на чем же держится их власть, в чем их опора? Да в том, что колхозникам «выгодно не думать о колхозе..., их бытие зависит от

степени угодности председателя: угоден он своему начальству — их не обделят, что-нибудь подкинут, чего-нибудь скостят». «Банкрот» у г о д е н не только верхам, но и низам — вот что самое страшное. «Кончился крестьянин, вместо него появился н а е м н и к»,— горько констатирует писатель. Ну, а раз наемник, то ничем, кроме собственного благосостояния, он не озабочен: «желает на столе, в гардеробе, в хлеву, в кубышке иметь побольше, а в колхозе все наоборот: скотины водить поменьше, сеять-жать поменьше, работать поменьше». «Иметь поменьше» становится принципом хозяйствования, вернее, бесхозяйственности; Васильев называет это «безбалластным методом».

И вот какая получается картина: работают на земле наемники (еще резче — «гультяи»), руководят ими «банкроты», а «определяют линию» чиновники. Таково «наследство».

Конечно, эта ситуация уже многократно была показана нашими публицистами, в том числе и самим Васильевым. И вроде бы уже выяснили, что выход — в замене административных методов управления экономическими. Да только не укладывается в эту формулу мировоззрение Васильева («земледельческое мировоззрение» — такое выражение проскальзывает у профессора Дубровского). Идеалы его повыше материального интереса — это не меньше, чем сельский мир, сельский л а д. Чего хочет д у ш а ч е л о в е ч е с к а я? — вот главный вопрос, который читается за рассуждениями об «интересе» и «человеческом факторе».

Этот вопрос ставит перед собой и один из главных героев книги — первый секретарь райкома Озеров. Размышляя о своей роли в перестройке, он приходит к выводу: его дело — заниматься в первую очередь не производством, а идеологией. Банально? Смотря что понимать под идеологией. Озеров поясняет: «Я идеологию понимаю как организацию всего образа жизни». А мы расшифровываем: «образ жизни» — это ведь и есть тот самый крестьянский мир. Вместо надоев-привесов, справок-отчетов. И уже не банально получается, а смело. Заметим, что привесы — дело, конечно, стоящее, но за них хозрасчет ответит лучше, чем партийный руководитель.

Не думаю, что Васильев здесь отразил типичные настроения партийных руководителей. Но так он понимает должность и долг секретаря райкома. Его право. Мы только можем заметить, что все эти рассуждения кажутся нам вполне справедливыми.

Наставнический, а можно сказать сильнее — проповеднический пафос пронизывает всю книгу.

Вот председатель колхоза Платонов. Тот самый «банкрот», которого тракторист Сашка Король называет «первейшим гультяем». Когда-то он «по молодой наивности» собирался строить «подлинную, настоящую жизнь», но скоро понял, что хозяйство «невозможно вести без больших и малых обманов». При этом «природа все-таки вложила в Платонова изрядную долю совести». Мы знаем много примеров, когда совестливые председатели шли на большие и малые обманы, чтобы поднять хозяйство, не выполнять нелепых чиновничьих указаний. Платонов же всего лишь «сорвал солидный куш» в виде дотации. И вот он решает покаяться в своих грехах, вести хозяйство по-новому. Люди его поддерживают, потому что, оказывается, «человек он отзывчивый, незлобивый, нужду колхозника понимает», хотя мы его видим жестким и одновременно изворотливым руководителем. Сложная личность? Скорее, противоречивый образ, так и не «оживший» на страницах книги. Мы могли бы найти еще немало противоречий, если бы взялись во всем отыскивать у Васильева психологическую достоверность. Но нам важнее другое — п р и з ы в к п о к а я н и ю, с которым писатель обратился к людям, определяющим жизнь современного села. И, право, порой становится досадно, что автор выбрал для своей книги беллетристическую форму.

В произведении, названном «хроникой», обобщений и выводов несравненно больше, чем событий, действия. Может быть, это хроника авторских размышлений? Но в любом случае она не должна грешить против логики реальной жизни. В самом конце книги Сашка Король выдвигает идею подряда: «Хочу взять у тебя, Платонов, подряд и быть делу хозяином, а ты меня что? Частником пугаешь». Подобные сентенции давно уже стали общим местом, они годятся для начала современной хроники, но никак не для ее завершения. Сашка Король, если он действительно и в самые тяжелые времена «рук не опускал и духом не падал», должен был попытаться организовать подряд по крайней мере двумя годами раньше. Невольно закрадывается мысль, что весь этот пассаж понадобился автору для красивого вывода о преодолении «психологии барина и холопа» и о том, что «в этом и была переломная особенность тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года».

На первый взгляд кажется странным: в центре «Хроники» современного села — горожанин, тридцать лет назад уехавший из деревни. Что это, авторский прием, «свежий взгляд» стороннего человека или... «Не могут ли возвращенцы... люди думающие (и заметь: дети крестьянские!), не могут ли они помочь... о п а м я т о в а т ь с я?» — таким вопросом задается профессор Дубровский. Нет, он не просто случайный свидетель, он представитель выделенной писателем новой социальной силы — «возвращенцев». Публицисты много писали о миграции сельского населения в город, а об обратном движении, об этих «детях крестьянских» первым, и

Иван Васильев. Очищение, или Хроника одного вступления в наследство. Обновление, или Хроника второго вступления в наследство. Преодоление, или Хроника третьего вступления в наследство. Наш современник, №№ 8, 10, 12, 1987.

уже давно, заговорил Иван Васильев. Деревне нужна культура, нужно просвещение не меньше, чем экономическая состоятельность, и подобные «профессора» должны сыграть здесь свою роль — вот идея Васильева. (Кстати, еще сто лет назад А. Н. Энгельгардт призывал к созданию «интеллигентной деревни», населенной бывшими горожанами.)

Приступили ли уже Дубровские к своему благому делу, приживаются ли они в реальной нашей деревне? Неизвестно. Ни один роман ответа на этот вопрос не даст. К «Хронике» И. Васильева у нас свой счет: «прижился» ли Дубровский в художественной реальности книги? Ах, как бы нам хотелось узнать о нем побольше, увидеть его в общении с деревенским миром; выяснить заодно, как это он решился перевезти в не слишком благоустроенный дом богатую профессорскую библиотеку и какие книги дает читать сельским парням. Короче говоря — увидеть этого нового в нашей литературе героя.

Менее всего можно поставить в упрек И. Васильеву отсутствие убедительных художественных образов. Мы уже говорили, что главный герой его книги — современная деревня, и этот «герой», несомненно, удался. А ведь нынешнее село, как ни странно, не такой уж частый гость в литературе, несмотря на обилие писателей-«деревенщиков». Ушли в прошлое нищие, бедствующие колхозы, показанные Абрамовым, Можаевым, Беловым. Где же обычное наше село последнего десятилетия, где современные Иваны Африканычи? Что ж, вот книга Ивана Васильева — попытка осмысления по горячим следам происходящего.

Андрей Воскресенский

Из почты «Знамени»

Немного о гласности

То, что гласность стала одним из важных инструментов демократизации, нормой жизни нашего общества, сегодня вряд ли кто сможет отрицать.

Однако, как нам представляется, этот тонкий инструмент не везде и не всеми используется с достаточной аккуратностью, как подобает обращаться со всяким идеологическим инструментом, могущим при неосторожном обращении привести к нежелательным последствиям.

Некоторые авторы и средства массовой информации, на наш взгляд, имеют склонность к шараханью из одной крайности в другую, особенно при освещении и оценке событий и фактов истории нашей страны. Часто взвешенный анализ исторических событий и фактов рассматриваемого периода подменяется обобщениями на основе произвольного их отбора или строится на частностях. В результате становятся возможными вольные толкования широко известных исторических событий, а подчас и надуманные и даже оскорбительные оценки видных политических и военных деятелей нашей страны. Некоторые авторы, изображая те или иные негативные явления нашей истории, пренебрегают анализом всей совокупности факторов и обстоятельств данного периода, торопятся карающим перстом указать на конкретное виновное лицо, ищут чью-то злую волю. При этом отбирают тех, кто пост занимал повыше, не стесняясь при этом в выборе выражений и приклеивании ярлыков.

Так, совсем недавно в газетах в недостойной форме прозвучали высказывания в адрес одного из героев прошедшей войны, С. С. Варенцова, и других.

Почему же мы позволяем себе столь неуважительное отношение к выдающимся деятелям нашей страны, а через них и к истории нашего государства? Здесь, как нам кажется, серьезный упрек можно сделать в адрес некоторых наших ведущих историков, которые в недавно опубликованных двух беседах за «круглым столом» с большой поспешностью отдали пальму первенства в закрытии «белых пятен» нашей истории писателям.

А что из этого получается?

Публикуется роман А. Рыбакова «Дети Арбата», широко разрекламированный газетами и журналами, пьеса Н. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!..», а также ряд статей в «Литературной газете» и «Московской правде».

Упомянутый роман А. Рыбакова совсем недавно в издательстве «Советский писатель» вышел отдельной книгой, в которой дается краткая аннотация романа. В ней дословно говорится: «Новый роман лауреата Государственных премий СССР и РСФСР А. Рыбакова — о судьбе нескольких молодых людей, родившихся и выросших в Москве на Арбате. Автор дает широкую картину жизни тридцатых годов, эпохи великих свершений, энтузиазма, но и больших трагедий и потерь. Несмотря на драматичность событий, роман оптимистичен, укрепляет убежденность в идейных и моральных ценностях советского народа».

Мы не литературные критики и не считаем возможным давать всесторонний разбор этого произведения известного писателя. Но, как читатели, с уверенностью говорим, что широкой картины жизни тридцатых годов, эпохи великих свершений, энтузиазма мы в нем не нашли.

Говоря упрощенно, дозировка черного и белого при написании романа получилась у автора несоразмерной действительному положению дел того периода. Поэтому после прочтения романа чувство оптимизма было просто невозможным, возникло лишь ощущение угнетенности и обиды за наш народ, самоотверженно трудившийся в то время во имя подлинно великих достижений, за небывалый расцвет литературы, искусства театра и кино.

А может быть, причина публикаций этих весьма спорных крупных произведений, статей и очерков кроется просто в недостаточном уважении авторов к читателям? Не просто ведь Л. А. Аннинский при обсуждении за «некруглым столом» в редакции «Литературной газеты» проблем нынешней критики сказал: «По-моему, просто надо говорить, что думаешь, не заботясь о реакции толпы или коллег своих». («Литературная газета» № 4, 1988 год).

Особенно много издержек появилось в освещении событий минувшей войны. Ряд авторов, излишне надеясь на свою память или преувеличивая объективность своего личного опыта, не считают необходимым, даже в тех случаях, когда описывают конкретные факты войны, проверять свое представление о них по историческим источникам.

Когда же участники войны пытаются обратить их внимание на допущенные ошибки, эти авторы очень болезненно реагируют на замечания, доходя иногда и до некорректных формулировок в своих ответах.

Хотелось бы сказать еще об одном недостатке гласности в том виде, как она сейчас практикуется.

Писатели и журналисты пишут и печатаются миллионными тиражами, а нам, читателям, остается только внимать им и принимать опубликованное за истину в последней инстанции. Гласность в этом случае начинает походить на игру в одни ворота. Нам думается, что гласность должна иметь и обратную связь. И не в виде куцых «откликов читателей», подобранных по вкусу заинтересованных авторов и редакций, навязывающих, по существу, ту же самую авторскую версию.

Необходимо шире публиковать критические материалы, поправляющие авторов ошибочных трактовок и оценок. А уж наш читатель способен сам разобраться, чью точку зрения признать стоящей ближе к истине, а чью отвергнуть.

Два года мы и совет ветеранов 14-го гвардейского Красносельского Краснознаменного артиллерийского полка добиваемся исправления искажений исторической правды, допущенных литератором Л. А. Аннинским и писателем Г. Я. Баклановым в статьях «Штрихи к блокадному пейзажу» и «Становится нормой?», опубликованных в №№ 4 и 12 «Литературной газеты» за 1986 год. Но даже в условиях гласности и провозглашенном запрете на «закрытые зоны» для критики сделать это не смогли. Мы обращались в редакции четырех газет, в правление Союза писателей СССР. Но везде перед нами вырастала стена равнодушия, а может быть, наоборот, неравнодушия, только уже к критикуемым авторам. В чем причина? Вызвано ли это корпоративной закрытостью отдельных групп писателей и журналистов, высоким ли положением писателя Г. Я. Бакланова и его неприкасаемостью для критики или какими-то иными обстоятельствами? Нам ясно одно, что искажение истории нашей Родины, а тем более неуважительное отношение к памяти отдавших свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость — безнравственно.

Писатель Г. Я. Бакланов, поучая литератора Л. А. Аннинского о сущности контрбатарейной борьбы на Ленинградском фронте, нарисовал такую картину:

«Обнаружив цель, допустим, батарею противника — по пыли, которая поднимается над орудийными окопами во время стрельбы, или по вспышкам выстрелов, или по другим признакам,— получив разрешение уничтожить эту цель, я с наблюдательного пункта передавал данные для стрельбы на свою батарею, которая находилась далеко позади на закрытых позициях, а не на прямой наводке, как, например, при стрельбе по танкам, и батарейцы заряжали орудия и стреляли, заряжали и стреляли, выполняя команду, но не видя, куда они стреляют. Что же тут героического?». Или: «Но вызывать на себя огонь противника, «чтоб он ПО ТЕБЕ боезапас израсходовал», иными словами, помочь ему уничтожить нашу артиллерию — этого не только командующий фронтом, этого ни один командир, находясь в здравом уме, приказать не мог». Не слишком ли опрометчиво поступил в данном случае писатель Г. Я. Бакланов, в прошлом командир взвода в артиллерии, не воевавший на Ленинградском фронте, делая такие безапелляционные заявления и за командующего Ленинградским фронтом и за командиров других рангов, лишая их здравого ума? В действительности же на Ленинградском фронте все обстояло далеко не так. Думаем, что и на других фронтах контрбатарейная борьба не была столь примитивной, как это описано у Г. Я. Бакланова.

В одном из исторических трудов, посвященных роли артиллерии в оборонительных операциях Великой Отечественной войны, сказано: «Особо важное значение в обороне Ленинграда приобрела контрбатарейная борьба. Решение задачи защиты города от артиллерийских обстрелов противника потребовало большого напряжения сил и творческих исканий командования всех степеней, так как сам процесс контрбатарейной борьбы носил специфический характер, а уставные рекомендации на подобные случаи отсутствовали. Можно без преувеличения сказать, что ленинградским артиллеристам пришлось прокладывать новые пути в теории и практике контрбатарейной борьбы. Им принадлежит честь спасения от варварского разрушения многих культурных и промышленных зданий города, сохранения многих тысяч человеческих жизней в долгие месяцы блокады Ленинграда... Широко практиковавшееся артиллерией фронта отвлечение огня на себя не только спасало город от разрушений, но серьезно истощало огневые ресурсы противника, предназначенные для разрушения Ленинграда».

Известно, например, что во время блокады контрбатарейщики отвлекли на себя до $^2/_3$ снарядов, выпущенных осадной артиллерией противника. В среднем же по каждой батарее контрбатарейных частей фронта за это время было выпущено противником по 10—15 тысяч снарядов.

Это контрбатарейщики фронта при обстрелах города, открывая ответный огонь по стреляющим батареям противника и другим болевым точкам в его обороне, заставляли вражескую артиллерию переносить огонь своих батарей на наши огневые позиции и расходовать, таким образом, основную часть своего боезапаса для ведения огня по позициям наших батарей.

Учитывая особые условия контрбатарейной борьбы для этого фронта, в 1943 году по решению Ставки под Ленинградом был сформирован артиллерийский контрбатарейный корпус — беспрецедентный случай в истории войны. Контрбатарейная борьба под Ленинградом приняла характер ожесточенного огневого противоборства. Вопрос стоял так: «Кто кого?» В этом противоборстве контрбатарейщики фронта выстояли. Они выполнили свою главную задачу — спасти Ленинград от разрушения, а ленинградцев от уничтожения. Однако даром это не давалось, наша артиллерия несла ощутимые потери, особенно из-за массированных обстрелов на огневых позициях, где в результате прямых попаданий в амбразуры орудийных укрытий иногда погибали орудийные расчеты в полном составе. Так было в 7-й и 9-й батареях 14-го гвардейского Красносельского Краснознаменного артиллерийского полка, подобное происходило и в других контрбатарейных частях фронта.

За проявленные героизм, отвагу и мужество тысячи солдат, сержантов и офицеров контрбатарейных частей Ленинградского фронта были награждены орденами и медалями СССР, батарея старшего лейтенанта В. А. Амеличева из 73-го Гатчинского Краснознаменного армейского артиллерийского полка только за одну из операций, во время которой на каждый квадратный метр ее огневой позиции от артобстрела и бомбежек обрушилось в среднем по 72 килограмма металла, была в полном составе награждена орденами Отечественной войны, а наводчику 2-й батареи 12-го гвардейского Красносельского Краснознаменного артиллерийского полка гвардии рядовому А. Г. Корзуну посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На прошедшей 8 января этого года в ЦК КПСС встрече с руководителями средств массовой информации, идеологических учреждений и творческих союзов писатель Г. Я. Бакланов в своем выступлении высказал очень правильную мысль «...о необходимости воспитания уважительного отношения к памяти погибших в годы Великой Отечественной войны советских патриотов».

Возникает резонный вопрос к писателю: «Когда он высказывал свое истинное отношение к памяти погибших в годы войны, в феврале 1986 года или в

январе 1988 года?». Мы считаем, что к достоверным событиям нашей истории, особенно событиям, связанным с невосполнимыми потерями защитников Родины в трудные годы войны, следует относиться только уважительно и всегда. Пересмотр подобных оценок допустим только в тех случаях, когда на основе всестороннего анализа исторических документов рассматриваемого периода и места действия будет доказана необходимость такого пересмотра. Хотелось бы надеяться, что «Литературная газета» и другие органы массовой информации станут с большей ответственностью подходить к отбору материалов для публикации и повысят требовательность к своим авторам в вопросах исторической достоверности предлагаемых для печати материалов.

Скоропалительным и необоснованным попыткам пересмотра широко известных событий истории нашей страны, в том числе и периода Великой Отечественной войны, пора поставить надежный заслон.

бывший командир батареи 14-го гвардейского Красносельского Краснознаменного полка
Н. И. Кузнецов,
бывший командир батареи 38-й гаубичной Ленинградской ордена Кутузова бригады
Б. М. Лобань

Заслон чему?

Уважаемые товарищи Лобань Б. М. и Кузнецов Н. И.!

Вы пишете, что два года Вы добиваетесь «исправления искажений исторической правды», обращались в правление СП СССР, в редакции четырех газет, но нигде это Ваше обращение не напечатали. Жаль, что Вы сразу не обратились в редакцию журнала «Знамя», поскольку редактор его, как Вы считаете, виноват в искажениях. Мы бы уже давно напечатали Вас. Мы регулярно публикуем письма, не только поддерживающие нашу точку зрения, но и письма тех, кто нам резко возражает.

Впрочем, нет худа без добра. В первом своем письме, пересланном мне «Литературной газетой», на которое, как Вы помните, я Вам ответил, Вы сосредоточились больше на, так сказать, артиллерийских проблемах. Теперь они занимают относительно мало места, зато у Вас по прошествии времени создалась возможность высказаться сразу по обширнейшему кругу проблем: и «об одном недостатке гласности в том виде, как она практикуется», и о том, как следует «обращаться со всяким идеологическим инструментом», и о том, что «Литературной газете» и другим органам массовой информации следует повысить требовательность, и о том, что причина публикации ряда статей в «Литературной газете», а также «весьма спорных крупных произведений... кроется просто в недостаточном уважении авторов к читателям», и сделать упрек «в адрес некоторых наших ведущих историков», которые «с большой поспешностью отдали пальму первенства в закрытии «белых пятен» нашей истории писателям», высказать недовольство публикацией пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!..» и романа А. Рыбакова «Дети Арбата», посоветовать заодно уж, какая требуется «дозировка черного и белого при написании романа».

Я перечислил далеко не все поднятые Вами вопросы и предложенные советы, но я совершенно согласен с Вами, что «наш читатель способен сам разобраться, чью точку зрения признать стоящей ближе к истине, а чью отвергнуть». И читатель эту свою способность разобраться показал: подписка на журнал «Дружба народов», где был напечатан роман А. Рыбакова и обещано его продолжение, выросла в четыре раза — небывалый случай в нашей журналистике.

Да вот, кстати, и «Комсомольская правда» обратилась к своим читателям с предложением назвать лучшую книгу года и в номере от 27 февраля сего года опубликовала результаты: лучшей книгой года большинство читателей назвало роман А. Рыбакова: «Дети Арбата» явили собой классический образец бестселлера. Читала роман вся страна, особенно преуспела Москва».

И о пьесе М. Шатрова наши читатели высказали и продолжают высказывать свою точку зрения. В предыдущем, 5-м номере журнала «Знамя» Вы могли прочесть подборку читательских писем. Ко времени подписания номера в печать было получено 298 писем. За пьесу — 252. Отвергают пьесу — 46. Письма напечатаны в точном процентном соотношении.

А теперь об «искажении исторической правды». Но сначала требуется пояснение, чтобы читателю было понятно, о чем возник спор два года назад. В январе 1986 года в «Литературной газете» была напечатана статья критика Л. Аннинского «Штрихи к блокадному пейзажу». Статья изобиловала неточностями, нравственная позиция автора и особенно два места статьи вызвали мои возражения. «Как бы то ни было,— писал Аннинский,— а пережить п е р в у ю блокадную зиму в Ленинграде ни одна рукопись шансов не имела. Все бумаги: архивы, библиотеки — все сожжено было в печках в первую зиму вслед за мебелью».

Это утверждалось безапелляционно, хотя уже вышла из печати «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, где на многих страницах приведены дневники ленинградцев, бессмертные свидетельства величия человеческого духа, утверждалось после того, как миллионы людей читали в музее на Пискаревском кладбище дневник Тани Савичевой, после того, как стали известны многочисленные факты, когда умиравшие от голода люди спасали библиотеки. «Откуда силы брались у ленинградцев, об этом рассказала нам дневниковая память Ленинграда, сами ленинградцы,— пишут А. Адамович и Д. Гранин.— Это тоже было противостояние и не менее важное для исхода борьбы на северном фланге бескрайнего фронта».

Возражал я против еще одного утверждения статьи. Л. Аннинский, узнав, что во время исполнения Седьмой симфонии Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде велась по приказу командующего фронтом контрбатарейная борьба, восхитился: «Контрбатарейная борьба — самопожертвование. Это на себя вызвать огонь противника. Чтоб он п о т е б е боезапас израсходовал. Артиллеристы, прикрывшие собой музыкантов,— вот музыка той войны».

Я считаю, что жизнь человеческая бесценна, приказ одним людям пожертвовать жизнями для того, чтобы другие люди могли слушать музыку, чудовищный приказ, если бы он был на самом деле. И я писал в открытом письме Л. Аннинскому, напечатанному в марте 1986 г. в «Литературной газете»: «...хочу спросить Вас: неужели Вы считаете нравственным, если бы так было на самом деле, чтобы одни люди шли на самопожертвование, вызывали огонь на себя, то есть погибали для того, чтобы другие люди в это время могли исполнять и слушать музыку?.. Неужели это может вызывать у литератора восторг, а не скорбь и многие, многие размышления?»

Пришло много писем, авторы их разделяли мою точку зрения. Но пришло в «Литературную газету» и Ваше гневное письмо, в котором я обвинялся во всех смертных грехах. Редакция просила меня ответить, я это сделал, и могу констатировать с удовлетворением, что в нынешнем письме большинство прежних обвинений отсутствует, видимо, Вы все-таки поняли, сколь они беспочвенны, с точки зрения артиллериста и уж вовсе не выдерживали критики. А ведь Вы требовали все это напечатать.

Вот теперь, после необходимого разъяснения, перейдем к Вашему письму. Вы считаете неправильным мое утверждение, что без крайней необходимости (нельзя же крайней необходимостью считать исполнение музыкального произведения) командующий, находясь в здравом уме, не должен отдавать артиллеристам приказ вызывать на себя огонь противника. Допустим, что в таком специальном вопросе, как использование артиллерии в контрбатарейной борьбе (нравственного аспекта мы сейчас не касаемся), я был не прав. Допустим. И вот это Вы называете «искажением истории нашей Родины»?

А между тем, если Вы правы, а не прав я, Вам так легко, не прибегая к сильным выражениям, доказать свою правоту: достаточно взять приказ командующего из архива и процитировать его, именно это я Вам советовал сделать. Такие приказы, как Вы знаете, отдаются не устно, а письменно. Исполнение Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде стало фактом почти историческим. И приказ этот, таким образом, почти что исторический. Если там говорится, что артиллеристы ради такого события должны совершить акт самопожертвования, вызвать огонь на себя, я уличен и посрамлен. Ведь как просто! Но Вы упорно этого не делаете. Почему? Да потому, что такого приказа, слава богу, не было.

И вот Вы теоретическими рассуждениями доказываете то, что полагается доказывать фактами. Вы пишете, что контрбатарейщики фронта «заставляли вражескую артиллерию переносить огонь своих батарей на наши огневые позиции и расходовать, таким образом, основную часть своего боезапаса для ведения огня по позициям наших батарей». И это спасало город от разрушений. Слов нет, ленинградские артиллеристы проявили огромное мужество, что, впрочем, я и отмечал в письме к Л. Аининскому: «Я ни в коей мере не преуменьшаю подвига ленинградских артиллеристов». Слов нет, снаряды, которые упали на батарею, уже не упадут на здания города. И все-таки, простите уж меня, товарищи бывшие командиры батарей, основная задача артиллерии не в том, чтобы превращать себя в цель, на которую противник расходует «основную часть своего боезапаса», не в том, чтобы покорно сидеть под снарядами, а в том, если речь о контрбатарейной борьбе, чтобы уничтожать своим огнем и подавлять батареи противника. И делать это с наименьшими для себя потерями. Иначе бы города не отстояли.

«В одном из исторических трудов, посвященных роли артиллерии...» — пишете Вы и для доказательства своей точки зрения приводите из этого «труда» длинную и, на мой взгляд, малоубедительную цитату. Но если это действительно заслуживающий внимания исторический труд, следовало, видимо, назвать его, назвать фамилию автора, а то как-то несолидно звучит: «В одном историческом...». Давайте уж лучше откроем Советскую военную энциклопедию, обобщившую опыт войн, посмотрим, что там говорится о контрбатарейной борьбе и ее задачах. А там, в 4-м томе, ясно и четко сказано, что задачей контрбатарейной борьбы является подавление и уничтожение огнем артиллерийских батарей противника «с целью завоевания о г н е в о г о п р е в о с х о д с т в а». Вы не согласны? Почему же тогда Вы ополчаетесь на меня, а не на коллектив авторов Советской военной энциклопедии? Там есть и маршалы, и генералы, и труд их вышел намного раньше. И о задачах контрбатарейной борьбы Ленинградского фронта, и о задачах сформированного контрбатарейного артиллерийского корпуса, который Вы упоминаете, сказано то же самое: не себя подставлять, а «вести ответный огонь по батареям, обстреливавшим Ленинград... наносить упреждающие массированные огневые удары по группировкам артиллерии противника».

Неужели не ясно? Так что же заставляло Вас с этим своим письмом, с этими безосновательными обвинениями два года ходить по редакциям, добиваться, чтобы его напечатали? А может быть, объяснение надо искать в завершающей фразе письма? «Скоропалительным и необоснованным попыткам пересмотра широко известных событий истории нашей страны, в том числе и периода Великой Отечественной войны, пора поставить надежный заслон»,— пишете Вы. Да, видимо, тут объяснение. События Великой Отечественной войны, контрбатарейщики Ленинграда — это все «в том числе», это лишь повод. А основное желание, если брать Ваше письмо целиком, и мысль главная, и страсть — «пора поставить надежный заслон». Какое знакомое словосочетание, какая давняя знакомая интонация.

Г р и г о р и й Б а к л а н о в

---

13 января 1988 года «Литературная газета» поместила рецензию В. Гусева «Мучительный призрак ночи. Борис Пильняк и его «Повесть...»

В. Гусев приводит разговор из «кулуаров»: «— Да ничего особенного.— Ты не говори это вслух, сейчас неудобно ругать Пильняка.— Да никто и не собирается ругать». Задавая себе вопрос, надо ли было печатать повесть, В. Гусев, в соответствии с веяниями гласности, отвечает: «Ну, разумеется, надо». Но тут же ставит под сомнение это свое «разумеется». И в этом главный пафос его рассуждений: «Мы окончательно сбиваем с толку читателя и наносим крутые удары текущей литературе. Когда молодых вытесняли чиновники-графоманы, все было морально ясно. А когда теперь, положим, Пильняк вытесняет молодых, талантливых?.. Ведь вот **к а к и е** коллизии мы заново создаем».

На мой взгляд, если Пильняк и вытесняет, то не молодых, талантливых, а серых, неинтересных; хорошие писатели вообще не могут мешать друг другу, они помеха только для посредственных. Да и о каком вытеснении может идти речь, если за последние полвека вышла всего одна книга Пильняка, на страницах же «Знамени» он занял всего два с половиной печатных листа? Почему же В. Гусев ратует за то, чтобы Пильняка и Булгакова убрали из журналов и издавали книгами? У журналов огромные тиражи, а издательства осиливают выпуск 30—50—100 тысяч. Точка зрения В. Гусева отражает мнение тех, кому не по нутру возвращение произведений лучших наших, талантливых писателей, некогда изъятых из общественной жизни.

В конце заметки, согласно новым правилам, по которым нельзя ругать «страдальцев», В. Гусев воздает Борису Пильняку «должное»: «Он смотрит в глаза свирепому вихрю жизни — и — хотя бы на миг — не отводит взора. Спасибо за миг. Не каждый автор—герой. Не каждый—великий дух. Но спасибо за миг достоинства».

Должен огорчить В. Гусева, не знающего творчества Бориса Пильняка: это был вовсе не «миг». Мой отец Б. Пильняк всегда, до последних дней своих, отстаивал право и долг писателя говорить только правду, веруя в то, что писатель — это голос народа. Он верил в очистительную силу революции, в великое благо ее для России. Он искренне приветствовал революцию и описал ее в большинстве своих произведений, и одним из первых — в романе «Голый год» — изобразил большевиков. Напомню: заслуги Б. Пильняка перед советской литературой и его общественная позиция были таковы, что он был избран первым председателем Всероссийского союза писателей. Б. Пильняк никогда не кривил душой и в многочисленных своих статьях и выступлениях отрицал право кого бы то ни было на неправду, на искажение действительности. И в последнем своем, не опубликованном еще романе, который он закончил за две недели до ареста, он стоит на тех же позициях. Не может быть и речи о «миге» и о чем-то случайном в том грозном предупреждении, которое сделал писатель людям в «Повести непогашенной луны».

Говорят, у нас не хватает культуры полемики. Да, у кого хватает, а у кого и нет. Но всегда в русском обществе с высоким почтением относились к невинно осужденным и оберегали их достоинство и честь.

Борис Пильняк был не только «мучителем критиков», не только мучеником, но и бойцом за лучшее будущее и пал в бою. И теперь «Повесть непогашенной луны» — это не памятник прошлому, а все еще живое предупреждение людям, страдающим политической беспечностью.

Б о р и с А н д р о н и к а ш в и л и - П и л ь н я к

Советуем прочитать

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. Афоризмы, изречения. М., Политиздат, 1987.

Образно, точно, с удивительной ясностью выражали сущность сложных явлений К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин: «Религия — есть опиум народа»; «Собственность разъединяет, а труд соединяет»; «Всякая нация может и должна учиться у других»; «Честность в политике — есть результат силы, лицемерие — результат слабости»; «Революция — это локомотив истории. И мы его машинисты». Сколько таких афористичных выражений рассыпано в их сочинениях! Меткие сравнения, оригинальные образы, блистательные парадоксы, ирония — все это придает стилю Маркса, Энгельса, Ленина особую выразительность. Многие из этих изречений актуальны и сегодня.

Эрнст Генри. Заметки публициста. М., АПН, 1988.

«Человек счастлив тогда, когда его понимают... счастлив, когда его талант отказывается стареть»,— пишет Эрнст Генри, известный публицист, который вот уже почти 70 лет служит любимому делу.

В центре новой книги — литературная и политическая деятельность создателей научного социализма — Маркса, Энгельса, Ленина, видных деятелей международного коммунистического и рабочего движения. Э. Генри пишет и о своих современниках, активно работавших в публицистическом жанре: И. Майском, И. Эренбурге, Б. Полевом, М. Ромме. Бытует понятие: творческая мастерская, лаборатория. Двери такой мастерской открывает читателю Э. Генри.

С. С. Алексеев. Право и перестройка. Вопросы, раздумья, прогнозы. М., Юридическая литература, 1987.

Право, законодательство, правосудие в ходе перестройки — «горячие точки» крупных перемен, кардинальных преобразований, которые осуществляются сегодня в нашей стране.

Пафос книги, написанной в свободной манере диалога с читателем, в стремлении обосновать эти перемены — самостоятельность, инициативу, самоуправление.

В книге анализируются юридические документы, в том числе принятые после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, XXVII съезда партии: Закон о государственном предприятии (объединении), Закон об индивидуальной трудовой деятельности.

Михаил Кольцов. Испания в огне. В 2-х т. М., Политиздат, 1987.

«Испанский дневник» Михаила Кольцова посвящен интернациональному содружеству посланцев многих народов мира, вступивших на земле республиканской Испании в первую схватку с фашизмом. Летом нынешнего года исполняется 50 лет со времени его первой публикации и 90 — со дня рождения автора.

Военно-политический детектив с непредсказуемыми поворотами сюжета, множеством действующих лиц, точная и в то же время эмоциональная оценка ситуации, чисто репортерская хватка в изображении бытовых эпизодов — все это «Испанский дневник». «Дневник» дополнен репортажами Кольцова из Испании, которые публиковались «Правдой» с августа 1936-го по ноябрь 1937 года. Заслуживают внимания и подробные комментарии к биографиям бойцов-интернационалистов: в ту пору журналист о многих мог лишь бегло упомянуть.

Виктор Лихоносов. Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж. Роман. М., Советский писатель, 1988.

Поистине интригующее название!.. Но почему, прочитав уже первые страницы произведения, с удовольствием обнаруживаешь такие отнюдь не французские фамилии, как Толстопят, Шкуропатская, Попсуйшапка, Костогрыз, Бурсак? А уж таких улиц как Красная, Екатерининская, Графская, Посполитакинская да аллеи Пушкинская и Воронцовская наверняка не найдешь на карте столицы Франции. Время действия романа — почти весь двадцатый век: то и дело на страницах мелькают даты — девятьсот пятый, восьмой, двенадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый... шестьдесят четвертый... Тут, в этом романе, все, скажет Валентин Т., от имени которого ведется повествование: «любовь к своим домам, улочкам, ирония, тут и воспоминания о молодости, и то, что по-прежнему для того, кто здесь живет, лучшего места нету». А место это — город Екатеринодар, нынче Краснодар, который герои, беззаветно влюбленные в него, окрестили когда-то маленьким Парижем. Какие только испытания и лишения не выпали на долю героев романа, потомков славных кубанских казаков! По-разному, чаще трагически складывались их судьбы, но через всю жизнь пронесли они трогательную любовь к родной земле, родному городу.

Анатолий Калинин. Запретная зона. Роман. Дон, №№ 1, 2, 1988.

«Воде, которая от подошв курганов все выше и выше вползала к вершинам, все равно что было топить: то ли станичные со старыми крестами и с новыми красными звездочками могилы, то ли эти безымянные, без крестов и других знаков памяти...»

В трудные послевоенные годы строится Волго-Донской канал,— многие казачьи хутора и станицы с садами, виноградниками, добротными домами, церквами, старыми погостами должны уйти под воду. Нелегко расставаться людям с родной землей, «щедро политой казачьей кровью», драматично складываются жизни многих из них.

Причудливо переплетаются судьбы героев романа — начальника строительства канала Автономова, парторга Грекова, казачки Зинаиды Махровой и ее бывшего жениха шофера Коптева, которого на свадьбе взяли под стражу, осудили, невиновного, и он вместе с другими заключенными работает в «запретной зоне» на стройке.

Первая часть романа была напечатана четверть века назад, его вторая часть пришла к читателю только теперь.

Г. Попов, доктор экономических наук. Системы и зубры. (Размышления экономиста по поводу повести Д. Гранина «Зубр»). «Наука и жизнь», № 3, 1988.

На примере судьбы героя повести ученого-генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и пользуясь подходом, уже опробованным ранее при анализе романа А. Бека «Новое назначение» («Наука и жизнь», № 4, 1987), автор высказывает некоторые соображения об одной важной стороне Административной Системы — механизме управления, который действовал у нас долгие десятилетия.

Повесть Д. Гранина позволила сделать из документального повествования выводы, с которыми любопытно познакомиться. Жизнь и деятельность Зубра — это не только урок правильного понимания ушедшей эпохи, это и урок на будущее. Теперь мы усвоили, что «...попытки творить на своем участке при отказе от участия в политике, в судьбах страны, в судьбах твоего народа,— пишет Г. Попов,— неизбежно ведут к потере именно той возможности нормально жить и работать, ради которой тебе предлагалось смириться с ролью политического винтика».

Юрий Домбровский. «Я жду, что зажжется искусством моя нестерпимая боль...». Юность, № 2, 1988.

Нынешнему читателю романов «Державин», «Хранитель древностей», «Обезьяна приходит за своим черепом», новелл о Шекспире, рассказов о Грибоедове, Пушкине, Батюшкове, Байроне, Жан-Жаке Руссо вряд ли известно, что статья «Книжные богатства Казахстана», опубликованная более 50 лет назад, сыграла в судьбе писателя поистине драматическую роль. Публикация задела музейных чиновников, началась жестокая травля, закончившаяся арестом Ю. Домбровского, четыре раза его безвинно арестовывали и ссылали.

«Под плоским небом Колымы», в степях Казахстана он сумел выстоять. «Совесть — орудие производства писателя,— любил повторять Ю. Домбровский.— ...Нет у него этого орудия — и ничего у него нет».

Но существует и совсем неизвестный нам Домбровский — поэт. Он писал стихи и ни разу не пытался их напечатать. Журнал публикует не только статьи «Книжные богатства Казахстана», «Итальянцам о Шекспире — главные проблемы его жизни», но также большую подборку стихов.

В. Кардин. Павел Нилин. М., Советская Россия, 1987.

Творческий путь Павла Нилина (1908 — 1981) не лишен внутреннего драматизма. Писатель, получивший признание еще в 30-е годы (и затем Сталинскую премию за сценарий «Большой жизни»), долго и мучительно пытался найти свою тему.

Во второй половине 50-х годов увидели свет романы «Испытательный срок», «Жестокость», вошедшие в золотой фонд советской литературы.

Внимание П. Нилина к подробностям жизни роднит его с Михаилом Зощенко, чье влияние на писателя было несомненным. Вспомним повести П. Нилина о сибирской провинции 20-х годов, рассказы о «новых горожанах» («Дурь», «Впервые замужем»).

В последние годы жизни писатель работал над новыми рассказами. А «...спешить он не умел, не в его правилах было публиковаться, лишь бы напомнить о себе. Он исповедовал веру — к ней пришел, накапливая опыт художнический и человеческий: только тогда писатель сможет сделать что-нибудь настоящее, когда будет жить сугубо за свой счет».

С. А. Швед. Воспоминания. Урал, № 2, 1988.

«...Мы были строжайше предупреждены, что при проверках на вопрос о статье, по которой осуждена, отвечать надо только так: «Статья 58, пункт 10», что по Уголовному кодексу означало «контрреволюционные действия». Мы упорно отказывались возводить на себя напраслину и дружно отвечали: «Жена», чем приводили в бешенство начальника конвоя, который даже применил знаменитую угрозу: «На мыло переварим».

Софья Ароновна Швед — металлург-исследователь, член партии с 1927 года, человек драматичной судьбы, жена одного из тысяч «большевиков, заживо похороненных, обреченных на гибель своими же братьями, своими каинами», писала воспоминания в семидесятые годы, закончив их незадолго до своей смерти. Понятно, что в то время о публикации думать не приходилось, единственными их читателями могли быть только близкие люди — сыновья. Подкупающие искренность, честность и достоинство, с которыми ведется повествование, вывели эту историю за семейные рамки, напомнили нам о трагедиях многих жен, матерей, детей.

Т. Н. Грановский. Лекции по истории средневековья. М., Наука, 1987.

Он был одним из властителей дум поколения Белинского, Гоголя, Герцена — поколения, унаследовавшего духовный мир де-

кабристов и Пушкина,— поколения, приуготовившего идеи крестьянской реформы и приход «шестидесятников»...

«Лекции...» — это, пожалуй, самая полная публикация курса, читанного в Московском университете на рубеже сороковых и пятидесятых годов прошлого века. Лекции старательно записывались студентами, некоторую часть записей выправил сам Тимофей Николаевич.

В книге представлена история Европы до середины XVII столетия. Речь идет о расколе католичества и о противостоянии Османской империи и раздираемых феодальными распрями христианских стран, о Тридцатилетней войне и ее последствиях, развитии наук, искусства, географических открытиях...

Тут немало имен: Макиавелли, Цезарь Борджиа, Мартин Лютер, Савонарола, Кальвин, Генрих Наваррский и другие, с которыми связаны многие моменты и события европейских хроник.

Изданные в серии «Памятники исторической мысли» и оснащенные пояснительными статьями современных историков, основательным справочным разделом, «Лекции...» дают возможность приобщиться к мыслям и чувствам, волновавшим передовых людей России прошлого века.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 04.04.88. Подписано к печати 03.05.88. А 05359. Формат $70\times108^{1}/_{16}$. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27. Тираж 500 000 экз. Заказ № 2250.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.